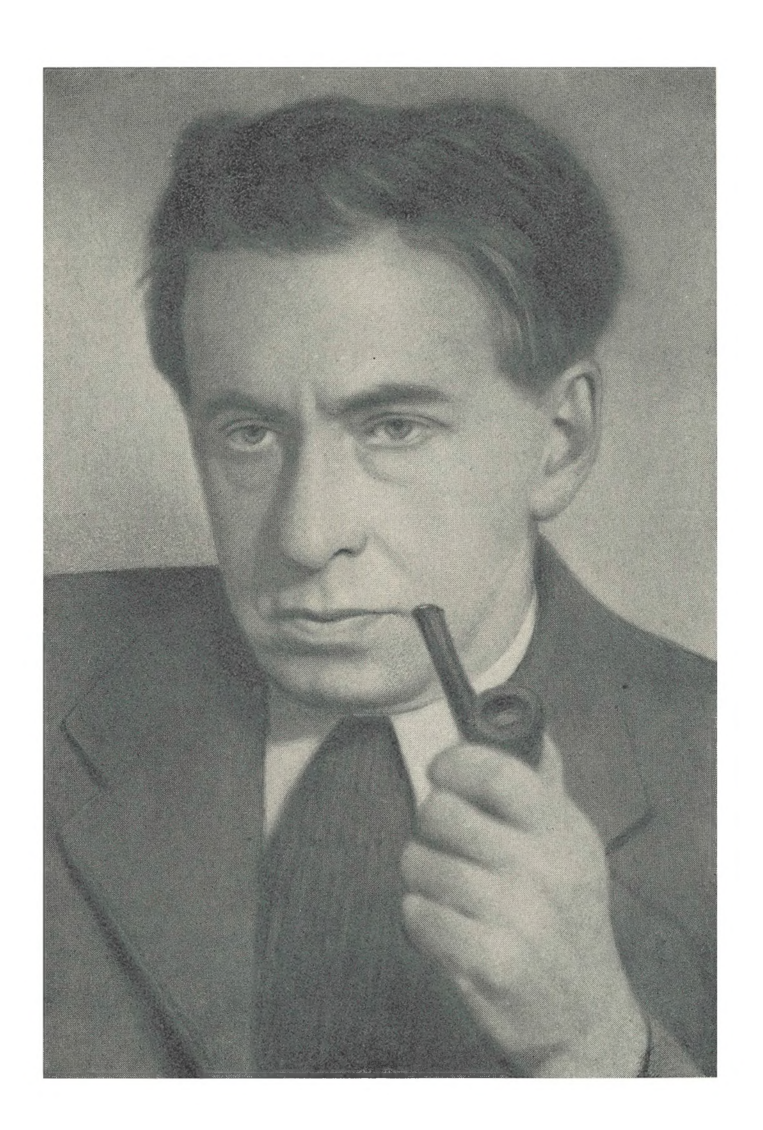


1

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ



ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

СОЧИНЕНИЯ

В ПЯТИ ТОМАХ

ТОМ
ПЕРВЫЙ

ПАДЕНИЕ ПАРИЖА

РОМАН

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1952

ОТ АВТОРА

В пять томов моих сочинений вошла, разумеется, только часть написанного мной. Я включил в эти тома произведения, написанные за последние двадцать лет, а именно: романы «Падение Парижа», «Буря», «Девятый вал», повести «День второй» и «Не переводя дыхания», несколько рассказов, несколько стихотворений, наконец очерки и статьи. Эти произведения, мне кажется, объединены одной темой — защитой человеческих ценностей от того затемнения, которым угрожают культуре люди, проповедующие ненависть, расовое и национальное чванство, культ грубой силы. Я не стал переделывать вещи, написанные пятнадцать или двадцать лет тому назад; некоторые детали описываемого быта устарели, но мне кажется, что если писатель должен меняться, расти, то его старые книги могут быть интересны для читателя теми страницами, которые показывают жизнь вчерашнего дня.

Илья Эренбург

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Мастерская Андре помещалась на улице Шерш-Миди. Это старая улица с дымчатыми домами, на которых ставни оставили черные переплеты. Здесь много лавок древностей: секретеры Директории, жирные ангелочки, пуговицы из слоновой кости, гранатовые ожерелья, китайские монеты, медальоны с локонами, ладанки. Торгуют этим хламом чопорные дамы или старички, гладко выбритые, розовые, в черных ермолках. На углу улицы — кафе с продажей табачных изделий, под вывеской «Курящая собака»; посетителей смешит старый фокстерьер, который служит с обглоданным мундштуком в зубах. Наискосок — ресторан «Анри и Жозефина». Жозефина мастерски запекает в глиняных горшочках фасоль, гусятину, колбасу; Анри спускается в погреб за пыльной бутылкой вина или подсчитывает на грифельной доске, сколько причитается ему за обед; он неизменно весел, прищелкивает языком, расхваливает блюда и всем сует свою широкую, как ласт, руку. Рядом — мастерская сапожника; сапожник, хотя ему за шестьдесят, набивая подметки, поет про «шельму-любовь». Еще дальше — цветочная лавка: анемоны, левкои, астры. Торгует цветами высохшая опрятная старушка; с утра она выписывает на двери, чьи сегодня именины. Тротуары расчерчены мелом: «рай» и «ад» или «Италия»

и «Эфиопия» — это играют ребята. Утром усатые торговки подталкивают ручные тележки; они звонко кричат: «Апельсины! Помидоры!» Проходит старьевщик и, чтобы оповестить о себе, играет на дудочке; ему выносят рваные жилеты, просиженные пуфы. Под вечер шляются престарелые певцы, скрипачи, шарманщики — поют, пиликают, приплясывают; с верхних этажей им швыряют медяки.

А в домах спокойно, темновато, тесновато: много мебели, много дребедени. Все — старое, и это старое берегут; на креслах чехлы; чашки в буфете склеены; стоит кому-нибудь чихнуть, как его тотчас напоят липовым чаем или пуншем, приготовят горчичники. В аптекарском магазине продают травы для настоек, припарки, притирки, кошачьи шкурки, якобы облегчающие страдания ревматиков. Котов уйма; оскопленные и жирные, они мурлычут в лавках, в швейцарских, где консьержки с раннего утра томят баранину. Особенно хороша улица под вечер: все тогда синеватое, нарисованное.

Мастерская Андре помещалась на верхнем этаже, и вид оттуда был замечательный: крыши, крыши — море черепицы (она похожа на зыбь); над крышами тонкие струйки дыма; а вдалеке, среди бледнооранжевого зарева, Эйфелева башня.

В мастерской было тесно, не пройти: подрамники, колченогие стулья, тюбики с красками, стоптанные ботинки, вазы. Казалось, вещи не лежат, а растут; иногда они напоминали весеннюю поросль — это когда солнце, несмотря на запрет, проскальзывало в мастерскую, и Андре, удивляясь — «До чего вру!», пел вздорные куплеты; иногда мастерская была, как увядающий лес, все в ней рыжело, осыпалось. Сам хозяин походил на дерево — большой, медлительный, молчаливый. С утра он садился за работу: писал крыши или натюрморты — астры, цветную капусту, бутылки. К вечеру, закуривая большую трубку, он спускался, ходил по улицам, дымил; иногда зайдет в кино, посмотрит, как мышонок Микки плутует, улыбнется и пойдет домой спать.

Андре работал медленно, медленно жил; в тридцать два года он изумленно, как подросток, осматривал мир. О нем уже поговаривали — «сложившийся художник», но ему казалось, что он только-только сел за работу. Отец

Андре, нормандский крестьянин, хорошо знал, как медленно растет яблоня, как в срок тяжелеет стельная корова; с таким же терпением Андре следил, как вещи обретают форму и цвет.

В тот день ранней неровной весны Андре писал букет анемонов. Когда постучали в дверь, он нахмурился. Пришел старый приятель Пьер и сразу заверещал: Пьер всегда говорил скороговоркой. Андре рассеянно улыбался, то и дело поглядывая на холст: он только сейчас заметил, что желтый цвет вышел чересчур тяжелым.

Рядом с Андре Пьер казался крохотным — подвижной, как птица, кожа оливкового тона, большие выпуклые глаза, длинные руки, гортанный голос. Разговаривая, он прыгал между рамами и вазами.

Инженер-конструктор, Пьер увлекался театром, пробовал прежде писать стихи, даже издал книжку под псевдонимом; часто влюблялся и, терпя сердечные неудачи, помышлял о самоубийстве; но к жизни был крепко привязан и любил ее вплоть до обид. Был он человеком впечатлительным, слабовольным; порой друзья толкали его на неожиданные поступки. В кафе он познакомился с музыкантом-роялистом. Тогда в Париже подымалось движение против парламента: раскрыли причастность многих депутатов к афере Ставицкого. Разговоры о «честности» взволновали Пьера, и в ночь мятежа он оказался на площади Конкорд. Полгода спустя он попал на антифашистский митинг; выступал социалист Виар. Пьер рассорился с музыкантом и стал обличать милитаризм. Он проглатывал десяток газет и не пропускал ни одной демонстрации.

Тысяча девятьсот тридцать пятый год был для Франции годом перелома. Народный фронт, который родился вскоре после фашистского мятежа, стал дыханием, гневом, надеждой страны. Четырнадцатого июля и седьмого сентября — в день похорон Барбюса — улицы Парижа заполнила миллионная толпа; люди рвались в бой. Им говорили о близких выборах, об урнах, которые решат все; но они в нетерпении сжимали кулаки. Впервые народ увидел перед собой призрак войны: Германия ввела войска в пограничную Рейнскую область; итальянцы укрощали злосчастную Абиссинию. Францией правили ничтожные люди, боявшиеся и соседних стран, и своего народа. Они считали

себя мудрыми стратегами: они говорили ласковые слова отнюдь не сентиментальным англичанам, а потом науськивали Рим на Лондон. Мудрецы были простаками; маленькие государства одно за другим отворачивались от Франции; приближалось время одиночества. Министры куда больше думали о близких выборах, нежели о судьбе страны. Они пытались расколоть Народный фронт. Префекты подкупали колеблющихся, запугивали малодушных. Каждый день рождались новые фашистские организации. Юноши из хороших семейств по вечерам обходили богатые кварталы столицы с криками: «Долой санкции! Долой Англию! Да здравствует Муссолини!» В рабочих пригородах говорили о близкой революции. Испуганные обыватели боялись всего: гражданской войны и немецкого нашествия, шпионов и политических эмигрантов, продления срока военной службы и забастовок. Новый год всем казался решающим.

Пьер, захваченный событиями, жил, как на бивуаке.

Андре он любил со школьных лет, но встречались они редко; жизнь Пьера была бурной, и Андре всегда оставался в стороне. При встречах Пьер восторженно рассказывал приятелю о своем последнем увлечении: о новом моторе, о стихах Бретона, об антифашистском конгрессе писателей. Андре слушал и улыбался; потом они шли в «Курящую собаку», пили пиво или вермут; потом расставались. Проходил год. Пьер вдруг вспоминал про Андре и, вбегая в мастерскую, кричал: «Знаешь, вчера...», как будто они накануне виделись.

Так было и теперь:

— Ты читал речь Виара? «Мы должны провести всеобщее разоружение, даже против воли германского милитаризма...» Все только и говорят, что о войне: будет? не будет? У нас директор завода до гороскопа дошел: Водолей, оказывается, за войну, а Телец против. Видишь, какая ерунда! Конечно, Гитлер — сумасшедший. Но если победит Народный фронт, войны не будет. А ты как думаешь?

— Я? Не знаю. Я об этом не думал.

Пьер вдруг заметался.

— Куда ты?

— В дом культуры. Они какой-то сюрприз готовят...

Идем! Нельзя жить в берлоге. Я теперь там часто бываю: захватывает. Там и рабочие, и техники, и ваш брат — художники. Вот в это я верю, я и директору нашему сказал — без гороскопа... Он даже позеленел от злобы. Это обязательно будет...

— Что?

— Как «что»? Революция. Поглядел бы ты у нас на заводе... Ну, пошли!

Андре грустно озирался на холст. Но Пьер его вытащил.

С трудом они проникли в большой накуренный зал. Люстра казалась масляным пятном; лица смутно посвечивали, как блики. Здесь были рабочие в кепках, художники в широкополых шляпах, студенты, служащие, девушки. Народ, прославленный своим скепсисом, здесь переживал второе отрочество: увлекался, спорил до хрипоты, бил в ладоши и клялся не отступить. Здесь жали друг другу руки ученый с мировым именем, лауреат нобелевской премии, и молоденький стекольщик, вчера написавший наивное четверостишие о «новой жизни». Слова «Народный фронт» здесь звучали, как «Сезам, откройся»: стоит только победить Народному фронту, и сразу в руке землекопа окажутся кисти, даже косные огородники оценят живопись Пикассо, стихи станут языком времени, ученые изобретут бессмертие, а на берегах видавшей виды Сены вырастут новые Афины.

Андре стал разглядывать соседей. Вот рабочий: он слушает, будто пьет. Этот зевает, должно быть журналист. Много женщин. Все курят.

На подмостках стоял старичок. Это был знаменитый физик; но Андре его не знал. Ученый говорил тихо, кашлял, и Андре разбирал только отдельные слова: «социалистическая культура... новый гуманизм...»

Андре никогда не бывал на собраниях. Он вдруг затосковал по мастерской, по оставленной работе. Потом он взглянул на трибуну и, не вытерпев, крикнул Пьеру:

— Да ведь это Люсьен!

Вот что они называли «сюрпризом»! Андре вспомнил, как Люсьен в лицее читал стихи «Люблю я девственницы гнев», рассказывал, что курит опиум... Теперь он с рабочими... Да, конечно, люди меняются...

Люсьен сразу овладел вниманием. Говорил он отрывисто, вдохновенно:

— Судьбу земли решат те, кто над землей: бомбардировочная авиация. Или те, кто под землей: шахтеры Пикардии, Рура, Силезии. Шестьсот депутатов? Есть такие жуки — мне рассказывал один энтомолог — в них кладут яйца мухи. Личинки растут в тельце жука, и жук двигается, но он мертв, а двигаются личинки...

Люсьен говорил о Гитлере, о войне, о революции. Когда он кончил, было тихо: еще длилось очарование голоса. Потом раздались аплодисменты. У Пьера даже руки заболели, так он хлопал. Рабочий, рядом с Андре, затянул: «Это юная гвардия из предместий идет...» Андре забыл о мухах, о войне, о Люсьене, ему захотелось написать портрет рабочего.

На трибуне старичок долго жал руку Люсьену. Вдруг встал молодой человек с серым, изможденным лицом; одет он был бедно, но элегантно. Он крикнул:

— Прошу слова!

Председатель растерянно схватился за звоночек:

— Ваше имя?

— Грине. Мое имя мало что вам скажет. Важнее имя докладчика. Насколько мне известно, его отец, господин Поль Тесса, получил от мошенника Ставицкого восемьдесят тысяч. Очевидно, здесь на эти денежки...

Дальше ничего нельзя было разобрать. Грине размахивал палкой; его лицо скосил тик. Рядом широкоплечий детина бил кого-то табуреткой. Андре едва протиснулся к выходу. На улице его окликнул Пьер:

— Погоди, мы пойдем в кафе с Люсьеном.

— Не хочу.

— Почему?

(Это спросил Люсьен — он подошел сзади.)

— Выпьем пива. Там было здорово жарко, я еле договорил. Меня предупреждали, что они сорвут доклад.

Пьер усмехнулся:

— Их проучили. Я этого Грине помню: я с ним шестого февраля столкнулся. Одержимый, резал бритвой лошадей... Ясно, что они выбрали такого. А ты замечательно говорил! Воображаю, что напишут в газетах! Во-первых, у тебя большое литературное имя. Потом — сын

Поля Тесса с нами! Конечно, для тебя это — драма. Но какой резонанс! Поэтому они и хотели сорвать. Молодец, честное слово, молодец! Андре, ты почему молчишь?

— Не знаю, право, что сказать.

— То есть как это не знаешь?..

— О таких вещах надо долго думать. А мне особенно. Ты сам сказал, что у меня «большая передача».

Рядом шла молодая женщина, без шляпы, с круто вьющимися волосами; у нее был вид навсегда изумленный; глаза лунатика или ночной птицы. Она шла молча; потом вдруг остановилась:

— Люсьен, ключ у тебя? Я до работы зайду домой.

Люсьен спохватился:

— Я забыл вас познакомить. Жаннет Ламбер, актриса. Это мои школьные товарищи: Андре Корно, Пьер Дюбуа. Зайдем в кафе, потом я тебя отвезу в студию.

В кафе было пусто. За перегородкой играли в карты: «А у меня дама!»... Андре жадно пил пиво. Потом он поглядел сбоку на Жаннет и смутился: какие глаза! Попробовали вспоминать школьные годы, но разговор не вышел. Даже Пьер притих: устали от духоты, от шума.

К стойке подошли двое — навеселе; заказали по рюмочке. Один, человек лет сорока, в фуражке посыльного, громко сказал:

— Если, например, отнимают ногу, это ведь дермо?

Другой, помоложе, ответил:

— Нет. Это дважды два четыре.

Посыльный бросил монету в орган, и все зажмурились от рева. Пьер запел:

— «Ищу мою Express-ину...» Помнишь? Это после войны пели, когда мы зубрили герундии. Смешно! Чего только не говорили! «Мир навеки!» А теперь — вы слыхали: «Дважды два четыре»... Очень просто! Сначала у немцев отбирают молочных коров — действие первое. Потом конференции: заплатят? не заплатят? Объявили: «благоденствие». А возле моего дома каждую ночь спали под мостом. Кофе жгли, рыбу кидали назад в море, машины — на слом. Это второе действие. Появляется Гитлер. Договоры к чорту! Они вооружаются, мы за ними, они за нами, мы за ними... Это уже третье действие. Можно предсказать и четвертое. Гитлер заявляет: «Хочу Страс-

бург, а заодно и Лилль», нам выдают противогазы и консервы, мы защищаем цивилизацию, на этот дом падает бомба, и так далее. Я только верю, что народ не допустит. Виар произвел огромное впечатление даже на буржуа. Выборы дадут левое большинство.

Люсьен усмехнулся. Андре не слушал Пьера, но эта усмешка его обидела; он подумал: сноб! Одновременно он залюбовался Люсьеном: красивое лицо! С яркозелеными глазами, с медного цвета локонами, бледный до ощущения маски, Люсьен казался актером, играющим средневекового разбойника. Он говорил:

— Великолепно! А дальше? Виар будет вооружаться не хуже этих. Может быть, хуже — он труслив. Но дело не в этом. Мой отец теперь в правом большинстве; его переизберут, и он окажется в левом, причем совершенно искренно — это буржуа, но честный человек. Конечно, завтра он будет делать то же, что делал вчера; такие люди не меняются. Выход один. Я знаю, что ты мне ответишь... Но если революцию делает народ, восстание подготовляет организация. Это — искусство. Правда, Андре?

— По-моему, искусство — это другое: писать картины, выращивать деревья. А революция — это несчастье, до этого людей надо довести. Вы все схватываете на лету, хотите перемены, а я люблю, когда ничего не происходит. Тогда можно глядеть, то есть увидеть. Вот как Сезанн, он всю жизнь просидел над яблоками и что-то увидел. Это, по-моему, искусство.

Пьер привскочил:

— Легко это говорить, пока ты сидишь у себя и «смотришь». А когда под пулемет погонят? Тогда поздно будет думать. Неужели ты не можешь подойти к этому диалектически?..

Андре не хотел отвечать; но вдруг он заговорил: на него смотрела Жаннет большими, почти бессмысленными глазами, и под ее взглядом Андре менялся, переставал быть собой.

— Я вас не понимаю, ни Люсьена, ни тебя. Возьми звезды: высокое зрелище — об этом стихи пишут, это, вероятно, влияет на философию. Но ни одному художнику не придет в голову изобразить звездное небо. А над чем

корпели художники — от примитивов до нас? Над телом: его неправильность, случайность, теплота, абсолютная конкретность. Или пейзаж — то же тело, иначе поданное, выпуклость холма, тон листьев, слитость неба с забором. Когда вы говорите о революции, это — идея, слова. А вот люди, которые слушали Люсьена,— живые, я видел их лица, их горе...

Андре замолк. Зачем он говорит? Слова не те, все не то. Как живет эта женщина? Люсьен сказал: «актриса». Неправда! Ребенок. Или сумасшедшая. Вот Люсьен — актер. Она спросила: «где ключ»; значит, они живут вместе... Сам того не понимая, Андре ревновал Жаннет. Он делал одну глупость за другой. Когда Жаннет попросила рюмку коньяку, он сказал:

— Не поможет! Лучше всего ходить — тогда забываешь...

Она ничего не ответила, но Люсьен насмешливо прищурился:

— Мораль? Жаннет, тебе не пора?..

Она покачала головой. Андре, сконфуженный, покраснел.

Все молчали. За перегородкой ругались игроки: «Чорт побери, где же твои козыри?»... Вошел мальчишка с вечерними газетами: «Последнее издание! Война неизбежна!»

Жаннет стояла у органа; она опустила в щелку монету и, когда раздался все тот же старый фокстрот, сказала Андре:

— Давайте танцовать! После той войны все танцовали. Я маленькой была, но помню... А мы их перехитрим — мы будем танцовать до, чтобы потом не жалеть.

Следовало отказаться: Андре не умел танцовать. К тому же в этом тихом кафе, где счетоводы или лавочники часами просиживали над картами, где наспех опрокидывали рюмку иззябшие шоферы или приказчики, никто никогда не танцовал. Но Андре покраснел от радости; его огромная красная рука дрогнула, коснувшись спины Жаннет. Хозяйка у кассы поглядела на них с укором. Это продолжалось не больше минуты; Жаннет вдруг остановилась и тихо, с большой усталостью в голосе сказала:

— Мне пора. Люсьен, я пойду пешком.

Когда она ушла, Пьер спросил:

— В каком она театре?

Люсьен ответил нехотя:

— Она теперь работает в радио — «Пост паризьен». Чепуха — вперемежку театр и рекламы. Все говорят, что большой талант, но ты не знаешь, как трудно пробиться!..

Люсьен позвал приятелей к себе: «Выпьем, поговорим». Пьер сразу согласился. Андре ответил: «Нет». Люсьен настаивал:

— Неизвестно, когда мы теперь встретимся. Если будет война...

Андре встал:

— Никакой войны не будет. А я пойду. Мне надо походить после всех этих разговоров. Ты, Люсьен, не сердись — я человек норы, барсук: не люблю ни собраний, ни театра, ни...

Он хотел сказать: «ни актрис», но махнул рукой и вышел.

2

Андре быстро шагал: путь шел через весь город. Надрывались гудки автомобилей; кишели огни, красные, зеленые, лиловые; кишели и люди — гуляли, продавали газеты или галстуки, зазывали в кабаре; проститутки хрипло повторяли слова нежности; на короткой глухой улице громкоговоритель вещал: «Необходимость вооружения диктуется...» Андре нырял в этот шум, как в черную густую воду. Потом он долго стоял на мосту. Огни внизу жили второй, смутной жизнью, а Сена была чернильной. Поднялся ветер. Моросило. Андре вспомнил глаза Жаннет — какая необычная женщина!

Дойдя до угла улицы Шерш-Миди, он зашел в «Курящую собаку»: купить пакет табаку. Там было светло, шумно; неожиданно Андре сел, заказал рюмку кальвадоса. Спирт обжег нёбо, и Андре удовлетворенно усмехнулся: ему хотелось отвлечь себя от долгих, как бы непроходимых мыслей; это было для него новым и непонятным ощущением. Он выпил три рюмки и собирался было уходить, когда к нему подошел худощавый белобрысый человек в широком пальто:

— Простите, я плохо говорю по-французски. Я долго колебался, прежде чем подойти, хотя я вас встречаю почти каждый день: я живу в одном доме с вами, на третьем этаже, у госпожи Коад. Я видел в «Салоне» ваши работы; огромное впечатление; в особенности пригородные пейзажи — серые тона...

Андре сухо спросил:

— Вы критик?

— Нет, ихтиолог. Разрешите представиться: Эрих Нибург из Любека.

Андре удивленно посмотрел: светлые наивные глаза, коротко подстриженные усы, крахмальный воротничок.

— Не понимаю...

— Я немец.

— Я не про то. Вот это — на «лог»... Вы сказали, что ваша специальность?..

— Рыбы.

Это показалось Андре смешным, и он громко засмеялся.

— Ах, рыбы! Давайте установим: вам нравятся пейзажи Фонтенэ-о-Роз, особенно серые тона, а вы в Любеке занимаетесь рыбами. Знаете, получается галиматья. Впрочем, присаживайтесь! Кальвадос пьете? Вот это хорошо! А госпожа Коад, кажется, стерва. Что же, вам пришлось эмигрировать?

— Нет. Я приезжал в командировку, на четыре месяца. Работал в Институте рыбоведения. Завтра возвращаюсь в Любек. Вам это не нравится?

— Мне? Мне все равно. Я лично в рыбах ничего не понимаю. Бывают красивые, это правда, и вкусные. А остальное — это ваше дело. Если вам Любек нравится, живите в Любеке. Нравится Париж, можно прожить и в Париже...

Немец охмелел после одной рюмки; его светлые глаза остановились. Он вынул папиросу, но не закурил. После долгого молчания он сказал:

— Дело не в том, что человеку нравится. Я Париж полюбил. Может быть, я его даже понял. Дело в другом — где человек родился, хотя это вне сознания и вне выбора. Я, например, родился в Германии; поэтому я

люблю немецкий язык, немецкие деревья, даже немецкие сосиски. Вы родились во Франции, и вы...

— Вы думаете, что я люблю Францию? Вряд ли. У нас никто об этом не думает. Понятно, учат в школе, говорят на официальных церемониях: «наша прекрасная Франция» или «отечество в опасности», но мы зеваем. Или смеемся. Один вам скажет, что в Москве лучше, другой — что в вашем Любеке замечательно, а о Париже не говорят, в нем живут, и точка.

— Неужели вы не любите вашей страны?

— Я об этом никогда не думал. В ту войну людей, кажется, отчаянно обманывали; у нас говорят: «череп трухой набивали». Не знаю... Может быть, и не обманывали. Дедушка когда-то рассказывал о семидесятом годе. Они кричали: «Да здравствует Франция!»; но ведь это под штыками — тогда в Нормандии стояли пруссаки... Я сегодня был в одной компании, славные ребята; только любят пофилософствовать, это они меня так настроили: весь вечер говорили о войне. Чудаки, уверяют, что скоро будет война.

— Обязательно. Я еще прошлой весной ждал... Хорошо, что год подарили. Мы с вами попали в неудачное время: война, потом снова война, а между двумя войнами — куцая жизнь. Я вот радуюсь, что повидал Париж, пока...

— Пока...

— Пока Париж на месте.

Андре встал.

— Вы тоже чудак. А к кальвадосу вы не привыкли, вот и придумываете разные ужасы... Желаю вам успеха с вашими рыбами.

Ушел Андре потому, что вдруг вспомнил Жаннет, ее голос, доходящий как будто издалека, придающий каждодневным словам глубокое значение. Он взбежал по темной винтовой лестнице и кинулся к приемнику. Гнусавый тенорок пел: «Микстура Бальдофлорин исцеляет мигрени и сплин...»

Андре сел на табурет и закрыл лицо рукой. Он долго сидел так; вдруг вздрогнул: раздался знакомый голос. Он искал глаза Жаннет, но перед ним светилась шкала: «Лейпциг», «Рим», «Пост паризьен». Он услышал: «Чем больше я пытаюсь все чувства глубоко сокрыть, тем больше

сердце раскрываю...» Потом Жаннет два раза повторила: «ребячество»; и вслед какой-то бас стал требовать, чтобы все перед обедом пили вермут «мартини». Это было настолько неожиданно, что Андре рассмеялся. Он ходил по мастерской и повторял: «Хорошо! Буду пить мартини. Раскрою сердце. Ребячество»... А приемник грозил: «Германская авиация... Кризис Лиги наций... Противовоздушная оборона...»

Андре подошел к раскрытому окну. Мартовская ночь была бурной на Ламанше; кренились суденышки, и рыбаки в страхе сжимали ладанки. Морской ветер доходил до Парижа; казалось, он треплет дома. Ветер оставлял соль на губах. Андре вырос недалеко от моря; там сейчас томятся яблони, сок медленно подымается по стволу, а ветер сводит деревья с ума. Какой нелепый вечер! «Новый гуманизм», жуки, восстание, война... Неужели все это правда? Немец сказал: «Пока Париж существует...» А Жаннет? Она может попасть под машину, простудиться. Хрупкий мир, до чего хрупкий! Они спорят об идеях — звездочеты, камни! Любить можно только яблоню — там, в Нормандии, где бури. Яблоню и Жаннет.

3

Люсьен привез Пьера в неуютную холодную комнату, богато обставленную; чувствовалось, что жильцы здесь часто меняются и никого не трогают ни шкаф-рококо, ни гравюры с жокеями и с борзыми. Люсьен жил у родителей; эту комнату он снял для Жаннет, но говорил: «Моя квартира». На широкой софе лежали том Энгельса и большая кукла, сделанная из пестрых лоскутов.

Люсьен достал несколько бутылок, приготовил коктейль. Пьер заговорил о театре: он увлекался Шекспиром. Люсьен его перебил:

— Все это придется отложить лет на сто. Жаннет вчера декламировала: «Вы можете не взять меня в подруги, но быть рабой вы мне не запретите...» А Миранде лучше замолчать: слово принадлежит товарищу Калибану.

Он погасил недокуренную сигарету и вдруг другим, более простым голосом сказал:

— Придется порвать с отцом. А это нелегко... Но сегодняшний доклад... Потом через несколько дней выйдет моя новая книга... Надо выбирать! Я не понимаю таких людей, как Андре: при крупной игре не пасуют.

— Андре будет с нами. Ты его не знаешь, это хороший человек, только он тяжел на подъем. Тебе это может показаться смешным, но я иногда думаю, что все будут с нами, решительно все. Я теперь работаю на заводе «Сэн», и мне пришлось столкнуться с Дессером. Исключительно интересный человек! Если рассуждать прямолинейно, это наш враг. Один из самых крупных капиталистов. До шестого февраля он поддерживал «Боевые кресты». Но я по себе знаю, как легко ошибиться... Такой Дессер многое понял. Он слишком умен, чтобы защищать гиблое дело. Еще год, и он окажется с нами, увидишь! Виар прекрасно сказал: «Мы, социалисты, добьемся сотрудничества всех французов».

Люсьен потеребил куклу, зевнул:

— Разумеется. Для этого надо сначала расстрелять Дессера, а потом повесить Виара.

Пьер вскипел. Он бегал по длинной комнате:

— Так вы оттолкнете всех! Люди разные, они по-разному к нам приходят. Надо это понять!.. У нас на заводе есть механик Мишо. Замечательный человек! Но фанатик. Для него Дессер — капиталист, и все тут. Коммунисты...

— Я предпочитаю коммунистов Виару. Это храбрые люди. Только и они отравлены политической кухней. Что такое Народный фронт? Старушку Марианну потащит тройка. Коренник — гражданин Виар, пристяжная слева — твой механик. Справа? Пожалуй, впрягут моего отца. Торжество терпимости... (Он вдруг засмеялся.) Я вспомнил нашего учителя истории, как он торжественно сказал: «Великую революцию погубила нетерпимость». А толстяк Фредо поднял руку: «Меня губит терпимость, то есть дома терпимости». Его хотели выгнать—помнишь?

Они стали припоминать давние проказы. Люсьен подливал коктейль. Пьер размяк. Неожиданно для себя он начал рассказывать о своей любви:

— Я должен тебя познакомить с ней. Ты говоришь «восстание»... Вот такая пойдет на баррикады... У нее отец — рабочий, он знал хорошо Жореса, сидел в тюрьме.

Она — учительница в Бельвиле. Если бы ты видел, как ее там любят — и ребятишки, и взрослые! Она все переменила...

Люсьен улыбнулся:

— Очередной припадок или решил жениться?

— Брось шутить. Это очень серьезно. Для меня это вопрос жизни. Но между нами ничего нет. Аньес даже не подозревает...

— Еще Жюль Лафорг сказал: «Женщина — существо таинственное, но полезное».

Пьер возмутился:

— Значит, для тебя?..

Он не договорил: вошла Жаннет. Она сняла шляпу, перчатки; повертелась у зеркала; закурила; все это молча; потом сказала:

— Почему ты не позвал Андре?

Люсьен рассердился, но промолчал. А Жаннет, отодвинув стакан, обратилась к Пьеру:

— Как он вас развлекал? Рассказывал о благородстве своего отца? Или подготовлял за коктейлем восстание?

Люсьен удивленно посмотрел на Жаннет:

— Что с тобой? Откуда столько иронии?

— Иронии? Никакой. Просто мне скучно.

Пьер заерзал:

— Я пойду, мне ведь приходится вставать в шесть...

4

Мишо восхищенно сказал Пьеру:

— Вот это станок!

Потом они заговорили о политике. Пьер, как всегда, превозносил Виара. Мишо слушал молча. Это был коренастый человек лет тридцати; кепка; серые насмешливые глаза; на нижней губе погасший окурок; рубашка с короткими рукавами, видна татуировка: якорь и сердце — Мишо служил во флоте. Он хорошо работал, но язык у него был острый; на заводе его уважали, да и побаивались.

Пьер говорил с механиком, как со старшим; он волновался — одобрит ли Мишо последнее выступление Виара? Мишо отмалчивался.

— Вы, может быть, не согласны с лозунгами?

— Почему? Это — лозунги Народного фронта. А на слова Виар мастер.

— Значит, не доверяете?

— Теперь — Народный фронт. Это — часть официальная. А если по душам... Часы или кошелек я ему доверю. Но не наше дело!..

— Я вас не понимаю, Мишо. Этот станок не ваш, не наш, а «Сэн», Дессера. Изготовляем мы моторы для бомбардировщиков, то есть для войны. Но для станка вы найдете ласковое слово. А о человеке, который всю свою жизнь посвятил нашему делу, вы говорите, как о враге.

— Станок — это не только денежки Дессера, это вещь, и хорошая. Сейчас не наш, завтра, может быть, будет нашим. За ним стоит присматривать. С бомбардировщиками тоже дело темное: против кого будут воевать, кто, как? А с Виаром все ясно. Сейчас мы вместе: это выгодно и ему, и нам. Потом или мы его пошлем к чорту, или он нас. Не знаю, кто первый... Одно бесспорно: если мы его во-время не приставим к стенке, он нас всех перестреляет. И еще как! Ну, я разболтался, а надо пресс проверить.

Пьер думал об этом разговоре, когда шел после работы к Аньес. Был час сумерек; все тогда кажется невесомым, призрачным; старые дома, днем, как сыпью, покрытые пятнами, становятся голубыми холмами; лица, измученные, обезображенные годами и горем, грубо расцвеченные косметикой, выглядят прекрасными: зримого мира касается очарование искусства.

Слова Мишо казались Пьеру нестерпимо сухими. Может быть, Мишо и прав, но тогда все неинтересно — и борьба, и победа. Тотчас Пьер спохватился: нет, Мишо не прав! Достаточно вспомнить жизнь Виара, как он отказался от розетки «Почетного легиона», как его травили шовинисты. Этот человек не пойдет на компромисс!

Пьер не понимал Мишо, его мысли, извилистой и, однако, прямой, похожей на горный ручей, сверлящий камни. Мишо был парижанином, насмешливым и строгим. А Пьер родился на юге, среди виноградников Русильона. Его отец был метранпажем в Перпиньяне. Там много резкого света, земля рыжая, а море настолько синее, что оно кажется расплавленной эмалью. Пьер

любил громкий смех, порывистые движения, бурные слезы, стихи Гюго, предания об якобинцах, на эшафоте произносивших пылкие монологи, всю внешнюю, выразительную красоту жизни.

Глядя на каштаны бульвара, едва проступавшие сквозь синий туман, взволнованный началом весны, он говорил себе: мы победим, потому что людям хочется счастья, тепла рук, дружбы, доверия! Он вспомнил свои полудетские стихи: «Ветер и борьба — черный хлеб жизни...» Его мысли невольно обратились к Аньес: как она его встретит?

Пьер, живший вслух, склонный на словах преувеличивать все свои переживания, терялся перед сосредоточенным молчанием этой девушки. Он говорил себе: я не могу без нее жить! Он даже Люсьену рассказал о своей любви. Но ни разу он не посмел высказать свои чувства Аньес. Он часто приходил к ней, рассказывал о собраниях, о книгах, о моторах, расспрашивал про школу, про ребят. Вдруг они замолкали; слышно было, как дождь бьется о чердачное оконце.

Однажды он осмелился спросить: «Вы испытали это?» — перед тем он ей рассказывал о романе Гамсуна. Втайне он надеялся, что она ответит: «Да. Теперь». Отвернувшись, Аньес угрюмо сказала: «У меня был любовник». С того дня к томлению прибавилась и ревность; Пьер толковал грусть Аньес, ее отчужденность, как тоску по неизвестному сопернику.

Зажглись фонари. Пьер подымался по улице Бельвиля. В окнах колбасных каменели свиные головы, убранные бумажными розами и залитые фиолетовым светом. У входа в кино нарисованная красавица, сжимая руку матроса, плакала чересчур крупными слезами. В десятках кафе нежно звенело стекло, а шары метались по зелени бильярда. Вечером эта улица блистала трогательной мишурой. От нее шли узкие темные переулки, похожие на каналы; там стояли запахи маргарина, лука, мочи; арабы играли в орлянку; переругивались старухи; дети и коты кричали. Это был один из самых бедных кварталов города; нищета здесь была лишена романтики; она сводилась к заплатам на заплатах, к пустой похлебке, к кропотливому подсчету дырявых су.

В одном из окаянных переулков недавно построили новый дом: для лавочников, служащих, чиновников. Крохотные квартиры были оклеены яркими обоями и заставлены причудливыми креслами: убогая роскошь. Верхний, седьмой этаж, как в дорогих домах, отвели под комнаты для прислуги; но лавочницы и жены делопроизводителей стряпали сами, и комнаты на чердаке сдавались одиноким беднякам. Здесь проживали безработный бухгалтер, старая массажистка, неудачливый коммивояжер; здесь жила и Аньес Лежандр, покорившая сердце Пьера.

В ее комнате стояла узкая складная кровать; стол, на нем кипа школьных тетрадок; два соломенных стула; умывальник. Стены голые: ни гравюр, ни фотографий. На полке книги: учебники, словарь, «Госпожа Бовари», биография Луизы Мишель. В оконце было видно небо с туманной, как бы театральной луной.

Трудно было назвать Аньес красивой: чересчур большой выпуклый лоб, серые близорукие глаза, вздернутый нос, красные рабочие руки; но была в ней привлекательность скрытых чувств, стойкости, воли к труду, может быть и к жертве; когда она улыбалась, ее лицо сразу становилось милым, простеньким — девушка, которая любит утро в лесу и ягоды, которую легко обмануть, обидеть. Улыбалась Аньес редко: не от веселья, но от глубокого спокойствия, а в минуты большой радости плакала.

Никогда еще Пьер не видал Аньес такой хмурой. Он рассказал ей о выступлении Люсьена. Она угрюмо сказала:

— Гадость! Они играют на имени его отца...

Пьер пытался спорить; говорил об искренности Люсьена, о конфликте между двумя поколениями, о необходимости пропаганды; но Аньес упрямо отвечала:

— Политика — это низость. Игра. А люди гибнут...

Пьер подумал: наверно, она влюблена в эстета. Он должен, наконец-то, узнать, кто его соперник.

— Скажите, человек, о котором вы раз упомянули?.. Вы знаете, про кого я говорю... Он что — поэт?

— Нет. Москательщик. Зачем вы об этом заговорили? Да еще сегодня... Мне и без того худо.

— Вы думаете о нем?

Аньес не ответила. Она посмотрела на Пьера, и глаза

ее, обычно беспомощные, как у всех близоруких, стали жесткими, почти неприязненными. Она сухо сказала:

— Я сегодня узнала, что меня выгоняют из школы. Как видите, все куда прозаичней.

— Вас выгоняют?..

Пьер негодовал: ему было тесно в этой маленькой комнате; он выкрикивал:

— Кто вас выгоняет?.. Да как они смеют?.. Этого не может быть!..

Аньес рассказала: циркуляр министра. Один из родителей, владелец москательной лавки, заявил, что его сына заставили в школе написать «возмутительное сочинение».

— Вот прочтите... Мальчику восемь лет.

Пьер читал вслух: «У нас было шесть щенят. Мама утопила пять. Она сказала, что нехватит молока. Рене сказал, что у него скоро будет сестрица. Рене говорит, что у них нет молока. Я думаю, что сестрицу Рене тоже утопят. Когда я был маленьким, у нас было много молока. Мама говорит, что, когда я буду большой, меня убьют на войне. Я люблю играть в мяч и кататься на карусели».

— Я сказала детям: «Напишите, как вы живете». Много замечательных ответов. Вы как-нибудь посмотрите... А в циркуляре сказано: «антипатриотический дух». Меня сегодня вызывали к инспектору: «Перемените характер воспитания, тогда мы будем ходатайствовать о смягчении санкции». Я отказалась.

— А меня вы упрекаете за «политику»!

— Это не политика, это правда. Политики я не люблю: там все, как из гутаперчи, — можно сжать или растянуть; неизвестно, что плохо, что хорошо; говорят, говорят, а люди не меняются...

— Что же вы теперь будете делать?

— Я умею шить. Пойду в мастерскую.

Она тихо добавила:

— Хуже другое — я люблю эту работу. Я девочкой тогда была, но помню, как отец горевал. Он работал у Рено. Они бастовали, долго — мама плакала, что нечем нас кормить. А отец не унывал. Продал часы, угощал нас колбасой, шутил, пел — тогда песенка была про бегемота, который стал сенатором. Все-таки они сдались. Отца не

взяли: «зачинщик». Он всю зиму ходил без работы; какая-то работенка перепадала — то починит швейную машину, то еще что. Но он ходил в цех и просил: «Пустите, я даром поработаю...» Он и нам говорил: «Я по машине скучаю».

Они молчали. Внизу кто-то одним пальцем играл на пианино модный романс «Все прекрасно, госпожа маркиза». Пьер стоял возле стола. Детская тетрадка; малыш нарисовал человеческую мечту: синее море и кораблик. Пьер вдруг взял руку девушки:

— Аньес!..

Он столько месяцев не мог решиться; он думал, что нужно говорить, убеждать, доказывать; а теперь он только назвал ее по имени — больше у него не было слов, и Аньес все поняла; ее рука ответила руке Пьера.

— Милая!.. Вы знаете, я так намучился! Не умел сказать...

— Я думала, что это только я, что вам все равно... Мне казалось, что я в вашей жизни случайно, что у вас другая, другие... Не понимала, почему вы приходите...

Давно уже замолкло пианино; уснули все семь этажей; уснули злосчастные переулки; люди, в кино посмеявшись и поплакав, разошлись по домам; пропыхтел последний автобус; только луна все еще висела над крышами, как забытый фонарь, да кричали коты. Пьер вдруг вспомнил: у нее был другой! Она сказала: «Москательщик». Но ведь и донес на нее владелец москательной... Совпадение? Нет, тот самый! Захотел отомстить. Какой страшный человек! Наверно, сечет сынишку. Стриженые усы с проседью, брюки в полоску, благонамеренный, запросто заходит в участок. Она жила с таким!.. Пьер весь съежился, притих; это было, как возврат головной боли.

— Пьер, о чем ты думаешь?

— О нем. Ты сказала — москательщик...

— Да, Дюваль, он донес инспектору.

— Я не про то... Про любовь.

— Какой глупый! Поверил? Я сказала первое, что пришло в голову. Думала о доносе, вот и ответила: «москательщик».

— Но кто он?

— Ты. А до тебя никого.

Он обнял ее и вдруг щекой почувствовал, что она плачет.

— Аньес, тебе грустно?

— Глупый! Мне хорошо.

5

Окна глубокой комнаты выходили на глухой двор; часто приходилось с утра зажигать электричество. Большой стол был завален папками, газетными вырезками, письмами. Под бумагами неожиданно оказывались пепельница с окурками, полицейский роман или сиротливая перчатка: хозяин не любил, чтобы на столе прибирали. Мебель была случайной: шкаф-ампир, кресло-модерн из металлических трубок, разрозненные стулья. На стене висел пейзаж Марке: зеленовато-серая вода и старая лодка; рядом — карта, вся исцарапанная красным карандашом, с кружками нефтяных промыслов и треугольниками шахт. Здесь работал один из подлинных властителей Франции, финансист Жюль Дессер.

Дессеру было под пятьдесят: одутловатый человек с пронзительным взглядом под густыми, низко нависшими бровями. Иногда он выглядел много старше: бросались в глаза отеки, болезненная серость кожи, сутулость; иногда ему нельзя было дать и сорока: у него были движения юноши и поразительная живость глаз. Одет он был небрежно, много пил и не выпускал изо рта короткой прожженной трубки.

В отличие от других представителей денежной знати, Дессер не любил показной славы; он не подпускал к себе репортеров и фотографов; упорно отказывался от политических выступлений; отрицал свое влияние на государственные дела, хотя ни одно правительство без его одобрения не просуществовало бы и месяца. Дессер предпочитал кулисы. Невидимый, при помощи людей, широко им оплачиваемых и преданных ему, он диктовал законы, направлял иностранную политику, выбирал министров, а потом сваливал их.

Сила Дессера складывалась из цифр, их сплетения, их противоречий; здесь были и капиталы, вложенные в железные дороги Польши, и американская нефть, и каучук

Индо-Китая, и владельцы авиационных заводов, заинтересованные в росте вооружений; здесь были биржевики, отвечавшие на каждую воинственную речь Гитлера радостным ажиотажем; короли боксита, продававшие в Германию сырье; трест обувных фабрикантов, мечтавший об уничижении сапожного императора Бати, а с ним заодно и Бенеша; либеральные текстильщики, готовые предоставить неграм гражданские права, лишь бы негры облачились в импортированные кальсоны; непримиримые воротилы «Стального синдиката», взывающие к авторитету римского папы, чтобы сохранить низкую заработную плату; здесь была война между шоссе и железными дорогами, пустые поезда и крахи автобусных компаний, мукомолы, богатевшие на канадской пшенице, и шовинизм землевладельцев округа Босс, требующих заградительных пошлин; здесь был клубок различных интересов, который бился, как человеческое сердце.

Дессер знал цены на хлопок и на цинк, знал, сколько надо заплатить тому или иному министру; его голова, как жужжанием мух, была заполнена цифрами: но никогда он не подсчитывал своих барышей; он работал над деньгами, как скульптор над камнем. В своей личной жизни он был скромен, семьи не имел, не занимался благотворительностью. Он мог бы прожить на заработок одного из своих служащих. Каучук или медь были для него отвлеченными понятиями. Он как-то спросил, где находится Сайгон. Наверно, он не сумел бы отличить пшеницу от овса.

Дессер окончил политехникум; года два он проработал как инженер и в душе считал, что деньги его погубили: ради них он изменил своему призванию. С болезненной мнительностью он следил за тем, как Пьер или другие инженеры принимали его замечания; будучи самолюбивым, он говорил: «Не обращайте внимания на мои слова — я дилетант...»

По природе Дессер был человеком страстным, влюбленным в опасность. Он мог бы стать летчиком-испытателем, путешественником или демагогом, помышляющим о государственном перевороте. Да и в своем деле он ценил риск: неожиданные реакции биржи Лондона или Нью-Йорка, похожие на капризы взбалмошной кокетки, сговор вчерашних врагов за спиной у вчерашнего друга, провал

дипломатической конференции, словом, все, в чем легко было просчитаться.

Казалось, такой человек должен был пристраститься к фашизму, с его философией фатализма, с его культом иерархии, с его наклонностями к авантюре и сугубо трагическими декорациями. Действительно, до шестого февраля Дессер отпускал довольно крупные субсидии вожакам «Боевых крестов»; это было, однако, ходом игрока — он хотел свалить кабинет. Достигнув цели, он преспокойно сказал своему недавнему другу Бретейлю: «Теперь вам придется забыть мой адрес». Он «полевел», и это было последней сенсацией парламентских кулуаров; говорили даже, что он якшается с Виаром. Однако любимцами Дессера были радикал-социалисты — огромная и рыхлая партия «средних французов», объединявшая крупных негоциантов и бедных виноделов, знаменитых профессоров и полуграмотных лавочников; партия, изобиловавшая ораторами, которые в захолустьях разыгрывали кто Дантона, кто Гамбетту; радикальная партия, пуще всего боявшаяся радикальных мероприятий. Дессер ни по положению, ни по способностям не был средним французом, но болтовню этих прирученных якобинцев, за которой следовала трезвая кропотливая работа, он любил, как почву и воздух Франции. Он говорил: «Я циник». Однако у него был политический идеал: он хотел сохранить ту страну, которую знал с детства; ее богатство и косность; непоколебимые устои семьи, с интимными драмами, с ревностью, опережающей любовь, с эпическими тяжбами о наследстве; приятную скуку провинциальных городов; беспечность и в то же время бережливость, даже скаредность хозяек; трудолюбие, принуждающее зажиточных стариков копать грядки или чинить рыбачьи сети; цветники рантье с душистым горошком и зеленый горошек, равного которому нет в мире; жизнь, посвященную удочке, без надежды вытянуть хотя бы пискаря; мировые интриги в буфете парламента и академические споры — какой аперитив полезней для желудка; протекции, круговую поруку масонских лож, кумовство, придающее высокой политике уют и фамильярность; иронию, распространяющуюся на бога и на медицину, на Францию и на собственную жену.

Вероятно, в этом сказалось происхождение Дессера: человек, которого знали в Нью-Йорке, даже в Мельбурне, был сыном содержателя небольшого кафе «Свидание друзей» в Анже; там перед выборами кандидаты обхаживали избирателей; старожилы рассказывали о бедах прошлого века: о наводнении, о тигре, убежавшем из зверинца, о войне; а влюбленные, благословляя тусклость газового рожка, обменивались жаркими поцелуями. Отец Жюля Дессера не увидел величия своего отпрыска: он умер на войне от тифа. Нажив миллионы, Жюль Дессер остался верен привычкам детства: он отдыхал душой, играя в шашки со стариком садовником; обедая, он куском хлеба подбирал соус с тарелки; иногда в воскресный день ему удавалось выбраться за город; маленькие кафе на Марне или на Сене были сродни «Свиданию друзей», и Дессер, сняв пиджак, танцовал с потными, раскрасневшимися белошвейками.

Дессер жил под Парижем в небольшом поместье. Он вставал с петухами, шел на кухню и там закусывал помидором или куском сыра, запивая его белым вином. Прочитав газеты, он уезжал в Париж. Он улыбался школьникам и собакам, но вскоре цифры заслоняли все. До десяти он работал над сводками и телеграммами. Затем начинался прием. Гостиную, неуютную и пышную, похожую на приемную светского дантиста, хорошо знали министры, дипломаты, финансисты Парижа.

В то утро приема ждали два банкира и советник румынского посольства. Пьер в смятении развернул газету и притворился, что увлечен статьей о женевских санкциях: ему казалось, что другие посетители видят, зачем он сюда пришел.

Лакей торжественным шопотом возвестил: «Господин Пьер Дюбуа» — Дессер принял Пьера первым. Ему нравился Пьер, его внешность порывистого южанина, наивные речи, особенно его бедность: способный инженер, едва сводивший концы с концами, напоминал Дессеру его молодость. Кроме того, Дессер хотел показать банкирам и дипломату, что в этой гостиной они не гости, но просители.

Он встретил Пьера ласково; тот мялся, не зная, с чего начать. Сбивчиво и чересчур пространно он рассказал Дессеру, как министр уволил Аньес.

— Дело не в том, что это моя знакомая... Конечно, я не скрываю, что меня интересует ее судьба... Но ведь это вопиющая несправедливость!..

Дессер улыбнулся:

— Справедливости, мой друг, нет. Что касается особы, о которой вы говорите, это дело мы сейчас уладим.

Он взял трубку телефона, набрал номер.

— Попросите господина Тесса. Дессер. Здравствуй, дорогой! Как супруга? Спасибо. У меня к тебе просьба. Ты, наверно, сегодня увидишь министра на комиссии. Да, да... речь идет об одной учительнице — Аньес Лежандр. Ее уволили за «антипатриотическое воспитание». Пустяки!.. Ты понимаешь, что теперь не время — накануне выборов! Потом все это очень условно... Завтра и нас, чего доброго, объявят анархистами. Или предателями из Кобленца. Чудесно! Теперь скажи — ты свободен сегодня к завтраку? Нам надо о многом поговорить. Великолепно! Я заеду за тобой ровно в час.

Дессер сказал Пьеру:

— Все в порядке. Госпожа Лежандр сможет воспитывать детей, как ей вздумается — коммунистами, толстовцами, дикарями. Итак, вы решили жениться?

— Нет. То есть да. Я не знаю... Но почему вы догадались?

— Вы ничего не делаете сегодня вечером? Зайдите за мной. Я ночую в городе, побродим, поговорим. А сейчас мне надо принять трех идиотов. Директор банка и Кастельон пришли насчет польского займа. Придется им сказать: просчитались! Во-первых, Данциг не стоит французского мизинца, во-вторых, поляки все раскрадут. Видали дипломата? Это — Малая антанта. Негуса «макаронщики» уже слопали. Вероятно, мы отдадим им и Балканы. Ничего не поделаешь — мы хотим мира. До вечера!

6

Депутат Поль Тесса был известен своим чревоугодием, и Дессер повез его в ресторан «Догарно», рядом с бойнями. Это было скромное на вид заведение с лучшими в Париже антрекотами и с первоклассным погребом. Здесь

завтракали крупные скототорговцы, знавшие толк в мясе. На стене висела доска: хозяин выписывал мелом, сколько голов скота было продано на бойнях и по какой цене. В «Догарно» приходили также тонкие гурманы, почетные члены гастрономических клубов, и снобы, которых умиляло сочетание высоких цен с грубыми манерами скототорговцев.

Дессер тщательно обдумал меню; он заказал устрицы, матлот из угрей, петуха в вине и, разумеется, антрекот. Предвкушая наслаждение, Тесса сказал метрдотелю:

— К антрекоту тот самый соус из мозгов, не правда ли?

— Конечно, господин Тесса.

Поль Тесса обладал изрядным аппетитом, но был худ; бледное длинное лицо с выдающимся подбородком и острым носом; вид больного или аскета. Однако это был бодрый, даже резвый человек. Если в буфете палаты депутатов слышался шопот, сопровождаемый раскатами смеха, можно было с уверенностью сказать, что это какой-нибудь нескромный коллега рассказывает о галантных похождениях пятидесятивосьмилетнего Тесса. При этом Тесса был отменным семьянином, обожал свою тучную супругу и детей — их было двое: Люсьен, причинявший отцу уйму хлопот, и красивая, но скромная студентка Дениз. Дочку Тесса боготворил. С неизъяснимой легкостью он переходил из будуара опереточной певицы в семейную спальню, где под распятьем, как алтарь, высилась двухспальная кровать, украшенная бронзовыми купидонами.

Этот тщедушный человек обладал зычным голосом приятного тембра. Он считался одним из лучших ораторов. На политическую арену он вышел относительно недавно, уже будучи знаменитым адвокатом. Тесса мог, показав на корыстного тупого убийцу, патетично воскликнуть: «Взгляните — перед вами исстрадавшийся мечтатель!» Присяжные сморкались и выносили оправдательный приговор.

В парламент Тесса был выдвинут радикалами одного из западных департаментов. Победа досталась легко: против Тесса боролись коммунист, слесарь депо, косноязычный и скупой на посулы, да отставной генерал, требовавший порки для несовершеннолетних. В палате Тесса

выступал редко. Дважды он отказался от министерского портфеля; не будучи уверен в будущем радикальной партии, он осматривался и выжидал. В кулуарах поговаривали, что он хочет порвать с радикалами и перейти в одну из правых группировок.

Для Тесса кресло депутата стало новым источником обогащения; он брал деньги у концессионеров и поставщиков; за приличное вознаграждение входил в правления акционерных обществ и прикрывал своим именем различные аферы — венецуэльские копи или плантации Мартиники. Он не был жаден, но любил широко жить, не отказывал ни в чем семье и любовницам, легко залезал в долги.

Тесса знал «весь Париж»; с тысячами людей он был на «ты»; он кормил послов и прокуроров, задаривал журналистов, охотно исполнял просьбы своих избирателей, добиваясь у министров то ордена для финансового инспектора, то патента на табачную торговлю для вдовы бравого жандарма, то отмены судебных преследований, возбужденных против чересчур прыткого шантажиста.

Тесса прожевал устрицу, выпил глоток вина и сказал:

— Эта учительница коммунистка?

— Не знаю. Но прямой угрозы для Третьей республики она не представляет.

— Ты циник. Шабли здесь чудесное! Ты, значит, не чувствуешь опасности? Напрасно! Я считаю, что выборы будут катастрофой. Радикалы идут на самоубийство: если победит Народный фронт, их сглотнут... (Он проглотил устрицу.) Даже в парламентской фракции они поддались этой моде. Я лично против... Выставляю мою кандидатуру как национальный радикал, но боюсь... (Он выжал над раковиной лимон и грустно вздохнул.) Боюсь, что меня не выберут.

— Ты уже начал кампанию?

— В субботу первое собрание. Сегодня вечером я уезжаю.

— Тогда все в порядке.

— Как это «все в порядке»?

— Очень просто — ты должен объявить себя сторонником Народного фронта.

Тесса в возмущении откинул салфетку и загрохотал, как будто на трибуне:

— Никогда! Лучше провал, гибель, все что угодно, но не предательство! Эти господа — заклятые враги Франции. Погляди — Блюм, человек, у которого даже имя не французское, хитрый и кровожадный; интриган Дормуа; Мок, с его жаждой разрушить транспорт; враг земледелия Монне; наконец Виар, на глазах у Гитлера призывающий к разоружению, Виар, который...

— Виар попросту болтун. Сделай его министром, и он сразу образумится.

— А коммунисты?

— Франция — страна индивидуалистов: рантье, лавочников, фермеров. Почему Жан или Жак голосуют за коммунистов? Жана обложили на шестьсот франков больше, чем следовало, а сына Жака не приняли в ветеринарный институт. Это — способ поворчать, и только. (Тесса, поглощенный рыбой, молчал.)

— Разве коммунисты могут положиться на тебя? Конечно, нет. Но они готовы поддержать твою кандидатуру: это военная хитрость. Почему же нам быть простачками? Они устроили Народный фронт с расчетом сначала уничтожить правых, а потом съесть нас. А мы перехитрим: мы разобьем на выборах правых и под шумок расквитаемся с коммунистами.

— Угорь действительно восхитительный! Но скажи мне, Жюль, почему нам нужно расколотить правых?

— Хотя бы потому, что их расколотят и без нас, если мы будем упрямиться — против нас. Видишь ли, политика — это маятник: налево, направо, снова налево. Наше дело присматривать, чтобы маятник не качнулся слишком далеко. В двадцать четвертом победили левые. «Картель», переносят Жореса в Пантеон, красные флаги. Два года спустя радикалы поворачивают направо, и к власти приходит Пуанкаре. В тридцать втором выборы ничего не дают. Ни один кабинет не может удержаться у власти. А в стране происходит поворот направо — это конец тридцать третьего. Каждый вечер на Сен-Жермене демонстрации. «Долой депутатов!» Кого травят справа? Радикалов. Разве тебя не пытались припутать к делу Ставиского? Наконец — шестое февраля. Кровь. За границей убеждены, что

Франция накануне диктатуры. Но маятник неожиданно меняет направление, и девятого февраля выступают коммунисты. Надо найти середину. Показывается старик Думерг, и маятник успокаивается. Но в стране процесс продолжается. На этот раз он глубже, следовательно длительней; он еще не закончился. Народный фронт должен победить и победит. Если он победит с нашей помощью, год спустя радикалы повернут направо, и все успокоится на три-четыре года. Позволь, я тебе налью бордо, это «Мутон-Ротшильд».

— Выходит, что я должен способствовать торжеству моих врагов?

— Знаешь пословицу: вино розлито, надо его пить. Иногда необходимо это вино разбавить водой. Конечно, не «Мутон-Ротшильд»...

Подали петуха. Тесса на несколько минут забыл о горестях политики — он отдался гастрономии:

— Ты знаешь, почему здесь петух в вине лучше, чем повсюду? Петух это несчастье, но мы, французы, придумали, как превратить старого, сухого петуха в изысканное блюдо: его тушат в вине. Все-таки курица нежнее петуха, и вот тебе секрет «Догарно»: ты ешь не петуха, но курицу. Ты спросишь, почему они называют курицу петухом? Скромность. А может быть, гордость. Во всяком случае, стратегия кулинара.

Дессер засмеялся:

— Тебе остается последовать этому примеру. Ты будешь национальным радикалом, но мы тебя подадим как сторонника Народного фронта — скромность или гордость...

— В общем это абстрактный разговор — все равно меня не выберут. Для настоящей кампании у меня нет ни времени, ни средств.

— Время ты можешь выкроить, тем паче, что ты жаждешь служить Франции. А насчет средств не беспокойся — все расходы по кампании я беру на себя...

Тесса не одобрял стратегии Дессера, но предложение показалось ему заманчивым. Он просиял и тотчас смутился: надо соблюдать достоинство! Но антрекот, с «тем самым соусом из мозгов», еще больше развеселил Тесса; а тут принесли бургундское... Неизменно бледный Тесса

порозовел. Ему хотелось поговорить о чем-нибудь приятном, например об актрисе Полет. Но, желая скрыть от Дессера свою радость, Тесса вспомнил семейные беды:

— Мой сын... (В его голосе почувствовались слезы. Кто знает, играл ли он, или вправду опечалился?)—Люсьен выступил с неприличным докладом. Мое имя теперь треплют во всех газетах. Я пробовал с ним разговаривать. Знаешь, что он отвечает? «Это классовая борьба». Ужасно: сын — и враг!

— Ты напрасно расстраиваешься. Люсьен перебесится. Какая же это классовая борьба, если он продолжает жить на твои деньги? Ты увидишь — он еще будет депутатом, даже «национальным радикалом». Я его встретил недавно у «Максима» с очаровательной курочкой.

— Люсьен у «Максима»? Шалопай! Ему тридцать два года, а он ничего не зарабатывает, пишет какой-то вздор для раешника. Я тебе говорю: такой может стать анархистом, бандитом — никакой морали! Меня утешает Дениз. Работяга! Она изучает что-то очень скучное, кажется романскую архитектуру. Девушка серьезная... Ты пробовал этот сыр? Как будто почтенный... Слышишь, как пахнет? Дали бы нам десять лет мира! Я боюсь, что все может сорваться. Если победит Народный фронт, будет война...

— Вряд ли. Воевать без союзников мы не можем. Мы хотим припугнуть немцев и заигрываем с итальянцами. Англичане применяют санкции к Муссолини, но щадят Гитлера. В общем придется пойти на уступки.

— Это невозможно! Какой француз согласится отдать Эльзас?

— Зачем Эльзас? Существует Малая антанта. Что, мы их даром кормили? В случае чего выдадим чехов. А Польша? Польшей тоже можно откупиться.

— На сколько? На пять, самое большее на десять лет.

— Зачем заглядывать вперед? Сейчас надо сохранить Францию, мир, богатство страны.

— Тебе хорошо — у тебя нет детей. Я с ужасом думаю, что ждет Дениз и Люсьена...

Это было декламацией — Тесса пил кофе и улыбался: Дессер оплачивает предвыборную кампанию, значит он, Тесса, снова будет депутатом. А мысли о будущем? Это легкая меланхолия после хорошего завтрака.

Дессер посмотрел: мутные глаза, покрытые испариной, острый нос, самодовольная улыбка. Ему захотелось подразнить Тесса:

— Ты хочешь знать, что ждет твоих детей? Может быть, рай, павлины в вине, прогулки на самолете в Гваделупу. А может быть, обыкновенная война, трудовые лагеря, каторга, смерть. Скорей всего — последнее. Но тебе теперь нельзя унывать: ты кандидат Народного фронта. Интересно, как ты будешь на собраниях подымать кулак?

Дессер рассмеялся и, желая смягчить чересчур грубую шутку, хлопнул Тесса по плечу:

— Довольно говорить об этой проклятой политике! Я видел вчера Полет. Тебе везет — это действительно самая красивая женщина Парижа.

7

После завтрака Дессер вызвал редактора-издателя крупной газеты «Ла вуа нувель» Жолио. Толстяк прибежал запыхавшись: он сразу понял, что предстоит серьезный разговор.

Жизнь Жолио была бурной. Много раз его привлекали к ответственности то за вымогательство, то за клевету; он всегда выходил сухим из воды: говорили, будто он слишком много знает о прошлом различных государственных деятелей.

Жолио был южанином. Отец его торговал в Марселе рыбой и морскими ракушками, пополняя доходы посильной помощью скупщикам живого товара. Жолио вырос в атмосфере игры; он презирал мораль, был суеверен и черных кошек боялся куда больше, чем следователя. Приехав в Париж юношей, он стал агентом мелкого страхового общества, существовавшего только благодаря тому, что оно не платило по полисам. Потом Жолио занялся литературой: в скабрезных журнальчиках он помещал статьи об интимной жизни сенаторов и финансистов. Зарабатывал он, главным образом, не тем, что писал, но тем, чего не писал: от него откупались. Жолио завел буржуазную газету «Ле финанс». Как-то он поместил в ней огромное

объявление: «Вносите ваши сбережения в кассу Алжирского кредита». На следующий день директор банка позвонил Жолио: «Почему вы печатаете объявление? Мы его не давали».— «Да, но мой долг рекомендовать читателям солидные банки».— «Помилуйте, вкладчики вынимают вклады».— «Ничего не могу поделать: долг выше всего». Час спустя директор вручил Жолио пятьдесят тысяч, и объявление исчезло. После этого Жолио вышел в люди. Родилась «Ла вуа нувель». Газета сначала дышала на ладан; Жолио сам писал все статьи; типограф хватал случайных посетителей и требовал денег. Затем начался расцвет: подписи знаменитых писателей, сенсационные репортажи, десять страниц объявлений. Газета то горячо поддерживала радикалов, то обличала их как «преступных масонов». В начале африканской войны Жолио оплакивал негуса. Вдруг в газете появилась восторженная статейка: «Цивилизаторская миссия Италии».

Жил Жолио, как птичка, не зная с утра, чем закончится день — пышным ужином или еще одной повесткой от следователя: совал нищенке сто франков; с сотрудниками расплачивался чеками без покрытия; покупал по баснословной цене картины Матиса, закладывал и перезакладывал фамильное серебро жены и поздно ночью один играл на гитаре попури из «Кармен».

Одевался он пестро: шелковая рубашка оранжевого цвета, васильковый галстук, а в нем булавка — золотая ящерица; несмотря на тучность, был подвижен; говорил с акцентом, коверкая слова на итальянский лад; и чем темнее была суть разговора, тем возвышеннее выражался.

Придя к Дессеру, он начал с пафосом превозносить заслуги своей газеты (он надеялся выклянчить тысяч десять):

— Среди повального безумия мы отстаиваем принципы порядка. Вы читали статью Лебе о растлевающем влиянии марксизма? К выборам я приготовил сюрприз: я заказал Фонтенуа серию очерков о распаде Советской России. Мы их подадим в виде репортажа: как будто Фонтенуа в Москве. Пришлось оплатить его поездку в Варшаву. Потом я раздобыл документ о Виаре: один домовладелец согласился засвидетельствовать, что Виар в молодости изнасиловал дочь почтальона. Это обойдется в десять тысяч.

Но вы представляете, какой эффект! У Дюшена смелое перо...

Дессер перебил:

— Перо придется повернуть. В новых автоматических ручках замечательные перья, их можно повернуть, пишут толще, но не скрипят... Теперь давайте говорить всерьез. «Ла вуа нувель» должна выступить за Народный фронт.

Жолио встал, вытянул руку и, едва дыша от волнения, сказал:

— Это невозможно! Я понимаю, что такое политика... Я сам не раз прибегал к обходным движениям... Но никогда я не изменял Франции! Вы слышите меня, господин Дессер, никогда!

— Бросьте, вы не на собрании! Я говорю с вами о деле. Вы обязательно хотите высоких слов? Пожалуйста! Победа Народного фронта в интересах Франции. В воздухе пахнет революцией. Если не открыть клапана, котел взорвется. Я не знаю, изнасиловал ли Виар дочь почтальона. Сомневаюсь — по-моему, он не жил и со своей женой, это евнух. Но Виар в оппозиции опасен, он рычит, как лев. Если ему дать портфель министра, он сразу научится блеять.

— Но ведь это катастрофа! Отдать Францию в руки людей, которые еще вчера отрицали родину!

— Погодите, вы затронули важный вопрос. Собственно говоря, для этого я и хотел с вами встретиться. Вы курите? В том, что «Ла вуа нувель» будет поддерживать Народный фронт, я не сомневаюсь — вы достаточно опытны и дальновидны. Притом я согласен притти газете на помощь.

— Но...

— Теперь о самом главном. Эти люди охвачены патриотической лихорадкой. Они ненавидят фашизм. Все это понятно, но опасно. Ваша газета должна стать органом пацифистов: братство народов, экономическое единство Европы, жизнь крохотных существ, которых не надо подвергать опасности, слезы матерей, все, что угодно, лишь бы мир! Мир во что бы то ни стало!

— Но роль Франции?..

— Лучше быть счастливой Андоррой, безмятежным Монако, чем развалинами Карфагена. Я не верю в победу

Франции. Мы устали, нам надоело влюбляться, ревновать, затевать драки. Это закон природы, и только Тесса способен в шестьдесят лет изображать мартовского кота. Вы скажете, что французы храбрый народ? Конечно! Когда-то они прошли с «Марсельезой» по всей Европе, об этом в школе учат. Но теперь мы разжирели. Мы слишком хорошо живем, боимся рисковать. Кто пойдет сражаться за престиж или за справедливость? Лаваль? Морис Шевалье? Вы? Одним словом, если Ремарк напишет еще один роман, покупайте права и по телеграфу. А за деньгами остановки не будет.

Жолио задумался; потом он воскликнул:

— Вы все же гениальный человек! Я не знаю, к чему это приведет, но меня увлекает идея: мир, мир во что бы то ни стало! Перековать мечи...

Дессер усмехнулся:

— Вы забываете, что я имею некоторое отношение к военной промышленности. Сотни тысяч французов живут делом. Притом, если мы ослабим военную продукцию, на нас нападут. Главное: сбить температуру — я повторяю: у них лихорадка свободы. Пишите, что войны хотят поставщики пушек, «двести семейств».

Жолио небрежно засунул чек в бумажник.

— Я напишу замечательную статью: «Дессер против «двухсот семейств».

— Глупо и неправдоподобно. Напишите лучше: «Дессер, как и прочие представители «двухсот семейств», жаждет потопить народ в крови». Это убедительней...

Улыбаясь, он добавил:

— ...Может быть, и верней.

Вбежав в редакцию, Жолио крикнул машинистке:

— Люси, с сегодняшнего дня я повышаю ваш оклад на триста, нет, на пятьсот франков!

Он был счастлив, ему хотелось, чтобы все кругом радовались. Весь день он отдавал приказы:

— Разыщите левых писателей с именем!

— Карикатуру на Муссолини!

— Что-нибудь трогательное о рабочих!

— Мемуары — ужасы Вердена!

— Скажите Фонтенуа — может не стараться. Пого-

дите, не надо говорить! Пусть пишет. Пригодится, не теперь, так через год.

Он ужинал на Монмартре; домой вернулся поздно и разбудил жену. Он принес ей чайные розы, которые купил в ночном ресторане; розы были полузавядшими и сильно пахли. Жолио шепнул жене:

— Четыреста тысяч! Это такое счастье!..

Потом он снял ботинки, надел ночные туфли, выпил залпом стакан минеральной воды и вдруг, с непонятной ему самому грустью, сказал:

— А Франция тютю!.. Теперь скоро конец... Недаром я сегодня встретил двух священников, это к беде.

8

Вечером того же дня всемогущий Дессер и скромный инженер Пьер Дюбуа шли по набережной Сены. Оба молчали. Пепельные тона, которые присущи Парижу, спокойствие, идущее от Сены с ее редкими огнями барж, каменный лес собора Нотр-Дам — все это располагало к молчанию. Они прошли мимо Аль-о-вэн; к свежему ветерку примешался терпкий запах вина. За оградой Зоологического сада в темноте кричали, встревоженные весною, звери. Замелькали огни автомобилей, мчавшихся по мосту к Лионскому вокзалу; и снова сгустилась синеватая сырая тишина.

Гармония между домами и рекой, старые названия узких улиц: «Улица деревянного меча», «Улица маленького монаха», «Улица двух гербов», тайна города, прожившего большую жизнь, по-разному волновали обоих. Дессер провел день с Тесса, с Жолио, с цифрами, с ложью; он угрюмо сутулился. Зрелище замирающего города он воспринимал как проводы, как те минуты, когда близкие рассаживаются вокруг сложенных чемоданов, не находя слов, способных преодолеть пустоту разлуки. А Пьер радовался вечеру и камням, как радовался он смутной, затаенной красоте Аньес. Распахнув пальто, он жадно дышал ветром. Эта весна казалась ему первой; никогда прежде он не знал такого большого и вместе с тем простого счастья. Он мог бы свернуть в одну из боковых

улиц и до рассвета рассказывать зверям Зоологического сада или реверберам о прелести, о сердечности, об уме Аньес.

Вместе с любовью иные чувства кружили голову Пьера. Как многие другие, он верил, что эта весна будет весной для его страны. Отец Пьера был социалистом. Мать рассказывала, как в Перпиньян приезжал Виар; он у них ужинал после митинга. Однажды отец вернулся домой весь в крови: они хотели спасти испанца Феррера от расстрела; жандармы избили демонстрантов. Пьеру тогда было семь лет; он проснулся ночью и, увидев кровь на щеке отца, заплакал. Отца убили на войне. Незадолго до смерти он писал жене: «Они заплатят за все — будет революция!»

Революция — это слово, как солнце в туманный день, томило сверстников Пьера. Когда началась война, они еще были детьми; вместе с толпой они жгли молочные «Магги», кричали «в Берлин!», восхищались шароварами зуавов и высокими неуклюжими такси, которые увозили солдат к Марне. Потом они увидали безногих, изуродованных, отравленных газами. Тыл вонял карболкой, чернел вдовьими платьями. Приезжая в отпуск, отцы говорили о вшах, о грязи окопов, о трупах, разлагающихся среди проволочных заграждений. Они упрямо повторяли: «Будет революция!» Начались солдатские бунты: голос «Авроры» дошел до Шампани.

Был короткий час радости, когда рожок горниста возвестил о перемирии. Подростки, вместе со взрослыми, всю ночь танцовали на улицах. Им говорили: «Вы-то будете счастливы...» Вернувшись домой, солдаты нашли равнодушие и скаредность. Начались забастовки. Испуганные буржуа травили революцию, как дикого зверя; все было пущено в ход: клевета и слезоточивые газы, демагогия и тюрьмы. Коммунист с ножом в зубах был нечистой силой, которой Пуанкаре пугал завсегдатаев «Кафе де коммерс» и фермеров.

Революция ушла в ячейки партии, в тесные кружки, в горькие раздумья обманутых бедняков. Изредка она напоминала о себе то стачкой шахтеров, то уличной перестрелкой. В горячий день тысяча девятьсот двадцать седьмого года она всполошила столицу: великодушный на-

род возмутился казнью Сакко и Ванцетти. Как птицы, взлетели булыжники, и еще раз парижская мостовая покрылась рабочей кровью.

Жить становилось все труднее и труднее. Кризис остановил ткацкие челноки и заселил призрачными постояльцами ночные бульвары. Прошло пятнадцать лет со дня перемирия, и революция снова выглянула на улицы Парижа. «Неужели и нас погонят на войну?» — спрашивали сверстники Пьера, выкинутые из жизни и рано состарившиеся.

Пьер плохо разбирался в политике; он доверял словам. Два года тому назад он чуть было не погиб за чужое дело: в темную февральскую ночь он принял ложь за правду. Вспоминая потом об этом, он мучительно краснел. Он говорил себе: «Я — сын рабочего». Теперь он боялся отстать от Мишо. Но кровь попрежнему его пугала. Слова механика казались ему чрезмерно взыскательными. Он хотел революции веселой и шумной, как майский дождь.

Возле станции метро стояла девушка; она нервно глядела на двери, на часы: кого-то ждала. У нее было лицо обиженного ребенка. Дессер вдруг сказал Пьеру:

— Значит, вы женитесь на учительнице?

Пьер не стал спорить; он и не спросил, как Дессер догадался о его сердечных делах. Пьеру захотелось выговорить вслух имя, заполнявшее тишину улиц; он ответил:

— На Аньес.

Дессер остановился, внимательно посмотрел на Пьера, на его черные глаза, на большие белки, на блаженную полуулыбку и тихо добавил:

— Я вам завидую.

— Но...

Он чуть было не спросил: почему бы и вам не жениться? Но во-время спохватился. Дессер понял.

— Это очень банально, но ничего не поделаешь... Меня любили до слез, до угроз покончить с собой; только любили не меня, а деньги. Что же прикажете делать? Скрывать, кто я? Раздобыть шапку-невидимку?

— Вы можете расстаться с деньгами. Ведь вы не спекулянт. Вы инженер. А если это для вас обуза...

— Нет, я деньгами дорожу. Почему? Наверно, потому, что деньги — власть. Не почести, настоящая власть, возможность решать все за других. Зачем мне это? Я сейчас сам пытаюсь разобраться... Обременительно? Да. Но приятно. И потом это — отрава, не явная, как у кокаинистов, но это входит в кровь, вроде сифилиса.

Они шли теперь по темной улице. Как воспаленный глаз, краснел фонарь полицейского участка. Женщина рылась в мусорном ящике. Накрапывал дождик. Дессер продолжал:

— Этим отравлены все, это общее несчастье, от этого никто не откажется, ни «двести семейств», ни двадцать миллионов. Будут драться. За Францию — нет, а за свои деньги — до последнего издыхания. Война? Не выйдет. И революция не выйдет. Люди боятся потерять. Вот у этой женщины ничего нет, ей не страшно. Но сколько таких? Их припугнут. Если надо будет, перестреляют. Впрочем, не потребуется; народ у нас битый, то есть ученый, да и неглупый народ.

— Как можно жить с таким презрением к людям? Их обманывали, но теперь они начинают понимать. На что они надеются? Только на революцию! На вашем заводе тысячи прекрасных людей. Это не бродяги, которым нечего терять. У них работа, семья, квартира, у многих маленькие сбережения. Но они все отдадут, только чтобы покончить с этим... (Пьер показал на женщину у мусорного ящика.) Иногда мне кажется, что люди — глина. Прежде лепили богов, животных, теперь мы пытаемся вылепить человека.

— Люди не глина, но чевинг-гум — жевательная резина. Поэтому все меняется и все остается. Да что, собственно говоря, меняется? Названия. Настоящее изменение — это смерть. Смерть действительно все меняет. Поэтому я и боюсь смерти. Не понимаю самоубийц. Впрочем, я не то хотел сказать... Вы говорите: «революция», но это и есть смерть, не только для меня, для миллионов.

Они замолкли. Сквозь прикрытые ставни просачивался теплый свет. В нижнем этаже ставни были раскрыты: лампа, под ней круглый стол, люди обедали, женское лицо, усталое и красивое.

Дессер снова заговорил:

— Мне страшно, что это может погибнуть. Не здания... Собор Нотр-Дам? Лувр? Конечно, это — красота, слава. Но мне жалко другого, того, что в этих домах, счастья, может быть, иллюзии счастья, во всяком случае спокойствия, тишины, когда слышно, как дышат рядом. Жалко крестин с миндальными конфетами, свадеб — под ноги кидают цветы, даже похорон, когда с кладбища идут закусить горе сыром. Это — есть, и это может исчезнуть — от бомбы, от первого уличного выстрела, от истерики Гитлера, от поднятых кулаков, от какой-то случайности. Конечно, сто лет спустя ее назовут «исторической неизбежностью»... Я вас здесь покину.

Он протянул Пьеру руку в мокрой кожаной перчатке и быстро зашагал к набережной. Разговор его утомил; он упрекал себя за неуместные признания — беседовать с влюбленным инженером о судьбах человечества!..

Он пошел к центру города. Огни бульваров загорелись, как солнечный день. В витринах жили вещи, блестящие и пестрые. Сине-лиловые карлики, змеи, буквы метались по фасадам домов, расхваливая аперитивы или зазывая в теплое Марокко. Люди толпились, как будто не знали, куда им итти дальше; их повторные движения напоминали круги рыб в аквариуме. Киоски были облеплены газетами на двадцати языках. Дессер посмотрел: «Народный фронт требует... Угроза военного конфликта...» Он лениво зевнул. Все здесь было понятным: он знал цену домов, реклам, акций, дивиденды марокканских железных дорог или прославленных горько-сладких напитков. И все здесь принадлежало ему: квадратные метры, автомобили, газеты, улыбки. В своем царстве он — прохожий, которому ничего не надо, фокусник, ставший на час марионеткой... Сохранить вот это? Конечно! Но какая тоска!..

9

Очередная лекция профессора Мале была посвящена романской архитектуре Пуату. Мале читал вечером; его лекции были открытыми, и в аудитории, рядом со студентами, сидели люди постарше: любители архитектуры; самоучки, посещавшие все лекции, с пухлыми тетрадками,

в которых корни санскрита перебивались биномами; наконец просто бездомные, заходившие на огонек — погреться, подремать. Некоторые записывали каждое слово Мале, другие зевали или перешептывались; старушка, забравшись на верхнюю скамью, вязала.

Механик Мишо аккуратно посещал лекции Мале: он с детства любил архитектуру; много думал о расчете, о пропорциях, о материале. Как будто он понимал все; но при виде зданий, которые ему нравились, он чувствовал, что, помимо ясности и стройности, пленявших его в моторе, архитектура обладала другими свойствами, она волновала, как черты человеческого лица или как лес. Мишо надеялся, изучая историю зодчества, найти разгадку этого очарования.

Любознательность Мишо была ненасытной. Как ребенок игрушку, он потрошил мир. Из начальной школы он унес только четыре правила да несколько заученных назубок моральных сентенций. Потом его определили в школу жизни. Отец Люка Мишо был шляпником. После войны начался кризис: перестали носить шляпы, и Люка не взяли даже в ученики. На трехколесном велосипеде он развозил сгущенное молоко. Потом он работал на кожевенном заводе, среди смрада. Он читал запоем; но его знания были случайными и разрозненными. На миноносце он подружился с чертежником Керье, которого потом коммунисты выставили кандидатом на выборах. Керье быстро завербовал Мишо. Оба попали на авиационный завод «Сэн». Мишо начал ходить на собрания, читал книги по политической экономии, занялся историей рабочего движения. Одновременно он корпел над математикой. Он стал хорошим механиком, прилично зарабатывал. Но ему все казалось, что он ничего не знает; это было мучительным чувством, как будто он опаздывает на поезд. А времени было мало: то партийное собрание, то митинг. Хотелось пойти в театр; были музеи; смутно мерещились далекие страны: развалины Рима или Турксиб.

Мишо любил в туманные ноябрьские вечера бродить по городу, грея пальцы горячими каштанами. Париж, с его неясными огнями, казался кораблем: сейчас снимут сходни... Иногда он заходил в кино; пахло апельсинами; влюбленные целовались; на экране страдала глупая, но

все же трогательная американка, и Мишо громко вздыхал. Три года он был влюблен в дочку товарища, хорошенькую Мими, с челкой на лбу; научился ради нее танцовать, носил ей цветы, конфеты, пробовал даже писать стихи; ничего не помогло: Мими вышла замуж за бухгалтера; она хотела спокойной жизни, идеи Мишо и его бурный нрав ее пугали.

Мишо было двадцать девять лет: крепкий, несколько нескладный — чересчур тяжелая крупная голова; лицо даже зимой было испещрено веснушками; прельщали в нем серые насмешливые глаза и яркобелые зубы, выпяченные вперед; казалось, будто он всегда улыбается. Он то и дело разводил руками, приговаривая: «И еще как!»

Мишо внимательно слушал Мале, иногда что-то записывая в истрепанную книжицу. Рядом сидела красивая девушка. Мишо ее заметил еще до начала лекции: длинные черные ресницы, как у актрисы кино... Потом Мишо увлекся красотой соборов Пуатье и забыл о соседке. Когда Мале говорил о колоннах, Мишо пропустил одно непривычное слово. Он тихо спросил девушку:

— Какой орнамент?..

— Меандр.

Лекция кончилась. Они сидели на задней скамье; надо было подождать, пока выйдут другие. Мишо сказал девушке:

— Не сердитесь, что я во время лекции спросил... Вы, наверно, студентка, а я в архитектуре профан. Моя специальность — механика.

Она улыбнулась:

— А я в механике ничего не понимаю, ровно ничего.

— Это вещь специальная. Вот когда в искусстве ничего не понимаешь, это плохо. А понять трудно... и еще как! Я раньше подставлял один язык под другой. С музыкой, например: слушаю и все стараюсь расшифровать, что это: «влюблен», или «военная победа», или «шторм на море»? А язык совершенно не тот. Так и с архитектурой. Вы это лучше меня знаете...

Они вышли. Два дня дождей и ветра переменили город: весна повылезала отовсюду. Почки на каштанах сразу набухли; по-другому отсвечивал голубоватый асфальт; зимние пальто уступили место светлым макинто-

шам; из кафе люди перекочевали на террасы; появились бродячие музыканты, а мальчики продавали зеленые, нераспустившиеся ландыши. С бульвара Сен-Мишель шел гам: там молодость вздыхала, объяснялась в любви, пила кофе или сиропы и трепетала перед надвигающимися экзаменами.

Они пересекли яркий Сен-Мишель. На бульваре Сен-Жермен в романтической полутьме горничные прогуливали собачонок, а влюбленные целовались. Было десять часов вечера. Мишо рассказывал, как он возле Гренобля взобрался на ледники. Ему нравилось, что девушка смеется.

— Хорошо, что вы веселая!

— Я не всегда веселая. Дома меня упрекают, что угрюмая. Брат даже прозвал «сурком».

— Не похожи! Я, когда мальчиком был у дяди в Савойе, поймал сурка, мы его приучили, он на задних лапах служил. Интересно наблюдать за зверями. Я читал недавно о муравьях. Остроумный народ! Как они все устроили!.. А угри? Оказывается, они отовсюду направляются в Саргасское море — любовь гонит. Пять тысяч километров плывут, сначала из речки выскакивают, их бьют по дороге — все равно... Вот это чувства! А у людей?.. (Ему хотелось рассказать о Мими, которая предпочла любви оклад бухгалтера, но он не рассказал.) Интересного много. А я ничего не знаю, кроме механики. Разве что политику...

— Мне политика надоела. Дома только об этом и говорят. Ведь мой отец...

Дениз запнулась. Как все это нелепо! Почему она разговаривает с незнакомым? Она всегда сторонилась людей и вот зачем-то беседует с человеком, о котором она знает одно: механик. Глупо это, по-ребячески!.. И вместе с тем ее охватила грусть: она почувствовала, что сейчас кончится условность этой встречи, все наваждение весеннего вечера. Надо сесть в автобус... Она сухо сказала:

— Мой отец — депутат. Вы, наверно, слыхали — Тесса.

Мишо даже рассмеялся от удивления.

— Вот это неожиданно! И еще как!.. Только при чем тут ваш отец? Я не с ним разговариваю, а с вами. Вы

думаете, я разбираюсь в их кухне? Это скучное дело. Я о другом говорю... Вы куда? Пройдем еще немного, до следующей остановки. Вечер хороший...

Дениз послушалась и снова удивилась: почему иду? почему слушаю? И главное — почему так просто, так весело на душе?

Мишо говорил:

— Я политику понимаю иначе: перестроить мир. Очень много случайного, нехорошего. Как-то совестно за людей. А можно жить весело, громко, во весь рост. Для меня революция — это вроде архитектуры. Если вы любите искусство, вы должны почувствовать.

— Вы коммунист?

— Как же иначе?

— Мой брат рассуждает, как вы. Но я ему не верю. Я боюсь слов.

— Это оттого, что ваш отец адвокат. Я тоже боюсь, когда говорят слишком красиво. Но у нас другое... Знаете что, зайдем на полчаса: сегодня предвыборное собрание. Увидите, какая разница! Это рядом — в школе на улице Фальгьер. Не понравится, уйдете. А поглядеть стоит. Ведь должно быть у человека любопытство. Зайдем?

Дениз ответила «нет», хотя она сразу поняла, что пойдет на собрание. Она даже решила про себя: думать буду позже, дома, тогда разберусь, а пока — весело, вот и все...

В школе было много людей, не состоявших в списках избирателей, женщин, подростков; одно из тысяч собраний той изумительной весны, когда Париж повторял слова «Народный фронт» с нежностью и страстью. В зале было жарко; многие поснимали пиджаки; сидели в кепках; курили. Дениз вглядывалась в лица: сколько горестей, болезней, нужды! Женщина держала на руках спящего ребенка: видно, не на кого было оставить. У старика слезились воспаленные глаза; казалось, что он плачет. Все эти люди не знали друг друга; они пришли сюда из продымленных домов большого города, но их всех вязало новое братство; и, когда оратор говорил о борьбе, о справедливости, сразу подымались кулаки, а сотни голосов отвечали, как эхо. Ораторы не походили на Тесса, они говорили отрывисто и мучительно, как будто искали слова; и слова звучали по-новому. А лица были усталые; только

улыбка на минуту освещала их. Были позабыты и враждебные кандидаты, и урны. Тоска рождения, тайна ростка жили в темном от дыма зале; а кулак работницы, сухой и морщинистый, трясся в воздухе, как будто эта женщина, рожавшая, хоронившая детей, зажала в нем немного ветра, теплоту приветствия или пролетевшее мимо короткое слово.

Прошло полчаса, прошел час, полтора; Дениз не уходила. Она напряженно слушала; но вряд ли она смогла бы пересказать, о чем говорили эти люди; она как бы слушала глухое биение сердец, новый мир, ей непонятный; так девочкой в Бретани она слушала впервые открывшееся перед ней море.

В двенадцать часов собрание кончилось. Дениз вдруг поняла в смятении, что и она подхватывает «Интернационал», путая слова, не зная, зачем поет, о чем.

К Мишо подошел немолодой высокий рабочий, со шрамом на щеке, с темными, запавшими глазами:

— Мишо, мы сегодня с твоего завода четырех записали. Ты передай Шарлю, что листовки лучше составлять по цехам. Потом щиты можно использовать для плакатов...

Он повернулся к Дениз:

— Ты, товарищ, из какого района?

Дениз покраснела от смущения. За нее ответил Мишо:

— Товарищ — студентка.

Дениз подумала: значит, он принял меня за свою. И это почему-то ее обрадовало.

Они вышли, и снова Париж, сырой, теплый, взволнованный, напомнил им про весну.

— Понравилось?

— Не знаю, как ответить... Слово не то. Удивило.

— Понятно. А знаете, почему? Это как в такой вечер... Как в воздухе... Из всех слов, пожалуй, одно подойдет: надежда. Все переставить, переменить.

— Я брату не верила. А вот тому, он к вам подошел, ему я верю. Это, должно быть, правда... Не знаю, как для других, но для него. А вообще об этом надо подумать. Сразу очень трудно разобраться.

Мишо еще говорил про надежду: свою и других. Теперь она плохо слушала — слишком много слов; но его

голос, как прежде, ее радовал, и, прощаясь, она улыбнулась серым насмешливым глазам. А он растерянно сказал:

— И еще как!..

Дениз засмеялась:

— Мы увидимся. На лекции Мале. Или, если будет еще собрание, напишите, я приду. Хорошо?

Вот она и дома! На стенах коридора — фотографии: знаменитые процессы, и повсюду, среди двух жандармов, убийцы или мошенники, а впереди, подняв к небу костлявые руки, в балахоне адвоката Тесса.

Квартира была, как стоячая вода, темная, тихая, с кипящими на дне страстями. Отца еще не было дома. Он, вероятно, искал на груди у Полет забвения от коварных речей Дессера. В спальне мать раскладывала пасьянсы, поджидая мужа. Госпожа Тесса была больна нефритом, она боялась смерти, а особенно ада. Она всегда была верующей; но прежде ее отвлекали хозяйство, туалеты, сплетни; заболев, она оказалась с глазу на глаз с богом. Она вспомнила детские годы в монастыре. Близок страшный суд. Там с нее взыщут за все: за речи депутата Тесса против церкви, за его связи с дурными женщинами, за кощунство и развращенность Люсьена. Кто ее покроет? Дениз? Но девушка молчит, не ходит в церковь, не отвечает матери. Может быть, и Дениз в отца?..

— Дениз, это ты? Я думала, что папа... Пойди сюда! Где ты была?

— Сидела в кафе на Сен-Мишеле. Чудный вечер...

Дениз сказала первое, что пришло в голову: не хотела огорчить мать рассказом о собрании. Но госпожа Тесса расплакалась:

— На Сен-Мишеле?.. В отца!..

Дениз попыталась ее утешить, сказала, что была с подругами; принесла вербеновую настойку, которую мать пила на ночь. Но слезы все капали на королей и валетов...

Дениз прошла к себе. Ее комната была голой, нежилой: кровать, стол, покрытый зеленым сукном, с большой чернильницей, стул. Так выглядят комнаты в гостинице, где останавливаются на ночь. Дениз села на кровать, болтала ногами, еще не решаясь задуматься.

Постучался Люсьен. Он пришел с вечера поэтов-сюрреалистов.

— Они придумали забавный номер: определяют пол понятий, красок, слов. Можешь себе представить, как все возмутились! Особенно коммунисты. Эти корчатся при одном имени Фрейда... Ты слыхала когда-нибудь, как рассуждает правоверный коммунист?

— Нет.

Люсьен стал рассказывать о какой-то танцовщице с острова Бали:

— Я теперь понимаю Гогена... Чувствуется, что она признает только животную страсть...

— Почему ты мне это рассказываешь?

— Потому что тебе двадцать два года, а не двенадцать. Хватит разыгрывать инженю! Или ты собираешься, как мама, читать молитвенник и ставить клизмы?

Увидев угрюмые глаза Дениз, он примирительно сказал:

— Ну, не сердись, сурок! Я не хотел тебя обидеть. Спокойной ночи!

Дениз осталась одна, разделась, погасила свет, но не уснула. Часы пробили два, половину третьего, три... В коридоре послышались шаги: это вернулся отец. Он тихо напевал: «Все прекрасно, госпожа маркиза...» Потом снова водворилась тишина.

Этот дом всегда казался Дениз могилой. Она провела школьные годы в пансионе, в Бретани. Там было море, девочки шалили, по улице проходили рыбаки в красных брезентовых штанах, похожие на больших омаров; когда начиналась буря, трясся дом с большими часами под стеклянным колпаком и с тарелками на стенах; а сердце девочки радостно ёкало.

Потом Дениз вернулась в Париж. Она сразу почувствовала, что задыхается. Все жили вместе, тесной жизнью. Дениз знала и про похождения отца, и про Жаннет. Семья казалась дружной; и эти обязательные встречи за обеденным столом, эта внешняя спайка засасывали, как тина.

Дениз увлекалась старой архитектурой. Когда-то люди верили, не как мать,— страстно, от полноты сердца. Они строили приземистые церкви, похожие на амбары. В них, кажется, еще сохранились зерна веры. Дениз ушла в

прошлое от суеты Тесса, от ханжества матери, от бесцельного кипения брата.

Но сегодня приключилось что-то бесконечно важное. Она ведь обещала себе во всем разобраться. Она ворочалась и спрашивала себя: что?.. То она вспоминала кулак старой поденщицы. То рабочий, с шрамом на щеке, говорил ей «товарищ». То улыбались серые глаза Мишо. Все это сливалось с весенним воздухом, с сыростью и тишиной ночных улиц. А сердце билось. И новый смутный день, разодрав темноту, как занавеску, проник в комнату, наполнил ее сероватым колыханием, тревожными абрисами еще не ощутимых предметов. Дениз вспомнила «и еще как», улыбнулась и с этой улыбкой уснула.

10

Прочитав отзыв о своей книге в коммунистической газете, Люсьен рассердился; особенно его обидела заключительная фраза: «Некоторые чрезмерно «революционные» пассажи вызывают недоверие». Тупица! Да и все они таковы! Им не кроить, но латать! Правые газеты охотно говорят о книге Люсьена: они стараются очернить Поля Тесса — вот как радикалы воспитывают своих детей! Но там, где Люсьена должны были принять как трибуна, как нового Валлеса,— несколько скупых похвал («автор хорошо знает свою среду») и под конец — «недоверие».

Люсьен вдруг улыбнулся: может быть, они правы... А еще недавно он хотел записаться в коммунистическую партию, доказывал друзьям, что партийная дисциплина — высшее самоограничение, которое Гете предписывает творцу... Таков был человек: он быстро загорался, быстро остывал.

Достаток отца освободил Люсьена от мыслей о заработке. Кончив лицей, он стал искать призвание. Он поступил на медицинский факультет, чтобы год спустя бросить анатомию и заняться международным правом. Неожиданно он увлекся кино; стал помощником режиссера. Он хотел сделать необычайный фильм о гибели механического мира, а работать пришлось над дурацкой комедией: героиня путала мужа и любовника, которые были двой-

никами. Люсьен разлюбил кино и ходил по литературным кафе с видом разочарованного мастера.

Ему было двадцать шесть лет, когда он познакомился с исследователем Анри Лагранжем, который отправлялся к Южному полюсу. Люсьен давно мечтал об опасности. Лагранж его взял с собой. Люсьен записывал в дневник: «Пингвин похож на Мистенгет. Надоели консервы. В общем красиво, но скучно». Через несколько страниц была короткая запись: «Анри умер в четыре часа утра». Лагранж умер от гангрены на руках у Люсьена.

Вернувшись в Париж, Люсьен зажил своей прежней жизнью: выставками и вечерами сюрреалистов; но часто среди болтовни приятелей он замолкал; думал он теперь об одном: о смерти.

Так родился роман «С глазу на глаз», имевший шумный успех. Это была смутная, неровная книга, с кокетливыми рассуждениями и с просветами, достигавшими подлинной высоты. Роман был посвящен смерти среди льдов, последним дням человека, который больше всего на свете любил математику и свою четырехлетнюю дочку. Люсьен сразу стал признанным писателем. У него брали интервью: «Ваши литературные планы?» Он отвечал, что пишет большой роман о распаде семьи. На самом деле он ничего не писал: ему казалось, что он выжат, как лимон.

Шли годы. Люди стали забывать, что Люсьен — писатель. Поль Тесса, поверивший было в литературную карьеру сына, снова начал попрекать его бездельем и тратами. Люсьен не мог жить без денег и обладал даром проматывать незаметно десятки тысяч; он угощал приятелей в ресторанах, на вид скромных, но дорогих, поил их старыми винами, небрежно говоря: «обыкновенное винцо»; одаривал всех приглянувшихся ему женщин. Он пристрастился к картам: крупный выигрыш казался ему единственным выходом. Во всех игорных домах знали красивого человека с рыжими волосами и с бледной маской. Улыбаясь, Люсьен проигрывал за ночь двадцать — тридцать тысяч. Пришлось познакомиться с ростовщиками. Люсьен брал у одного, чтобы отдать другому. Скука, та самая, что четыре года назад погнала его к полюсу, а там обернулась пингвином, похожим на старую актрису, и пресными консервами, снова им завладела.

Летом с караваном туристов он поехал в Советский Союз. Вышло это случайно: он собирался с приятелем в Египет, но накануне отъезда они рассорились. В Москве он пробыл неделю. Туристам показывали древности, музеи, ясли; не это потрясло Люсьена — люди, их воля, нужда, душевная молодость. Как-то, среди строителей метро, он увидел девушку в грубых сапогах, с тонким бледным лицом, с горячечным непримиримым взглядом. Он понял, что такая строит не только метро. Он насторожился, как после смерти Анри. Снова он возвращался в Париж другим человеком.

Лотреамона заменил Маркс. Люсьен впервые задумался над жизнью окружавших его людей. Повсюду он увидел ложь, лицемерие, скуку. Его личная драма была драмой общества. Это его вдохновило: он написал памфлет, поверхностный, но острый, высмеивая философию, мораль и эстетику буржуа. Отец всполошился, грозил разрывом. Молодежь, посещавшая Дом культуры, с восторгом слушала речи Люсьена о близкой революции. Он забыл даже карты: игра, которую он вел, была куда увлекательнее.

Прошло полгода, и его начали разбирать сомнения. Коммунисты ему теперь казались обыкновенной политической партией. Им нравится семейный уют и романсы Мориса Шевалье!.. Люсьен всегда думал, что он смелее, да и умнее других. Он говорил себе: я снова сглупил! Эта карта может выиграть, но это не моя карта...

Случилось, что этот ветреный человек привязался к Жаннет. Он не преувеличивал своего чувства; усмехаясь, он рассказывал приятелям о своей связи с актрисой, надеясь иронией принизить любовь; но любовь не поддавалась, и одно то, как он выговаривал имя Жаннет, выдавало его волнение.

Люсьен и Жаннет не походили друг на друга, но в судьбе их было много общего: оба метались. Жаннет было тридцать лет, но часто она чувствовала себя состарившейся. Она была дочерью лионского нотариуса. Скучный пуританский город, недобрые и придирчивые родители иссушили ее детство. С утра до ночи она слышала разговоры о деньгах («нельзя сорить деньгами»), о выгодных браках, о преступных женах, которые тратят состояние на

тряпки, флиртуют или («Жаннет, выйди из комнаты») изменяют. Ей запомнился сухощавый человек с бельмом на глазу; родители говорили о нем почтительно; это был владелец крупной мануфактуры. Он застрелил из охотничьего ружья любовника своей жены. Фабриканта покрыли — убитый был объявлен вором, ночью забравшимся в дом. В квартире нотариуса на мебели круглый год были чехлы, и мать Жаннет пуще всего боялась, как бы муж, наливая вино, не пролил несколько капель на чистую скатерть.

Жаннет было восемнадцать лет, когда она сошлась с женатым человеком, глубоко ей безразличным. Это был доктор, лечивший Жаннет, когда у нее была корь. Узнав о постыдной связи, отец стал кричать: «Ваше место, сударыня, в публичном доме!» Доктор для приличия вздохнул и дал Жаннет четыреста франков на дорогу. Она уехала в Париж. Ночью в поезде она спрашивала себя: почему я это сделала?.. Но ответить она не могла. У доктора был кадык, и он говорил сальности. Может быть, она пошла на роковое свидание только потому, что в тот день мать три часа сряду бранила кухарку: «Вы видите, что это не баранина, а кости!..»

Жаннет поступила приказчицей в универсальный магазин. Она приходила на работу с синевой под глазами; продавщицы думали, что она кутит; но она ночи напролет читала. Она начала с романов современников: хотела понять себя; потом пристрастилась к Стендалю, Достоевскому, Шекспиру. Страсти окружавших ее людей стали ей казаться не жизненными дорогами, но ролями, интересными или мелкими. Все прежде непонятное и поэтому неприязненное, духота чувств, случайность поступков, теперь ей представлялось ясным, точным, подчиненным строгому закону. Не обладая житейским опытом, чуждаясь людей, благодаря искусству она многое поняла, созрела.

Она не мечтала об искусстве как о своей судьбе, она им жила — над книгой или на галерке. В магазине, когда не бывало покупателей, едва заметно шевеля губами, она играла героиню Расина или глупую провинциальную мечтательницу.

В ресторане, где она обычно обедала, с ней заговорил немолодой актер Фиже. Они сошлись; было это без любви

и без обмана: оба были одинокими и несчастными. Фиже прельстила наружность Жаннет; на эту женщину повсюду глядели. Ее лунатические огромные глаза придавали спокойному лицу характер одержимости. Казалось, она только-только узнала что-то непоправимое, или влюблена до мук, или радуется так, как можно радоваться раз-два в жизни. Потом Фиже оценил заботливость Жаннет: у этой сумасбродки было сердце доброй женщины; она ухаживала за неудачливым актером, сварливым и неопрятным, как за ребенком (он был на четырнадцать лет старше ее). Она его не любила, но ей и не приходило в голову, что она может кого-нибудь полюбить. То, что было в книгах или на сцене, она не смешивала с жизнью. Героиня Расина мирно штопала носки. Несколько месяцев спустя она бросила магазин: Фиже устроил ее в театр «Жимназ»; она играла крохотные роли: испуганных служанок или деревенских дурочек. Она не стала мечтать о карьере великой актрисы, но запах театра ее веселил, и она была благодарна Фиже за эту перемену в ее жизни.

Год спустя Фиже ее бросил: он сошелся с опереточной актрисой, пользовавшейся успехом. Он долго не решался сказать Жаннет о своем решении: боялся ревности, упреков, слез. Но Жаннет выслушала его признания с таким равнодушием, что он обиженно сказал: «Ты меня никогда не любила». Она ответила: «Должно быть, ты прав».

Один из заправил Дома культуры, Марешаль, вздумал организовать «Революционный театр». Он стал набирать труппу. Профессиональные актеры к нему не шли: боялись, что новый театр не выживет. Марешаль встретил Жаннет на лестнице театра и сразу ее отметил. Он вызвал Жаннет, стал ей доказывать, что из нее выйдет крупная трагическая актриса: «Какие глаза! А голос! Да вы себя не слышите!..» Марешаль ставил «Овечий источник»; он предложил Жаннет центральную роль. Все присутствовавшие на первых репетициях говорили, что играла она прекрасно: в ней была простота сердечности и гнева. На беду актриса Жавог поссорилась с директором «Одеона» и всердцах пошла к Марешалю. Это была посредственная актриса, но ее имя обеспечивало статьи в десятке газет. Она получила роль Жаннет. Жаннет приняла это спокойно

и сразу согласилась взять маленькую роль. После премьеры, в своей комнатушке, далеко за полночь, она повторяла монологи, которые ей не удалось сказать со сцены.

«Революционный театр» вскоре прогорел. Два летних месяца Жаннет проработала в провинции: ее взяли в сборную труппу для гастролей. Потом, помаявшись и поголодав, она устроилась на радиостанции «Пост паризьен».

Люсьен с ней познакомился на одной из репетиций в «Революционном театре» и тотчас влюбился. Это было время его страстного увлечения революцией. Слова «Овечьего источника» звучали как бред встревоженного Парижа, а голос Жаннет придавал им ту плотность, тот вес, которые Люсьен напрасно искал на митингах или в газетах.

Люсьен поразил Жаннет; впервые она увидела человека, который говорил, как герой романа. Его речи о низости, об очистительной буре вязались с огненным цветом волос, с бледностью, с резкими движениями. Она ему поверила и, выслушав его признания, отдалась ему, если не с любовью, то с душевной приподнятостью.

Любовь в ней могла бы родиться; но Люсьен сделал все, чтобы оттолкнуть Жаннет от себя. Перед ней он становился искусственным и пустым. Она была слишком молода, чтобы снисходительно отнестись к его самолюбованию. Слыша каждый день патетические тирады, она усомнилась: любит ли он меня? А Люсьен все сильнее к ней привязывался. Трудно было понять его чувства: он и Жаннет любил на свой лад, скорее как феномен, как лирическое отступление, как заморскую птицу. Если бы ему сказали: «Пойди ради нее на смерть», он пошел бы. Но когда Жаннет, заболев, попросила его остаться у нее до утра, он стал говорить, что его ждут дома, мать будет волноваться... Ему попросту хотелось выспаться.

Жаннет говорила себе: он меня бросит, как Фиже... Она думала, что должна от него уйти, но не уходила. По природе она была пассивной: такие женщины не уходят, их уводят. А может быть, в ней еще жила смутная надежда на счастье с Люсьеном, на серенькое, тихое счастье, которым жили вокруг нее другие женщины.

После того вечера, когда Жаннет познакомилась с Андре и Пьером, Люсьен ее не видал. Она отвечала по

телефону, что хворает. Вдруг она ему позвонила; ей нужно с ним поговорить. Голос был взволнованный. Люсьен вспомнил: Андре!.. Он насторожился. Жаннет он ответил, что зайдет за ней в студию; они поужинают у «Фукетс».

Жаннет не хотела итти в кафе; она сказала, что плохо себя чувствует, что ей надо поговорить с Люсьеном наедине. Он настаивал. У «Фукетс» вечером собирались актеры, писатели, а Люсьену льстило, что люди с завистью поглядывают на Жаннет.

Он был хорошо настроен, несмотря на газетную заметку; весело заказал устрицы, вино. Жаннет молчала. Он рассказал ей о своей обиде:

— Понимаешь, «недоверие»!..

Она ничего не ответила. Видно было, что она напряженно о чем-то думает. Люсьен забыл и про отзывы коммунистов, и про восхищенные взгляды соседей; его терзала ревность. Он был уверен, что Жаннет влюблена в Андре, и решил ускорить развязку:

— В понедельник открывается выставка Андре. Говорят, прекрасные пейзажи... Хочешь пойти на вернисаж?

— Нет, я не пойду. Нет настроения...

Она сказала это настолько просто, с таким безразличием, что Люсьен растерялся: может быть, и не в Андре дело?.. Выпив бутылку шабли, он оживился, забыл о своих страхах и вернулся к тому, что его занимало с утра:

— В общем я понимаю, почему они говорят о «недоверии». Я недавно был у одного коммуниста. Это сотрудник «Юманите». Мещанская квартирка. На стене репродукция: «Мыслитель» Родена. Жена принесла рагу, и он хвастал, что она хорошо готовит. Четверо детей, старший сидит, готовит уроки, а папаша ему помогает. Ты видишь эту картину? Конечно, такой человек может голосовать, но не больше. А когда такие мещане...

Жаннет обычно не спорила. Но теперь она неожиданно оживилась:

— Разве плохо, что у человека семья, дети? Я тебе говорила,— я об этом всегда мечтала. Для женщины это счастье. Неужели ты не понимаешь?.. Я иногда думаю, что и ты этого хочешь, только говоришь иначе... Без этого, Люсьен, нельзя жить: очень голо, одиноко.

— Вопрос характера. И эпохи. Если бы мне предложили обзавестись семьей, я застрелился бы, не иначе. Я живу другим. Может быть, завтра за это придется умереть. Смешно теперь говорить о семье. Что с тобой?

— Ничего. Я тебе сказала, что плохо себя чувствую. Голова болит. Попроси стакан воды, я приму аспирин.

Люсьен продолжал говорить: эпоха требует отрешенности, одиночества, мужества. Семейный уют — предательство. Жаннет не возражала. Ее оживление спало.

Они молча вышли и свернули с Елисейских полей в узкую, темную улицу. Вдруг на углу, возле аптеки, Жаннет остановилась. В освещенном окне стоял большой зеленый шар, и лицо Жаннет, облитое изумрудным светом, казалось мертвым. Она спокойно сказала:

— Я беременна. Придется теперь искать доктора...

Люсьен почувствовал жалость, острую, как боль. Он пробормотал:

— Может быть, не нужно?..

Жаннет резко рассмеялась:

— Нет, ты мне все объяснил и убедил — «не та эпоха»...

Люсьен быстро успокоился, и это вывело из себя Жаннет. Все тем же деланно веселым голосом она сказала:

— Не огорчайся: не от тебя...

— Как? Я не понимаю...

— Когда я ездила на гастроли. В Виши... Рядом ночевал один актер, а у меня дверь не запиралась, задвижка была испорчена. Вот и все. Теперь ты понял?

Она рукой остановила такси. Он крикнул:

— Погоди! Я провожу тебя.

— Не нужно. Одиночество и мужество — кажется, ты так сказал? Спокойной ночи!

Люсьен сразу почувствовал, что Жаннет сказала неправду. Актер? Задвижка? Слишком нелепо! Но, может быть, с Андре?.. Она в кафе не сводила с него глаз. Он тоже... И потом — спросила, почему он не позвал Андре... Конечно, Андре!

Площадь Конкорд после дождя блестела, как паркет парадного салона; автомобили оставляли на синеватом асфальте оранжевые и багровые следы. Большие фонари походили на светящиеся растения. Из Тюильри доносились

запахи мокрой земли, деревьев, весны. Казалось, все вокруг было создано для праздника; но во всем была легкая тревога, неуверенность. Старая проститутка, густо нарумяненная, окликнула Люсьена. Он ускорил шаг. Вдруг на набережной он остановился: он вспомнил глаза Жаннет — у аптеки... Такие глаза были у Лагранжа, когда он сказал Люсьену: «Не спорь, я знаю, что это гангрена». Люсьен побежал назад, на площадь; он поехал к Жаннет.

Она лежала, уткнувшись головой в подушку, и плакала. Рядом валялась большая тряпичная кукла. Жаннет плакала от обиды: как мог Люсьен поверить ее глупой выдумке? Она плакала от его бесчувственности, от одиночества. Было в ней и большее горе, но от него она не могла плакать. Это горе уничтожало слова и придавало глазам то выражение безысходности, которое возле аптеки напугало Люсьена. Она ведь утром еще верила в возможность счастья...

Когда Люсьен вошел, Жаннет перестала плакать, она напудрилась и тихо сказала:

— Знаешь, Люсьен, что самое страшное?.. Я тебя не люблю.

11

Тихий город, о древностях которого профессор Мале рассказывал Дениз и Мишо, не походил на себя. На улицах, где обычно старые аристократки чинно сплетничали, аббаты прогуливались с раскрытыми молитвенниками, а ребята играли в бабки, теперь люди спорили, жестикулировали; доносились слова: «Народный фронт... Фашизм... Порядок... Война...» Старые стены, морщинистые, как щеки почтенных аристократок, покрылись, будто румянами, плакатами разных партий. Вокруг щитов целый день толпились люди, читая хлесткую перебранку кандидатов. А рядом, на порталах древних церквей, длиннолицые святители благословляли грешников, и на каменные персты садились встревоженные ласточки.

Три человека оспаривали у Поля Тесса честь быть депутатом Пуатье. С двумя Тесса столкнулся четыре года назад: с коммунистом Дидье, по профессии слесарем, и

с отставным генералом Гранмезоном, ставленником консервативных кругов города, аристократии и духовенства, именовавшим себя «националистом». Тогда Тесса легко разбил соперников. Теперь он далеко не был уверен в победе, хотя Дессер выполнил свое обещание: «Ла вуа нувель» посвятила номер Полю Тесса, а из трех местных газет две были куплены радикалами. Коммунисты за последние годы окрепли. Дидье, не блиставший красноречием, собирал огромную аудиторию. Появился и новый конкурент: молодой агроном Дюгар, связанный с «Боевыми крестами», энергичный человек, обходивший дом за домом и повсюду разоблачавший «засилье финансистов, масонов и евреев». Лавочники, страдавшие от расцвета магазинов стандартных цен, ремесленники, обремененные налогами, интеллигенты, считавшие, что они вытеснены из жизни иностранцами, пенсионеры, возмущенные аферами Стависского, к которым Тесса приложил руку,— все эти люди горячо аплодировали Дюгару.

Собрания протекали бурно, и Тесса, привыкший подтрунивать над подзащитными, часто чувствовал себя подсудимым. Дюгар, как бы вскользь, упоминал об одном чеке, выданном Стависским. Тесса давно забыл, на что он истратил злополучные восемьдесят тысяч. Он ударял кулаком о стол и рычал: «Эти деньги предназначались для инвалидов!» Гранмезон настаивал на безнравственности Тесса, обильно цитируя книгу Люсьена: «Вот что увидел молодой литератор в доме родного отца!» Дидье не касался частной жизни Тесса; он говорил о подкупной печати, о роли «двухсот семейств». Но Тесса казалось, что слесарь говорит именно о нем. Да и крики подтверждали подозрения: стоило Дидье упомянуть о продажности прессы, как раздавались голоса: «Ла вуа нувель!», а тирады о «двухстах семействах» прерывались возгласами: «Дессер! Дессер!»

Тесса работал как каторжник. Он разговаривал с тысячами избирателей, спрашивал, как здоровье супруги, сдал ли сын экзамен, когда будут справлять свадьбу дочери? Он сулил городу новый мост и два сквера, а гражданам пенсии, ордена, места казенных сидельцев. Он пил у стойки с красноносыми приверженцами Даладье или Эррио: «За республику! За победу!» Он срывал

голос на собраниях, писал листки, редактировал газетные отчеты, придумывал карикатуры. Он не спал шестнадцать ночей, испортил себе желудок на банкетах и забыл о нежных объятиях Полет. На одном из самых больших кафе значилось: «Перманентное дежурство по кандидатуре Поля Тесса». Там Тесса дарил агитаторам то часы, то автоматическую ручку, то сотенную. Он выписал из Парижа двух сенаторов, которые выступили с докладами. Певица в мюзик-холле исполняла куплеты:

Нам не нужны крикуны и нытики,
Мы сторонники умеренной политики,
Утром кофе, вечером любовь.
Поль Тесса будет избран вновь!

Главный козырь Тесса приберег напоследок: вдову Антуан. Ее сына, мелкого чиновника, суд приговорил к десяти годам за растрату. Антуан был осужден несправедливо, и Тесса добился пересмотра дела. Вдова на большом собрании, обливаясь слезами, воскликнула: «Поль Тесса — святой человек!»

В вечер, когда подсчитывали голоса, Тесса не держался на ногах; он с трудом выпил чашку настойки на апельсиновом цвете, чтобы успокоить нервы. Он не мог вытерпеть напряжения и отошел к окну. На площади толпились зеваки: они ждали результатов подсчета. Тесса увидел девушку, чем-то похожую на Дениз, и загрустил. Зачем он занялся проклятой политикой? Разве не все равно, кто победит: Дюгар или Народный фронт? Все это ложь!.. Сидеть дома с женой. Глядеть на Дениз. Съездить на часок к красавице Полет. Это — жизнь! А речи или лозунги — скучная, тяжелая работа.

Зеваки были разочарованы: выборы не дали ни одному кандидату абсолютного большинства; через неделю предстояла перебаллотировка. По сравнению с прошлыми выборами Тесса потерял почти три тысячи голосов; потерял и Гранмезон; выиграли коммунисты; Дюгар шел на первом месте.

Начали гадать. Если генерал снимет кандидатуру в пользу «Боевых крестов», может пройти Дюгар. Откажется ли Дидье в пользу Тесса? За кого будут голосовать умеренные? Люди сидели в кафе и считали, считали.

Тесса раздраженно зевнул. Он думал, что сегодня все кончится, завтра он будет дома. Придется здесь просидеть еще неделю. Он послал телеграмму жене: «Перебаллотировка приеду среду один день обнимаю тебя Дениз Люсьена». До среды он успеет договориться... Предстоит мучительная неделя. Даже если коммунисты согласятся голосовать за него, все зависит от простой случайности: шесть тысяч против шести. Но вряд ли коммунисты согласятся: они ненавидят Тесса.

Вечером состоялось решительное собрание: радикалы пригласили коммунистов. Зал нетерпеливо гудел: что скажет Дидье? Собрание открыл Тесса:

— Граждане, благодарю вас за доверие. Я призываю всех, кому дорога республика, всех преданных делу мира и социальной справедливости, всех противников церковного воспитания голосовать за меня, как за единственного кандидата...

Он на мгновение замолк и потом прогремел:

— Народного фронта!

Слово предоставили Дидье:

— Коммунисты не подкупают, не соблазняют, они обращаются к разуму, к совести. На прошлых выборах мы получили шестьсот голосов. А теперь две тысячи триста семьдесят, вот сколько! Это — сила. Надо загородить дорогу фашистам Дюгару и Гранмезону. Тесса обещает быть верным Народному фронту. Хорошо, мы будем голосовать за Тесса. Франция переживает трудное время: растет опасность извне, внутри — изменники. Так всегда бывало: шуаны шли с англичанами или с австрийцами, версальцам помогали пруссаки. Только Народный фронт может спасти Францию. Да здравствует Народный фронт! Да здравствует Франция!

В ответ поднялись кулаки.

Тесса встал и поклонился, как актер. Он не знал, радоваться ему или огорчаться. Он ненавидел и Дюгара, и Дидье: выскочки, молокососы! Коммунисты решили голосовать за Тесса. Это, конечно, успех. Но кто знает, послушаются ли рабочие? Он ведь слышал, как один сказал: «Голосовать за этого прохвоста?..» Притом, даже если все сторонники Дидье будут голосовать за Тесса, Дюгар может получить на двести — триста голосов

больше. Рассчитывать на умеренных не приходится — Тесса открыто братается с коммунистами. Мерзавец Дессер, что он задумал? На чем хочет нажиться? На разгроме Франции? А Тесса залез в болото...

Не дожидаясь конца собрания, Тесса поехал в гостиницу. Он морщился от головной боли. Его остановил портье:

— Вас спрашивал один господин. Он в курительном салоне.

Тесса вздохнул: еще один любитель пенсий!.. Но вместо избирателя, хлопочущего о пособии, он увидел депутата Луи Бретейля.

Тесса растерялся. Что означает этот визит? Тесса дружил со всеми депутатами, левыми и правыми. Он дружил и с Бретейлем. В другое время он воскликнул бы с напускной радостью: «Дружище! Как здоровье? Супруга?..» Но теперь он чувствовал себя на поле брани. Он еще слышал оскорбления Дюгара: «А чек?..» Вдруг этот нахальный землемер займет кресло Тесса в Бурбонском дворце?.. Бретейль мог бы не приходить!..

Бретейля побаивались. Он слыл фанатиком. У него была внешность старого спортсмена: метр восемьдесят пять роста, прямая выправка, красное, раз навсегда обгоревшее лицо, седые волосы, коротко подстриженные усы. Он был военным инвалидом: на правой руке нехватало двух пальцев, и это увечье вязалось с обликом Бретейля. Говорил он сухо, отщелкивая слова; его речи напоминали приказы. Когда на трибуну подымался коммунист, Бретейль уходил из зала; он говорил, что не может слышать этих людей. Он не участвовал в акционерных обществах, не занимался финансовыми спекуляциями, жил скромно; рассказывали, что часть своего оклада он расходует на пропаганду. Его любимым делом было воспитание молодежи: он устраивал отряды, дрессировал подростков, превозносил перед ними шуанов, национальных гвардейцев, жандармов, заставлял маменькиных сынков в дождь маршировать и по команде подымать руку. Женился он поздно, на уродливой бедной женщине, и нянчился с пятилетним сынишкой, хилым и капризным. Кажется, это было единственной слабостью Бретейля...

Тесса стоял в дверях, не зная, что сказать. Бретейль встал:

— Здравствуй, Поль! Ты плохо выглядишь. Наверно, устал?

— Да. Очень... Но что ты тут делаешь? Проездом?..

— Нет, я из Парижа. Ты ведь знаешь, что Дюгар — мой питомец? Он молод, но неглуп. Надо ему помочь.

Тесса рассердился. Бретейль приехал на подмогу Дюгару. Что же, это его дело! Но бестактно приходить к Тесса, да еще жалеть, что он плохо выглядит...

— Ты прости, но я пойду. Я устал.

— Погоди, нам нужно поговорить. Только не здесь... Я зайду к тебе в номер.

Тесса прошел к себе, развязал галстук, снял ботинки и прилег на кушетку. Постучал Бретейль. Тесса сказал:

— Отложим разговор. Я очень устал. После выборов...

— Это невозможно. Я знаю, что ты устал, я отниму у тебя ровно пять минут. Необходимо принять решение. Ты сам знаешь, что у Дюгара все шансы на победу. Он должен получить на пятьсот — шестьсот голосов больше. Но я против...

— Против чего?

— Я хочу, чтобы выбрали тебя. Дюгар — толковый парень, он нам еще пригодится. Но в парламенте он будет статистом. Разве можно сравнить его с тобой? Ты — опытный политик, человек с огромным опытом, великолепный оратор, наконец у тебя имя. Для страны твое поражение будет несчастьем.

— Послушай, Луи, я тебя не понимаю. К чему эти комплименты? Разве ты не поддерживал Дюгара? А он меня каждый день смешивал с грязью.

— Зачем придавать значение словам, да еще на предвыборных собраниях? Как будто ты не расхваливал Народный фронт! Я ведь знаю, что ты думаешь о коммунистах. Еще неизвестно, кто из нас больше их любит — я или ты. Я хочу, чтобы ты прошел в палату. Пусть они думают, что ты за Народный фронт. Важен человек, а не этикетка. Тебе достаточно сказать одно слово...

— Час тому назад я заявил, что принимаю поддержку Народного фронта.

— Дело не в публичных заявлениях. Я повторяю: достаточно одного твоего слова. Я не болтун, и ты можешь мне доверять. Пойми, Поль, стране теперь не до партий. Нужно спасать нацию! Дюгар должен уступить. Конечно, призывать голосовать за тебя он не может. Достаточно, чтобы он снял кандидатуру. Две-три тысячи голосов отойдут к тебе.

— Сторонники Дюгара предпочтут Гранмезона.

— А, старый генерал?.. Я его знаю. Дурак, но порядочный человек. Я с ним завтра увижусь. Что же, и Гранмезон снимет кандидатуру. Ты пройдешь как единственный кандидат. Вот тебе символ единства, которое может спасти Францию!

Искушение было настолько сильным, что Тесса начал бессмысленно бормотать:

— Символ?.. А ты, значит, из Парижа? Там тоже жарко? Я не выношу жары...

Бретейль молчал. Тесса старался задуматься и не мог: мысли были мелкими и густыми, как плотва в воде. Он понимал одно: он снова будет депутатом! Он выпил стакан воды и вытер полотенцем лоб. Сознание постепенно возвращалось к нему. Он говорил себе: Франция в опасности. Враги караулят... А внутри измена. Я буду символом национального единства. Дело не в этикетках, а в людях! Сам того не замечая, он повторял слова то Бретейля, то Дидье. Наконец робко, как ребенок, которому обещали чудесный подарок, он пролепетал:

— Но что, собственно говоря, я должен сказать?

— Только одно — что ты согласен.

— Тогда хорошо... Я не вправе отказаться.

Бретейль крепко пожал руку Тесса.

— Я знал, что ты честный человек. А теперь отдыхай. Спокойной ночи!

На следующий день Тесса проснулся поздно. Солнце просачивалось сквозь ставни, и старые бархатные кресла цвета малахита казались маленькими лужайками. Выйдя из гостиницы, Тесса увидал свеженаклеенную афишу: «Жак Дюгар благодарит своих избирателей и, повинуясь долгу патриота, снимает кандидатуру. Да здравствует Франция!» Тесса не мог скрыть улыбки. Он даже подмигнул молодой цветочнице; поглядев на нее, он вспомнил

шею Полет. Все-таки жизнь хороша! В это утро все ему нравилось: и романские церкви, и пылесосы в витрине магазина, и рыночные торговки. Он готов был всех расцеловать. Наверно, этот Дюгар — славный парень, с ним можно хорошо позавтракать, поболтать, пошутить. Жаль, что у Тесса нет поместий, он дал бы Дюгару заработать. Да и Дидье порядочный человек, старый слесарь, добродушный и усатый. Такой может починить замок... Дело не в этикетках, а в людях! Тесса останавливался возле каждой афиши. Люди обсуждали заявление Дюгара. Один шофер слез с машины, прочитал обращение вслух, потом сплюнул и сказал:

— Ай да шпана!

Но даже это не смогло омрачить Тесса. Он сиял. Он решил съездить в Париж на полтора дня: надо посвятить Полет целый вечер. Он зашел в кондитерскую и купил коробку конфет для Дениз. Потом он сел в маленьком кафе; заказал стакан пикона. Рядом сидел человек, несмотря на ранний час, успевший опрокинуть несколько рюмок. Он кормил воробьев крошками хлеба, завернутого в газету. Он сказал Тесса:

— Приятно поговорить с птицей. А то все выборы и выборы...

Тесса машинально спросил:

— Вы за кого?

— Я? Я за себя, вот я за кого! И за птицу. А голосовать я не буду. Дудки!

Тесса рассмеялся:

— Правильно! Что будете пить? Я угощаю.

Тесса уехал в четыре часа, а в пять Бретейль направился к маркизе де Ниор. Там по вторникам собиралась знать Пуатье: разорившиеся помещики, жившие скромно, но по этикету. В их среду были допущены два фабриканта, профессор археологического института и несколько лиц духовного звания. Лакей разносил жидкий чай и крохотные сандвичи: маркиза славилась скупостью. Обычно гости сплетничали, для приличия посвящая пять минут иностранной политике или раскопкам: город славился древностями, и все местные аристократы обожали археологию. Но в тот день разговор вращался вокруг одного — перебаллотировки. Гранмезон чувствовал себя героем.

Это был ворчливый, но безобидный старик с черепом новорожденного и с подагрической ногой, обутой в матерчатую туфлю. Сердясь, генерал выставлял больную ногу вперед и кричал: «Никогда!»

Бретейль, поболтав в чашке ложечкой, сказал:

— Мой друг, при создавшемся положении благороднее всего уйти.

— Никогда! Я не Дюгар... Я знаю, что пройдет Тесса, но бывают поражения, которые почетней победы.

— Не нужно горячиться. Две тысячи голосов, поданных за вас, откинут Тесса в лагерь наших врагов. А между тем это порядочный человек.

Все возмутились:

— Приятель Шотана! Вспомните дело Стависского!..

— Масон! Он в ложе «Великий Восток».

— А деньги Дессера?..

Гранмезон выкрикивал:

— Порядочный? А вы его писания знаете? Атеист. Хуже того — циник! «Светская школа»! Из этой школы и выходят шалопаи, которые хотят поделить все... Никогда!

Бретейль заговорил с необычной для него страстностью:

— Будем говорить прямо. Наша страна накануне революции. Народный фронт может вовлечь Францию в войну. Если мы даже победим как государство, для нас эта победа будет поражением. Тесса против религиозного воспитания? Допустим. Но ведь это — думать о насморке, когда человек болен скоротечной чахоткой. Тесса не коммунист. Я его видел вчера. Он мне подтвердил все. Народный фронт завтра придет к власти. Если нельзя его остановить заградительным огнем, надо взорвать его изнутри. Десяток Тесса сделают свое дело. Чтобы спасти Францию, я готов объединиться не только с Тесса, но даже с немцами. Да, да, выслушайте меня!.. Если завтра мне скажут — революция неминуема, я отвечу: зовите Гитлера.

Воцарилась тишина. Маркиза де Ниор прошептала:

— Вы замечательно говорите, господин Бретейль!.. Но это мрачно!.. Господи, до чего это мрачно!..

Она уронила на пол щипчики для сахара.

12

О своем успехе Тесса решил рассказать домочадцам за завтраком: он любил говорить о политике, когда перед ним дымилось вкусное блюдо.

— Положение было критическим. Дюгар пустил в ход клевету: снова Стависский!.. Кстати, Люсьен, ты можешь радоваться: твоя книжонка там нарасхват. Конечно, из-за меня... Гранмезон ее каждый день цитировал: «Полюбуйтесь на сынка!..» Мамочка, где ты достала такую нежную утку? Мне в Пуатье приготовили лангуста по-американски, это был лангуст!.. Но и коммунисты не отставали. Они меня взяли под такой огонь... «Свобода, мир», словом, безответственная демагогия. В итоге — перебаллотировка. Я думал, что свалюсь от усталости. И такие головные боли!.. Дениз, почему ты бледная? Ты должна съездить в Пуатье: там романские церкви, это класс! Святая Редегонда... Я подсчитал: если коммунисты снимут кандидатуру, шансы равные — чет и нечет. Но ходили слухи, что они будут опять голосовать за Дидье. Ведь приятели Люсьена меня не очень-то жалуют. Что же, я заявил, что являюсь кандидатом Народного фронта. Овация. Даже кулаки подымали. Я, по правде сказать, не выношу этого жеста... Уточка дивная! Первый мыс обойден: коммунисты заявили, что будут голосовать за меня. Но тут правые подняли крик: они хотят мобилизовать всех. А шансы равные: красное и черное...

Он замолк, обгладывая лапку. Люсьен сказал:

— Ты все-таки побьешь фашиста. Настроение страны...

— Погоди! Ты даже не представляешь себе, что случилось. Угадай! Это как в театре... Мамочка, положи мне салата. А себе?.. Тебе нельзя даже салата? Ужасная вещь диета! Ну что, не угадал? Дюгар снял кандидатуру, и я теперь — единственный кандидат. Это — национальное объединение.

Люсьен не удержался:

— И ты на это пошел? Какая низость!

Тесса обиделся:

— Я не вижу в этом ничего позорного. Все партии сошлись на мне. Этим можно только гордиться. Разве

национальное объединение — низость? Даже твой слесарь все время говорил: «Франция! Франция!» Ты, брат, отстал.

Завтрак был испорчен. Близкие не понимают Тесса. Жена вздыхает. Дениз не слушает, ест или играет с котенком. А этот бездельник, наверно, придумывает новый пасквиль. Тесса, проглотив кофе, прошел в кабинет:

— Мне надо поработать.

(Все знали, что после завтрака он спит; называлось это «работой».)

Люсьен упрекал себя за несдержанность. Он ждал приезда отца, чтобы попросить у него пять тысяч. Жаннет необходимо оперировать. А занять не у кого. Зачем он рассердил отца? Теперь отец, чего доброго, откажет. Люсьен вспомнил глаза Жаннет и, больше ни о чем не думая, вошел в кабинет. Сразу — так кидаются в холодную воду — он сказал:

— Мне нужны пять тысяч. Дозарезу.

Тесса молчал. Люсьен угрюмо выговорил:

— Я не хотел тебя огорчить. Не сердись!

Тесса лежал на диване. Обида еще больше заострила его птичье личико. На лбу были капли пота. Маленький и очень бледный, он казался мертвецом.

— Зачем тебе пять тысяч? На пасквиль?..

Люсьен не ответил. Тесса поглядел на него и отвернулся. Такой способен на все!.. Дядя Тесса был тоже рыжим. В семье о нем не говорили: он подделал подпись кассира и получил четыре года...

— Все равно... Бери.

Он встал и выписал чек. Люсьен ушел.

Тесса снова лег и решил вздремнуть, чтобы успокоиться; но ему мешали мысли. Он испытывал отвращение, как в тот вечер, когда приехал Бретейль. Люсьен думает, что ему не противно брать подачку из рук Бретейля? Конечно, противно. Противно и якшаться с коммунистами. Починить замок? Пожалуйста! Но не решать с ними вместе судьбы страны! Все это мерзость!.. Как жизнь. Разве жизнь не пакостная игра? Чет или нечет. В палате, когда голосуют доверие правительству... Несколько голосов «за» или «против» решают судьбу человека. А присяжные?.. Отрежут человеку голову или не

отрежут? Да это зависит от пустяка: растрогала ли речь Тесса какого-нибудь лавочника. Если нет, так разбудят в четыре часа утра, дадут стопку рома и полоснут по шее. Лотерея! Все понимают, что Народный фронт — гадость. Но он не продержится и года. Вообще ничего не продержится. Гниль! Дрянь! Все рассыплется. А тогда наплевать... Вечером он поедет к Полет. И Полет умрет. Все умрут.

Мысли о неизбежном распаде существующего успокоили Тесса. Из кабинета раздался тонкий храп, переходивший в свист.

Люсьен сказал Дениз:

— Что ни говори, а это все-таки низость. Он и с коммунистами, и с «Боевыми крестами». В этом нет ни чести, ни простой честности.

— Мне его жалко. Он очень постарел за последний год.

— Неудивительно — Полет способна доконать человека в его возрасте.

— Люсьен!..

Он поглядел на нее и вспомнил глаза Жаннет. Ах, эти тихони!.. А Жаннет его не любит. Сама призналась. Да и за что его любить?.. Люсьен сказал:

— Можешь и меня пожалеть заодно. Отец еще, может быть, умрет, а я не умру, я сдохну.

Вечером Тесса несколько развлекся: он был у Полет, потом они ужинали у «Максима». Тесса лениво глядел на канкан: ноги девушек то подымались, то опускались. Это казалось ему жизнью. Он пил шампанское, бокал за бокалом, но не пьянел. Задумчивость, которая родилась днем, не проходила.

Он вернулся домой в два часа. Жена, как всегда, раскладывала пасьянс, лежа с грелкой на животе. Увидев Тесса, она расплакалась.

— Хорошо, что ты пришел... Такие боли!..

— Это пройдет, Амали. Доктор сказал, что это скоро пройдет.

— Нет, я знаю, что не пройдет. Я теперь скоро умру.

— Зачем ты говоришь глупости?.. Я видел доктора. Это можно вылечить. Ты еще всех переживешь...

— Зачем мне жить? Я ни на что больше не гожусь. Сегодня, ради твоего приезда, я встала, и вот видишь, снова хуже... Я не боюсь смерти. Я другого боюсь... Ты ни во что не веришь... Но должна быть расплата... Я не хотела говорить при детях... С коммунистами!.. Как ты можешь? Я вчера читала в газете, что они делают... Они в Малаге восемь церквей подожгли. Это звери! И вот ты, мой муж,— с ними!

Тесса разделся, лег и только тогда ответил:

— Ты думаешь, что мне не противно? Противно. Политика — грязное дело. Спекулировать и то лучше... Но что ты хочешь? Нам с тобой деньги не нужны, проживем как-нибудь. А дети? Люсьен сегодня снова взял у меня пять тысяч. Если ему не дать, он способен кого-нибудь зарезать... А ты подумала о Дениз? Она может не сегодня завтра влюбиться. Я не хочу, чтобы она зависела от мужа. У нее гордый характер. Без денег она не вытерпит. Знаешь, Амали, не нужно меня добивать! Мне и так плохо...

Жена поцеловала его в лоб и погасила свет..

Тесса лежал на спине, глядя в темноту. Он знал, что не уснет. Светлые точки подымались вверх, как газ шампанского. Рядом жена тихо стонала. Он шепнул: «Амали!» Она не откликнулась: она стонала во сне. Тесса почувствовал страх. Амали скоро умрет. И он умрет. И ничего!.. Он вспомнил, как отрезали голову Ларошу, который убил полицейского. Это было осенью. На бульваре Араго под ногой шуршали листья. А солнце было большим и красным. Ларош выпил ром, щелкнул языком и сказал: «Каюк!» Думали, что он умрет спокойно, но, когда его повели к гильотине, он упирался; его тащили, а он выл, как собака в деревне. Тесса теперь слышал этот вой и дрожал. А светлые точки все подымались к потолку... Хорошо Амали! Она верит в ад — это тоже выход. Пусть — муки, лишь бы сознавать!.. Но никакого ада нет: могила, холод, пустота. И, не вытерпев, Тесса закричал. Жена проснулась:

— Что с тобой, Поль?

Он виновато ответил:

— Мне что-то приснилось.

13

Огюст Виар, о котором Жолио рассказывал небылицы и которого боготворил Пьер, походил на рассеянного, добродушного профессора. Прошлый век сказывался во всем: в пенсне, в широкополой черной шляпе, в наклонности к психологическому анализу, в витиеватом слоге.

Виар родился в Шалоне, в тот год, который прозвали «Страшным»; над его колыбелью пролетали ядра пруссаков. Отец Виара был убежденным республиканцем и отсидел два года в тюрьме за выступление против «Маленького Наполеона». Огюст с ранних лет слышал имена Марата, Бланки, Делеклюза и горячие споры о социальной революции.

В Париже Виар поступил на исторический факультет. Он хотел посвятить себя политической борьбе; но неожиданно увлекся искусством — сказался возраст, может быть и эпоха. Молоденький студент не раз встречал в кафе Латинского квартала старого Верлена, который, среди пьяного бормотания, вдруг ронял прекрасные строфы, похожие на крик перелетной птицы, разбившейся о провода. Виар выпустил сборник стихов, подражательных, но не бездарных. Он помещал в газетах отчеты о «Салонах»; хотел стать критиком. Но его захватило дело Дрейфуса. Он стал учеником Жореса. Будучи по природе человеком скромным, он выполнял любую работу: писал статьи для крохотных журналов, обличал клерикалов, ездил по захолустьям, выступая против милитаризма, и с дрожью в голосе требовал женского равноправия. В свободное время он много читал; продолжал интересоваться искусством; товарищи, шутя, звали его «наш афинянин». Незадолго до войны его выбрали в парламент. Это совпало с женитьбой Виара; женился он на женщине-враче. Виара не выпускали с ответственными речами в палате, но он работал в различных комиссиях и считался специалистом по культурным вопросам. Он ездил на международные конгрессы; там он познакомился с Лениным, Бебелем, Плехановым. Он твердо верил, что социалисты, получив на выборах большинство, осуществят великие преобразования.

Вместо этого разразилась война. Виар переживал ее мучительно, как гибель своих мечтаний. От участия в Циммервальдской конференции он, однако, уклонился: «Нельзя противопоставлять рабочий класс нации!» Разговоры о «священном союзе» его и раздражали, и умиляли. Он ограничивался протестами против строгостей цензуры или против расстрелов без суда.

Настали бурные послевоенные годы. Виар приветствовал русскую революцию, но осудил коммунистов: «Мы должны итти своей дорогой!» Война укрепила в нем отвращение к крови; он был убежден, что человечество пойдет по пути мирного прогресса.

Он стал одним из руководителей социалистической партии; этому способствовали и возраст, и эрудиция. Душевно он постарел, ссохся. Его жена умерла; дочери вышли замуж; он жил один в просторной, неуютной квартире, похожей на картинную галлерею: он попрежнему любил живопись. Все чаще и чаще он испытывал потребность в одиночестве. У него был деревенский домик в Авалоне, весь обвитый глициниями. Там, на щербатой скамейке, он слушал перекличку петухов или кваканье лягушек. Возвращаясь с заседания палаты, он садился перед портретом дочки, написанным Ренуаром, и любовался розовыми тонами, теплыми и сладкими, как пенки варенья. Страх перед всем, что может нарушить распорядок жизни, влиял на его политические оценки. Человек, которого правые карикатуристы изображали с ножом в зубах, был кротким домоседом, повторяющим по привычке старые революционные монологи.

Внезапно, как ветер на море, поднялась буря. Не находя себе места в жизни, молодые повернулись к крайним партиям. Февральский мятеж напугал Виара. Он возненавидел питомцев Бретейля: они посягнули на покой страны. Виар стал сторонником Народного фронта; он даже поборол в себе давнишнюю неприязнь к коммунистам; он защищал свой домик в Авалоне, свои картины, свое место в парламенте.

Накануне выборов он выступил на большом собрании, вместе с коммунистами, и десять тысяч человек восторженно его встретили. Сначала он говорил о демократии, о платных отпусках, о гражданском мире; но, будучи

прирожденным оратором, он поддался чувствам толпы. Живые звуки пробились сквозь пески красноречия: надтреснутый голос окреп. Виар заговорил о соседней Испании, где на выборах победил Народный фронт:

— Крестьяне Эстремадуры запахали землю помещиков. В монастырях, вместо мощей, циркуль и глобус. Рабочие учатся стрелять из винтовок, чтобы отстоять свободу...

В ответ раздался крик десяти тысяч:

— Да здравствует Народный фронт!

На верхнем ярусе сидели Мишо и Дениз. Он аплодировал, кричал; потом, смеясь, шепнул Дениз:

— Не ему — испанцам...

Вслед за Виаром выступил коммунист Легре. Дениз вскрикнула: «Я его знаю» — это был рабочий с шрамом на щеке, который спросил ее, из какого она района.

— Товарищи, не в одних урнах дело. Придется защищать правительство Народного фронта грудью. Это не слова, а дело, и трудное. Нужно победить, обязательно!..

Виар пожал руку Легре; это привело всех в восторг: казалось, прошлый век, утописты и зачинатели, приветствует людей, способных не только жертвовать собой, но и побеждать.

Дениз и Мишо вышли. На улице было душно: надвигалась гроза. Разморенные люди на террасах кафе пили пиво и лениво вытирали потные лица.

Прошло всего полтора месяца с предвыборного собрания на улице Фальгьер, но Дениз и Мишо разговаривали, как старые друзья. Дениз сказала:

— Виар хорошо говорит, но чего-то ему нехватает...

— Не верит в то, что говорит.

— А мне кажется — верит, но наполовину. Я это понимаю, со мной тоже бывает — скажу уверенно и сейчас же спохвачусь...— Она добавила, смеясь: — Только я на собраниях не выступаю. Мне Легре нравится, у него все выходит всерьез.

— Надо, чтобы слова вязались с поступками.

— А можно вязать?..

— Можно. Кровью...

Ударил гром, и сразу —как полилось!.. Они забрались под брезентовый навес магазина. Стояли близко один от

другого, среди воды, молний, и разговаривали вполголоса, хотя никого рядом не было. Дениз рассказывала о своей жизни.

— Много лжи... Я не хочу с вами говорить об отце, это как-то нехорошо выходит. Но жить так тоже нельзя. Иногда мне кажется, что я, как рыба на кухонном столе. Надо что-то придумать. Я не прошу у вас совета, просто рассказываю.

— Выход простой...

— Нет. Для вас это — просто. Ведь это — ваше, может быть даже врожденное, во всяком случае с детства. А меня иначе скроили. С вами я этого не чувствую, а на собраниях — всегда... Мне надо семь раз примерить, не то будет, как с братом. Люсьен неплохой человек, только ветреный. Влюбится, а потом даже не помнит,— как ее звали. У него так и с убеждениями. А я тяжелодум.

— Вы, Дениз, особенная!.. Вот и сказал глупость! Объясните мне, что за история — как начинаю с вами говорить о таких вещах, получается чепуха? Откуда это, скажите, пожалуйста? Ну, ладно, довольно дурить! Я хочу вам сказать одну вещь. Вы только не примите это за другое... Вот я вас слушаю, гляжу, и я что-то начинаю понимать. Это вроде искусства... Я все бился, хотел понять — почему так волнует?.. И это — стихи, и то — стихи. Но одно прочтешь и забудешь, а от другого все внутри переворачивается. Мне кажется, я теперь и архитектуру понял. Без Мале. С вами. И еще как!..

Он комично развел руками, но она не рассмеялась.

— Мишо, об этом не нужно говорить. Я сейчас думаю о другом... Я у вас учусь: жить, дышать, разговаривать. Может быть, научусь тому... Как вы сказали?.. «Поступкам». А дождь не перейдет.

Они выбежали под звонкий ливень. На них с удивлением поглядывали: они шли мокрые и улыбались. Дениз была без шляпы; косы, закрученные позади; серый дорожный костюм. Красота ее была строгой, несколько старомодной. А глаза Мишо горели еще ярче обычного. Молча они дошли до дома Дениз; весело простились. Дождь не утихал, и на синем асфальте вздувались большие светящиеся пузыри. Пахло травой, дачей.

Когда Виар вернулся к себе, недавняя приподнятость показалась ему наигранной; он переживал стыд похмелья. Зачем он произнес эту речь? Завтра за него будет отвечать государство. Надо взвешивать каждое слово. Нельзя с замашками провинциального агитатора стать министром!

Он решил забыться и сел в глубокое кресло. Перед ним висел пейзаж Боннара: под зеленым навесом солнечные блики сгущались, как мед; от полотна шло спокойствие жаркого полдня. Виар начинал входить в тот мир неподвижности, оцепенения, где он проводил лучшие свои часы.

Очарование нарушил лакей, который принес на подносе вечернюю почту. Виар нехотя вскрыл первое письмо и сразу переменился в лице. На машинке было написано: «Если ты посмеешь управлять Францией, мы тебя подожжем, как старую крысу. Смерть Народному фронту! Французский патриот».

Анонимное письмо испугало Виара; он боялся не смерти, но ответственности. Через несколько дней ему придется решать, приказывать, может быть карать. А он этого не умеет; он привык анализировать, критиковать, оставаться при особом мнении. В шестьдесят пять лет Виар испытывал дрожь девушки перед первыми объятиями. Когда-то ему все казалось простым: они получат на выборах большинство и объявят эру социализма... Может быть, тогда это и было просто? До войны люди были мягче, податливей. Они не знали ни карательных экспедиций, ни костров из книг, ни фашистских лагерей. Вот этот пишет: «Подожжем, как крысу...» Да, они будут науськивать, провоцировать, стрелять из-за угла. Как в Мадриде... Они захотят потопить Народный фронт в крови. А кто союзники Виара? Для коммунистов он «предатель». Коммунисты начнут настаивать, требовать решительных мер, апеллировать к массам. Радикалы?.. Для Тесса Виар и Легре — одна шайка; достаточно послушать, с каким отвращением он выговаривает слово «марксист»... Виар одинок. Если ему сегодня аплодировали, то только потому, что он говорил, как Легре. Когда он начнет действовать, те же самые люди его освищут.

К чему это все? Сколько ему остается жить? Пять лет. Может быть, меньше. Он мог бы глядеть на пейзажи Боннара, читать хорошие книги, уехать к себе, в Авалон — там зяблики, левкои... Как все непонятно и скучно! И до чего холодно в комнате!.. Виар почему-то вспомнил свои юношеские стихи:

Промозглый холод,
И фонари,
И мысль, как овод:
Умри! Умри!

Он чувствовал, что в этот горячий майский вечер его бьет озноб.

— Робер, принесите мне плед.

Усмехнувшись, лакей сказал кухарке:

— Результаты предвыборной кампании — дышать нечем, а ему холодно!

14

В воскресенье вечером Пьер зашел к Аньес:

— Пойдем на Бульвары — будут объявлять результаты выборов.

Он был возбужден близостью развязки, кричал, размахивал руками. Аньес не хотелось итти; она себя плохо чувствовала, да и не занимали ее выборы; однако она уступила.

Людская река текла с узких темных улиц вниз, к центру. Лихорадка, охватившая Пьера, трясла город. Отовсюду слышались вопросы, догадки, слухи, слова тревоги или надежды. Кепки рабочих запрудили Большие бульвары. Обычная публика отступила перед ними; только иностранцы и проститутки сидели на террасах нарядных кафе.

Пьер и Аньес стояли перед редакцией вечерней газеты. На большой треугольной площади нетерпеливо гудела толпа, как в театре перед занавесом. Через несколько минут имена и цифры на белом экране расскажут о судьбе Франции. Может быть, победят правые?.. И суеверная тревога рождала слухи: крестьяне испугались Народного фронта, провинция голосовала за фашистов, даже красные пригороды Парижа отступились от левых. На экране

стояло всего несколько имен: первые парижские депутаты. Люди расхватывали вечерние газеты, хотя знали, что в них еще нет результатов выборов. Площадь походила на ярмарку. Кто-то, чтобы скоротать время, затянул романс о «госпоже маркизе». Грызли китайские орешки. Арабы расхваливали коврики из козьего меха. А вечер был жаркий; в соседних барах бойко торговали пивом и лимонадом.

Вдруг раздался голос громкоговорителя:

— Торез Морис. Избран...

Ответная буря голосов: Тореза любили. По площади прокатывалось: «Да здравствует наш Морис!» Хотя никто не сомневался, что Торез будет избран, первая удача вдохновила всех. Запели «Интернационал». Толпа теперь заполнила соседние улицы. Напрасно полицейские пытались расчистить дорогу для автомобилей; впрочем, полицейские не настаивали: они не знали, чья сторона возьмет, и старались быть деликатными.

— Фланден Пьер. Избран...

— Долой фашистов!

— Предателей к стенке!

— Блюм Леон. Избран...

— Да здравствует Народный фронт!

Приветствия и аплодисменты сменялись свистками. Но все чаще слышались радостные возгласы и все реже толпа разражалась неодобрительным улюлюканьем. К десяти часам стало ясно, что Народный фронт победил. С лиц уже не сходила улыбка. Сведения об избрании правых встречались ленивым свистом. Легкая победа казалась колдовством, чудом: все выиграли пять миллионов в необычайной лотерее. Не ружья, но крохотные листки спасли народ. Десятки лет голосование было скучным обрядом: не все ли равно, кто пройдет — радикал-социалист или левый республиканец? Но эти выборы были особенными; они родились на улице, среди камней и крови шестого февраля, среди красных флагов демонстраций. Надежда на перемену не только министерства, но и своей маленькой жизни в этот майский вечер охватила всех. На других площадях и дальше—в прокопченном Лилле, в веселом Марселе, в молчаливом, черством Лионе, на побережье океана, на склонах Альп миллионы сердец взволнованно бились.

— Виар Огюст. Избран...

Пьер закричал так громко, что Аньес, смеясь, зажала уши. Его возглас подхватили другие. Но Пьеру это показалось недостаточным. Он ревниво сказал:

— Когда проходит коммунист, они кричат куда сильнее...

— Тесса Поль. Избран...

В ответ несколько человек неуверенно крикнули:

— Да здравствует Народный фронт!

Аньес сказала:

— Пойдем. Я на ногах не держусь...

Они дошли до Бульваров и сели на террасе маленького кафе. Кругом люди чокались, поздравляли друг друга.

— Аньес, как ты можешь не радоваться?

— Чему? Что выбрали Тесса? Да, конечно, этот подлец хлопотал за меня... А я не радуюсь.

— Дело не в Тесса. Это деталь. Важно, что победил Народный фронт.

— Ты ведь знаешь, как я к этому отношусь. Для меня жизнь — как раз то, что ты называешь «деталями».

— Тесса?

— Нет. Прямота, честность.

Пьер был слишком утомлен событиями дня, чтобы спорить. Он только покачал головой и отдался шумливой радости проходивших мимо людей.

За соседним столиком сидели солдаты; они подвыпили и кричали:

— Полковник наложит в штаны...

— Да, теперь их приберут к рукам...

— Ты что — завтра в Страсбург?

— Послезавтра утром. Там теперь, брат, сезон. Немцы все время что-то строят; видно как на ладони... Орудия поставили, прямо на город...

Пронеслись газетчики:

— Экстренный выпуск! Полная победа Народного фронта!

Аньес попросила:

— Если можно, поедем в такси. Я совсем расклеилась.

Дома она сразу легла.

— Что с тобой? Простудилась?

Она едва заметно улыбнулась.

— Нет... Да ты не волнуйся, я не больна. Так должно быть... Не понимаешь?.. Вот глупый!

Пьер, наконец-то, понял. Он запрыгал по крохотной комнатушке.

— Вот это замечательно! И чтобы узнать в такой день!.. Да он у нас будет чудесным, увидишь! Обязательно — он! Может, тебе принести чего-нибудь? Лекарство? Апельсины?

Она засмеялась:

— Ничего не нужно. Садись сюда. Вот так...

Она приблизила его глаза к своим и руками отгородилась от света.

— Так мы совсем одни...

Она улыбалась: ей было легко и спокойно.

Под окном раздалось: «Это есть наш последний...» Беднота Бельвиля подымалась по горбатым улицам к себе, в темные зловонные дома. Сегодня люди увидели сказку: не любовь американской красотки, не феерию на сцене плохонького районного театра, нет, сказку о них самих: кто-то сражался за Бельвиль и победил; теперь они будут счастливы!

— «...И решительный бой...»

Аньес вдруг вспомнила солдат в кафе. У того, что рассказывал про Страсбург, были розовые пушистые щеки, как у ребенка... Аньес нахмурилась. Ее близорукие глаза стали еще беспомощней обычного.

— Скажи, Пьер, войны не будет?

— Нет.

— И потом?..

— Ни теперь, ни потом. Никогда!

15

Победа Народного фронта взволновала обывателей: говорили о надвигающихся забастовках, о кризисе, о беспорядках. Дамы испуганно шушукались: «Моя прислуга сразу обнаглела!» Лавочники прятали продукты. Крупные сановники снисходительно поясняли, что они не будут повиноваться новым министрам: «Это калифы на час».

Бретейль предложил «всем честным французам» украсить свои дома национальными флагами и тем протестовать против Народного фронта. На некоторых улицах одни фасады были украшены трехцветными флагами, другие красными, и казалось, что не только люди — камни готовы броситься друг на друга. В финансовых кругах царила растерянность; поговаривали о крупных налогах на капитал, даже о национализации банков. Капиталисты спешно переводили деньги в Америку.

Только Дессер сохранял спокойствие. «Как вы можете работать в такое время?» — спросил его знакомый банкир. Дессер ответил: «Расскажите мне, чем Блюм отличается от Саро? У меня слишком грубая натура, чтобы разобраться в подобных нюансах».

Узнав, что Виар назначен министром, Дессер решил поговорить с ним по душам: это — дети, они могут наделать глупостей... Он позвонил Виару: «Мне давно хотелось ознакомиться с вашим собранием картин...»

Выступая на митингах, Виар не раз называл имя Дессера; говорил, что Дессер — тип беззастенчивого дельца. Однако, узнав о предстоящем визите, Виар с гордостью подумал: «Дессер все же выбрал меня!» Он не помнил своих обличительных речей; он жил теперь, как подросток, которому все внове. Не прошло и недели, как он стал министром, но он не только иначе рассуждал, он иначе улыбался, иначе клал ногу на ногу: все его мысли, жесты, слова были подчинены новому положению.

Дессер, тот помнил все, но он был равнодушен к обидам, как и к похвалам: он презирал слова. Он поздравил Виара:

— Дорогой друг, я счастлив увидеть вас на этом посту.

Натянутость исчезла перед картинами. Виар сразу понял, что Дессер разбирается в живописи. Они приятно побеседовали о голубом периоде Пикассо, об Утрилло, о рисунках Матисса. Разглядывая наброски Модильяни, полные тревожных предчувствий, Дессер сказал:

— Поразительно, как в статическом искусстве выражается крайность, даже чрезмерность...

— Я люблю это и у старых мастеров: у Греко, Сурбарана..

Дессер вынул изо рта трубку, обдал собеседника едким дымом (он курил дешевый черный табак) и вдруг сказал:

— Теперь вам придется от этого отказаться. Ничего не поделаешь, вы сами выбрали такую профессию. Я, например, могу быть азартным. Я поставил на вас, а для меня это — риск. Но вы не имеете права рисковать. У каждого искусства свои законы. Политика — это большие речи и маленькие дела. Я вас поддерживал на выборах, готов вам помогать и впредь. Но сколько таких, как я?.. Биржа вас ненавидит, для Венделя вы бандит, для господ из «Лионского кредита» — взломщик. Стоит вам сделать один неосторожный шаг, как они вас растерзают. Не потребуется ни заговоров, ни парламентских интриг: достаточно организовать понижение франка. Вы увидите, что тогда запоют рабочие... Я уж не говорю о рантье; эти будут кричать: «Виара к стенке!» У вас прекрасный Брак... Я его не очень-то люблю, суховат, но этот натюрморт — один из лучших... Помните, Брак сказал: «Художник должен проверять вдохновение линейкой». Вам придется проверять социалистические проекты курсом франка...

Виар возмутился; ему захотелось ответить: «Мы запретим вывоз капиталов, установим твердый курс франка, посадим вас в тюрьму!» Но вспышка длилась не больше минуты. Виар вспомнил о своей ответственности:

— Не нужно вставлять нам палки в колеса. Ведь стабильность правительства — единственный шанс мирного разрешения конфликта.

— Бесспорно. Это относится и к международному положению. Кстати, я надеюсь, что в этой области вы используете опыт нашего общего друга Тесса.

Виар едва заметно поморщился: он считал Тесса своим врагом. Но Дессер не следил за его мимикой; он продолжал:

— Я убежден, что вам удастся сохранить мир. Конечно, Гитлер несносен, но лучше любые уступки, нежели война.

Виар расцвел. Он боялся, что Дессер, ссылаясь на опасность извне, начнет бряцать оружием. Но нет, и Дессер за мир! Виар крепко пожал его руку:

— Верьте мне, пока я у власти — никаких авантюр! Я не допущу, чтобы французские крестьяне умирали за абиссинцев или за чехов.

Проводив гостя, Виар облегченно вздохнул, как школьник, сдавший трудный экзамен. Конечно, Дессер защищает свои интересы. Но все теперь перепуталось; интересы Дессера совпадают с интересами трудящихся. Он — искренний пацифист. Значит, Виар представляет не партию, не класс, а нацию...

Вошел секретарь за подписью: приказ о перемещении чиновника, игравшего крупную роль в организации Бретейля. Виар отстранил лист:

— Зачем восстанавливать против себя всех?

Шутя он добавил:

— Мой друг, надо учиться управлять сорока миллионами. Во времена Маркса пролетарии могли потерять только цепи, а завоевать весь мир. Теперь мы можем потерять мир, а завоевать только цепи.

Выйдя на улицу, Дессер брезгливо отряхнулся. Все оказалось чересчур легким!.. И вот такому Виару верит Пьер! Не один Пьер, миллионы... Да, люди глупы; вероятно, в этом их спасение.

Дессер должен был поехать на совещание финансовых экспертов, но передумал: трусость Виара его утомила. Он зашагал по длинной улице Риволи. Дойдя до площади Бастилии, он свернул в боковую уличку и увидел светящуюся вывеску танцульки. Не раздумывая, он вошел: забыться!..

Гармонисты лихо исполняли старые фоксы. Бумажные фонарики и гирлянды из коленкора придавали помещению характер театральной постановки. Вокруг Дессера танцовали матросы, рабочие, модистки, горничные.

Дессер, вручив музыкантам пять су за тур, подхватил толстую веснушчатую девушку. От нее пахло дешевой пудрой, и, танцуя, она блаженно закатывала глаза. Потом Дессер угостил ее пьяными вишнями.

— Вы любите танцовать?

Девушка оказалась болтливой:

— Очень! Только редко удается. Я до шести работаю в мастерской. А приходится еще брать работу на дом. Знаете, сколько мне платят? Пятьсот пятьдесят! Разве на

это можно прожить? Теперь, говорят, все изменится. У нас мастерицы заявили, что если не набавят, мы будем бастовать. Потому что теперь Народный фронт и никто не хочет жить по-старому. Правда?

Дессер вытряхнул из трубки пепел и, надвинув на глаза свои неестественно большие брови, сказал:

— Как же, как же! Обязательно переменится... Вот, например, блондины танцовали с брюнетками, а Виар прикажет, чтобы брюнетки танцовали с блондинами. До свидания, милая барышня! Мне пора домой!

16

Забастовка на авиационном заводе «Сэн» началась в субботу. Всю неделю рабочие пытались договориться с дирекцией. Дессер соглашался на увеличение заработной платы, но решительно отклонял другие требования рабочих. Особенно его возмутили пункты, касавшиеся коллективного договора и платных отпусков. Он сухо ответил:

— Это не подлежит обсуждению.

Дессер понимал, что время от времени забастовки неизбежны. Эти маленькие войны кончались то победой рабочих, то победой Дессера; причем сторона, потерпевшая поражение, ни на минуту не отказывалась от мыслей о реванше. Требования забастовщиков всегда сводились к одному: поменьше рабочих часов, побольше франков; и Дессер находил это естественным. У него сотни способов наживы. Рабочие только забастовками могут повысить свой заработок. Остальное зависит от ситуации, от выдержки. Если завод завален срочными заказами, а среди безработных трудно отыскать квалифицированных рабочих, Дессер идет на уступки. Если заказов мало, а желтых много, Дессер выжидает: пройдет неделя-другая, и, не выдержав голодухи, забастовщики придут с повинной, или он объявит расчет и наберет новых. Дессер видел в этой непрерывной борьбе закон жизни и не испытывал к своим противникам ни симпатии, ни злобы.

Народный фронт победил на выборах; к этой победе приложил руку и Дессер; он верил в изворотливость ра-

дикалов; среди новых министров были его старые приятели; разговор с Виаром окончательно его успокоил: из этого поджигателя выйдет отменный пожарный!.. Пылкие речи не смущали Дессера: зачем принимать бенгальский огонь за катастрофу? Он ждал забастовок: рабочие воспользуются выгодной для них ситуацией. Он готов был пойти навстречу и повысить ставки. Но требования, изложенные Мишо, его возмутили. Дессер — не государство, он всего-навсего предприниматель! Если Виар хочет посылать рабочих на морские купания,— пожалуйста! Пусть платит казна. Коллективный договор?

— Нет, господин Мишо! Я сторонник свободы. Вы можете оставаться на моем заводе или уйти, это ваше дело. Я могу вас оставить или уволить, это мое дело.

В субботу рабочие не стали на работу. Восемнадцать тысяч собрались во дворе перед литейным цехом. Легре сказал:

— Кто против, подымите руку.

Были среди рабочих малодушные, которые уговаривали не бастовать: они боялись попреков домашних, голода, разгрома. Но теперь, когда надо было перед всеми признаться в трусости, они уныло молчали: не поднялась ни одна рука.

Двинулись к воротам. Тогда раздался звонкий голос Мишо:

— Товарищи, стой!.. Не уходи!..

Он стоял на грузовике и, поднеся ко рту рупор, кричал: «Не уходи», и, как эхо, со всех сторон откликались голоса: «Не уходи».

— Товарищи, если мы уйдем, они наберут желтых. Мы должны оставаться на заводе, здесь ночевать, здесь жить — сутки, неделю, месяц — пока не победим.

Раздались изумленные крики: никто не понимал, о чем говорит Мишо.

— Вот так забастовка!

— А жрать что будем?

— Все равно полиция выгонит!

Мишо продолжал кричать в рупор:

— Вопрос о продовольствии разрешит комитет. Возьмем деньги в нашем союзе. Никто нас отсюда не выгонит:

руки коротки! Надо расставить посты. Не подпускать провокаторов. Господа из дирекции могут уйти домой, но назад мы их не пустим. Это правда, товарищи, что такой забастовки не было. А мы покажем...

Приятель Мишо, молоденький токарь Жано, влез на крышу корпуса, где помещалась дирекция, и повесил красный флаг. Он крикнул:

— Знамя над крепостью!

Так началась необычайная забастовка, которая потрясла страну.

Весь день толпы народу стояли на набережной и на улицах, прилегавших к заводу. Три тысячи полицейских, в боевых касках, с противогазами, готовились к штурму. Правительство, однако, колебалось, и полицейские отводили душу на женах забастовщиков, которые пытались пробраться к воротам, или на случайных прохожих. Вечером женщины все же прорвались к заводу; они принесли хлеб, колбасу, сыр, вишни, вино; некоторые притащили мячи для футбола, шахматы, книжки, гитары. Мать Жано принесла яйца и подушку. Жано, вместе с другими, влез на забор, а мать кричала ему снизу:

— Ты что придумал, бесстыдник? Иди домой спать!

Жано сконфуженно улыбался.

Из инженеров дирекции только Пьер присоединился к забастовщикам. Директор ему сказал: «Осторожно! Перебежчиков никто не любит...» Пьер вскипел: «Мой отец, сударь, был рабочим!»

Жано обрадовался, увидев Пьера: раз и Пьер пошел, значит победим!.. Жано было девятнадцать лет, и он мечтал о баррикадах, выстрелах, знаменах. Но и Пьер не был равнодушен к романтике.

Ночью завод превратился в военный лагерь; повсюду были выставлены караулы. Пьер и Жано стояли возле главных ворот. Пьеру казалось, что он на войне: сейчас неприятель пойдет в атаку... А Жано шептал:

— Что, если нападут? У тебя револьвер есть?

— Есть. Но стрелять нельзя... Надо спросить Мишо.

Случилось так, что Мишо, дотоле известный только коммунистам да товарищам по цеху, стал сразу вождем. Говорили: «Спроси Мишо... Мишо приказал... Мишо против...»

Мишо работал безустали. Он раздобыл котлы для супа. Он подобрал оркестр. Он сносился с городским комитетом и диктовал отчеты для «Юманите». Он подбодрял малодушных: «Победим! И еще как!..» Он осматривал машины: надо глядеть в оба, чтобы не повредили...

Вечером музыканты заиграли «Интернационал». Им ответили тысячи голосов, и песня, выйдя из завода, пронеслась над полицейскими и дальше — над рекой, над черными домами встревоженного предместья. Женщины не спали, прислушиваясь к далекому пению. Что сулит им завтрашний день? Голод? Кровь? Счастье? Не спали и забастовщики; под частыми звездами летней ночи они молча мечтали о победе.

Опасаясь столкновений, правительство ночью решило отвести полицейских. В воскресенье народ свободно проходил по набережной к воротам; но завод попрежнему казался осажденной крепостью. Кто его осаждал? Дессер? Тени желтых? Призрак голода? Надо было продержаться до победы.

В понедельник вечером, развернув газету, Мишо крикнул:

— И они! Все! И еще как!..

Он не мог говорить от волнения. Газета «Ла вуа нувель» сообщала, что непривычная забастовка, которая началась на заводе «Сэн», охватила Париж; бастуют все крупные заводы, в них заперлись сотни тысяч рабочих; забастовали универсальные магазины, вечером они ярко освещены, там затворились продавщицы; в кафе и в ресторанах сидят забастовавшие официанты; мелкие чиновники одного из министерств, объявив забастовку, отказались покинуть канцелярию. Отчет о сенсационной стачке написал сам Жолио, написал с присущим ему пафосом: «Плебеи Парижа удалились на Авентинский холм...» Газета рассказывала, что рабочие кварталы Парижа опустели; на улицах встречаешь только женщин и детей. Жолио заканчивал статью поэтично: «Вспоминаются годы войны, когда мужчины тоже были далеко от своих семейств — на фронте...»

Дессер провел два дня у себя в поместье. Узнав о забастовке, он отменил все деловые свидания, выключил

телефон и сел читать Овидия. Он выжидал: захват завода показался ему настолько нелепым, что он предвидел быструю развязку: или забастовщики, опомнясь, разойдутся по домам, или вспыхнет бунт. В понедельник Дессеру сообщили, что забастовка перекинулась на другие предприятия. На следующее утро он поехал в Париж, и не было девяти, когда его машина остановилась перед воротами завода. Молодой рабочий, стоявший на карауле, загородил дорогу:

— Посторонним запрещено.

— Какой же я посторонний? Я — председатель административного совета, Дессер.

Рабочий улыбнулся:

— Фамилия довольно знакомая... Но видите ли, господин Дессер, если мы вас пропустим, вы не сможете потом уйти, тогда вам придется сидеть здесь, пока...

— Пока?

— Пока господин Дессер не уступит.

Они оба рассмеялись. Но в душе Дессер злился: что за балаган! Хороша свобода! Что сказали бы господа забастовщики, если бы их не впустили домой?.. Дессер не показал, что он возмущен; все с той же добродушной улыбкой он сказал:

— Вы остроумный человек, но вам придется меня пропустить.

Рабочий послал товарища к Мишо — за инструкциями, и минут пять спустя объявил:

— Можете итти. Уйдете, когда вам вздумается. Но в цеха вход запрещен — во избежание эксцессов.

Дессер хлопнул рабочего по спине:

— Значит, учитесь хозяйничать? Замечательно!

Дессер прошел по пустым комнатам дирекции. Курьер шел за ним вслед и сокрушенно вздыхал.

— Никого нет?

— Все ушли. Еще в субботу. Только господин Дюбуа остался, но он, прошу прощения, с рабочими.

— Машины осматривает?

— Прошу прощения, но господин Дюбуа забастовал.

Дессер рассмеялся: значит, и Пьер решил захватить завод!..

— Позовите господина Дюбуа.

Дессер попросил Пьера сесть, предложил ему папиросу и потом сказал:

— Простите, что я вас потревожил, но у меня к вам один вопрос. Чисто личный... Вы что же, решили захватить завод навсегда или на время? Мне надо знать, как располагать своим временем.

— Никто завода не захватывал. Это — забастовка. И я нахожу требования рабочих справедливыми.

— Очень интересно!.. По-вашему, это — забастовка? Нет, мой друг, это — насилие. Не думайте, что я дрожу за мое добро. Мне страшно за Францию: одно насилие рождает другое.

— Вы сами говорили, что дорожите чужим счастьем. Эти люди хотят жить, жить лучше, свободнее, веселее. Как же вы?..

— Я вам говорил, что счастье нашей страны может погибнуть от простой случайности: это — неустойчивое равновесие. Теперь все катится вниз.

— Но это зависит от вас. Стоит вам подписать условия, и рабочие очистят завод.

— То есть капитулировать? Это не мое ремесло. Это и не в моем характере. Я предпочитаю подождать. Причем я не вызываю полицию. Я не требую от правительства защиты моих прав. Почему? Хотя бы потому, что я голосовал за Народный фронт. А что делаете вы? Вы срываете все. Вы не даете Виару провести реформы.

— Напротив, мы ему помогаем. Он теперь может опереться на движение масс. Виар, бесспорно, нас одобряет. Он...

Дессер вспомнил картины, пышную мебель, старика в пенсне и усмехнулся. Он сказал миролюбиво:

— Вы убеждены в этом? Что же, тем лучше для вас. Желаю вам успеха. Да, я забыл спросить, как здоровье вашей супруги? Очень приятно... Теперь я могу покинуть ваш завод, не правда ли? До свидания.

Пьер передал стачечному комитету содержание своей беседы с Дессером; потом он сказал Мишо:

— Я никогда не мог подумать, что он окажется таким...

Он не находил слова. Мишо засмеялся:

— Ты не думал, что Дессер окажется Дессером?

Вечером решили устроить концерт, чтобы развлечь забастовщиков. Мишо накануне позвонил в Дом культуры: просил помочь. Марешаль разыскал своих актеров. Некоторые ответили, что заняты. Жаннет сразу согласилась, хотя она не успела еще оправиться после операции.

Сцену построили в палисаднике перед домом дирекции. Цвел кругом жасмин. На лампочки надели пестрые бумажные фонарики. Музыканты настраивали трубы. Двор завода казался площадью провинциального городка в день местного праздника.

Программа концерта была разнообразной. Марешаль прочитал стихи Рембо о мертвом солдате; магия слов дошла до слушателей; стояла плотная тишина. Потом певица исполнила романсы Равеля; она покорно биссировала и улыбалась, среди красных флагов и листов железа. Кочегар-любитель спел песенку Мориса Шевалье «Париж остается Парижем». Все подтягивали и смеялись: нет, Париж уже не тот!.. Настал черед Жаннет.

Никогда она не чувствовала такого подъема. Ей казалось, что после долгих месяцев немоты, когда она повторяла перед микрофоном бездушные слова реклам, ей вернули дар речи. Ее огромные глаза пылали среди фонариков, а голос потрясал людей до слез. Она прочитала монолог из «Овечьего источника». Когда она кончила, ей ответила буря рук. Крики прерывали аплодисменты; это кричал народ Фуэнте Овехуна, который она, не бедная актриса Жаннет, но героиня Андалузии, вела к победе. Жано, подбежав к подмосткам, крикнул:

— Идем!

Он не знал, куда зовет, зачем; он только отвечал глазам Жаннет. А она тихо улыбалась, измученная и счастливая.

Подошел Пьер и, схватив руку Жаннет, сказал:

— Вы прекрасно читали!.. И как хорошо, что вы приехали! Видите, как они вас понимают! Это не театральная публика, это живые люди. Жаль, что Люсьен не пришел. Он что — занят?

— Не знаю. Я его теперь не вижу: мы разошлись.

На минуту Жаннет стало грустно: она вспомнила свое одиночество, маленькую неопрятную комнату в гости-

нице, куда она недавно переехала, тишину радиостудии и пошлые слова реклам. Но тогда раздалось пение; рабочие затянули: «Это юная гвардия...» Тысячи рук поднялись, как деревья невиданного леса, как мачты в гавани. И, ни о чем не думая, во власти шума и слез, Жаннет тоже подняла свой детский кулак. Потом она вздохнула и, не глядя ни на кого, пошла к воротам.

А огни корпусов горели всю ночь, и Мишо обходил часовых.

17

В тот вечер, когда Жаннет выступала на заводе «Сэн», Люсьен проиграл четырнадцать тысяч. Ему так не везло, что люди показывали на него пальцами. «Артистический клуб» был вульгарным игорным домом. Среди игроков, истомленных азартом и жарой, сновали шулера, ростовщики, проститутки. Разменяв последнюю тысячу, Люсьен вдруг почувствовал, что он задыхается. Он подошел к раскрытому окну. Позади раздался шопот:

— Звездами любуетесь?..

Люсьен не ответил. Перед ним была раскаленная улица, с писсуаром, на башенке которого светились слова: «Лучший сыр «Корова смеется». Доходил приторный запах эфира, как из операционного зала. Люсьен оглянулся и увидел слюнявую морду Берже: сейчас заговорит о векселе... Берже злобно сказал:

— Придется мне обратиться к вашему папаше.

Тогда Люсьен понял: уехать! Все последнее время он испытывал обиду отвергнутого. Честолюбие снедало его, как скрытая болезнь. Всем своим существом он ощущал смерть: звуки были приглушенными, контуры предметов расплывались, его преследовал запах эфира. Вдруг ночью он бежал по улице за незнакомой женщиной: ему казалось, что перед ним Жаннет. Он видел в темноте ее глаза и тупо повторял: «Я не виноват», как будто тень Жаннет его в чем-то упрекала. Он был убежден, что Жаннет живет с Андре, и он ненавидел тупого живописца. Решение уехать пришло сразу и показалось спасением: избавиться от мертвой любви, от пошляков из Дома культуры, от кредиторов!

Однако для поездки за границу нужны были деньги, и немалые. Люсьен решил попытать счастья. Теперь он рассчитывал не на карты, но на родительскую снисходительность Поля Тесса. Он тщательно обдумал, как лучше растрогать отца; но, когда дело дошло до объяснения, он забыл все и дал волю чувствам. Он начал с грубого попрека:

— Ты сидишь на деньгах, как собака на сене.

Тесса посмотрел на него маленькими глазками птицы и промолчал.

— Я хочу уехать. Здесь мне нечего делать. Может быть, я устроюсь в Америке. Но для этого мне нужно по меньшей мере пятьдесят тысяч.

Тесса тоскливо зевнул и вдруг предложил сыну:

— Поедем к «Максиму»?

Они попали в цветник женщин: красивые лица, холодные тела, элегантные вечерние платья, дорогие духи... Тесса приглянулась смуглая девушка, похожая на креолку, с большими белками глаз.

Он доверчиво шепнул Люсьену:

— Красотка?..

Люсьен кивнул головой. Это сразу их сблизило; они почувствовали себя товарищами. Шампанское способствовало душевной теплоте. Вспомнив о просьбе сына, Тесса сказал:

— Почему ты хочешь уехать? Здесь как раз время для тебя. По-моему, мы накануне революции.

— Нет, все окончится еще одним министерским кризисом. Для революции нужны люди, а их нет. Я теперь знаю эту публику... Когда я пришел к коммунистам, я рассчитывал на другое.

— Вот как!.. А я думал, что ты — коммунист. Браво, Люсьен!

— Ты-то чему радуешься? Твой мир я ненавижу еще сильнее, чем коммунисты, и я не хочу итти на компромисс.

Тесса весь день мучила изжога, он выпил стакан содовой и кротко сказал:

— Тебе тридцать два года, а рассуждаешь ты, как ребенок. Я был анархистом в восемнадцать лет, это все же простительней.

— Значит, ты меня осуждаешь за...

— Я тебя не осуждаю. Это ты после выборов заявил мне: «Низость». А ты подумал, что я должен поддерживать семью: твою мать, Дениз, тебя? Кто оплачивает твою непримиримость?

Люсьен рассмеялся:

— Ты.

— Тебе не нравится наш режим? Он никому не нравится. Но что ты предлагаешь взамен? Все другое будет еще хуже. Поверь мне, старая, пролежанная кровать лучше тюремных нар, даже новых. Ты говоришь: «твой мир», но ты в этом мире купаешься. У тебя талант памфлетиста, но ведь наше общество ты обличаешь изнутри. Коммунисты тебе могут аплодировать, но с ними у тебя нет общего языка. Ты сам это признал. Нужно сделать выводы... Пора тебе за что-нибудь взяться.

— Я занял достаточно резкую позицию...

— Это только плюс. У нас любят, когда человек начинает с эксцентрики. Во время войны Лаваль был красным, не желал со мной разговаривать... Ты хочешь поехать за границу? Идея неплохая. Но у меня нет денег. Все, что дал Дессер, ушло на выборы. Не знаю, когда теперь что-нибудь подвернется. Я говорю с тобой откровенно. Но я могу тебе предложить другое... Писатели любят дипломатические местечки. Посмотри — Клодель, Жироду, Моран... А это я могу устроить в два счета.

— Представлять Блюма и Виара?

— Почему бы нет?.. Ты не изменяешь своим идеям: сможешь писать все, что захочешь. И ты сразу освободишься от денежных забот.

Люсьен съежился, как будто проглотил кислое. До чего противно! Впрочем, как все в жизни. Разве это его вина?.. Он хотел быть с революцией, его не поняли. И Жаннет его не поняла. Лагранж, умирая, говорил: «Люсьен, мне холодно...» Холодно в жизни, ох, как холодно! А без цинизма не прожить. Лучше уж стать дипломатом, чем клянчить у отца деньги и унижаться... Когда Люсьен займет место в обществе, с ним будут считаться все, даже тупица из «Юманите»... А счастье? Счастья все равно нет. Жаннет с Андре...

И Люсьен злобно сказал отцу:

— Хорошо. Я согласен.

— Я так и думал. Все-таки ты — мой сын. Сейчас я это особенно остро чувствую.

Тесса вытер салфеткой мокрое лицо и шепнул Люсьену:

— Что, если мы подзовем эту креолочку?..

Весь следующий день Люсьен не выходил из комнаты, глотал облатки от головной боли и угрюмо смотрел на обои. Ему не хотелось жить. За обедом Тесса сказал:

— Мамочка, поздравляю — твой сын назначен вице-консулом в Саламанку. Ха! Люсьен, ты сможешь наблюдать революцию. В чужой стране и с дипломатическим паспортом это куда приятней... А испанки?..

Он поглядел искоса на Дениз и замолк. Люсьен уныло сказал:

— Быстро...

— Я позвонил Виару. Он теперь хочет меня обольстить. Это такая комедия!..

На следующий день Люсьен возле Оперы встретил Андре. Он хотел пройти не поздоровавшись, но Андре его остановил.

— Какие дела! Решительно все бастуют. Объясни мне, пожалуйста, чем это все кончится? Ты-то, наверно, знаешь...

— Я уезжаю через три дня в Испанию.

— Вот что! Да, там тоже история... Я читал в газете...

Люсьен не сказал ему о месте вице-консула: зачем исповедываться перед этим пошляком?.. Он молча протянул руку. Тогда Андре смущенно спросил:

— Жаннет едет с тобой?

Люсьен едва скрыл изумление: значит, Жаннет не с ним! На минуту он обрадовался: вот это хорошо! Пусть ничья!.. Но тотчас тоска покрыла все. Он вспомнил вечер у Жаннет: куклу из тряпок, пустые глаза, одиночество... Он упустил свое счастье, как птицу из руки, как карту — прозевал, не поставил... И, растерянно глядя на Андре, Люсьен пробормотал:

— Прости, у меня болит голова... Ты говоришь — Жаннет?.. Не знаю... Право, не знаю.

18

Бретейль стоял над кроватью своего пятилетнего сына. Ребенок хрипел; на лице был румянец жара. Жена Бретейля всхлипывала.

— Перестань! Бог даст, он поправится.

— Я говорила, что нельзя его ставить под холодный душ. Ведь он перед этим бегал, потный был...

— Перестань! Мальчика нужно закалять.

Стемнело, и жена не видела глаз Бретейля: он стоял, высокий, сухой, и плакал; слезы текли из тусклых глаз на запавшие щеки.

Бретейль был уроженцем Лотарингии; он вырос в бедной набожной семье; в двенадцати километрах от его родного города проходила граница. С детства Бретейль слышал рассказы об осаде Бельфора, о самодурстве какого-то обер-лейтенанта, о потерянных провинциях. Мечту о реванше он зазубрил, как катехизис. На войне он был дважды ранен. Он вошел с головным отрядом в Метц, и там тетка Бретейля лишилась чувств, увидев первый французский флаг. По характеру Бретейль не походил на француза: он не терпел шуток, не любил пафоса, не пил вина. Маниакально опрятный, педантичный, сухой, он в парижских салонах казался немцем. Политика приучила его к известной гибкости: приходилось якшаться с людьми склада Тесса. Бретейль в душе презирал своих товарищей по парламенту. Он дружил с военными, с мелкими помещиками, с учеными богословами. После войны он поверил в «возрождение Франции»: об этом говорил его земляк Пуанкаре. Но шли годы, и ничего не менялось; в стране хозяйничали масоны — Бриан, Эррио, Пенлеве. Теперь даже эти времена казались ему потерянным раем. Куда заведут Францию Блюм, Кот, Виар?.. Два года тому назад Бретейль понял, что выход в насильственном перевороте. Италию спас «поход на Рим». Гитлер железом выжег язву марксизма. Бретейль приступил к организации тайных отрядов. Каждый отряд состоял из пятидесяти человек, называемых «верными»; начальника именовали «латником».

К Бретейлю шли разные люди: романтики и тупицы, честолюбивые игроки и озлобленные мстители. Богатые

видели в нем своего защитника. Лавочники и ремесленники верили, что Бретейль спасет их от разорения. Мелкие маклеры, приказчики, репортеры мечтали с его помощью выйти в люди.

Кого только не было среди «верных»! Метрдотель ресторана «Версаль» пришел к Бретейлю потому, что обожал иерархию; жизнь ему казалась пирамидой посетителей и лакеев, бокалов и вин. Флорио был венерологом; он ненавидел евреев, которые, по его словам, переманивали пациентов и лишали его куска хлеба; он пошел за Бретейлем потому, что Бретейль обещал очистить Францию от Ротшильдов и от врачей еврейского происхождения. Сын крупного мукомола Бомбар хотел вернуть Франции былой престиж и стать заодно послом. Бывший агент Второго бюро Дине, которого выгнали из разведки за растрату подотчетных, считал себя жертвой масонов; он жаждал разогнать парламент и повесить Эррио. Владелец конского завода Гримо ходил с хлыстиком, любил мулаток и презирал механический прогресс; он считал, что состоять в отряде «верных» — признак хорошего тона. Владелец посудного магазина Годе боялся, что коммунисты захватят его торговлю, перебьют товар и отберут сбережения; это был красномордый, широкоплечий детина; по утрам он занимался гимнастикой и всерьез готовился к бою. Служащий метро Обри был на редкость уродлив и нищ, как церковная крыса; говорили, будто его обидела одна девушка; он ненавидел людей и, глядя на Бретейля, ухмылялся: этот наведет порядок!..

Было среди «верных» немало полицейских, и «тайные отряды» не представляли тайны для префекта; но власти прикидывались, что они ничего не видят. Для камуфляжа Бретейль образовывал спортивные кружки и землячества. Дело требовало средств, Бретейль не раз обращался к крупным капиталистам, но нарывался на отказ: он говорил не о пропаганде, а об оружии, и пугал своей прямолинейностью. События последних недель его окрылили: воротилы различных трестов, прежде думавшие только о министерских комбинациях, а теперь испуганные забастовками, начали с надеждой поглядывать на непримиримого Бретейля.

Перекрестив больного ребенка, Бретейль направился в «Союз уроженцев Метца»; там он должен был встретиться с генералом Пикаром. На Больших бульварах светились витрины; в них были выставлены плакаты забастовщиков, украшенные красными лентами. Возле некоторых магазинов стояли девушки с кружками: «Для детей забастовщиков». Одни прохожие, хмурясь, ускоряли шаг, другие кидали в кружку монету. Когда девушка протянула кружку Бретейлю, он остановился и сурово сказал:

— В лагере вас научат работать.

Генерал Пикар уже ждал Бретейля. Это был сухощавый человек лет шестидесяти, с кривыми ногами кавалериста, с множеством орденов и с уничижительной усмешкой; он всех презирал: Даладье и Гамелена, английского короля и свою жену, театр, газеты, выборы. Доверял он только Бретейлю: этот может спасти Францию и армию.

Бретейль спросил:

— Как у вас?

— Дураки. И трусы. Боятся, что Блюм начнет чистить штаб.

— Настроение солдат?

— Гнусное. Коммунисты работают во-всю. Самое большее, на что мы можем рассчитывать, это — нейтралитет армии. Я не говорю, конечно, о колониальных частях. Кстати, мне удалось перетащить два марокканских полка в Венсенн.

— Одни марокканцы нас не вывезут. Я надеюсь только на верных. Имеются две возможности: или вы нас снабжаете оружием, или мы берем то, что нам предлагают.

— Кто?..

Бретейль посмотрел на Пикара и раздраженно ответил:

— Важно не «кто», а «что». Шестьдесят тысяч винтовок, четыреста пулеметов, боеприпасы. Из Дюссельдорфа. При этом мы не берем никаких обязательств, кроме тех, которые вытекают из нашей программы: порядок и мир.

Пикар, подумав, сказал:

— Неплохо. Я лично предпочитаю для такой опера-

ции автоматы. Ну что же, берите. Одно не мешает другому. Я тоже наскребу в арсеналах...

— Мы должны начать с локальных действий, чтобы дискредитировать правительство. Виар хочет придать захвату заводов оттенок законности. Необходимо подмешать к его речам немного крови...

Они еще долго беседовали. А в соседней комнате, едва освещенной тусклой лампочкой, «латник» Грине, поджидая Бретейля, зевал и напильничком точил ногти. Грине, как-то учинивший скандал в Доме культуры, слепо верил в Бретейля. Это был сирота из воспитательного дома, коммивояжер, развозивший по провинциальным городам ортопедические приборы, бедный фат, часами обдумывавший, какой галстук надеть к перелицованному, но тщательно отглаженному костюму, урод, мечтавший о любви красавицы, истерический крикун и озлобленный неудачник. Он стал «латником» первого отряда «верных», и его-то Бретейль выбрал для боевой разведки.

— Послезавтра в шесть часов утра верные придут к заводу «Сэн» как безработные. Подойти незаметно. Вы вступите в перебранку с постами. Постарайтесь их спровоцировать. Если они не начнут, стреляйте. Я постараюсь, чтобы полиция была поблизости. Необходимо довести дело до настоящего столкновения. Вы меня поняли? Все верные получат билеты «Христианского союза рабочих». О характере операции они не должны знать. Я остановился на вас потому, что у вас нет детей...

— Все будет выполнено, начальник.

Грине поднял руку и хотел выйти, но Бретейль крепко обнял его:

— Спасибо.

Бретейль вернулся домой в два часа ночи. Жена встретила его словами:

— Воспаление легких...

Бретейль сидел до утра над больным ребенком. Весь следующий день он работал. Он попытался встретиться с Дессером: лучше всего, если дирекция завода «Сэн» объявит о наборе рабочих. Дессер, однако, уклонился от встречи: он боялся провокации. Зато Бретейлю удалось уломать префекта. Решили, что полицейские будут стоять возле завода на набережной. Если произойдут какие-либо

столкновения, они вмешаются. Вечером Бретейль еще раз встретился с Грине и проверил все детали операции. Он снова просидел ночь над ребенком. Доктор сказал, что надежды на выздоровление нет, но Бретейль верил в бога; его губы шевелились: он повторял слова молитв.

Было чудесное летнее утро. В садах кричали пичуги; их голосов еще не заглушал шум города. Изредка проезжали грузовики огородников. Шли булочницы с длинными хлебами, и запах свежего хлеба веселил душу. Верхние окна домов светились, как бы изнутри, теплым розовым светом. «Верные» один за другим подходили к мосту Жавель. Грине проверил: не пришли четверо. Сорок шесть, разбившись на мелкие группы, разными путями двинулись к заводу.

А на заводе это утро, одиннадцатое утро забастовки, начиналось мирно. Одни часовые сменили других. Мишо ночью спал, теперь он мылся и фыркал, весь в мыльной пене. Возле главных ворот Жано, вспоминая концерт, пел романсы. Пьер, проснувшись, жевал хлеб; почему-то в голову пришли стихи Верлена: «Бледная звезда рассвета...» А солнце было уже ярким. Кое-кто из старых рабочих угрюмо думал: «Вот и одиннадцатый день!.. Когда же это кончится?..» Говорили, будто правительство очистит завод силой; но Мишо усмехался: «Вздор!..»

— Жано, теперь покажи, как Мистенгет сходит по лестнице...

Жано сделал уморительную гримасу, желая показать молодящуюся старуху, и, защемив рукой брюки, как юбку, стал сходить по пожарной лестнице вниз. Вдруг он вскрикнул:

— Кто там?..

Перед воротами толпились какие-то люди.

— Открывай!..

— Мы пришли наниматься... Лодыри, выкидывайся отсюда!..

— Красное жулье!..

Жано не остался в долгу:

— Ах вы, собаки этакие!.. Желтые! Фашисты! Мы вас дегтем вымажем!..

Теперь кричали сотни людей; трудно было разобрать слова. Особенно горячился Грине. Подбежав к рабочим,

он быстро что-то выкрикивал. Его лицо скосила судорога; он походил на припадочного. Напрасно Мишо пытался урезонить товарищей: дерзость фашистов вывела всех из себя.

Все последние дни Мишо опасался нападения. Он поставил возле ворот пожарных с насосами. Главное — не допустить столкновений... Он усмехался, глядя на Грине. Полсотни юродивых. Наши их перекричат... Успокоились и другие рабочие. Напрасно «верные» бесновались. Забастовщики лениво, даже благодушно отругивались. Жано стал передразнивать Грине:

— Глядите, товарищи, это — бешеная индюшка с макаронами...

Тогда раздался выстрел. Жано упал навзничь. Мишо выбил револьвер из руки Пьера и, покрывая рев толпы, крикнул:

— Не смей стрелять! Пускай насосы!

Пожарные обдали «верных» водой. Те разбежались. Только Грине еще прыгал в ярости, ничего не чувствуя. Потом показались полицейские, и Грине исчез.

Мишо стоял над Жано. Улыбается... А на камнях кровь.

— Жано!..

Смерть этого молодого веселого человека казалась настолько непонятной, что Мишо вдруг крикнул:

— Убили!

Он глядел на других: может быть, они скажут «нет». Рабочие стояли вокруг, сняв кепки; и сквозь туман Мишо увидел искривленное болью лицо Пьера.

Грине, спустившись к реке, забрался под мост; он дрожал от холода и обиды. Какой-то бродяга сказал:

— Что — выкупался?

Грине плюнул в него. Он долго сидел на солнце: нельзя же ходить по городу мокрым! Потом он пошел в парикмахерскую; его брили, обрызгивали одеколоном, мазали фиксатуаром волосы, а он повторял: «еще». Он лечил себя полузабытьем, и звук ножниц казался ему стрекотанием цикад в душистом саду. Было одиннадцать часов утра, когда он явился с докладом к Бретейлю. Его ввели в кабинет. Бретейль стоял на коленях перед

маленьким распятием: сын его умер. Увидев Грине, Бретейль встал.

— Убитые есть?

— Я одного уложил.

— А из верных?..

— Никого. Они насосами...

— Ни одного?.. Что же вы наделали? Ведь теперь все сорвано!..

Грине не понял; он тупо посмотрел на Бретейля и ответил:

— Как латник, я отвечаю за жизнь верных.

— Ты не латник. Ты дурак.

Бретейль снова опустился на колени. Грине тихо вышел. В передней плакала служанка; он ей сказал:

— Ваш хозяин — великий человек. А мне, наверно, скоро крышка.

19

Убийство Жано заполнило все парижские газеты. Левая печать обвиняла Бретейля и требовала крутых мер против тайных организаций фашистов. Правые газеты утверждали, что Жано убили коммунисты, так как он стоял за прекращение забастовки. В «Матен» была напечатана плаксивая статья о несчастном подростке, который обожал свою старую мать и которого коммунисты приговорили к смерти. Только «Ла вуа нувель» уделила мало места кровавому происшествию. Жолио писал: «Кто бы ни был убийца, мы осуждаем насилие и призываем французов к гражданскому миру». Это было поэтично и ни к чему не обязывало.

Два дня спустя убийство Жано обсуждалось в парламенте. Запрос внес Бретейль. Все ждали скандала, и трибуны для публики были переполнены. Еще до начала заседания в зале стоял неописуемый шум: депутаты энергично переругивались. Председатель Эррио стучал линейкой по столу, как выведенный из себя учитель; потом он схватил звонок и зычно крикнул:

— Замолчите!

На минуту водворилась тишина. Но когда на трибуну поднялся Бретейль, слева раздался рев:

— Убийца!

Депутаты стучали пюпитрами, что-то выкрикивали. Пристава стояли наготове, опасаясь рукопашной. А Эррио надрывался...

Наконец шум стих, и Бретейль начал:

— Кто меня называет убийцей? Убийцы невинного рабочего — коммунисты, которые залили кровью...

Крики заглушили его голос. Он продолжал говорить, но до депутатов доходили только отдельные слова: «Бедная мать... Царство анархии... Беспомощность Блюма... Виар потакает...»

На правительственной скамье Виар рассеянно рисовал кораблики. Речь Бретейля его не пугала: неуклюжее нападение на парламентское большинство. Он думал о другом: как ликвидировать забастовку? Некоторые радикалы начинают ворчать. Рабочие держатся стойко; а хозяева и слышать не хотят об уступках. Дессер что-то придумал... Раздались аплодисменты и свистки: собрав документы, Бретейль сошел с трибуны.

Социалисты еще вчера решили, что с защитой правительства выступит радикал: так будет дипломатичней. Когда председатель предоставил слово Тесса, слева раздались дружные аплодисменты. Правые молчали. Тесса начал говорить среди напряженной тишины. Он оплакивал молодую жизнь, осуждал людей, которые хотят довести страну до гражданской войны, прославлял защитников Вердена, цитировал Гюго. Депутаты растерянно переглядывались. Вдруг Тесса, повернувшись к Виару, сказал:

— Я должен, к моему прискорбию, признать, что правительство, допуская захват заводов, оправдывает насилие. Я говорю это как сторонник социальной справедливости, как депутат Народного фронта...

Слова Тесса были настолько неожиданными, что в первую минуту все молчали. Потом Бретейль встал и отчаянно, как на огромной площади, крикнул: «Браво!» Тогда овация потрясла зал: правые и часть радикалов неистово аплодировали. Напрасно Эррио пытался унять депутатов: обида поражения, ненависть к Народному фронту, страх последних недель — все вылилось в этих рукоплесканиях. Виар переменился в лице: добрая половина

радикалов аплодирует! Что же будет с Народным фронтом?.. Тесса теперь говорил о своем доверии правительству, но все понимали, что он золотит горькую пилюлю.

После Тесса выступил коммунист, депутат одного из северных департаментов, горняк с синими жилками на лице.

— Мы требуем, чтобы правительство положило предел работе фашистских убийц. Необходимо расследовать деятельность депутата Бретейля...

Началась обструкция правых. Бретейль ушел; но его друзья кричали, не умолкая, добрый час. Социалисты сидели неподвижно, как будто происходившее их не касалось; они находили речь коммуниста чересчур резкой. Наконец Эррио надел цилиндр; это означало перерыв. Депутаты, как школьники, обрадованные переменкой, весело ринулись в кулуары или в буфет.

Радикалы собрались на фракционное совещание. Одни депутаты одобряли речь Тесса; другие говорили об «обманутых надеждах страны», о первой трещине в Народном фронте, об интригах правых. Тесса скромно сказал: «Я хотел спасти Народный фронт и нашу партию». После долгих споров радикалы решили согласовать свое поведение с социалистами, указав на желательность очищения захваченных заводов. Социалисты тянули с ответом: Виар хотел переговорить с Дессером. Публика на трибунах была разочарована, когда Эррио предложил перенести обсуждение запроса Бретейля на вечернее заседание и заняться законопроектом о борьбе против эпизоотии. Бретейль крикнул:

— Господа радикалы струсили, а Виар ждет инструкций из Москвы.

Один социалист кинулся на Брейтеля с кулаками; тот отпустил ему пощечину. Началась потасовка; депутаты примяли пристава. А Эррио все звонил и звонил... Потом депутаты ушли в буфет: всех мучила жажда. На заседании присутствовало человек тридцать, да и те, под монотонный голос докладчика, читали газеты или строчили письма своим избирателям.

Виар с тяжелым сердцем поехал к Дессеру. Он долго колебался: не умалит ли этот визит его достоинства? Он, министр Народного фронта, едет на поклон к таинствен-

ному финансисту, который еще недавно поддерживал банды Бретейля! Но что же делать? Забастовки ширятся, как круги на воде. Кажется, вся Франция бастует. Из Парижа движение перешло на провинцию. Останавливаются автобусы. Из портов не выходят суда. Каждый день приносит новые сюрпризы: то актеры захватывают театр, то кассиры закрывают окошечко кассы, то могильщики отказываются рыть могилы. А хозяева уперлись: некоторые из них говорят: «Тем лучше! Пусть все идет к чорту!» Жизнь страны парализована. Как-никак Дессер — лучший представитель капитализма. Надо попробовать с ним договориться, понять его игру.

Дессер участливо спросил:

— Как ваше здоровье?

— Благодарю. Я очень устал.

— Понятно — проводить такую забастовку...

— Мы страдаем от нее, как и вы. Нам нужно поговорить... Скажите, что вы нам предлагаете?

— Дорогой друг, вы — министр, а я — частное лицо. Я жду ваших распоряжений.

Виар хотел встать и уйти; но сознание ответственности победило обиду. Он кротко сказал:

— Я не понимаю вашей иронии.

— Это не ирония, это самозащита. Судите сами, если я начну требовать расправы с забастовщиками, вы скажете, что мы, «двести семейств», помешали вам устроить рай на земле. Я предпочитаю ждать. Может быть, вы действительно кудесники... А может быть, и нет. Тогда рабочие сами увидят, что вы ничего не изменили, да и не могли изменить. Итак, я ни на чем не настаиваю.

— Но Тесса сегодня потребовал очищения заводов.

— Знаю. Наш друг Тесса молод душой. А я предпочитаю ждать. Я не против полицейских мер, но всему свое время. Как вам нравится мой Марке? Конечно, он уступает вашему, но этот зеленый тон...

Дессер перевел разговор на живопись. Виару было не до картин, и он откланялся.

Что ему делать? Игра Дессера оказалась сложной. Он, видимо, задумал расколоть правительственное большинство. Сегодня половина радикалов поддержала Тесса. Значит, очистить заводы?.. Но тогда рабочие пойдут за

коммунистами. Это — революция... Отвратительная игра: и так и этак проигрыш! Виар долго терзался. Усталость подсказывала: ждать. Это было чем-то родным, знакомым с детства, уютным. Ведь всю жизнь он ждал; ждал победы на выборах, торжества прогресса, всеобщего умиротворения; ждал и в личной жизни счастья, признания, покоя. Дессер прав, выжидая. Конечно, надо ждать! Все образумятся. Главное — не сделать лишнего жеста.

Перед вечерним заседанием Виару доставили сводку секретной полиции. Агенты сообщали, что среди стачечников замечается раскол. Многие стоят за прекращение забастовки. На заводе «Сэн» число сторонников соглашения растет. Виар удовлетворенно улыбнулся; потом он подумал: надо предотвратить полный провал забастовки, иначе этим воспользуются правые радикалы. Но ведь и Дессер настроен примирительно. Можно найти компромисс. Время работает на нас...

Радикалы ничего не добились. На заседании правительство в лице Виара дало туманный ответ: необходимо, с одной стороны, защищать интересы трудящихся, с другой — охранять законность... Справа протестовали, социалисты аплодировали, радикалы молчали. Тесса с места крикнул:

— Если вы не очистите заводов, вас сметет волна общественного негодования.

Снова раздались хлопки и крики. Виар грустно улыбался: он устал, он очень устал...

А Тесса был героем дня; ему жали руку; его сравнивали с Мирабо, с Лафайетом, с Гамбетта. Он еще переживал угар дневного выступления. Он чувствовал себя бесстрашным трибуном, борцом за истину. Он говорил: «Плыву против течения...»

Домой он приехал слабый, но счастливый. Жена, как всегда, лежала с грелкой. Люсьена не было дома: кутил перед отъездом. А Тесса хотелось рассказать кому-нибудь о своем триумфе; он прошел к Дениз.

Он повторил перед дочерью свое выступление, с жестами, с мимикой, вставляя другим голосом, как напечатанное в скобах, «здесь аплодировали...»

Увлекшись, он не глядел на Дениз, а она сидела, убитая. Все последнее время она думала о жизни отца. Еще

зимой она ничего не понимала в политике; ей казалось, что отец занимается скучным, но почтенным делом. Теперь она ходила на собрания, читала газеты, разговоры отца за обедом стали для нее мучительными. С каждым днем перед ней раскрывался неопрятный политикан, готовый на любую сделку.

Лихорадка парижских улиц захватила Дениз. Из газет она знала, что во главе стачечников завода «Сэн» стоит Мишо. Она верила ему, и забастовка представлялась ей войной за справедливость. Узнав об убийстве молодого рабочего, она вспомнила слова Мишо: только кровью можно связать слова и поступки. Она спрашивала себя: что же ей делать? Она была стыдлива по природе, боялась жестов, громких слов. Ей хотелось каким-то поступком сразу перечеркнуть свое прошлое... Теперь она обратилась бы к Мишо за советом. Но Мишо занят другим... И вот отец приходит к ней, хвастает своим выступлением, повторяет, что во всем виноваты «захватчики». Она вдруг прервала его:

— Довольно!

Тесса с изумлением посмотрел на дочь: что с ней?.. Дениз стояла, высокая, худая; ее красота теперь казалась суровой; сердитые глаза глядели в упор на Тесса.

— Что с тобой?

— Я не могу этого слышать! Я не хочу тебя обижать, но мне это кажется недостойным. Может быть, и я такая же... Наверно, нужно иначе жить. Не знаю... Но какая это мука!..

Она выбежала из комнаты. Тесса раздражился и пошел к жене.

— Твоя дочка в тебя. Какой-то религиозный фанатизм... Рай... Ад... Чорт знает что!

— Поль, почему ты надо мной смеешься?

— Я не смеюсь. Вы все сошли с ума. А я человек свободомыслящий и предпочитаю чистилище.

Он поехал к Полет. Там он мрачно пил коньяк. Напрасно Полет пыталась его развлечь:

— Поцелуй меня, цыпленок!

Он не двигался с места и уныло бормотал:

— Все идет к чорту, решительно все.

20

Мать Жано, Клеманс Дюваль, была сварливой, но добродушной женщиной, с ревматическими руками, с седыми, переходящими в желтые, волосами и с еще живыми глазами былой красавицы. Она ходила по домам, убирала комнаты холостяков, мыла полы, иногда стирала, иногда штопала и так вырабатывала на жизнь. Прежде было труднее: мужа Клеманс убили незадолго до перемирия, и она осталась с двумя малютками на руках. Много горьких жалоб услыхала тесная комната на седьмом этаже, с каменным полом, с дымной печуркой и с огромной кроватью, доставшейся Клеманс от бабушки. То нехватало денег на ведерко угля, и дети мерзли, то протирались штанишки Жано, то надо было купить задачник Аннет. Она все же поставила детей на ноги. Аннет вышла замуж за монтера и уехала в Лион. А Жано удалось пристроить на завод «Сэн». Какое это было счастье! В тот день Клеманс даже купила бутылку запечатанного вина. Ведь сколько сверстников Жано бродило по длинным улицам парижских пригородов, от одного завода к другому, и все надеялись — может, возьмут... Но на всех воротах было написано: «Здесь не нанимают». Не брали даже в ученики. Соседки вздыхали, взрослые сыновья для всех были обузой, и Клеманс глазам не верила, когда Жано принес первую получку.

Она гордилась веселым, бойким сыном, но и боялась за него: насмешливый, всех передразнивает, первый лезет в драку. Разве трудно такому погибнуть?.. Сколько раз она ему говорила это! Ведь для нее он оставался ребенком, которого не грех и отшлепать за глупую проказу. Когда Жано стал ходить на собрания, Клеманс всполошилась: она сердцем почувствовала опасность. Говорила «брось», пугала его, а он отшучивался. Этой весной первого мая он прошел мимо нее с красным флагом. Клеманс не ходила в церковь; она считала, что, если бог и существует, хода к нему нет; но, увидав Жано с флагом, она все же перекрестилась: так мальчик может пропасть...

А потом началась забастовка, да еще какая!.. Прежде бастовали, но тихо; сидели дома, ждали. Эти выдумали засесть там. За такое могут и схватить. Клеманс стыдила

Жано, уговаривала его вернуться домой; он и слышать не хотел. Каждый вечер Клеманс носила ему яйца, сыр, колбасу. Она не жаловалась, что у нее туго с деньгами — ведь не за себя она боялась.

И вот пришла страшная весть... С той минуты она будто онемела. Ни соседки, ни родственники, ни товарищи Жано не услышали от нее ни одного слова. На похоронах она шла впереди и беззвучно плакала. За нею шли двоюродная тетка Жано с детьми, соседи, а позади делегация рабочих «Сэн» с Мишо во главе.

Решено было, что рабочие до победы не оставят завода, и похороны вышли скромными. Похоронили Жано на кладбище пригорода, среди тесных могил с чугунными крестами и бисерными веночками. Было знойное летнее утро, пахло резедой, и птицы заливались. А речей не было; товарищи Жано молча жали руку Клеманс, один за другим; и только красные ленты на венке, который держал Мишо, говорили о драме.

Когда делегаты вернулись с кладбища, токарь Сильвен в злобе крикнул:

— Эти речи говорят, а других убивают!..

Полицейские не обманули Виара: положение на заводе «Сэн» было трудным. Две недели забастовки сломили волю многих. Жены теперь приходили к воротам не с провизией, но с жалобами: деньги вышли, а лавочники не отпускают в кредит. Убийство Жано на несколько часов всколыхнуло всех: хотели расправиться с убийцами, и Мишо едва удержал товарищей. Но к вечеру всех снова одолели унылые мысли: дома голодают; считали, сколько дней уже бастуют; говорили: «А все зря!..» Люди, связанные с дирекцией, распространяли различные слухи, уверяли, что завод закроют до января,— нет заказов; говорили, будто полиция предъявила ультиматум очистить здание, не то пустят газы.

Недовольные группировались вокруг Сильвена, человека увлекающегося и неуравновешенного. В начале забастовки он предложил пустить завод и заменить дирекцию выборным комитетом. Когда его высмеяли, он обозлился: «А если так, это дело проигранное! Дессеру легко ждать, не нам...» Когда жена сказала ему, что у нее не осталось и франка на молоко, он вскипел: «Надо кончать с этой

дурацкой стачкой!» Он говорил истерически, в голосе часто слышались слезы. С каждым днем его все охотней слушали. Он предложил устроить тайное голосование: он был убежден, что из восемнадцати тысяч рабочих десять выскажутся за прекращение забастовки. Мишо возражал: это — дело чести, и голосовать надо открыто. Он далеко не был уверен в стойкости товарищей. Казалось, день поражения близок.

Дессер был, конечно, прекрасно осведомлен обо всем, что происходит на заводе, и он решил попытаться сломить движение. Он вторично вызвал Пьера.

— Здравствуйте, дорогой энтузиаст! Заточение вам пошло на пользу: вы прекрасно выглядите. Я хочу передать мои соображения стачечному комитету. Мне говорили, что вы в него входите. Я принимаю пункты, касающиеся заработной платы и рабочих часов. Я категорически отвергаю коллективный договор и платные отпуска. Это относится к области чудес. Вы еще верите в Виара? Что же, может быть, он сотворит чудо... Что касается меня, если забастовка не кончится, я закрываю завод.

— Не думаю, чтобы ваше предложение было принято.

Пьер, обычно порывистый, восторженный, был сух. Дессер почувствовал неприязнь.

— Зачем сердиться? Я — капиталист, этим сказано все. Рабочие по-своему правы. А вы?.. Вы ни рыба, ни мясо. Но вы хотите быть бифштексом, да еще кровавым. Мечты!.. Что вам коллективный договор? Вы сломаете себе шею, а люди останутся людьми.

— Я в них верю.

— Нет. Может быть, вы их любите. Но вы в них не верите. Вы ведете народ к самому жестокому деспотизму. Как все это грустно!..

Пьер ушел. Дессер посмотрел в окно, на ярколазоревое небо, на красный флажок, на вихлястого подростка, караулившего возле дирекции, и Дессер позавидовал Пьеру: он глуп, но счастлив. Он во что-то верит. А дальше — не все ли равно во что?.. Дессеру сиротливо. Так страшно, просыпаясь утром, начинать суетливый и пустой, как пустыня, день!

Пьер передал предложение Дессера Мишо. Тот сразу сказал:

— До утра ни слова. Завтра соберем всех, проголосуем.

Пьер сам думал, что нужно действовать осторожно, объяснить каждому, в чем дело. Главное, чтобы Сильвен не узнал о предложении... Они долго об этом толковали. Вдруг Мишо обнял Пьера; это было вместо ненайденных слов; и Пьер понял значительность жеста; он был настолько взволнован, что и сам ничего не мог вымолвить.

Мишо прежде относился к Пьеру недоверчиво; называл его всердцах «сдобным» — за мягкость; не мог ему простить увлечения социалистами, в частности Виаром. Но во время забастовки Мишо узнал и полюбил Пьера. То, что один из лучших инженеров «Сэн» пошел с рабочими, свидетельствовало об его бескорыстии и мужестве. А в повседневной жизни Пьер невольно привлекал к себе. Это был фантазер, что ни минута придумывавший какой-нибудь невозможный план. Когда Мишо говорил «не пройдет», он не спорил, не обижался, но сейчас же начинал придумывать что-нибудь другое. Веселый южанин, он в самую трудную минуту мог всех рассмешить: рассказывал марсельские анекдоты, прыгал, куролесил; и Мишо ласково думал: «Ребенок», хотя Пьер был на два года старше его.

Иногда они спорили. Пьер, то ли по своему воспитанию, то ли по характеру, благодушному и беспечному, крепко держался за идеи прошлого века. Он и людей разводил бы, как цветы — с лейкой в руке... Он верил, что можно всех переубедить, и профессорский тон старого Виара ему казался мудростью. А Мишо над ним подтрунивал, и Пьер в ответ грустно улыбался, как ребенок, у которого хотят отобрать любимую игрушку.

Теперь Мишо сказал:

— Ты на собрании изложи разговор с Дессером. У тебя это здорово получается: я вот сразу почувствовал, что и Дессеру несладко.

— Ладно. А знаешь, Мишо, что самое смешное? Дессеру вообще несладко. Миллионы — миллионами, но жизнь получается поганая. Он как-то гулял со мной, рассказывал... Выходит, и он у конвейера, честное слово!

— А рассуждаешь ты, как интеллигент. Я вот знаю, что, если нас побьют, ты не изменишь. К той же стенке

пойдешь. А победим?.. Тогда я за тебя не отвечаю. У тебя фунт веры на десять фунтов жалости. Есть здесь девушка одна, студентка. Мне иногда кажется, что для нее слабость выше силы. Чорт знает что!.. Но сама она крепкая. И еще как!..

Он улыбнулся мечтательно и застенчиво. Пьер расцвел: значит, и Мишо может это понять!.. А Мишо уже носился по заводу: говорил, уговаривал.

Сильвен узнал о предложении Дессера: об этом позаботились агенты дирекции. И Сильвен тоже не терял времени. Слово «соглашение» гуляло по двору, по цехам, волнуя людей, измученных долгим бездельем, стосковавшихся по семьям, встревоженных рассказами близких. Достаточно подписать соглашение, и сразу кончится собачья жизнь! А Сильвен нашептывал: «Скрывают... Им что? Политика!.. А наши с голоду сдохнут...»

Под вечер положение стало угрожающим. Пьер пробовал говорить о хитрости Дессера, но люди Сильвена его гнали: «Инженер!.. Сколько у тебя в сберегательной кассе?..» Говорили, что в десять вечера состоится собрание, организованное Сильвеном; проголосуют соглашение. Пьер пал духом, считая, что все проиграно; да и не один Пьер. Мишо старался держаться спокойно, даже шутил, но стоило ему это больших усилий. Себе он говорил, что выручить может только чудо. Нужно было на что-то решиться; от него сейчас зависела судьба товарищей, может быть и всей парижской забастовки.

Когда стемнело, он сказал Легре:

— Слушай, я на час уйду. Никому не говори — скажут: удрал.

— Идешь куда? В комитет?

Мишо не ответил.

Клеманс сидела у пыльного окна, неподвижная, похожая на мертвый куст. В комнату вошел Мишо; он осторожно взял красную распухшую руку Клеманс. Он хотел говорить, но не мог. Он пришел к этой женщине за помощью, но ее горе обдало его, как горячий туман. Он забыл все заготовленные слова. Он забыл о забастовке, о Сильвене, о соглашении: перед ним была мать товарища. Он начал говорить о Жано: как тот шутил за несколько минут до смерти, о его веселье, мужестве. Он рассказы-

вал горячо и несвязно; никогда еще он не говорил с такой мукой.

Смеркалось. Клеманс не зажгла света; и в темной комнате ожил Жано — здесь он рос, играл на полу с кубиками, готовил уроки, рассказывал матери о товарищах, о демонстрациях, о стычках с полицейскими. Клеманс чувствовала, как короткая, но шумная жизнь заполняет все; и эта жизнь продолжалась — там, на заводе... Так сильно было ощущение связанности, родства мертвого Жано с этим незнакомым ей человеком, что она в страхе подумала: и этого убьют! Они все отчаянные...

Мишо вдруг замолк: он вспомнил — завод, Легре, Пьер... Он встал:

— Помогите!..

Тогда Клеманс, ни о чем не думая, пошла с ним.

На дворе завода собрались все рабочие, как в первый день стачки: Сильвен воспользовался отсутствием Мишо. Он заявил, будто дирекция приняла требования рабочих, а комитет это скрывает. Когда Мишо подошел к толпе, происходило голосование. Со всех сторон кричали, что большинство за соглашение. Трудно было проверить, так ли это: руки то подымались, то опускались; многие не знали толком, за что они голосуют, кричали, переругивались; возбуждение и растерянность овладели всеми.

Взобравшись на грузовик, Мишо крикнул:

— Товарищи, погодите!..

Сильвен его прервал:

— Хватит! Уже проголосовали!..

Мишо не сдавался:

— Все могут высказаться, голосовать. А один молчит: Жано. Вы что, забыли про него? Жано здесь. С нами. За Жано будет говорить его мать.

Настала глубокая тишина. Потеря Жано была свежей, и горе матери нависло над всеми. А на грузовик поднялась старая женщина, с красными заплаканными глазами, с космами седых волос. Она молча подняла кулак: так делал Жано, когда шел с товарищами на собрание... Клеманс хотела что-то сказать, шевелила губами, но не смогла. А кулак дрожал над толпой; и в ответ поднялись кулаки всех. Когда Мишо сказал: «Кто за соглашение, опустите руки», ни одна рука не опустилась. Даже Силь-

вен голосовал за забастовку: на него глядели глаза Клеманс.

Потом Клеманс сказала:

— Я теперь здесь останусь. Вместо Жано...

Она ласково поглядела на Мишо и добавила:

— Ты к воротам не ходи — убьют...

Это был пятнадцатый день забастовки. В ту ночь Пьер, радуясь, как ребенок, кружился вокруг Мишо и все кричал: «Выиграли, выиграли!..»

Три дня спустя Дессер позвонил Виару:

— Я решил принять их условия. У нас срочные заказы. И потом — побеждает тот, кто умеет отступать. Впрочем, не вам это рассказывать: вы, мой друг, умеете отступать, как Наполеон.

Грубоватой шуткой Дессер хотел себя несколько развлечь. Капитуляция его злила: страдало самолюбие. Теперь Пьер, наверно, ухмыляется... Но не терять же каждый день полмиллиона! Политика — игра, как биржа. Сегодня рабочие едут на курорты. Завтра их, пожалуй, отправят в концентрационные лагери. Знаменитый маятник начинает пошаливать, он раскачивается слишком резко. Сердце Дессера тоже: он плохо себя чувствует, врачи запретили алкоголь, табак, кофе; но он не слушает врача: сердце требует горючего; если не любви, то суррогатов...

На девятнадцатый день, в семь часов вечера, соглашение было подписано; изменения, внесенные в первоначальные требования рабочих, были незначительными. Все понимали, что это — победа.

Завод «Сэн» открыл бой, за ним последовали другие, и его победа означала победу всех; в течение дня поступали сведения о капитуляции других предпринимателей. Жолио лирически писал: «Перемирие подписано. Теперь, французы, за работу: надо лечить раны!..»

В восемь вечера рабочие «Сэн», выстроившись в колонны, с музыкой, с флагами, после трехнедельного добровольного заточения, покинули здание завода. Впереди шли Клеманс и Мишо. Десятки тысяч людей радостно встречали победителей; здесь были семьи забастовщиков, жители квартала, делегаты различных союзов. Надвигались летние сумерки; в еще светлом небе зажглись первые

звезды; и голубые огни казались непонятными среди золота заката. Праздничная толпа заполнила улицы, террасы кафе. Рабочих приветствовали, совали им цветы, угощали пивом.

Мишо поддерживал Клеманс. События последних дней ее надломили, и она едва держалась на ногах. Она привыкла к Мишо, следила за ним материнским глазом. Вот сейчас они расстанутся... Он пойдет по своим делам, будет, как Жано, бегать на собрания, кричать, пока не убьют его. А она вернется в опустевшую комнату с каменным полом и большой кроватью.

Клеманс вдруг сказала:

— Почему не женишься? Все-таки лучше. А то — бегаешь один... Убьют, и плакать некому будет. Нехорошо!..

Мишо сконфуженно улыбнулся. Деревья были черными на белом, как начерченные. Синяя дымка покрывала Сену. Повсюду Мишо мерещилось знакомое лицо: это Дениз встречает его, улыбается, жмет украдкой руку...

21

Андре повернул мольберт к стенке и вышел, уговаривая себя, что в мастерской нестерпимо душно. Все последнее время работа не клеилась. Андре не покривил душой, сказав своим школьным товарищам, что он ничего не понимает в политике. Это было четыре месяца тому назад; с тех пор многое изменилось; политика, не спросясь, вошла в его мастерскую. Он теперь с утра хватал газету; прислушивался к разговорам на улице, а говорили все про забастовки, про борьбу партий, про войну. Движение, охватившее город, родило в Андре новый строй чувств; он был слишком связан с народом, слишком органичен, чтобы не почувствовать силу солидарности, горячесть надежд. Да, все это так! Но что ему делать с натюрмортом?..

Как-то Андре прочитал статью об яровизации пшеницы в Советском Союзе. Он любил все, связанное с жизнью земли, и статья прежде всего его заинтересовала как человека крестьянской закваски. Потом, бродя по улицам, он задумался над прочитанным и решил: с живописью — плохо!.. Существуют деревья, которые зацветают впервые

на восьмом или девятом десятке. Садовод сажает семя, зная, что плоды увидит его сын, может быть внук. А тут несколько дней в жизни однолетнего растения меняют лицо целого края... Очевидно, все дело в эпохе. Живописцу нужен покой; он живет неподвижностью; он изображает зрелый мир, богатство сложившихся форм, установившихся цветов. В эпохи распада или рождения ему нечего делать. Люсьен говорил в Доме культуры, что революционер немыслим без хорошего вкуса. Вздор! Бывают времена, когда «хороший вкус» становится мучительным пороком, той «голубой кровью», за которую в девяносто третьем резали головы. Реабилитация истории относится скорее к эпохам, чем к людям. Одна эпоха дает Робеспьера, другая — Делакруа; причем Робеспьер не отвечает за живопись Давида, а Делакруа неповинен в мелком скопидомстве Людовика-Филиппа. Люсьен хочет внести поправку в исторические события, как в театральную постановку, а он не режиссер, он статист. Что же, нужно закончить этот натюрморт, пока есть время, мастерская, краски!.. Андре заставлял себя работать; но час спустя снова бросал кисти: не выходит!..

Вечером наступал час, которого он жадно дожидался, сидя у приемника. Жаннет продолжала работать в студии «Пост паризьен», и сочетание глубокого, взволнованного голоса с пошлыми словами реклам казалось Андре мучительным, как его мысли. Он вспоминал стихи Лафорга, акварели Паскина: какая детская и болезненная ирония!

Он часто спрашивал себя: что мне Жаннет? Слово «любовь» не приходило ему в голову. Он думал о том, что мало ее знает, что, может быть, между ними нет ничего общего, что все это — причуда. Он был создан для больших и длительных чувств; привязанность в нем развивалась медленно, запасаясь корнями, требуя терпения и ухода. После последней встречи с Люсьеном он проходил весь день, как в воду опущенный: ему было совестно перед собой за неуместное признание. Люсьен был вправе ответить: «Какое тебе дело?» Андре говорил себе, что надо расстаться с этой блажью, но вечером снова кидался к приемнику.

Как же тут было работать? На лесах окрестных улиц пестрели красные флаги бастовавших каменщиков. Жан-

нет расхваливала то нежность, то микстуры. Стояли душные дни июля. Грозы по ночам не освежали воздуха. Андре изнемогал.

В начале июля зажиточные кварталы Парижа вымерли. Прежде многие откладывали отъезд на морские купанья или на воды до конца месяца, опасаясь загроможденных машинами дорог или давки в поездах. Но события разогнали буржуа до срока. Уезжали подальше, на юг, уверяя, что центр Франции будет переполнен рабочими, добившимися платных отпусков. Перспектива оказаться на пляже рядом с кочегарами и каменщиками не на шутку пугала почтенных коммерсантов. Газеты писали, что курорты «загажены». Счастливцы выбирались в Швейцарию или в Италию. Никто не хотел оставаться в Париже: пугала назначенная на четырнадцатое июля большая демонстрация. Когда-то эту дату праздновали все; но теперь национальный праздник представлялся буржуа торжеством Народного фронта, и друзья Бретейля, засидевшиеся в столице, поспешно снимали с домов флаги, чтобы не участвовать в общем празднестве.

В народных кварталах настроение было благодушное, Платные отпуска, озадачившие Дессера, стали сразу бытом, длинными разговорами о том, где живописнее места и в какой речушке больше рыбы. Дессер, потолкавшись в рабочих кафе, говорил: «Удивительная страна! Ждали революции, а предстоит грандиозная рыбная ловля!» После бурного июня июль казался буколическим. Правда, коммунисты говорили о контрнаступлении хозяев, о заговоре Бретейля, но их речи охотно забывались за путеводителями, перед новеньким велосипедом или только что купленным купальным костюмом. Большинство платных отпусков приходилось на август, и рабочий Париж готовился отпраздновать четырнадцатое июля у себя. Для одних это означало военный парад, для других — демонстрацию, для третьих — танцы на улице.

Уже тринадцатого июля вечером балы были в полном разгаре. Кажется, в Париже не оставалось ни одного безработного музыканта. Все вокруг ревело, трубило, присвистывало, надрывалось. На каждой площади поставили возвышение для оркестра; трубачи с медными лицами, со вздутыми на лбу жилами жадно пили пиво. Через улицы

тянулись гирлянды с бумажными фонариками всех цветов. Кафе выставили, помимо обычных столиков, все столы, которые только можно было разыскать: обеденные, кухонные, карточные. Было жарко, и люди разоблачались, как на даче. Мужчины отплясывали, сняв пиджаки и блистая бляхами подтяжек. На руках у матерей пищали или дремали малютки. Фокусники глотали огонь, вытаскивали из шляпы цыпленка. Бродячие торговцы продавали засахаренные фрукты, цветы, бумажные веера. Повсюду примостились бараки с гадалками, с рулеткой, с тиром; парни залихватски сбивали шарик, трепетавший на водяной струе, или быстро вращавшиеся глиняные трубки. Орали карусели с традиционными конями или с модными самолетами.

Отчетливей сказывался провинциальный характер Парижа, который распадается на сотни городков, каждый со своей главной улицей, со своим кино, со своими героями и сплетнями. Центральные районы, по которым в будни снуют прохожие, то есть незнакомцы, опустели. А на площадях рабочих кварталов прохожих не было: здесь все знали друг друга и балы были семейными.

Андре весь вечер бродил по городу. Он любил народные праздники за их красочность, за неподдельное грубоватое веселье; любил бараки с пряничными свиньями, на которых можно сахаром надписать имя любимой; любил гармоники и шарманки, традиционную грусть этой оглушительной музыки. Но теперь он испытывал одиночество, сиротливость, особенно когда попал на площадь Бастилии, где когда-то, в такой же знойный вечер, люди танцовали вокруг кровавой лужицы. Кружились тысячи пар, издали подобные морской зыби. Андре повернул к Сене, а потом поднялся на свою любимую площадь Контрескарп; там, среди фантастических вывесок и темнозеленых каштанов, веселилась окрестная беднота. Было это заполночь; он сидел и тянул теплое пиво, когда вдруг увидел Жаннет: она пришла с актерами. Он до того обрадовался, что вскрикнул. Потом, поерзав на стуле, побранив себя все за ту же «блажь», он подошел к Жаннет:

— Хотите танцовать?

Она поглядела на него своими изумленными глазами, и они молча закружились. Они так обрадовались этой

чудесной встрече, что насупились, одеревенели. Страсть была целомудренной, и Андре как-то не сознавал, что его рука касается тела Жаннет, что он слышит ее дыхание. Было тесно; они задевали другие пары; но казалось, что они убежали куда-то далеко: в поле, в пустыню.

Потом Андре предложил побродить вместе по городу. Жаннет ответила:

— Я с товарищами... Хорошо, я скажу, чтобы они меня подождали.

Они теперь шли по узкой, плохо освещенной улице, держась за руку; так ходят дети впотьмах. Жаннет рассказывала про вечер на заводе «Сэн»:

— Я не понимаю многого, я ведь и газет не читаю... Но это было настоящее... Как они слушали! Так они меня растрогали, что я потом шла домой и ревела. Даже не знаю отчего. Может быть, потому, что было хорошо...

— Я все эти недели ходил, слушал, смотрел. Не знаю, что из этого получится, но замечательно! Все у них выходит просто, глубоко. Я чувствую корни... А мы с вами привыкли к другому. К другим людям: вкуса, может быть, много, но легкие они, сдунуть можно. Есть такие растения в поле: срываются с места и катятся неизвестно куда. И все произвольно, случайно...

Жаннет приостановилась и грустно сказала:

— Андре, это — мы.

Они вышли на яркую площадь Итали; музыка, пальба, смех. Жаннет говорила:

— Меня хрупкость удивляет...

— Чего?

— Всего. Кажется, я не девочка, можно было привыкнуть, но нет...

Андре был потрясен: она говорила за него.

— Почему мы думаем одно и то же?

— Должно быть, от искусства... Когда я была на заводе, я это почувствовала... Они могут нас считать своими, любить, баловать, но вот придет минута, и мы окажемся в сторонке. Не умею объяснить... Вы обратили внимание, как люди произносят слово «искусство»? Иногда как начало молитвы, а чаще как название болезни: чума или азиатская холера. Наверно, скоро придумают прививку... Андре, вы любите кататься на карусели?

Загадочные звери, зеленые и оранжевые, драконы, единороги, кентавры подымались, падали, неслись. Огромная шарманка ревела: «Ты не узнаешь никогда...» Они взобрались на синего слона. Духоту вдруг сменил резкий ветер.

Они сошли вниз, обнявшись. Молчали. В такие минуты страшно сказать слово, страшно даже оглянуться или шевельнуть рукой: кажется, что счастье можно рассыпать, расплескать.

Первой опомнилась Жаннет. Ей стало тревожно: если не уйти сейчас, будет горе! Это не минутное увлечение, это что-то тяжелое, засасывающее. Они не могут жить вместе: они поражены одной болезнью; они той же породы... Как он сказал?.. Да, растение, перекати-поле... С ним? Нет, это кровосмесительство!

— Андре, мне пора. Меня ждут.

На темном углу площади, под каштаном, среди листвы которого мерцал один, будто заблудившийся, фонарик, она его поцеловала нежно и отрешенно, не как человека, как подарок. Он ее робко обнял; она отстранилась:

— Не нужно...

Он не спросил: почему? Они молча шли назад к площади Контрескарп; молча простились.

Актеры подтрунивали над Жаннет: «таинственный поклонник»... Она не отвечала. Ее мучила жажда, и она пила кислое вино, как воду. От вина стало еще жарче; стучало в висках. А шарманка все с тем же ревом жаловалась на неудачную любовь, и смутно Жаннет подумала: так, наверно, слон объясняется в любви. Синий слон... Что она наделала? Ей захотелось говорить — много, громко, быстро.

— До чего смешно!.. Ее держали всю жизнь под землей... В метро. Нет, глубже — в шахте. Еще глубже — в аду. Потом вывели и говорят: «Бегай, смейся, дыши!» А она ответила: «Нет». Почему? Потому что ей нельзя бегать, нельзя смеяться, нельзя дышать. Нет и нет!

— Что ты рассказываешь? Кто ответил?

— Богиня из учебника. Один знакомый. Не бойся, Марешаль, не ты, не актер. Пивовар. Или я. Разве не все равно — кто?

— Да ты попросту выпила.

— Не знаю. Но мне хочется говорить. А говорить тоже нельзя. Скажи, Марешаль, ты когда-нибудь думал о счастье?

— Нет. О счастье никто не думает.

— Вот и неправда. Я все время об этом думаю. Гляжу на них и думаю. Видишь, как они берегут свое счастье? Под стеклянным колпаком, как сыр. Или под байковым одеялом. И танцуют, танцуют... Сегодня они еще могут танцовать. Помнишь стихи: «Погиб Лиссабон, но в Париже танцуют...» Тогда земля тряслась. Что же, может снова затрястись — здесь. Или откроется новый вулкан. Или придет чума. Или начнут с неба падать бомбы. Я не знаю что... Но какое это хрупкое счастье! Осторожно, Марешаль, не дыши!..

Она говорила, а слезы бежали из глаз. Рассвело. Люди расходились по домам. Кто-то рядом твердил:

— Не огорчайся, котик, завтра будем снова танцовать...

При дневном свете лица казались призрачными. А на опустевшей площади валялись затоптанные цветы, кожура апельсинов, окурки, пробки, хлопушки.

Когда Андре вернулся в свою мастерскую, розовое большое солнце подымалось над морем крыш; все теплилось, дрожало. Андре сел у окна. Грусть в нем медленно вызревала. Он вспомнил все: далеко в темноте сумасбродной ночи еще горел, среди коленкоровой листвы, бумажный фонарик... Как это солнце... А карусель неслась слишком быстро. Да и все так несется — не понять, не увидеть. Буря и дерево живут по разным календарям...

Андре вспомнил слова Сезанна, над которыми он часто думал: «Нужно долго наблюдать природу. Тогда видимое освобождается от влияния света, от всего случайного, и размышление рождает понимание». Хорошо ему было в тихом Эксе! Да и времена были другие. А Жаннет сказала: «Не нужно». Что «не нужно»? Хотеть? Надеяться? Понимать?

Солнце уже было высоко. Город спал, мертвый от усталости, под пышным светом; и свет съедал все краски; как слепой, Андре глядел на непонятный ему мир. Он уснул сидя, замер, залитый золотом июля.

22

Генерал Пикар на буланом коне был великолепен; среди марокканских стрелков он казался ожившим полотном старого баталиста.

Каждый год четырнадцатого июля бывал военный парад. Обычно он привлекал буржуа, застрявших случайно в городе, модисток, обожавших мундиры, и мальчишек. Но в этом году парад собрал других зрителей. Завсегдатаи Елисейских полей были далеко: у моря или на водах; и в фешенебельный квартал вторглись жители пригородов. Повсюду виднелись кепки рабочих. Только на углах некоторых улиц стояли молодые люди в беретах, элегантные и надменные: это были воспитанники Бретейля. Они кричали: «Да здравствует армия!»; рабочие отвечали: «Да здравствует республиканская армия!»; и хотя республике шел уже седьмой десяток, этот крик звучал вызывающе; часто дело доходило до потасовок.

Все последнее время газеты писали об опасности войны, о зловещей суматохе за Рейном и за Альпами. Народ с надеждой глядел на каски солдат, на артиллерию, на веселых летчиков. Гремела, не умолкая, военная музыка: лотарингский или самбрский марши. Люди на тротуарах шагали в такт; тела выпрямлялись; лица становились задорными. Было в армии нечто подкупавшее толпу: солдаты, все разного роста, рядом с великаном — недомерок, шли просто, как в походе, и зрители видели в них своих.

Молодые люди в беретах восторженно приветствовали Пикара. Их крики подхватила толпа: генерал с громким прошлым, дважды раненный на войне, выглядел молодцевато. А Пикар презрительно усмехался. На этот раз маска вполне соответствовала его душевному состоянию: необычная публика, приветствовавшая парад, возмущала Пикара. С каким удовольствием двинул бы он на этот сброд своих марокканцев! Он глядел прямо перед собой, чтобы не видеть оскорбительных сцен; и зрелище Триумфальной арки, этого памятника былой славы, казалось ему несовместимым с городом, захваченным чернью, где повсюду развешаны красные флаги, где он, боевой генерал, должен выполнять приказы выскочек и масонов.

Неподалеку от Триумфальной арки стояла толпа рабочих. Когда с ней поравнялся Пикар, раздался звонкий голос Мишо: «Да здравствует!..» И тотчас молодцы Бретейля кинулись на рабочих. Засвистели полицейские. Лошадь Пикара пряла ушами; но он даже не взглянул на тротуар; только еще больше искривились тонкие губы, а в голове пронеслось: «Канальи!..»

Елисейские поля в течение двух последних лет были заповедной вотчиной фашистов. Здесь каждый день избивали до крови продавцов левых газет, рабочих, заподозренных в причастности к Народному фронту, и евреев. Нарядная публика на террасах кафе привыкла к проделкам «золотой молодежи».

В этот день, однако, Елисейские поля были оккупированы пришельцами из чужих кварталов, и возле Триумфальной арки начался настоящий бой. Фашисты были вооружены резиновыми дубинками, кастетами, ножами. Один из рабочих упал на мостовую; лицо его было в крови. Мишо пытался вырваться из кольца. Вдруг он почувствовал острую боль, как будто его полоснули по спине ножом. Тогда он зажал в кулак дверной ключ и стал им бить нападающих. Полицейские энергично прикрывали фашистов: они не думали ни о Блюме, ни о Виаре; по привычке они били бедно одетых и защищали завсегдатаев Елисейских полей. На выручку Мишо подоспели товарищи. Один фашист пытался повалить Мишо, но тот извернулся и оглушил противника.

А солдаты, проходя мимо, глядели на побоище.

Разогнав фашистов, Мишо вздохнул: его воскресный пиджак был как будто разрезан дубинкой. Он еще не чувствовал боли, хотя на спине был яркокрасный след, вроде ожога. Мишо отвели в аптеку. Он там всех рассмешил — стоял и приговаривал: «Ах, подлецы! Ведь это я для демонстрации принарядился!»

После парада Пикар наспех позавтракал; час спустя в штатском платье он поехал за город. Автомобиль задерживали в каждом поселке: молодежь танцовала. Общее веселье выводило Пикара из себя; он закрыл глаза; он много дал бы, чтобы не слышать гармоник и саксофонов!

Бретейль ждал его в небольшом домике близ Фэрте. Место было чудесное; оно располагало скорее к любовной

идиллии, нежели к заговорам. Дом стоял на крутом берегу Марны; с веранды была видна река, острова, поросшие камышом, луга с пятнистыми коровами, которые как бы дремали, окунув свои морды в яркую зелень. Веранда была обвита глициниями, и сладкий запах наводил дрему.

Бретейль, как всегда сухой и унылый, металлическим голосом рассказывал о событиях последних дней:

— Тесса подобрал значительную группу. Но, полагаю, дело решится не в парламенте. Испанцы не сегодня — завтра выступят. Если им удастся быстро ликвидировать Народный фронт, к осени двинемся и мы.

Пикар вспомнил толпу на Елисейских полях:

— Яд проник глубоко. Придется уничтожить сотни тысяч. А трудно сказать, как поведет себя армия. Что такое офицеры без солдат? Романтика... Я не знаю, на что вы рассчитываете?

— Об этом еще рано говорить. Оружие из Дюссельдорфа доставлено. Это, конечно, закуска... Но, по сравнению с тем, что переправил ваш полковник, это — немало. Теперь о другом... Можете ли вы достать мобилизационный план? Ведь с этими головотяпами следует ждать всего... Я не хочу, чтобы, в случае войны, нас застали врасплох...

Пикар отвернулся. Беззаветно преданный Бретейлю, он впервые усомнился: должен ли он выполнить эту просьбу? Пикар был из военной семьи; все, связанное с армией, казалось ему священным. Здесь сказывались и воспоминания о боях, и традиции среды, все эти громкие имена — от Иены и Аустерлица до Марны и Вердена. Холодный человек, он вдруг заговорил, волнуясь, как подросток:

— Я думал, что в случае войны мы забудем все раздоры...

Бретейль прошелся по веранде, а потом, подойдя вплотную к Пикару, ответил:

— Я тоже так думал. Надеюсь, вы не станете сомневаться в моем патриотизме. Мы оба были на фронте и там оставили наших лучших друзей. Но поверьте мне, теперь нет нации, есть клан, захвативший власть. Против него я пойду даже с немцами. Молю бога, чтобы этого не случи-

лось! Трудно такое сказать, еще труднее сделать. Это требует выдержки, почти нечеловеческой воли. Но все же это так... Их победа будет не победой Франции, а победой революции.

— Но армия?.. Что станет с армией?

— Армия может возродить Францию. А если нет?.. Тогда ее песенка спета. Лет на сто...

Пикар молчал. Он пристально глядел на дальние поля; казалось, он что-то рассматривает; но он ничего не видел, кроме нестерпимо яркого света. В душе его царило смятение. Он даже хотел крикнуть, сломать графин, уйти. А глицинии сладко пахли, и жужжали вокруг шмели. Потом Пикар вспомнил толпу на Елисейских полях. Канальи!.. Нет, это не Франция! А тогда Бретейль прав. Даже Гитлер лучше... Пикар, наконец, заговорил. Он сам не узнал своего голоса, придушенного, мертвого:

— Если вы видите верно, вы взяли на себя страшный крест. А если вы ошибаетесь... Нет, я не хочу об этом думать! Я привык повиноваться. Я теперь все отдаю: не только жизнь — честь...

Бретейль предложил отвезти Пикара в город; тот отказался: ему хотелось остаться одному. В автомобиле он снова закрыл глаза и погрузился в тревожный полусон. Попрежнему надоедливо ревели шарманки. В предместье Парижа машину остановили: демонстранты возвращались с площади Бастилии. Увидев на террасе кафе несколько солдат, рабочие весело крикнули: «Да здравствует республиканская армия!» Пикар приоткрыл глаза, поморщился и сказал шоферу:

— Поезжайте другой дорогой. Как знаете, но только скорее! У меня нет времени...

23

Демонстрация продолжалась весь день; в ней участвовало свыше миллиона парижан. Шествие казалось нескончаемым. Шли и шли: через площади Бастилии, Республики, Нации, по кривым, узким улицам, по широким проспектам; когда зрители говорили «кончилось», показывались новые колонны.

Добродушие победителей придало демонстрации неожиданный характер. Прошлым летом в тот же день по тем же улицам шли колонны, готовые к бою. Теперь шествие напоминало карнавал. Мало кто думал о грядущих битвах. Всех успокаивало ощущение силы: «Прошло восемьсот тысяч! Миллион! Полтора!..»

Полгорода оказалось без полиции: ее увели, чтобы избежать стычек; за порядком следили рабочие; и не было ни столкновений, ни перебранки, ни грубых слов; праздничный Париж пел песни и беззлобно шутил.

Приехали делегаты из различных областей. Пикардские углекопы шли в рабочей одежде, припудренные черной пылью, с лампами. Виноделы юга несли на длинных шестах картонные грозди. Женщины Эльзаса в старинных платьях пели народные песни; бретонцы дули в свои загадочные дудки; плясали горцы Савойи.

Шли бывшие фронтовики; везли безногих в тележках; слепых вели поводыри. Сто тысяч людей, искалеченных войной, с надеждой повторяли: «Долой войну!»

Шествие открывали бывшие участники Коммуны; их было немного — двадцать или тридцать сгорбленных стариков. Когда-то, подростками, они помогали строить последние баррикады на горбатых уличках Монмартра и Бельвиля. Теперь они глядели на торжество своих внуков, и запавшие, выцветшие губы улыбались.

Комсомольцы гордились новенькими флагами; шелк на легком ветру рвался в бой. Было много портретов Горького (он умер незадолго до этого); чужое русское лицо стало знаменем.

Одна колонна сменяла другую; за металлистами шли кожевники, за ними писатели, потом студенты, потом служащие газового общества в форменных фуражках, потом актеры, пожарные, сиделки, и снова металлисты, и снова кожевники.

Париж был огромным плотом; на плоту держались люди различных стран, потерпевшие кораблекрушение. Эмигранты обжились в Париже, и они шли рядом с французами. Часто слышалась чужая речь, мелькали иностранные слова на флагах и транспарантах. Строительные рабочие из Неаполя и Сицилии, астурийские герои, австрийские портные и кондитеры, евреи из польского и

румынского гетто, шлифовальщики, сапожники или живописцы, студенты из Шанхая, аннамиты, арабы, негры, все они пели «Интернационал».

Шляпники несли огромную кепку, классический убор французского рабочего; и под кепкой значилось: «Твоя корона, пролетарий!»

Сталевары несли цветы: анютины глазки и левкои. А за ними шли молодые смешливые цветочницы с серебряным молотом.

На всем пути от площади Бастилии до Венсенской заставы серые закопченные дома были украшены. Из окон выглядывали красные гардины, коврики, платки. На балконах стояли женщины в красных блузках; и кажется, все красные цветы Франции — маки, гвоздики, тюльпаны — пришли в этот день на парижские улицы.

На деревьях, как воробьи, повисли ребята, веселые и насмешливые. Сколько было в тот день забав! Жгли предателя Дорио, сделанного из соломы; на виселице покачивался тучный Муссолини; корчился тряпичный Гитлер; а человек на ходулях изображал длиннущего Фландена.

Восторженно встречали рабочих «Сэн». Они несли макет бастильской тюрьмы. Над ним значилось: «Помните о Бастилии, которая взята! Помните о Бастилии, которую нужно взять!» Впереди этой колонны шли Мишо, Легре, Пьер.

На трибунах стояли вперемежку министры и делегаты союзов, писатели и рабочие, коммунисты и радикалы. Блюм грустно улыбался. Даладье, приземистый, с упрямой складкой возле рта, не опускал кулака. Виар тихонько подпевал: «И решительный бой...»

Когда колонна «Сэн» проходила мимо трибуны, Пьера окликнули:

— Дюбуа, с тобой хочет познакомиться Виар.

Виару рассказали о талантливом инженере, члене социалистической партии, который принял активное участие в недавней забастовке, а Виар среди государственных дел не забывал своих партийных обязанностей. Он дружески пожал руку Пьеру:

— Молодчина! Вот коммунисты говорят, что у нас выветрился революционный дух; ты — лучший ответ.

Пьер настолько смутился, что преглупо ответил:

— Спасибо.

— Мне кажется, я знал твоего отца. Ты ведь из Перпиньяна?

Виар мог не узнать депутата, с которым разговаривал накануне, но он помнил все связанное со своей молодостью: товарищей по школе, города, где он читал лекции, делегатов давних съездов.

— Мы с ним вместе подготовляли демонстрацию против расстрела одного испанца. Ферреро... Для тебя это ничего не говорящее имя, а тогда вся страна всполошилась. Изумительный наш народ! Чувство международной солидарности, отзывчивость!.. Ну, желаю удачи!

Воспоминания растрогали Виара. Он почувствовал себя молодым и непримиримым, как этот инженер. Он теперь другими глазами глядел на демонстрантов; ему казалось, что он шагает с ними, с ними идет навстречу врагам. Он весело помахивал шляпой пионерам.

К действительности его вернул депутат Пиру, радикал. Никто не понимал, почему Пиру пришел на демонстрацию: знали, что он ненавидит Народный фронт. Может быть, он хотел проверить популярность того или иного министра? Он стоял на трибуне, как истукан, не пел, не отвечал на приветствия. Очутившись рядом с Виаром, он решил поговорить о деле: он только вчера приехал из департамента Восточных Пиренеев, депутатом которого являлся.

— Префект говорил мне, что в некоторых местах дошло до захвата земель: подражают испанцам. А во главе всегда пришлый элемент: у нас много каталонских рабочих. Раньше знали, что иностранцы не имеют права вмешиваться в политическую жизнь. Но теперь коммунисты организовывают этот сброд. Положение угрожающее...

Виар знал, что Пиру — друг Тесса; он был с ним исключительно предупредителен:

— Я сегодня же переговорю с Дормуа. Разумеется, надо запретить иностранцам участвовать в политических демонстрациях. Я вас уверяю, дорогой коллега, что мы не отступим от традиций. Немного доверия, и все образуется...

Пиру, поблагодарив, отошел в сторону. Виар шепнул одному из коммунистов:

— Если мы не укротим шайку Тесса, они нас уничтожат.

Виару казалось, что это — государственная мудрость и что, лавируя, он идет к победе.

Мимо трибуны шла делегация маленького городка Лана. Делегаты — старик в бархатной куртке с окурком, прилипшим к нижней губе, и четверо молодых рабочих, по-праздничному принаряженных,— несли флаг, на котором было написано: «Лан не допустит победы фашистов». Виар подумал: «В Лане, наверно, триста рабочих, не больше...» И Виар не то вздохнул, не то проворчал:

— Дети!..

Пьер, взволнованный и обрадованный, догнал свою колонну. Он не стал рассказывать о беседе с Виаром: боялся, что Мишо иронией нарушит обаяние.

Мишо давно забыл об утренней потасовке и о погибшем пиджаке. Болела спина, но он был весел: демонстрация удалась наславу. Только когда они подходили к заставе, он притих. Стемнело, и засветились фонари, диски, колонки с бензином, вывески, зеленые, оранжевые, красные — весь пестрый цветник пригорода.

— Мишо, ты что, приуныл?

— Нет. Жарко!

Он вытер рукавом лоб и вдруг сказал:

— Я недавно прочитал биографию Бланки и позавидовал. Хорошая жизнь, а главное — простая. Несколько дней — баррикады, все остальное время — тюрьма. Он даже про звезды писал... Тогда требовалось одно: умереть. А теперь нужно жить. Победить нужно. Во что бы то ни стало. А это труднее. Да и суше. Но нужно.

Пьер с удивлением его слушал; он вдруг понял, что мысль Мишо сложна, что под четкими формулами скрыта страстная природа, много боли, спутанной и горячей, как шерсть зверя или как степная трава.

— Ты вырос, Мишо. Я в тебе раньше видел только товарища. А теперь... Теперь ты можешь командовать.

Мишо в ответ состроил ребяческую гримасу и засвистел, как щегол: он чудесно свистел.

А демонстранты все шли и шли, и не замолкало: «Это есть наш последний...»

24

На следующее утро Пьер уехал в отпуск; перед ним был месяц покоя, и покой представлялся ему синим и золотым, как плакаты в бюро путешествий.

Аньес уехала на неделю раньше. Она сняла рыбацкий домик на берегу океана, возле Конкарно. Дом стоял на скале: белая квадратная коробка. Внизу женщины чинили голубые сети, и надувались на ветру рыжие паруса. Место было открытое: много ветра, сильные приливы, океан говорил день и ночь не умолкая.

Пьер увидел чистую беленую комнату, украшенную олеографиями. Все здесь пропахло рыбой: постельное белье, занавески, даже стены.

Пьер приехал еще переполненный парижскими событиями. Он с гордостью рассказал Аньес о своем разговоре с Виаром; описал подробно демонстрацию; говорил о происках фашистов. Аньес молчала. Пьер вскипел: неужели он никогда не сможет убедить ее в важности, в правоте своего дела?..

— Нет. И не хочу понять. Это — игра, но не детская, скверная игра. Я во всем этом чувствую ложь. Никто ничем не хочет поступиться. Виар?.. Да он предаст, как все! Разве ты не видишь, что люди те же?..

— Мы их перевоспитаем.

— Нет, вы заняты другим: вы их перекрашиваете. Это — легче, но, господи, как это скучно! Да и нечестно!..

Так они поспорили в первый день приезда Пьера. Потом он отдался покою. Три дня он ничего не делал, ни о чем не думал, купался, лежал на песке, карабкался по скалам и часами следил за нараставшими валами прибоя. Он не раз бывал у южного моря, знал его лень и негу. Океан поразил Пьера. Сначала все показалось ему нестерпимо тревожным, как будто сама природа жила здесь в предвидении близкой катастрофы. Вскоре он понял, что этот грохот отвечает его душевному состоянию. Он радовался силе ветра, который не давал приоткрыть дверь, старался сбить человека, гнул низкие крепкие деревья.

Так прошли три дня. Лицо Пьера обгорело, а весь он проветрился; сотни вещей, казавшихся в Париже значительными, здесь вызывали пренебрежительную улыбку. Зато открывались новые миры: жизнь сардинок, проплывающих по строго намеченным водным путям, запах водорослей, зрелище густых звезд.

Газеты приходили с таким запозданием, что за все дни Пьер не узнал ничего нового. Как-то он вытащил маленький приемник, который привез с собой, послушал: биржевые курсы, японско-китайский инцидент, речь Тесса на банкете у коммерсантов... И, махнув рукой, Пьер пошел ловить крабов.

Аньес расцвела: ее счастье теперь было полным. В Париже она и тревожилась за Пьера, и ревновала его к событиям. По своему происхождению, по жизни, трудной и тесно связанной с жизнью Бельвиля, она могла бы увлечься происходящим. Но ее отталкивало все общее, абстрактное, споры, программы, язык газет и митингов; она возмущенно называла это «политикой». Волновали ее только судьбы отдельных людей. Так, она отнеслась равнодушно к зрелищу забастовок; но когда Пьер рассказал ей о Клеманс, она отвернулась, чтобы он не заметил ее слез. Увлечение Пьера Народным фронтом казалось ей кружением на месте, какой-то словесной бурей. Она говорила себе: за такое не умирают!.. К этому примешивался безотчетный эгоизм: впервые она узнала спокойствие и боялась — вдруг все сразу кончится?.. Беременность придавала этому чувству плотность и упорство: Аньес отстаивала две жизни. И то, что Пьер не слушает радио, представлялось ей признаком спасения.

На четвертый день к вечеру началась буря. Поднялась она внезапно. Пьер сидел с Аньес на берегу; вдруг ветер закружил столб песку; Аньес зажмурилась. А несколько минут спустя все вокруг бесновалось. Море вышвырнуло на берег лодки. Дома кричали. С трудом Пьер и Аньес взобрались к себе.

Аньес шила у окна. Уже смеркалось; они не зажигали света: красив был разбушевавшийся темнофиолетовый океан. Среди гневной стихии они были, как в скорлупе; они особенно остро ощущали теплоту любви, ее вязкость, живучесть.

Пьер лениво повернул выключатель приемника. Вспыхнул зеленый глаз, и к шуму моря примешался другой, родственный ему: хриплые всхлипывания, треск, цокот «морзе».

Женский голос. Это по-английски... «Общая тенденция биржи повышательная. «Роял-Детч» сегодня котировались на два пункта выше...»

Джаз.

Немецкий романс «Ты была самой сладкой блондинкой...»

«Говорит Париж. Радиостанция «Иль де Франс». Длина волн... Морис Шевалье исполнит «Париж остается Парижем...»

«Покупайте пылесосы «люкс». Фирма «Люкс» счастлива поднести вниманию радиослушателей скетч «Пылинка-невидимка».

Италия. Речь секретаря фашистской партии: «Мы воспитаем юных легионеров в духе мужества...» И танцы.

Велосипедные гонки: «На этапе По — Каркассон бельгиец Грэне покрыл расстояние...»

«Слушайте точное время! При четвертом ударе будет девятнадцать часов по Гринвичу. События дня...»

«Две тысячи убитых...»

Аньес бросила шитье. Пьер сжал приемник, как будто хотел его удушить.

А диктор спокойно рассказывал: В Барселоне гостиница «Колумб» обстреляна из орудий; в Мадриде верные правительству части, вместе с рабочими, очистили от мятежников казармы Ла Монтанья; в Севилье идут бои за обладание кварталом Триана, заселенным беднотой; генерал Аранда захватил Овиедо; в Бургосе начались массовые расстрелы... И тем же голосом диктор объявил: «На выставке роз в Кур-ла-Рен первая премия присуждена...»

Пьер выбежал из дому. Буря завладела всем. Луч маяка вгрызался в высокие волны, которые, как цепи солдат, шли на землю. Внизу бились красные огни. Рев моря походил на мощную сирену. Пьер повернул к дому; лицо его было мокрым от брызг. Аньес стояла у двери. Она тихо сказала:

— Я посмотрела — поезд уходит в шесть утра. Вечером ты будешь в Париже.

Она поцеловала его в темноте, и молча они просидели до рассвета. А буря не унималась.

25

Десятки тысяч людей не могли попасть в зал. Выстрелы по ту сторону Пиренеев разбудили Париж. Взволнованные люди стояли в проходах, свисали с хоров, взбирались на трибуну. Когда Кашен заговорил о бадахосских расстрелах, его голос дрогнул. А с улицы доносилось пение «Интернационала», то торжественное, как присяга, то быстрое и задорное.

На трибуну поднялся старый человек, с теми бороздами на бритом сухом лице, которые придают испанским лицам трагический характер. Это был Муньес, учитель, один из руководителей мадридских синдикатов. Все замерли: сейчас будет говорить человек, приехавший оттуда! А Муньес молчал; его рот был мучительно приоткрыт. На трибуне кто-то громко сказал:

— У него сына убили...

Тогда испанец выкрикнул:

— Оружия!..

И по всему залу пронеслось: «Оружия!» И с улицы отвечали: «Оружия! Оружия!»

Потом говорил профессор, числившийся радикалом, старый чудак, защищавший в своей жизни с равным жаром виноделов Ода, боровшихся за право именовать свое вино «шампанским», и Дрейфуса, английских суфражисток и негуса. Профессор говорил о «рыцаре без страха и упрека» и предлагал испанцам «моральную поддержку».

Мишо выступил последним:

— На французской территории приземлился итальянский бомбардировщик, из тех, что Муссолини посылает Франко. Мы знаем детали: пятьдесят четвертая, пятьдесят седьмая, пятьдесят восьмая итальянские эскадрильи. Гитлер послал мятежникам свои «юнкерсы». А у наших товарищей охотничьи ружья... Мы должны сказать правительству Народного фронта: дайте самолеты Испании!

Снова зал заревел: «Самолеты Испании!» И на проспекте Ваграм, дальше — на площади Этуаль, обычно в этот час пустой и блестящей, как актовый зал, дальше — на двенадцати проспектах, уходящих от Этуаль, раздавались те же слова: «Самолеты Испании!» И когда на минуту смолкало человеческое море, чей-то тонкий, хрупкий голос начинал: «Самолеты...» И снова слова, идущие от сердца Парижа, покрывали шум города, врывались в дома, в туннели метро и, вылетая оттуда, будили сонные окраины.

Когда митинг закончился, Мишо отвел Пьера в сторону:

— Муньес приехал насчет самолетов... Ты можешь им помочь как специалист.

Муньеса послали в Париж, чтобы купить двенадцать бомбардировщиков. Он проходил три дня по министерствам; ему дружески жали руку и говорили: «Этот вопрос следует обсудить». Он попал к крупному промышленнику Меже. Тот выслушал его, предложил папиросу и, вежливо улыбаясь, сказал: «Чем скорее победит Франко, тем лучше».

Мишо сказал Пьеру:

— Попробуй поговорить с Дессером. Ведь это дело коммерческое. Может клюнуть.

Муньес вышел с Пьером. Он рассказывал:

— Идут с револьверами, с пугачами, с перочинными ножичками. Смешно глядеть и страшно! У крестьян допотопные мушкеты. А все может решиться в две недели: они быстро продвигаются. У них «савойя», «юнкерсы». А у нас десяток почтовых самолетов. Пробили дыры, чтобы скидывать бомбы. Старые калоши!.. Сбивают их почем зря. Я говорил здесь: «Если мы погибнем, и вам конец». Но они не понимают...

Кругом еще раздавалось: «Самолеты Испании!» Усмехаясь, Муньес сказал:

— Эти дали бы... Только самолеты не у них.

На следующее утро Пьер отправился к Дессеру; тот сразу его принял. Пьер решил говорить напрямик:

— Когда была забастовка, мы оказались по разные стороны баррикады. Сейчас дело не касается ваших заводов... В Испании у власти не коммунисты, а Хираль, Асанья — ваши единомышленники. Им нужны бомбардировщики. Они просят вас продать им за наличный расчет двадцать «А-68».

Дессер улыбнулся:

— Особенно мне нравится «за наличный расчет»! Вы убеждены, что Дессера можно соблазнить деньгами. Кстати, Меже мне вчера рассказывал, что испанцы приходили к нему. Он мне гордо заявил: «Я их выпроводил — я не предаю моего класса». Ничего не возразишь: человек рассуждает, как вы,— по-марксистски.

— Я пришел не к Меже. Меже — фашист. А вы...

— Я прежде всего француз. Мир для меня важнее Испании.

— Кто вам может запретить продать самолеты правительству соседней страны?

— Не прикидывайтесь наивным! Если я дам двадцать «А-68», итальянцы через неделю подкинут еще сорок «савойя». И так далее... Конечно, я предпочитаю Асанья генералу Франко. Я вам дам сто тысяч франков для испанцев; только не говорите, что вы получили их от меня. Пожалуйста. Но самолетов я не продам. Я не хочу рисковать спокойствием Франции. Как говорят, своя шкура дороже чужой рубашки.

— Значит, мы должны глядеть, как они гибнут? Это низость! Я могу понять Меже... Но вы!.. Помните наш разговор ночью?.. Как я скажу Муньесу, что вы отказали?

Пьер бегал по кабинету, кричал, стучал кулаком. Дессер глядел на него насмешливыми, усталыми глазами; в душе он любовался Пьером. Когда Пьер хотел уйти, он его остановил:

— Одиннадцать «А-68» заказаны для Аргентины. Их должен получить некто Ману. Предложите ему отступные, и он отдаст вам. Как видите, я на этом ничего не заработаю. Если вы думаете, что это может их спасти, пожалуйста... А Ману на это пойдет, ручаюсь. И при такой комбинации не будет осложнений с отправкой. Я ведь убежден, что Блюм не пропустит ни одного самолета.

— Этого не может быть! В случае чего я пойду к Виару.

— Не хотел бы я сейчас ознакомиться со штанами вашего Виара. Эх вы, романтик!.. Вот вам лицензии для Ману. Вы удовлетворены?

Пьер рассеянно простился: он спешил к Ману.

По паспорту гражданин Гондураса, по происхождению румын, Ману давно поселился в Париже и считал себя французом. Занимался он различными темными делами и теперь был окрылен надеждой: испанские дела вдохновили всех посредников и спекулянтов. Из Мадрида, из Барселоны каждый день приезжали делегации с деньгами и с наказом раздобыть военное снаряжение. Приезжали представители разных министерств и союзов, военные и журналисты, республиканцы, коммунисты, анархисты. Делегаты зачастую не знали один другого, попадали к тем же дельцам; их водили за нос, обирали. Здесь же сновали агенты Бургоса; эти тоже искали оружие. Спекулянты каждый день подымали цены. Ману, услышав про «А-68», запросил втрое.

— Могут выйти неприятности с Буэнос-Айресом. Потом, со мной вы можете спать спокойно: товар выпустят. У меня ведь лицензии.

— Лицензии у меня.

Ману задумался: перед ним не испанец, которого легко провести, но специалист, инженер «Сэн», а ко всему — приятель Дессера. Такой может раздобыть самолеты и помимо Ману. Да, но он пришел сюда... И Ману ответил:

— Завтра я скажу вам окончательную цену.

Услышав «завтра», Муньес горестно вздохнул: уже скоро неделя!.. Ему казалось, что от этих самолетов зависит судьба Мадрида, республики. Он покупал по нескольку раз в день одни и те же газеты, надеясь найти в них свежие телеграммы; не отходил от приемника. Он встречал Пьера горячечными речами:

— Альто де Леон... Два броневика... В Ируне отбили... Главная опасность со стороны Эстремадуры: они подымаются к Медине. А Медина... Медина...

Он не мог понять, как вокруг него люди шутят, обедают, гуляют, ходят в театры. Париж его возмущал своим равнодушием, и не будь Пьера, он возненавидел бы французов. Но Пьер жил, как он,— от одного выпуска газет до другого.

На третий день Ману сдался и отпустил самолеты с надбавкой в двадцать процентов. Бомбардировщики нахо-

дились на аэродроме возле Тулузы. Муньес сообщил шифром в Мадрид о покупке. Он должен был с Пьером выехать вечером в Тулузу. В последнюю минуту пришла телеграмма через посольство: закупленных бомбардировщиков недостаточно, необходимо раздобыть еще двадцать, а также тридцать истребителей типа «девуатин». Без помощи правительства достать такое количество самолетов было невозможно: авиазаводы принадлежали или Дессеру, или фашистам. Пьер хотел остаться, чтобы поговорить с Виаром. Но Муньес нервничал: боялся, что могут пропасть одиннадцать «А-68». Решили, что Пьер поедет в Тулузу, а Муньес пойдет один к Виару.

— Я с ним знаком. Мы встречались на международных конгрессах.

Пьер с вокзала послал открытку Аньес: «Уезжаю на неделю». Он сел в раскаленный переполненный поезд. Августовский зной гнал застрявших парижан на взморье или в горы. Кругом говорили о купанье, прогулках, яхтах, и Пьер чувствовал себя иностранцем. Он развернул газету и, не читая, как Муньес, маниакально повторял про себя: «Медина, Медина». Хоть бы скорей доехать! Хотелось выскочить, подталкивать поезд; остановки казались особенно мучительными. Вдруг Пьер вспомнил честное, хорошее лицо Виара, его слова о солидарности; и, раскачиваясь в полусне, среди дыма, духоты, среди разговоров о купальных костюмах, о подъеме на пиренейские вершины, Пьер смутно подумал: «Виар даст все, не покинет испанцев...» Он уснул.

26

Когда Муньес увидел Виара, перед ним встало далекое прошлое. Он вспомнил базельский конгресс, речь старика Бебеля в соборе, колесницу с девушками, аллегории, клятвы, слезы. Потом он встретил Виара в Берне; это было вскоре после войны. Они пытались склеить Второй интернационал как фарфоровую чашку; шли споры об ответственности за войну, о репарациях, о колониях. Прошло шестнадцать лет... У Виара тогда были темные волосы, звонкий голос. Он постарел. Как и Муньес...

Виар тоже отдался воспоминаниям. Старые товарищи вызывали из полузабвения тени молодости: Плеханова, Жореса, Иглесиаса. Виар сказал:

— Когда достигаешь известного возраста, все тропинки приводят к кладбищу. Куда ни глянь, могилы.

И слово «могилы» его пробудило: он вспомнил, зачем к нему пришел Муньес. С утра он готовился к этому свиданию. Он не может принять Муньеса как официального делегата правительства или партии. Муньес — старый товарищ, этого не вычеркнешь... И как забыть, что над ним только что стряслась беда?

— Мне рассказали о вашем горе.

Муньес отвернулся. Он скрывал от всех свою муку. В бессонные ночи он видел своего любимца, весельчака Пепе. Это было в полдень. Белые стены, белая пыль. Люди шатались от жары и усталости. Его нашли на чердаке, вывели и расстреляли.

Муньес почувствовал, что с него сняли кожу, заглянули внутрь; и от этого стало еще мучительней. Он молчал. Заговорил Виар:

— Мой друг, я вас понимаю. Три года тому назад я потерял жену. Это страшно — пережить близких! Очень страшно! Иногда спрашиваешь себя: к чему тянуть?..

Муньес еще не понимал, что́ именно в словах Виара его возмутило; но он встал, прошелся по комнате и вдруг заговорил громко, как на собраниях:

— Я пришел за самолетами. Вы знаете наше положение. Если вы нам не поможете, нас задавят. Народный фронт — последняя ставка социализма. Неужели вы нас выдадите с головой? Я сейчас говорю как социалист с социалистом. Ведь осталось что-то с тех времен!.. Да, моего сына убили. Я об этом не хочу говорить. Но они убивают каждый день... Сегодня мне сообщили о расстрелах в Кордове. Это иезуиты, изуверы! Они привезли марокканцев, самых отсталых, с колдунами, жгут, насилуют. Товарищ Виар!..

— Конечно, мы всем сердцем с вами. Лично я после мятежа не провел ни одной спокойной ночи. Я переживаю ваше горе, как свое. Но поймите — мы теперь ответственны за жизнь страны. Франция хочет мира. Это такая

трагедия!.. Какое дело рядовому французу до политического строя чужой страны?

— Нам нужны не люди, но самолеты. А по прежним договорам вы продаете нам военное снаряжение...

— Будь это война с третьей державой, я не сомневался бы... Но это гражданская война.

— Значит, вы не имеете права поддерживать законное правительство против мятежников?

— Не совсем так... Все осложнено международным положением. За спиной Франко стоят Гитлер, Муссолини. Если мы дадим вам самолеты, дело может закончиться мировой войной.

— И вы предпочитаете нас выдать?

— Зачем так ставить вопрос? Вы сами понимаете, что мы хотим победы республики. Однако мы связаны по рукам и ногам. Продать самолеты мы не можем. Почему бы вам не обратиться непосредственно к промышленникам? Вы знаете, что я пойду на любой риск. Необходимо только соблюдать осторожность. Мы заявим, что ничего не дадим. Вы покупаете и вывозите. Мы закрываем глаза, прикидываемся, что не видим.

— Вы или не знаете положения вещей, или не хотите знать. Я здесь уже неделю. Результаты? Одиннадцать «А-68». И с каким трудом! Хорошо, что нас свели с Дюбуа. Наш товарищ...

— Инженер? Вот видите! А вы на нас нападаете. Я его знаю, прекрасный товарищ!.. «А-68» — превосходные бомбардировщики. Что же вам мешает достать еще?

— Нам не продают. Ни за какие деньги.

— Но что мы можем сделать? В конечном счете это их право.

— Вы можете дать самолеты армии.

— То есть ослабить наш воздушный флот? Нет, дорогой товарищ, это невозможно! Что скажут радикалы? Из-за какого-нибудь десятка самолетов может полететь кабинет. Тогда и вам будет хуже. Я повторяю: мы будем глядеть сквозь пальцы на все поставки. Мы можем организовать помощь беженцам, санитарные отряды, послать хлеб, сгущенное молоко для детей. Но рисковать войной? Нет!

Прокричав несколько раз «нет», Виар успокоился; он вытер платком лоб и позвонил.

— Чем вас угостить? Чай? Лимонад?

Муньес поднялся.

— Вы понимаете, что они заняли Медину? Они теперь соединились с армией Мола. Я не дипломат. И потом — мне шестьдесят четыре года... Товарищ Виар, я лучше уйду: боюсь, что скажу вам все, а меня на это не уполномочили... Меня послали за самолетами.

Он ушел. Виар шевелил нижней губой от обиды. Разговор оказался еще тяжелее, чем он предполагал. Дело испанцев проиграно; это поймет и ребенок. Двадцать самолетов ничего не изменят. Надо спасать Народный фронт во Франции. Одно неосторожное движение, и все полетит... Тогда Франко найдет здесь последователей. А выручит кто? Триста рабочих из Лана?.. Сумасшедшие! Они толкают нас в пропасть. Не коммунисты — свои!.. Конечно, Муньеса легко понять: шутка ли потерять сына? Но и другие... «Самолеты!» Будут проклинать Виара... А в чем его вина? Нельзя сохранить все принципы и править государством. С таким багажом завязнешь... Но почему Виар за это взялся? Хорошо быть обыкновенным человеком — проголосовал, продефилировал, сиди в беседке и слушай: птицы поют... Да, но кто-то должен управлять. Мало ли гнусных профессий: ассенизаторы, мясники на бойне, тюремщики... Виару стало жаль себя. Он сидел, сгорбившись, раздавленный этой жалостью, когда вошел секретарь.

— Вас просит к телефону Тесса — по срочному делу.

Тесса настаивал, чтобы Виар немедленно его принял; пришлось согласиться. Отвратительный день продолжался.

Тесса, с присущей ему фамильярностью, обнял Виара и сразу завопил:

— Берегись! Испания — осиное гнездо. Наполеон именно там сломал шею. А в семидесятом?.. «Испанское наследство»!

— Я не вижу связи...

— Не видишь? Напрасно! Если вы дадите самолеты красным, неминуема война. Гитлер не спустит, я уж не говорю о Муссолини.

— Во-первых, почему ты называешь Асанья и Хираля «красными»? Чем они «краснее» тебя?

— Дело не в Асанья. У кого винтовки? У рабочих. И при чем тут моя оценка? Для Европы это красные. Я повторяю: пахнет войной.

— Выходит, что мы не можем поддерживать торговые отношения с законным правительством?

(Виар, сам того не сознавая, повторял доводы Муньеса.)

— Это казуистика! Из-за политических симпатий вы пошлете народ на убой. Хороши правители! Необходимо отколоть Рим от Берлина, а вы их хотите спаять.

— Как же их расколоть, когда в Испании они работают рука об руку?

— Надо притвориться, что мы этого не видим. Пойти навстречу Муссолини. Тогда Италия вспомнит о своей латинской сущности. Франции сейчас нужны дипломаты, а не партийные фанатики. В испанском вопросе мы должны быть сугубо осторожны. Герцог Альба поработал в Лондоне. Англичане стоят за реставрацию. Альфонс или Франко — это деталь. Во всяком случае Сити предпочитает генерала барселонским анархистам. В итоге Франция окажется одна... Ты знаешь, что я защищаю Народный фронт...

— Не заметил! Твоя речь по поводу забастовок...

— Я спас кабинет, вот что! Конечно, я критиковал твою политику, иначе я не мог: все возмущались. Но я предложил выразить доверие правительству. А ты знаешь, что тогда творилось в радикальной фракции? Мальви, Маршандо, Мейер, все в один голос: «Отставка!» Забастовки — дело прошлое. А теперь положение еще опасней. Мальви рвет и мечет: он ведь приятель всех этих испанских грандов. Слушай, Огюст, я тоже предпочитаю Асанья генералу Франко. Я вообще глубоко штатский человек, демократ. Но меня никто не спрашивает. Да и тебя не спрашивают. От нас хотят одного: сидите тихо и не вмешивайтесь.

— Но они-то вмешиваются.

— Я в таких случаях отвечаю: что можно быку, того нельзя Юпитеру. Итальянцы лезут на рожон, да и немцы. Поскольку мы не хотим войны, нам остается одно: промол-

чать. Все равно, если вы дадите Мадриду сто самолетов, они пришлют Франко пятьсот. Глупо играть с огнем!

— Мы не можем запретить отдельным предпринимателям продавать самолеты в Испанию.

— Опять казуистика? Огюст, это не парламентские комбинации, осторожно, это пахнет кровью! Я говорю с абсолютной уверенностью, слышишь, с абсолютной: они пойдут на все. Хитрить не приходится. Если ты пропустишь хотя бы один самолет, вспыхнет война. Я знаю, что ты искренно ненавидишь войну, поэтому я пришел именно к тебе. Это мой крик. Это крик всех французских матерей, это крик Франции!

— Конечно, я сделаю все, чтобы сохранить мир.

— Я это знаю, но твои враги работают. Среди радикалов полное смятение. Мальви кричит, что ты не хочешь считаться с национальными интересами. И его слушают. Я уж не говорю о правых. Конечно, Бретейль — дурак и помешанный. Мы не испанцы, мы — передовой народ. У нас такой режим невозможен. Но Бретейль пользуется огромным влиянием. Вчера он заявил, что посадит тебя на скамью подсудимых как одного из зачинщиков войны. Я убежден, что ты расстроишь их игру. Я так и отвечаю: «Виар — порука невмешательства». Успокой и ты меня: я хочу услышать твердое «да».

Тесса размахивал руками; отбегал в дальний угол и оттуда повторял, как заклинания, свои тирады; потом подбегал вплотную к Виару, обдавал его брызгами слюны. Виар сохранял спокойствие, даже улыбался. В нем неожиданно проснулась стойкость. Тень Муньеса, казалось, присутствовала в кабинете. На том самом месте, где фиглярствовал Тесса, час тому назад стоял затравленный судьбой, но гордый Муньес. И Виар, говоривший со своим старым товарищем, как бездушный дипломат, теперь, перед угрозами Тесса, пытался сохранить свое достоинство. Он даже забыл о стратегии. Когда Тесса потребовал ясного ответа, он сказал: «Я выполню мой долг», и большего Тесса от него не добился.

А когда Тесса ушел, Виар в изнеможении прилег на короткий диван, подогнул ноги и стал мучительно думать: как быть? Мешала сильная головная боль и тошнота. До чего Тесса гнусен! Визжит, плюется... Неужели женщины

могут его любить?.. Да, но Тесса подослали. Правые радикалы. Может быть, Бретейль. Может быть, итальянцы из посольства. Сложная игра!.. Это правда, что они лезут на рожон. Значит, война?.. Но что скажет народ? Он, Виар, сорок лет обличавший войну, пошлет миллионы людей на смерть. А в Испании уже убивают...

Закрыв глаза, Виар увидел трупы среди камней, покрытые большими мухами, развороченные тела, развороченные дома. Что же делать?.. Тесса сказал: ни одного самолета! Да, радикалы могут выйти из кабинета. И, забыв о бедствиях войны, Виар погрузился в привычную ему арифметику: подсчитывал, сколько голосов соберет правительство в испанском вопросе. Конечно, меньшинство! Тогда радикалы пойдут на соглашение с правыми: от Тесса до Бретейля. Это начало конца: для Бретейля такой кабинет будет коротким этапом. Он мечтает о диктатуре. А теперь шестое февраля куда страшнее... Лавочники и кулаки, испуганные забастовками, пойдут за Бретейлем. Распустят социалистическую партию. Верховный суд; судят Виара: «Он пытался вызвать войну». Ведь достаточно им сбить один самолет, чтобы все раскрылось... Прокурор говорит: «А-68» при содействии Виара...» Нет, с такими вещами не шутят!

Виар томился до десяти часов вечера, не зная, на что решиться. Наконец, жмурясь от головной боли и тоски, он вызвал начальника секретной полиции.

— Мне сообщили, что инженер Пьер Дюбуа пытается переправить в Барселону одиннадцать бомбардировщиков «А-68». Это может вызвать международные осложнения. Необходимо задержать самолеты. Вы считаете это выполнимым?

— Вполне. Они должны находиться на одном из аэродромов «Сэн» — здесь или в Тулузе. Я сейчас же распоряжусь.

Когда начальник полиции ушел, Виар снова лег на диван. Он принял две таблетки от головной боли. От лекарства все в нем оцепенело; с трудом он шевелил рукой, ныло под ложечкой, а ногам было холодно. Он старался ни о чем не думать: теперь все сделано, надо ждать. Все же слово «предательство» пришло и, придя, не хотело отвязаться. Он говорил себе: «Вздор! Я никого не предаю.

Дело испанцев все равно проиграно. Одиннадцать самолетов против двухсот... Дети! Как рабочие Лана... Я спасаю тем самым Народный фронт. Нашу партию. И мир. Я выполнил мой долг. И только». Он уговаривал себя, как уговаривает мать пугливого ребенка. Но снова из густой синевы (он погасил свет) выплывало то же длинное слово, похожее на черную скользкую рыбу.

Вдруг он вспомнил пограничный поселок Сербер: когда-то он часто бывал там. Один раз с отцом Пьера... Розовые дома на уступах горы, лодочки рыбаков, виноградники, большой шумный вокзал. И сладкое вино, вроде муската... Вот в Сербере его будут благословлять. Ведь рядом — война; стоит только подняться на горку или пройти короткий туннель. Рядом — разрушенные дома, женщины в слезах. А в Сербере матери скажут: «Виар спас мир, Виар спас наших детей, Виар...» И он уснул, повторяя свое имя.

27

Пьер кричал:

— Это невозможно! Я позвоню Виару...

Они стояли у фонаря под проливным дождем. Казалось, нескончаемый поток готов затопить все. Доски поплыли. С плаща комиссара текли струи воды.

— Приказ из Парижа. Наверно, они согласовали с министром...

А в Мадриде ждут!.. Сегодня радио сообщило о новом продвижении фашистов. Пьер попытался связаться с Парижем. Он долго стоял у телефона. На конторке спал жирный кот. Дождь шумел. Наконец Пьера соединили с секретарем Виара. Секретарь был любезен и холоден: «Я передам господину министру... Господин министр занят... Не думаю, чтобы господин министр захотел вмешиваться в действия полиции...» Пьер понял бесцельность разговора и положил трубку. Он смутно подумал: «А ведь секретарь тоже социалист!..»

— Я выеду в Париж с первым поездом.

Комиссар не ответил. Пьер пошел в маленькое кафе возле вокзала. Люди, входя, отряхивались; внутри был уют, присущий всякому крову в непогоду.

Пьер был занят своими мыслями; он не сразу понял, когда хозяйка спросила, что ему подать. Сначала все вертелось вокруг Мадрида. Он видел кружок карты с четырьмя направленными на него стрелами. Муньес сообщил, что одиннадцать «А-68» завтра будут в Барселоне. Там приободрились, ждут... И вот все сорвалось! Неужели Виар?.. Он возмутился своей низостью. Заподозрить Виара!.. Он выпил рюмку коньяку; без остановки курил; старался слушать разговор за соседним столиком — о какой-то Мари, которая отравила кроликов соседа; слушал дождь; вспоминал то глаза Аньес, то мутный фонарь среди водяных потоков. Но ничто не помогало; мысли снова возвращались к Виару. Подозрения были мучительными и глухими, как начало тяжелой болезни. Он вспоминал едкие слова Мишо, рассказы Муньеса о том, как его приняли социалисты. Нет, все это вымысел!.. Может быть, он заболевает? Его знобило в горячей сырости комнаты. До поезда оставалось еще два часа. Он пробовал дремать, читал в газете объявления о продаже мулов и телок, припоминал разрозненные строки стихов. И опять показывалось лицо Виара — он улыбался на трибуне, под красным флагом... Что же случилось? Да просто секретарь — ничтожество, чинуша. А полиция саботирует. Почему Виар не разогнал полицейских? Это, как на подбор, фашисты. Комиссар называл испанское правительство «красными» и презрительно усмехался. Из шайки Бретейля!.. Наверно, комиссара снимут. Вот только обидно, что потеряны сутки. А те ждут, ждут... Какая тоска!

В кафе теперь было тихо: одни разошлись, другие, в ожидании ночного поезда, дремали. Дремала и толстуха-хозяйка, прижав к животу моток зеленой шерсти. В углу рабочий что-то доказывал товарищу, макая хлеб в красное вино. Пьер прислушался.

— Теперь все дело в Испании. Я поеду. Увидишь, что поеду. Надо помочь, не то и нам крышка...

Пьер сдержал себя: хотелось подойти, пожать руку или крикнуть: «Правильно». Он только улыбнулся; рабочий понял и в ответ хитро подмигнул.

Приехав в Париж, Пьер тотчас направился в министерство. Ему сказали, что министр занят. Два часа Пьер просидел в приемной, среди просителей; это были по боль-

шей части социалисты, которые хотели выпросить у Виара кто орден Почетного легиона, кто синекуру. Дамочка, нервничая, щебетала: «Я ведь его знала, когда он был агитатором. Мне он не откажет...» Виар ее принял; принял и других посетителей; а Пьер все ждал. Потом ему сказали: «Министр уехал завтракать, вернется в три часа».

Пьер просидел на скамье бульвара до трех. Кругом шла обычная жизнь. Мастерицы закусывали хлебом с куском шоколада. Дамы рылись в ворохах шелка, выставленных возле магазина. Переругивались шоферы такси. Старики кормили воробьев. Гиды показывали флегматичным англичанам достопримечательности. Маклеры передавали друг другу последние биржевые курсы. Никому не было дела до Мадрида. А Пьер, томясь, думал: «Неужели возьмут Талаверу?..» Стрелка часов как будто уснула; Пьеру казалось, что он просидел здесь весь день; но еще не было трех.

Позавтракав, Виар вернулся в министерство. Пьер попрежнему сидел в приемной. Теперь он был один; прием закончился. Наконец к нему вышел секретарь.

— Господин министр просит извинить его: он занят срочной работой. Он поручил мне переговорить с вами.

Пьер начал рассказывать о самоуправстве комиссара. Секретарь его перебил:

— Господин министр в курсе дела. Мы — социалисты и можем говорить откровенно... Положение очень тяжелое. Приходится выбирать. Если мы придем на помощь испанцам, мы можем потерять все: война, а внутри — торжество фашизма.

— Но Франко в Мадриде — это Бретейль здесь!

— Не думаю. Испания — отсталая, полуфеодальная страна, окраина Европы. Что важнее? Отстоять испанскую республику, искусственно созданную, не имеющую корней, или спасти дело социализма в передовой стране? К тому же это — наша страна. Господин министр решил придерживаться политики строгого невмешательства.

Тогда Пьер потерял голову. Тоска последних недель — от бури в бретонском поселке до скамьи бульвара и смеха равнодушных людей; бессонная ночь, с мучительной надеждой на честность Виара, тревога за Мадрид,— все вылилось в одном крике:

— Господин министр?.. Иуда!

Это было настолько неожиданно, что секретарь переспросил:

— Простите, я вас не понял?..

Но Пьер уже сбегал по лестнице, устланной малиновым ковром, сопровождаемый насмешливыми взглядами лакеев: «Не вышло у тебя с теплым местечком!..»

Напрасно Пьер метался по улицам в жажде опомниться. Боль была слишком острой; ее ничем нельзя было умерить. Он больше не гадал, как мог его кумир столь низко пасть. Он только ощущал ужас потери, пустоту, которая мешала вздохнуть. Значит, права Аньес, и все, чем он жил,— иллюзии, хитрые сети для простодушных, круговая порука притворства? Его обобрали. Еще час тому назад он верил в доброту людей, в чувство товарищества, в дело, которым жил. Как он покажется на глаза Муньесу? Талавера...

И, вспомнив об Испании, он очнулся: нет, не все в мире переменилось за этот проклятый час! Попрежнему подростки Мадрида борются. У них нет «А-68», только охотничьи ружья... Пьер поедет туда, там умрет. И мысль о смерти показалась выходом.

Он догнал автобус: скорее к Мишо! Мишо ему скажет, как пробраться в Мадрид.

Мишо понял все сразу.

— Задержали?

— Да. Все. Ты знаешь кто? Виар. Понимаешь? Я с ума схожу... Поеду туда. Ты мне в этом помоги. А о нем я и говорить не хочу. Зачем говорить?..

Мишо почувствовал, как тяжело Пьеру; он молча пожал ему руку. Они стояли у окна. Внизу дети играли в чехарду.

Потом Мишо заговорил:

— Муньесу предлагают три «потеза». Он ничего в этом не понимает. Ты у нас единственный специалист. Я понимаю, что тебе обидно... Мы теперь набираем... Может быть, и я поеду. А тебе нельзя. Без тебя здесь все сорвется...

Пьер не возражал. Хорошо. Завтра он поедет на аэродром. Хорошо, он останется. Вот закрылась и последняя лазейка!..

И, выйдя на улицу, Пьер растерянно поглядел по сторонам. Куда итти?.. Он сам потом не мог понять, зачем поплелся через весь город, к Андре, что искал в неуютной, запущенной мастерской на улице Шерш-Миди?

Полгода прошло с их последней встречи; Пьеру казалось — десятки лет. Тогда он еще был желторотым...

— Как живешь, Андре?

Что мог Андре ответить? Рассказать о том, как потрясли его события грозного лета, как он нашел и потерял Жаннет?

— Вот начал натюрморт, а не получается.

Пьер с изумлением посмотрел на приятеля:

— Ты все тот же, Андре. Помнишь, как я тебя затащил в Дом культуры?

Андре посвистел и спросил:

— Ты знаешь, что Люсьен в Испании?

— В газете было. Его назначили консулом.

— Что ты? А я думал, он сражается...

Пьер усмехнулся: ребенок, как тот, давнишний Пьер!.. Он стал рассказывать про Виара; как всегда, он жил вслух. Ему хотелось, чтобы даже холсты на стенах заклеймили предателя. Но Андре молчал. Пьер спросил в запальчивости:

— По-твоему, это можно понять?

— Можно.

— Понять такое притворство? Он мне рассказывал, что хотел, вместе с моим отцом, спасти одного испанца. А теперь он их всех выдает. И это понять? Понять предательство?

— Вспомни портреты Гойя...

Пьер кричал вне себя:

— Вот твое искусство!.. Да разве вы люди? Вы смакуете всё: кровь, горе, тухлятину. Как навозные жуки!

Он выбежал на площадку лестницы и оттуда крикнул:

— Прости. Я зайду в другой раз...

И только когда он ушел, Андре разобиделся. Он вышел на лестницу, но Пьера уже не было. И Андре грустно запыхтел трубкой. Почему Пьер его обругал? Он сказал: «Можно понять». Конечно... Он такого Виара насквозь видит. А Люсьен?.. Трясогузка! Хорошо бы жить с соба-

ками! Конечно, и они дерутся, шерсть вырывают, но без красивых фраз, и на том спасибо! А Пьер его зря обидел: предательства он не любит...

Для Пьера пошли трудные дни. Он работал на заводе с ненавистью: зачем ломать себе голову — эти моторы пойдут Франко, Бретейлю! Три «потеза» удалось переправить; месяц спустя достали два истребителя; все это было каплей в море. Мадрид слал отчаянные телеграммы. Французская полиция не спускала глаз с самолетов. А со столбцов газет глядело благородное лицо Виара. Он говорил о невмешательстве как о высоком подвиге: «Мы спасли мир!» Он пожертвовал пять тысяч на молоко для испанских детей, оговорив: «Для всех детей». Пьер в тот день сказал Аньес: «Как ни люблю ребят, а кажется, будь у Виара ребенок, я бы его задушил...»

Немецкие бомбы, что ни день, крошили дома Мадрида. На парижских стенах появились плакаты с фотографиями детей, искромсанных, изуродованных. Аньес говорила: «Не могу смотреть! Это пытка...» Пьер молчал: его пытали давно. Франко взял Толедо; он подходил к Мадриду. Одни газеты прославляли фашистов, защитников Алькасара; другие рассказывали, что марокканцы в Толедо прирезали сотни раненых. Жолио писал: «Наша старая французская мудрость охраняет нас от таких бедствий». Приятельницы Бретейля готовили вечера в честь взятия Мадрида. А испанцы не сдавались.

Пьер ощущал предательство Виара как общее предательство: свое, Аньес, Франции. И предательство становилось неотвязным запахом, привкусом, которого не перебить. Пьер ненавидел Париж за то, что Париж живет, не поступившись ни одной из своих привычек: те же кафе, переполненные в час аперитива; те же политические дебаты и карты — бридж или покер; те же мюзик-холлы с голыми актрисами; ни сирен, ни бомб, ни даже скупой слезы, ничего...

Открылись школы. Кричат ребятишки, с новенькими папками и пеналами. Пьер знает, чем оплачен этот беззаботный смех: сражаются в предместьях Мадрида. На парижских бульварах — позднее золото каштанов. Сезон охоты; в имение маркиза де Шамбрена пригласили Тесса; он подстрелил фазана, а потом исчез с молоденькой

горничной. Об этом рассказывают в кулуарах палаты. А Виар не любит охоты; он не может видеть кровь: пацифист. И Пьер злобно говорит: «Почему не вегетарианец?..»

Только Мишо не унывает: скоро в Испанию уедет первый отряд добровольцев. Пьер смотрит на Мишо то с восхищением, то с завистью: вот человек! Как он сказал?.. «Победить труднее...» Кажется, и Пьер начинает это понимать.

28

Дипломатическая карьера не пришлась по вкусу Люсьену. Правда, служба занимала мало времени, но он не знал, что делать с досугами. Он равнодушно глядел на пышные фасады Возрождения, на студентов и мулов. Он не мог жить без парижских кафе, с их бесцельными спорами, без сплетен и драм, знакомых, как свой мундштук, своя кровать. И Люсьен собирался уже пренебречь приличным окладом, когда испанские события неожиданно увлекли его. Снова этот человек, похожий на дорожные сигналы, которые как бы вспыхивают от света фар, решил, что нашел истину.

Мятеж увлек Люсьена прежде всего своими внешними эффектами; минутами Люсьену казалось, что он присутствует на постановке старой мистерии. Люди с удлиненными аскетическими лицами убивали и жгли нечестивцев; некоторые, потрясая крестами, обручались со смертью; отовсюду выползли калеки, которых в Испании не сосчитать, горбуны, слепые, юродивые; женщины в мантильях обнимали пулеметчиков, и над ручными гранатами распускались кружевные веера. Все это было для Люсьена необычайным, привлекало пестротой, безвкусицей, приподнятостью тона.

Он познакомился с одним из руководителей фаланги, худым, унылым майором, Хосе Гуарнесом. Это был человек исступленный и в то же время холодный. Он днем расстреливал, по ночам проповедовал. Люсьен с изумлением видел, что испанский офицер повторяет его затаенные мысли. Хосе говорил о священности иерархии, о вели-

колепии неравенства, о подчинении толпы уму, таланту, воле. И Люсьен вспоминал свое парижское унижение, тупицу из «Юманите», посредственность Пьера, Пьеров, арифметику выборов, свое превосходство, никем не оцененное. Фалангисты огнем добились признания. Хосе пишет памфлеты, не считаясь с мнением портных или землекопов. Люсьен всегда говорил, что старый мир можно опрокинуть только смелостью единиц: заговором. Коммунисты в ответ смеялись; они толковали о воспитании народа, об активности масс. Они живут прошлым: Маркс, Коммуна, демократия, прогресс... Все это хлам! Как они не видят, что марксизм связан с «Декларацией прав», с энциклопедистами, с верой в науку, с отвратительной идеей о положительном начале человека? Общество не четырехугольное здание, как этот дом, но пирамида! Фашизм несет новые нормы: восторг перед физической силой, вместо книг — спортивные рекорды, вместо докладов и дебатов — вооруженный захват правительственных зданий, вместо выборов — автоматические ружья.

Было в словах испанца еще нечто, вдохновлявшее Люсьена: культ смерти. Давно, после смерти Анри, Люсьен понял значительность небытия, его власть над всеми реакциями молодого и живого сердца. Он написал об этом роман. Увлечение коммунизмом было опиской: он на минуту заразился чужим весельем, детской суматохой, раболепным отношением к молодости. Для Хосе, как для Люсьена, смерть была не только предметом раздумий, но абсолютной ценностью, коррективом к случайной и поэтому шаткой жизни.

Люсьен отдался новому увлечению; и когда майор предложил ему съездить в Париж, чтобы связать фалангистов с Бретейлем, он сразу согласился.

Он даже не запросил Париж или посольство; он не хотел думать о службе: это его унижало. Поехал он через Хаку. Автомобиль несся по петлистым дорогам, среди рыжих раскаленных гор. Ни деревца, ни человека! Пейзаж отвечал чувствам Люсьена; смерть ему представлялась родной сестрой — рыжей и горячей.

Какими ничтожными, после испанской феерии, предстали пред ним поля Франции, ее мирные дела, разговоры о платных отпусках и налогах! Все процветали, и в

первый же день он услышал проклятую присказку: «все образуется».

Отец встретил его с распростертыми объятиями: теперь Люсьен был не блудным сыном, но дипломатом (Люсьен благоразумно не рассказал отцу, зачем он пожаловал). Тесса не стал расспрашивать сына о положении в Испании: он считал, что победа Франко предрешена, остальное его не занимало. Зато он посвятил Люсьена в свои планы. Его выбрали председателем комиссии по иностранным делам. Тесса изучает секретные донесения дипломатов: в нужную минуту он выступит с громовой речью и свалит кабинет.

Люсьен зевнул: опять парламентская кухня!..

Бретейль знал, как разговаривать с разными людьми: он был груб с «верными» типа Грине, он умел соблазнять депутатов, даже льстить им; с Люсьеном он держался, как с равным; и Люсьен расцвел — наконец-то его поняли! Сначала они говорили об агитации: мятеж Франко должен стать примером. Бретейль собирал деньги на золотую шпагу, которую хотел торжественно вручить защитнику Алькасара полковнику Москардо. Потом Бретейль заговорил о черной работе, о транзите вооружения, о посылке в Бургос летчиков, о связи — материалы разведки, работавшей в Барселоне, шли через Париж. Бретейль спросил:

— Когда вы уезжаете?

— Не знаю.

Бретейль положил свою сухую, как бы пергаментную, руку на руку Люсьена.

— Я старше вас, но жизнь нельзя измерять календарными годами. Вы знаете, что такое настоящая ненависть... Зачем вам возвращаться в Испанию? Все решится здесь.

— Заговор?

— Да.

Бретейль рассказал об отрядах «верных».

— Вам предстоит сыграть крупную роль. Ваш отец...

Люсьен вспыхнул:

— У меня нет ничего общего с отцом!

— Я вас понимаю. Но ваш отец теперь председатель парламентской комиссии. От меня они многое скрывают... Благодаря вам мы сможем вести игру, зная карты

противника. Конечно, это менее романтично, чем битва за Мадрид. Но всему свое время...

Люсьен кивнул головой. Прощаясь, он сказал Бретейлю:

— Вы знаете, почему я согласен на все? Даже на это... Есть судьба у каждого поколения. Если хотите — это исторический фатализм... Мы принимаем смерть не как распад клеток, не как бесцельное вращение материи, не как переход в загробный мир, но как высокое индивидуальное творчество.

Бретейль поглядел на рыжего красавца и грустно ответил:

— Может быть, вы правы. Но я не могу отказаться от веры в личное бессмертие. У меня умер сын...

Люсьен чуть было не поссорился с отцом: Тесса, узнав, что сын пренебрег дипломатической карьерой, топал ногами, визжал. Люсьен не мог изложить ему своих резонов; а тут еще пришлось выпросить у отца несколько тысяч...

Постепенно тускнели испанские картины. Заговор казался Люсьену игрой: ни плана, ни точной даты. Бретейль отвечал: «Надо ждать». А друзья Хосе уже подходили к Мадриду... Люсьен аккуратно знакомился с содержимым различных папок на отцовском столе и представлял Бретейлю сводки. Но занимало это немного времени, и скука караулила Люсьена в коридоре родительского дома, в передней Бретейля, на людной вечерней улице.

Стараясь как-нибудь убить время, Люсьен не отказывался ни от одного приглашения, танцовал, рассказывал небылицы, ухаживал за девушками. В него влюбилась дочь крупного заводчика Монтиньи. Жозефина была пухлой хохотушкой; ее прельстил романтический облик Люсьена, рассказы о фанатизме испанцев, то, как среди светского разговора он неожиданно замолкал и, глядя в одну точку, смутно улыбался. Когда Тесса передали о флирте сына, он просиял: Люсьен не так уж глуп, если променял место вице-консула на богатую невесту!

Жозефина ждала объяснения, назначала свидания в пустых кондитерских или в Булонском лесу. Но Люсьен будто не замечал ее чувств. Как-то, не вытерпев,

она взяла Люсьена за руку. Это было в яркий осенний день, в кровавой и медной аллее. Вдалеке амазонка щелкала бичом. Жозефина, вся покраснев, отвернулась, Люсьен осторожно высвободил руку.

— Давайте говорить откровенно. Вы мне нравитесь. Потом вы богаты. А я вчера заложил часы... Но все-таки я вас пальцем не трону. Вам двадцать три года. Вы все время смеетесь. А я?.. Я, как мой приятель Хосе, обручился со смертью.

29

Узнав, что Люсьен больше не встречается с Жозефиной, Тесса приуныл: из этого шалопая ничего не выйдет! Но его ждал новый удар. Он дремал над докладом римского посла, когда в его кабинет вошла Дениз. Он обрадовался: все это время он почти не видел своей любимицы. Амали говорила, что Дениз хворает, не в духе. Тесса понимал, что Дениз на него сердится с того вечера, когда он рассказал ей о своем парламентском успехе. Ах, эта политика!.. Она ему испортила все лето. Амали не поехала на воды, заявив, что не хочет оказаться в своем любимом Виттеле «вместе с чернью». Люсьен неожиданно вернулся из Испании. А Дениз... Может быть, она и вправду больна: бледная, под глазами круги. Он хотел спросить ее о здоровье, но не успел.

— Я уезжаю: буду жить отдельно.

Тесса даже завизжал от негодования:

— Вот как!.. С кавалером?

— Нет, одна.

Тесса изумленно посмотрел на дочь. Наверно, больна!.. Он постарался сдержать себя; стал вежливым, скрывая иронией чувства:

— Может быть, ты соблаговолишь объяснить мне причины?

— Я думала, что ты сам понимаешь — после того разговора... Я не могу иначе, не хочу жить на твои деньги.

Тесса вышел из себя:

— Предпочитаешь перейти на содержание к какому-нибудь тунеядцу вроде твоего брата?

— Я знала, что тебе нельзя объяснить... В этом, может быть, твое оправдание. Люсьен кругом виноват потому, что мог бы жить иначе. А ты все делаешь естественно: берешь деньги, покрываешь негодяев, травишь испанцев. И теперь так же естественно меня оскорбляешь. Лучше не будем говорить.

— Погоди! Куда ты идешь?

— К себе. Я сняла комнату.

— На деньги мамаши? То есть на мои?

— Нет. Я работаю в конторе.

— Сколько же тебе платят за твои ученые труды?

— Восемьсот франков в месяц.

Тесса деланно засмеялся:

— Очень пышно! Стоило тебя учить! Погоди!..

Он растерянно схватил ее за руку, как ребенка. Жалость сменила гнев. Несчастная! Все это нервы. Девушке пора замуж. Он давно говорил Амали...

— Дениз, брось глупости! Тебе нужно отдохнуть, полечиться. Это обыкновенная неврастения. У меня в молодости бывали такие же припадки... Погоди!

Но Дениз ушла. Он нагнал ее в передней, стал совать в руку деньги:

— Возьми, сумасшедшая!.. Прошу тебя, возьми! Ради меня!..

Дениз ушла, не взяв денег. Тесса вернулся в свой кабинет, лег на диван и вдруг заплакал. Слезы его самого удивили: плакал ли он когда-нибудь?.. Глупая девочка! Ведь она погибнет. Разве можно прожить на восемьсот франков? Месяца не выдержит, сойдется с кем-нибудь за пару чулок, пойдет по рукам. А все из-за этой проклятой политики!.. Зачем он только занялся таким делом?..

Выйдя из постылого дома, Дениз сразу почувствовала облегчение. Слывшая необщительной, «сурком», она не переставала улыбаться. Корректная нищета, с которой ей пришлось познакомиться, не сломила ее веселья. Брюзгливый бухгалтер насмешливо звал ее «наша птичка». В темной конторе, где с утра зажигали электричество, над письмами о тоннах английского антрацита, Дениз улыбалась. Улыбалась она и дома: она сняла чердачную комнату в маленькой гостинице. На темной

винтовой лестнице пахло сыростью и дешевой пудрой. В крохотной комнате с грязными обоями едва помещалась кровать. Но даже эта каморка казалась Дениз прекрасной, и впервые мутное зеркальце, висевшее на стене, отражало лицо, полное веселья.

Решения Дениз медленно созревали. Был один из первых вечеров весны, когда, познакомившись с Мишо, она смутно почувствовала начало своего освобождения. А теперь осенний дождь стучал ночь напролет о чердачное оконце. Нужны были все события этого лета, беседы с Мишо, долгие размышления, чтобы Дениз, наконец-то, нашла себя. Но и забавно нахмуренный лоб и улыбка говорили, что решение ее бесповоротно. Так настал вечер, когда, встретившись после долгого перерыва с Мишо, она просто сказала:

— А теперь о «поступках»... Я хочу что-нибудь делать для испанцев. Вечера у меня свободные.

Они шли по бульвару Себастополь. Стоял плотный туман, первый туман парижской осени. Фонари, среди желтых облаков, казалось, плыли. Ничего нельзя было разобрать, и прохожие налетали друг на друга. К морской сырости примешивались запахи жареных каштанов, духов, гари. А красные буквы «Фрегат», «Лип», «Цветы» то показывались в клубах дыма, то исчезали.

— Я вам хотел позвонить.

— У меня теперь нет телефона. Я переехала.

Он все понял и сжал ее руку. Она засмеялась; веселые глаза пролетели в тумане, как буквы вывесок.

Они пришли в комитет. Там слышалось одно слово: «Мадрид». И кто только его не повторял: подростки, мечтавшие о боях, женщины с грудными детьми, принесшие сюда скудные сбережения, отдавшие последнее матерям Мадрида, рабочие, художники, официанты, студенты, иностранцы. В эти две тесные комнаты, украшенные планом Мадрида и бумажным флагом испанской республики, прибегала затравленная, но живая совесть Парижа. Со страхом говорили: «Подходят к Мадриду», утешали себя надеждой: «Отобьют!»; предлагали деньги, руки, жизнь.

Дениз договорилась: она будет приходить сюда каждый вечер. Мишо улыбнулся, услышав, с какой просто-

той она ко всем обращалась: «Товарищ» — будто всю жизнь так говорила.

Он пошел ее проводить. Купил каштаны; она грела каштанами иззябшие пальцы и рассказывала о своей жизни:

— Бухгалтер ужасный ворчун: «Снова я из-за вас посадил кляксу!» А заведующий — фашист и подлец. Уверяет, что они уже взяли Мадрид. Мне он предложил: «Пойдем в кино». Намекнул, что от него зависит повысить жалованье или прогнать. Я ему ответила, что у меня ревнивый любовник, который стреляет без промаху. Сразу отстал.

Они смеялись: им было весело — в этакий туман, когда не знаешь, куда ступить, они нашли свое счастье.

А потом Мишо сказал:

— Послезавтра уезжаю.

— Туда?

Он кивнул головой.

— Мишо, вы вернетесь?

Он молчал.

— Я знаю, что вы вернетесь.

Он не отвечал: ему вдруг стало грустно. Почему все вышло так нескладно?.. Ведь они встречались, разговаривали, а о чем-то не поговорили... Теперь он уезжает...

— Мишо, я хочу, чтобы вы вернулись.

И Мишо, снова повеселев, сказал:

— Конечно, вернусь. Победим, и вернусь. А тогда...

Вот и гостиница! Маленький красный огонек еле виден; они чуть было не прошли мимо. Простились они просто, как всегда. Но Дениз вдруг оглянулась, кинулась к Мишо и неловко поцеловала его в щеку. Когда он опомнился, ее уже не было. Он долго стоял один и улыбался. Плыл туман, весь пронизанный светом.

30

В тот вечер, когда рабочие «Сэн» собрались, чтобы отпраздновать отъезд своих товарищей в Испанию, газеты сообщили о заявлении советского представителя в лондонском комитете. Несколько строк сухой телеграммы

взволновали рабочий Париж. На улицах, в метро, в кафе люди говорили: «Теперь испанцы не одни!»

Мишо чувствовал себя именинником: к радости отъезда прибавилась другая: торжество идеи, которой он посвятил жизнь; и, волнуясь, он начал свою речь:

— Как долго это было только мечтой! О чем мечтал затравленный Бабеф, вдохновляя санкюлотов Сент-Антуана? Перед казнью он сказал судьям: «Наша революция только предтеча другой, более великой и прекрасной!» В сорок восьмом блузники умирали под пулями гвардейцев: «Работа или смерть!» Коммунизм для них был смутной мечтой, волшебным хлебом, сказочными мастерскими; и отцы, умирая, говорили детям: «Придет социальная!..» Суеверно они не называли ее по имени. А дети подняли знамя Коммуны. Форты Парижа защищались, как теперь Мадрид. Версальцы расстреляли десятки тысяч лучших; и, ожидая пули, пленные в оранжереях Версаля кричали: «Она придет!» Это было мечтой. За нее умирали стачечники Фурми. За нее погиб Жорес. О ней бредили солдаты в казематах Вердена, в окопах Шампани. Эта мечта стала жизнью, страной, огромным государством. И этого больше ничто не скроет, не вычеркнет. Мы идем сражаться не за то, что может быть, но за то, что существует.

По приказу Блюма и Виара граница была закрыта. Однако каждый день сотни добровольцев пробирались через Пиренеи. Одни в поезде, с бумагами торговых представителей или журналистов, другие пешком, по горным тропинкам.

Вместе с Мишо поехали еще восемь рабочих, для которых достали соответствующие документы. Мишо ехал как специальный корреспондент «Ла вуа нувель» — бумажку раздобыл Пьер. Девяносто четыре добровольца отправились в Перпиньян; оттуда их должны были перебросить в Каталонию.

Поезд отходил в восемь часов вечера. На подземном вокзале Орсэ собралось много провожающих. Возле вагонов первого и второго классов стояло несколько человек; смеялись молодожены; старичок покупал журнал с голой женщиной на обложке; дама в окне нервно теребила букет. Носильщики подбрасывали чемоданы с пестрыми

наклейками гостиниц всего мира. Уезжали коммерсанты, парижанки, решившие отдохнуть на юге от осенних туманов, чиновники, направлявшиеся в Алжир. Кое-кто говорил об испанских событиях: «Мадрид не сегодня завтра возьмут. А тогда все успокоится...»

Возле вагонов третьего класса стояла необычная толпа. Здесь тоже были красные розы и гвоздики; среди дыма они казались крохотными флагами. Пришли друзья, товарищи, матери и жены добровольцев. Сказанные вполголоса слова любви и верности перебивались радостным гулом: «Теперь не возьмут Мадрида», криками, песнями. Дениз затерялась в толпе, и, только когда кондуктор крикнул «садиться», она пробралась вперед и, взяв Мишо за рукав, тихо сказала:

— Я буду ждать.

Раздался свисток, и на платформе поднялись кулаки, и кулаки показались из окон четырех вагонов, и возле вагона первого класса дама вскрикнула: «Какой срам!», и Дениз махнула платком. Сквозь туман она увидела Мишо; он кричал: «И еще как!..» Старуха, мать одного из добровольцев, плакала навзрыд; а в черноте туннеля мелькали красные огни, и оттуда неслась песня новой войны.

Мишо так устал за все последние дни, что сразу уснул. Сквозь сон он слышал грохот колес, споры, названия станций. Он проснулся на рассвете, возле Нарбонны. Поезд проезжал мимо серых озер с безлюдными берегами, поросшими ивняком. Над неподвижной водой низко кружились птицы. Потом вода стала розовой от солнца. И Мишо, ни о чем не думая, жил в эти минуты Дениз, теплотой ее руки, ее последними словами. Было это не грустью, но большой тишиной.

Вот и море! До чего оно спокойное!.. Все здесь создано для счастья: и виноградники, и южное солнце, и легкие сети рыбаков. Но война — рядом, за теми горами. Все в вагоне проснулись. Жадно смотрят люди на горы, то лиловые, то кирпично-красные: за ними — судьба.

Испанские пограничники, встречая почти пустой поезд (остались только добровольцы), подымают кулаки. Рядом с первыми развалинами ребята насвистывают «Марш Риего», беспечный и печальный.

Шесть недель спустя лейтенант батальона «Парижская Коммуна» Мишо с сотней французов защищали маленькую полуразрушенную деревушку близ Мадрида. Они пришли сюда за час до рассвета. Кругом была кастильская сьерра, подобная окаменевшему морю. Как не походили эти люди на окружавший их пейзаж! Все в них было другим: и веселые подвижные лица, и шутки, и картавая речь. Они не могли слиться с жестокой и прекрасной землей, с жителями, полными важности, суровости, скрытого исступления. Дети насмешливого и ребячливого Парижа, они чувствовали себя чужестранцами; только вера в общее дело и сердечность испанцев смягчали эту тоску.

Фашисты начали наступление около семи часов утра, после короткой артиллерийской подготовки. Четыре пулеметчика погибли под снарядом. Мишо и его товарищи лежали в наспех вырытых неглубоких окопах, на верхушке холма. Они видели, как фашисты поползли по каменным уступам. Пулеметный огонь остановил врага, но вторая волна последовала за первой. Мишо скомандовал:

— Гранатами!

Это длилось несколько минут; ему казалось — весь день. Атаку отбили. Товарищ Мишо, слесарь Жантей, умер в полдень; он мучился и говорил: «Передай...», но Мишо не мог разобрать слов.

К вечеру испанский батальон сменил французов. Из сотни в живых осталось сорок два; семнадцать отправили в лазарет.

Французы развели огонь, грели распухшие ноги, варили суп. Кто-то вздохнул: «А суп-то пустой!..» Обычно на отдыхе они шутили, пели. Сегодня, несмотря на военный успех, всем было тяжело: сколько друзей они оставили на холме, среди камней и колючего кустарника! А вечер был холодный, дул ледяной ветер. Бойцы, плохо одетые, ежились. Один все время ругался: видно было, что темные слова его успокаивали. Кого он ругал: суп, ветер, фашистов, войну?..

Деревня была пуста: жители разбежались. Только в двух-трех домиках мелькали слабые огоньки. К костру из темноты, как призрак, подошла старуха. Это была обыкновенная крестьянка, в черном платье, с черным

платком на голове. Она что-то сказала Мишо; он не понял — с трудом он выучил несколько испанских слов. Тогда старуха принесла окорок и стала показывать руками: ешь!.. Мишо вспомнил мать Жано: эта — как Клеманс... Вздыхает. Наверно, говорит: «И тебя убьют...» Как мал свет и как все понятно!

Мишо сказал сидевшему рядом товарищу:

— Вот они говорят: «Вы за нас сражаетесь». Нет, мы деремся за Париж, за Францию. И Жантей сегодня умер за Париж. Я у него как-то был. Он жил в Монруже. Маленькая площадь, а внизу кафе...

И товарищ в ответ тихо запел: «Ах, Париж, моя деревня!»

31

Париж жил своей обычной жизнью: театральные премьеры, осенняя сессия парламента, новые моды, очередной крах банка, сенсационное похищение богатой американки, несколько романсов, несколько самоубийств. Тесса все еще надеялся свалить Блюма; но в кулуарах говорили, что правительство окрепло: политика невмешательства успокоила радикалов. Исчезли и красные, и трехцветные флаги. Дессер торжествовал: он правильно поставил на благоразумие народа. В других странах люди убивают друг друга, стянув кушак, вооружаются, строят форты и тюрьмы, приветствуют трибунов и полководцев; а Париж аплодирует все тому же Морису Шевалье, который, не смущаясь, в тысячный раз поет: «Париж остается Парижем...»

Однако под покровом этой мирной жизни шла борьба; как водовороты, кипели глухие страсти. Раскалывались семьи; и не один Тесса в эти дни потерял домашнее спокойствие. Споры в кафе кончались иногда выстрелами, чаще молчаливым разрывом. Все определялось чужими географическими названиями, борьбой в соседней, но бесконечно далекой стране: Испания рассекла Париж на два лагеря. Все, возмущенные летними забастовками, дрожавшие за свое добро, закрывавшие ставни, когда мимо их домов проходили демонстранты, с надеждой накалывали на карту желто-красные флажки. А в рабо-

чих кварталах, поглядывая на ту же карту, говорили: «Мадрид держится!..»

В середине ноября даже газеты Бретейля должны были признать, что войска генерала Франко остановились у самых ворот Мадрида. В парижских пригородах повторяли чудодейственные слова, пришедшие с берегов Мансанареса: «Не пройдут!» Ходили легенды о доблести мадридских рабочих. Как о подвигах Роланда, рассказывали об интернациональных бригадах; и не раз металлисты или текстильщики с гордостью прибавляли: «Там и наши!.. Дюваль... Жак... Анри...»

Прочитав утренние газеты, Виар усмехнулся: Мадрид держится — зелен виноград!.. С того дня, как Виар стал министром, он больше не думал о борьбе идей, о столкновении классов, о жизни мира. Политика превратилась для него в уступки одним и другим, в подсчет ежедневный, а то и ежечасный правительственного большинства, в назначения, награды, перемещения. Мир стал тесным, как комната, заставленная ценными и легко бьющимися безделушками: ни повернуться, ни двинуть рукой. И вот сейчас, сказав себе, что Мадрид держится, Виар на минуту вырвался из этой тесной комнатушки: он с радостью вздохнул: «Все-таки молодцы!» Он даже подумал: «Там и наши!» Есть среди них социалисты-рабочие...

Виар сказал секретарю:

— Читали?.. Бретейль рано праздновал победу. Рабочие — это не его «верные», которые, чуть что, бегут, как кролики.

Вскоре Виар снова отдался скучной, кропотливой работе. Начался прием. Пришлось уклончиво отвечать, отказывать с приятной улыбкой, сулить невозможное. Пришел депутат Пиру, который во время июльской демонстрации докучал Виару. Пиру, разумеется, негодовал:

— Каждый день десятки людей тайком переходят границу. Мы восстанавливаем против себя Франко. А завтра он будет хозяином всей Испании. Население моего департамента особенно заинтересовано в сохранении добрых отношений с Испанией, безотносительно к тому, кто ею правит.

Виар ласково улыбнулся:

— Дорогой коллега, еще неизвестно, кто победит. Вы ведь читали последние телеграммы? Впрочем, я не возражаю... Мы обязались не пропускать в Испанию добровольцев, и мы это выполним.

Когда Пиру ушел, Виар сказал секретарю:

— Нужно будет написать префекту Восточных Пиренеев: усилить пограничную охрану.

К счастью, не было официальных приглашений; после пышных завтраков, которые утомляли желудок Виара, он с удовольствием съел яйцо всмятку и шпинат. Предстоял прекрасный день: вместо парламентского заседания — высокие эстетические эмоции. Виар давно уже собирался посмотреть работы молодого художника Андре Корно, который выставил в последнем «Салоне» чудесный пейзаж: ветвистый каштан, слева карусель, справа крохотная фигура возле стены. Наверно, и другие работы интересны... О Корно много говорят... А тот пейзаж Виар купит. Виар не был скуп, но и не любил швырять деньгами. Он с удовлетворением подумал: «В «Салоне» просили три тысячи, значит, отдаст за две».

Узнав о предстоящем визите, Андре вспомнил рассказ Пьера и поморщился: «Чорт бы его побрал!.. Прибрать, что ли, мастерскую? Нет, не стоит...»

Виар подолгу разглядывал каждый холст и отпускал замечания: «Какая легкость тонов! Вот под этим стулом чувствуется воздух. Астры немного суховаты. Этот пейзаж напоминает Утрилло лучшего периода». Андре не слушал. Вначале он внимательно оглядел Виара и подумал: «Писать его неинтересно, вместо лица слякоть, все смазано...» Потом он закурил трубку и покорно переставлял холсты, стряхивая с себя густую пыль. Наверно, хочет купить... Эта мысль не обрадовала и не огорчила Андре. К деньгам он был равнодушен: набегали — тратил, не было — вместо обеда ел хлеб с колбасой. Прежде он ревностно относился к судьбе своих работ, думал о том, в какие руки они попадут. Но картины почти всегда забирали перекупщики, и Андре привык к сознанию, что, уходя из его мастерской, холсты исчезают.

Виар сказал:

— Мне очень понравился ваш пейзаж, выставленный в «Салоне». Знаете, тот, с деревом...

Андре молча поставил еще один холст на мольберт. Это была его любимая вещь. После ночи, когда он встретил Жаннет, он пошел на площадь Итали. Там он и написал это... Был пасмурный день; девушка на углу ждала кого-то; а кони карусели отдыхали.

— Вот этот пейзаж я хотел бы приобрести.

Андре помрачнел, постучал трубкой о стол; потом взял холст и поставил его лицом к стене.

Виар удивленно спросил:

— Он продан?

С грубостью ребенка, не раздумывая, не выбирая слов, Андре ответил:

— Я не хочу, чтобы он висел у вас. Вы не понимаете?.. Всему есть пределы. Чтобы вы на него смотрели? Нет!

Когда Виар испытывал обиду, все его лицо дрожало: пенсне, кончики усов, нижняя губа, подбородок. Он вежливо сказал: «Как вам будет угодно», поблагодарил Андре за доставленное удовольствие и церемонно вышел из мастерской. Андре поглядел ему вслед и выругался. Кривляка! И вот в такое чучело Пьер верил, как бабки верят в богородицу! Нет, до чего люди доходят! И хорошие люди, как Пьер. Андре махнул рукой и сел за работу, прерванную приходом Виара. Работа не шла, но он не отпускал себя от холста: боялся мыслей, злобы, тоски.

Когда стемнело, он, не зажигая света, лег на диван и стал ждать того часа, когда в мертвой мастерской раздастся голос Жаннет. Это было как наркоз, к которому он пристрастился. Где бы ни заставал его этот час, он глазами искал приемник. А сегодня каштан и карусель с новой силой разбудили воспоминания. Часы шли медленно. Наконец вспыхнул зеленый глаз; кто-то пропел; попиликали; и вот Жаннет... Сначала она говорила о дне моря, о раковинах, их вечном шуме; это была реклама искусственного жемчуга. Потом Жаннет читала чьи-то стихи (он не расслышал имени автора):

Обманутой дано мне умереть,
И как песок, часов старинных медь...

Снова пиликали и пели. Андре машинально повертел стрелкой. Тонкий женский голос сказал по-французски:

«Говорит Мадрид. Сегодня наши части, составленные из бойцов Ла Манчи, совместно с бойцами интернациональных бригад, отбили атаки в Университетском городке. Контратакой мы выбили фашистов из здания медицинского факультета. Немецкие самолеты совершили два налета на северные кварталы города. Среди населения имеются убитые и раненые...»

Андре выглянул в окно. Старая улица Шерш-Миди спала. Спали и антиквары, и весельчак-сапожник, и цветочница. Спали посетители «Курящей собаки». Спали коты. Редко проходили запоздалые пешеходы. Прогремел грузовик. Потом снова наступила тишина. Серые дома казались брошенными. И огромная тоска овладела Андре: он подумал о Мадриде. Он никогда не видал этого города и все хотел его себе представить; какой он — белый, темный, шумный, тихий — неизвестно. Но ночью все небо горит, а внизу кричит женщина. И так — каждую ночь... Но ведь это хуже смерти! От этого можно сойти с ума. Не от бомб, от одинокого крика. А помочь нельзя. Вот они закрыли ставни, навалили на себя перины и спят. Им уютно оттого, что на дворе сыро и холодно, уютно оттого, что в далеком Мадриде горят дома. Уютно!.. А потом вдруг это небо наполнится гудением; ночь, черная и враждебная, оживет. Беспомощно вопьются в небо глаза прожектора: нет, не отыскать!.. И грохот. Одна, другая, третья... Кто-то объявит по радио: «Имеются убитые и раненые». И ночью крикнет женщина. Может быть, Жаннет. Зачем ее обманывают этой тишиной, зачем не разбудят, не скажут: беги к полю, к морю, все равно — куда? Их всех обманывают: и сапожника, и кошек, всех. Жаннет сказала: «Обманутой дано мне умереть...» Просто и страшно.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

У Монтиньи собирались по вторникам. В просторном кабинете среди дыма сигар, за чашкой кофе, сопровождаемой белым ромом с Мартиники, друзья Бретейля обсуждали очередные политические вопросы. Дамы тем временем в гостиной пили чай и сплетничали. Дочка Монтиньи, Жозефина, с нетерпением ждала, когда мужчины перейдут в гостиную: она не остыла к Люсьену, который бывал у Монтиньи каждый вторник.

С победы Народного фронта прошло без малого два года. Как говорил Дессер, все утряслось. Виар хвастал: «Я научился управлять — меня теперь не замечают...» Дела шли хорошо. Заводы были завалены заказами. В магазинах продавщицы не успевали отпускать товары. Исчезли надписи «сдается»: больше не было пустующих помещений. Экономисты писали о конце кризиса и предсказывали долгий период благополучия.

Однако под покровом умиротворения скрывалось общее недовольство. Буржуа помнили июньские забастовки; они не простили Народному фронту своего страха. Сорокачасовая рабочая неделя и платные отпуска — вот причина всех бедствий! Так рассуждали не только посетители Монтиньи, но и люди скромного достатка, начитавшиеся

газетных статей. Лавочница, объявляя покупательницам, что мыло снова вздорожало на четыре су, философствовала: «Ничего не поделаешь. Ведь господа-рабочие разъезжают по курортам...» Крестьянин, заполняя декларацию о доходах, ворчал: «Дармоеды!» — «дармоедами» для него были учитель, два почтовых служащих и рабочие в соседнем городке. Рабочие, в свою очередь, негодовали. Жизнь с каждым днем дорожала, и повышение заработной платы, которого они добились два года тому назад, пошло насмарку. То и дело вспыхивали забастовки. Предприниматели не уступали. Виар призывал к благоразумию. Фашисты на глазах у всех формировали боевые отряды, и рабочие спрашивали: «Кто нас защитит? Ведь не жандармы, эти только ждут часа, чтобы с нами расквитаться». В Испании еще шли бои; но фашисты отрезали Каталонию от Мадрида, и рабочие злобно бормотали: «Выдали...» Предательство, как ржавчина, разъело душу народа. А газеты писали об опасности войны. По венскому Рингу прошли германские дивизии. Все гадали: куда теперь двинется Гитлер? Волновались, спорили по вечерам в кафе, потом мирно засыпали. На редкость холодная весна тысяча девятьсот тридцать восьмого года застала Париж спокойным и растерянным, сытым и недовольным.

Бретейль многое перепробовал за это время. Друзья, с которыми он встречался у Монтиньи, не знали о его разносторонней деятельности. Считая, что все зло в мнимом умиротворении, Бретейль посвятил год террористическим актам. Самые ответственные дела он поручал Грине. Это Грине поджег шесть военных самолетов, он же положил в железнодорожный туннель адскую машину. Желая припугнуть капиталистов, Бретейль поручил Грине взорвать дом, принадлежавший «Союзу предпринимателей». Бомба повредила фасад и убила сторожа.

Правая печать обвиняла в этих покушениях коммунистов. Виар отвечал журналистам уклончиво: «Характер преступлений все еще не выяснен...» Сторонники Народного фронта требовали решительных мер; желая их успокоить, Виар «раскрыл заговор». Конечно, он не тронул ни Бретейля, ни арсеналов «верных»; но полиция выволокла из разных подвалов несколько пулеметов и арестовала полсотни «верных». Виар преподнес заговор как

ребяческую затею; по его указанию газеты прозвали заговорщиков «кагулярами», уверяли, будто они носят средневековые капюшоны и маски. Бретейль возмущенно заявил в палате, что правительство преследует «истинных патриотов», и арестованных вскоре выпустили.

Теперь Бретейль решил переменить тактику; он перешел от бомб к парламентским интригам, в надежде, что международные осложнения помогут ему расколоть правительственное большинство. Все стены были облеплены воззваниями: «Народный фронт ведет Францию к войне!» Друзья Бретейля, разъезжая по стране, заклинали крестьян «спасти дело мира». Предстоял очередной министерский кризис: радикалам надоели социалисты. Обложение капиталов — вот здесь-то осторожный Блюм поскользнется! Тогда может выплыть Тесса... И Бретейль ухаживал за старым адвокатом, расхваливал его речи, угощал уткой по-руански или сальми из фазанов. Тесса одобрял блюда, но держал себя осторожно; даже подчеркивал свои добрые отношения с Виаром: «Социалисты оказались хорошими французами...» Может быть, предвидя свое близкое торжество, он хотел заручиться голосами социалистов; может быть, старался успокоить левых радикалов, в частности, неистового Фуже, который не называл Бретейля иначе, как «гитлеровцем».

Свергнуть правительство, конечно, труднее, чем взорвать дом. Бретейлю пришлось прибегнуть к помощи новых людей. Грине и прочие «латники» теперь сидели без дела. Бретейль добился дружбы двух видных депутатов, которые зачастили к Монтиньи: Дюкана и Гранделя. Это были люди разного склада. Сын провинциального ветеринара, Дюкан в молодости знавал нужду; однако он остался в стороне от социального движения. Его идеалом была рыцарская аскетическая Франция; он мечтал о подвиге лотарингской пастушки, о труде безвестных строителей шартрского и реймского соборов, о нации как о целом. Во время войны он был летчиком, получил тяжелую рану; его дважды наградили. Потом увлекся политикой, проповедовал «интегральный национализм». В парламент его послали жители одного из горных департаментов. Дюкан выбрал себе место на крайней правой; но часто он смущал своих соседей неожи-

данными заявлениями. Так, однажды он сказал с трибуны: «Если нам предстоят ужасы новой Коммуны, я предпочту пост защитника Парижа двойной роли Тьера». Это был скромный, невзрачный человек лет пятидесяти, страдавший косноязычием. Волнуясь, он говорил настолько невнятно, что его не понимали даже близкие. В палате он выступал редко, но пользовался большим влиянием: ценили его личную порядочность и осведомленность — он был лучшим специалистом по воздухоплаванию и руководил работами авиационной комиссии. За Бретейлем он пошел, считая, что Народный фронт ведет Францию к разгрому. Бретейль старался не оттолкнуть его и никогда при нем не заикался о сотрудничестве с Германией.

Если Дюкан был хорошо известен в кругах парламентских и военных, то Гранделя знала вся страна. Грандель был молод и чрезвычайно привлекателен: тонкое лицо, нос с горбинкой, голубые мечтательные глаза; он походил на портреты Сен-Жюста. Говорил он превосходно, и даже противники, зачарованные, слушали его, как соловья. В детстве Грандель был вундеркиндом: чудесно играл на скрипке. Отец его, разбогатевший после перемирия на биржевых спекуляциях, вскоре разорился, и Грандель сам вышел в люди: писал «эссе» о «мистике нищеты», о «космических бурях» и социальные пьесы с аллегорическими персонажами. Несколько лет тому назад он примкнул к социалистам; выступал с большим успехом на митингах. Его выбрали в парламент. Там он вдруг объявил, что ему претит интернационализм Блюма и Виара, что он, Грандель,— француз и представитель французских рабочих, которые дорожат не Марксом, но Прудоном и не хотят жить по чужой указке. Грандель стал героем дня. Его зазывали радикалы, социалистические республиканцы, демократы. Он называл себя «независимым социалистом», но при голосованиях поддерживал правую оппозицию и сдружился с Бретейлем. У Гранделя было немало врагов; в кулуарах парламента охотно прислушивались к разговорам, порочившим репутацию молодого депутата. Уверяли, будто он слишком часто встречается с атташе германского посольства; говорили даже, что радикал Фуже раздобыл документы, компро-

метирующие Гранделя. Все это походило на инсинуации. Сам Грандель пренебрежительно приподымал тонкие, как будто нарисованные брови: «Старый прием — очернить противника и заодно перепутать карты! Когда придет время, я докажу, что Фуже — агент Москвы».

Года три тому назад Грандель женился на хорошенькой креолке; ее имя было Мари, но все ее звали Муш. Он везде бывал с женой; о них говорили: «неразлучники». Бывала Муш и у Монтиньи. Не принимая участия в общем разговоре, она рассеянно разглядывала старые альбомы. Сердцем Жозефина почувствовала в ней соперницу: Муш частенько поглядывала на двери кабинета и менялась в лице, увидев Люсьена.

Политическую кампанию Бретейля субсидировал Монтиньи, человек с крутым нравом и с лицом, похожим на морду бульдога. Жозефина не зря мечтала о том часе, когда, наконец-то, покинет родительский дом; часами Монтиньи пилил ее то за книжку Морана, то за губную помаду. Это был тупой самодур. Он верил, что Бретейль обуздает рабочих. На дивиденды истекшего года Монтиньи не мог пожаловаться; но он считал себя униженным: «Сорок часов... Канальи. Разве я считаю, сколько часов я работаю? А я ведь рискую, у меня могут быть убытки. Они-то знают одно: получку. Тунеядцы!» Рабочие для Монтиньи были не противниками, как для Дессера, но страшными насекомыми, готовыми пожрать все. Он мог без конца говорить об их лени и жадности.

Так было и в тот вечер: он не давал никому раскрыть рот, в сотый раз рассказывая о наглости рабочих, которые потребовали отдельного помещения для умывальников.

— Скоро им понадобятся ванны, увидите. Подумать только — пока немцы работают круглые сутки, наши рабочие выезжают на морские купанья.

Он закашлялся от досады. Этим воспользовался Бретейль: надо было поговорить не об умывальниках, но о предстоящем парламентском бое. Желая заручиться поддержкой Дюкана, Бретейль, как и Монтиньи, сослался на немецкую опасность:

— Я думаю, что в мае немцы начнут наседать на Чехословакию. Мы должны до этого времени создать

подлинно национальное правительство. Я лично не возражаю против Тесса, конечно, если он откажется от голосов коммунистов.

Люсьен поморщился: он давно подозревал, что Бретейль занят не заговором, а парламентскими интригами; все же он не ждал, что его папашу произведут в спасители отечества. Стоило огород городить!.. И, проглотив зевок, Люсьен подумал: хоть бы они скорее кончили — ему хотелось поговорить с Муш.

Грандель поддержал Бретейля:

— Тесса — наименьшее зло. Только необходимо оторвать его от шайки Фуже. Вчера мне сказали, что Фуже передал Тесса ту самую фальшивку. Я, конечно, сейчас же обратился к Тесса: «Скажи на милость, в чем меня обвиняют?» Он был архилюбезен, но от объяснений уклонился. А план ясен: поднять шум в комиссии. Классическая диверсия: чтобы спасти Блюма, они выволокут очередную «сенсацию».

Дюкан возмутился:

— Я не думал, что Фуже способен на такую низость. Он на меня производил впечатление честного человека. Солдат Вердена... И вот, очернить политического врага! Но вы, Грандель, их заклеймите. С вашим ораторским талантом...

— Обидно, что я должен ждать. Я даже не могу как следует подготовиться: я не знаю содержания этой фальшивки.

Бретейль пояснил:

— Я тоже пробовал объясниться с Тесса, но он увиливает: ставит на обе карты. А мы с ним старые друзья. В конечном счете победой на выборах он обязан мне, причем он не верит ни на грош в эти инсинуации. Что вы хотите, человек связан партийной дисциплиной, боится прогневать масонов, Эррио...

Люсьен смутно улыбнулся и вдруг сказал:

— Отец — честный человек, но тряпка.

Депутаты занялись подсчетом голосов. Около семидесяти радикалов будут голосовать против Блюма. Правительственное большинство тает, но оно тает слишком медленно. А ждать нельзя: через месяц Германия зашевелится.

— Вывезут сенаторы. Кайо поклялся содрать шкуру с Блюма.

Дюкан проворчал:

— Кайо — лиса и пораженец.

Обсудили программу будущего правительства. Первое условие: Тесса рвет с коммунистами. В судетском вопросе твердая политика, но не перегибать палки, постараться найти компромисс, приемлемый для обеих сторон. Немедленное признание генерала Франко. Послать Лаваля в Рим: нужно, пока не поздно, договориться с Муссолини. Контроль над прессой. Кредиты авиационной промышленности (на этом настаивал Дюкан). Шестидесятичасовая рабочая неделя.

Бретейль добавил для Монтиньи:

— При захвате заводов применять вооруженную силу.

Здесь Монтиньи разошелся:

— Газами! Исключительно газами! Как грызунов! Добавьте — ускоренное судопроизводство. Смертная казнь за террористические акты. Мы еще доберемся до мерзавца, который кинул бомбу в «Союз». Такого мало гильотинировать!..

Бретейль посмотрел на тупое лицо Монтиньи: от этого дурака можно ожидать всего! И, сославшись на срочные дела, Бретейль откланялся.

Остальные перешли в гостиную. Жозефина искала глазами Люсьена, но он и не поглядел на нее. Он сел рядом с Муш и завел салонный разговор о новой постановке пьесы Жироду «Троянской войны не будет».

— Название удачное: идут, чтобы успокоиться...

Муш шепнула:

— В четверг. Его не будет. Я тебе сама открою...

Дюкан, горячась, доказывал Гранделю, что пора перейти к активной политике:

— С Италией или против, все равно. Дело не в судетах, но в чешской линии Мажино...

— Конечно. Но не нужно забывать, что судеты — немцы. А Гитлер заявил, что на Западе у него нет никаких притязаний...

Дюкан взволновался; он что-то выкрикивал; слов нельзя было разобрать; казалось, он жует резину. Грандель улыбнулся:

— Вы абсолютно правы.

В передней Люсьена нагнала Жозефина. Не глядя на него, она сказала скороговоркой:

— Люсьен, если с вами что-нибудь случится, не забывайте: я для вас готова на все.

Он был растроган, но сдержал себя.

— Спасибо. Здесь холодно, вы простудитесь.

У нее показались на глазах слезы.

— До чего я вас ненавижу!..

На улице дул резкий восточный ветер, и Люсьен поднял воротник пальто. Все ему было противно: и Бретейль, и дурацкая нежность Жозефины, и Муш.

В одном из «землячеств» Бретейль разыскал контролера метро Обри. Этот урод был обозлен.

— Слушай, Обри, надо убрать предателя.

Обри обрадовался: он давно ждал случая, чтобы показать свою храбрость. Только раз ему дали поручение, да и то прескверное: на авеню Ваграм он избил девушку, продававшую «Юманите».

— Я вас слушаю, начальник.

— Надо убрать латника Грине. И без огласки. Потом ты подкинешь вот это...

Бретейль вынул из бумажника билет коммунистической партии.

Обри пролепетал:

— Все будет сделано, начальник.

Придя домой, Бретейль не прочитал писем, не отвечал на вопросы жены. Едва шевеля тонкими губами, он молился. Жаль Грине. Но что тут поделаешь, новую главу пишут на чистой странице. Возьмет такой Грине и после трех пиконов все выболтает... Конечно, он честный человек, но дурак. «Я — латник»... Для таких уготован рай. А что ждет Бретейля? Он много взял на себя, с него много взыщется. И, еще раз прочитав заупокойную молитву, Бретейль сказал жене:

— Грине я не знал. Понимаешь?

Жена вытерла руки о передник (она готовила любимое лакомство Бретейля — безе), взглянула на мужа и взвизгнула:

— Изверг!

Он ничего не ответил.

2

По топкой тропинке Грине пробирался от станции Верней к бывшему охотничьему павильону. После долгого ненастья выпал первый теплый день, и Грине подумал: «Скоро пасха...» Выйдя на поляну, он расстегнул пальто: припекало. Под деревьями зеленели острые листья ландышей; через месяц сюда понаедут парижане... Обычно картины мирной жизни вызывали в Грине досаду: сам того не сознавая, он завидовал беспечности других. Но сейчас, умиленный солнцем и весенней суматохой леса, он с нежностью подумал о парочках, которые приедут на эту поляну за ландышами.

Куда теперь пошлет его Бретейль? На испанскую границу? В Бретань? С ранней молодости Грине привык к странствиям, к духоте дымного вагона, к холоду и зевоте узловых станций, к еде за общим столом в третьеразрядных гостиницах, где коммивояжеры рассказывают друг другу надоевшие всем анекдоты, к ночам в нетопленной комнате, с просаленными перинами и с олеографиями на пятнистых стенах. Он не любил передвижений, но с трудом представлял себе оседлую жизнь. Прежняя профессия помогала ему выполнять рискованные поручения Бретейля: когда он исчезал на неделю, хозяйка гостиницы не удивлялась. Францию он знал, как свою улицу; повсюду у него были любимые резиденции, друзья-кабатчики и связи в полиции. Последние четыре месяца он сидел без дела. Письмо Обри не обрадовало и не огорчило его. Он равнодушно засунул в портфель несессер и фляжку с коньяком, а в брючный карман — револьвер. Хозяйке он сказал: «Еду в Аннеси с аппаратами»; сказал и подумал: «Протезы или бомбы — не все ли равно?..» То, что два года тому назад казалось ему вспышкой гнева, азартной игрой, романтикой, стало работой; он выполнял ее исправно, но без страсти.

Апрельский полдень, блики солнца, переполох птиц разнежили Грине. Он думал не о «верных», но о дочери содержателя гостиницы в Аннеси, кудрявой Люлю. Не случайно он ответил хозяйке: «В Аннеси»,— мечтал и проговорился... Хорошо бы бросить все, жениться на Люлю и открыть кафе или гостиницу. Мечты! Грине не

был бережлив; наградные, полученные от Бретейля, ушли на костюмы да на подарки той же Люлю.

Обри уже ждал его. Охотничьим павильоном называли полуразрушенную беседку среди ольхи, с белеными стенами, исцарапанными влюбленными, которые оставляли на них имена и даты. Обри сидел на каменной скамейке, подставляя солнцу то один бок, то другой. Он тоже поддался весенней неге. Шутка ли сказать, после долгих месяцев, проведенных в душном метро, с его запахами мыла и кислот, оказаться в раю, рядом с крохотной речкой, под деревьями, покрытыми бледнозеленым пухом. Обри позабыл, зачем он здесь, и, увидев нарядного, чисто выбритого Грине, вздохнул: вот и кончилась сказка!.. Поздоровались; потом Обри сказал:

— Садись. Придет латник Дельмас. У него все инструкции.

Грине расстелил газету: не хотел запачкать новенькие брюки.

— Здесь не сыро, солнце... Я ведь тоже побаиваюсь, ничего не стоит простудиться.

Они молча глядели на серебряную зыбь речонки, и мало-помалу ими снова овладела приятная истома.

— Начальник не придет?

— Нет. Он хворает. Возраст не тот.

— Сколько ему, по-твоему?

— За шестьдесят.

— Постарел он. Это после смерти сына. Два года, как сын умер. Я хорошо помню — тогда забастовка была... Жена его плакала. А я пришел, он молится...

— Да, это скверное дело... Ты что, женат?

— Нет, а ты?

Уродливое лицо Обри на минуту осветилось застенчивой улыбкой.

— Еще нет.

— Значит, думаешь?.. Пожалуй, так лучше. Я вот скоро женюсь. В Аннеси нашел... Красотка. Отец — адвокат. Там у них поместье. Я и сам хочу туда переехать. Куплю гостиницу. Англичане приезжают, у англичан валюта. Я и деньги отложил. А девушка замечательная. Как она поет! Колоратура...

Люлю никогда не пела, но, начав врать, Грине не мог

остановиться; вернее, он не врал, он размечтался; а вокруг удивительно щебетали лесные пичуги.

Обри поглядел на оранжевые модные ботинки Грине и с грустью подумал: такому легко жениться. А кто пойдет за меня? Разве что старая шлюха...

— Этот... Как его?.. Дельмас? Он, должно быть, заблудился.

— Придет.

Обри никого не ждал; он заранее все обдумал; но теперь почему-то медлил. Грине вынул фляжку. Тогда Обри достал хлеб и колбасу: запасся, предвидя утомительный день. Решили перекусить. Колбаса была упругой, как резина. Грине жевал со смаком: прогулка придала ему аппетит. Хлебнув из фляжки, Обри сказал:

— За твое здоровье!

Грине еще больше размяк от коньяка. Клонило ко сну; он зевал и, глядя на воду, мечтательно говорил:

— Удить люблю. В Аннеси форели вот этакие — гляди...

Потом он уснул; шляпа сдвинулась набок; рот был приоткрыт. Его бледное лицо, обычно перекошенное тиком, стало спокойно, оно даже порозовело на солнце. Было в этом спящем человеке нечто детское. Обри все еще медлил. Он больше не думал о своем одиночестве, не мечтал; тупо он повторял себе: «Ну!» Его охватила тошнота; прежняя нега перешла в полуобморочное состояние. Он поморщился: паршивый коньяк! Вот, сволочь, спит! Гостиницу хочет открыть — «Виктория» или «Монрепо»... Не выйдет! А может быть, он и не предатель? Просто захотелось человеку на покой. Конечно, рыбу удить приятней, это каждый понимает. Только чем он, Обри, хуже! Почему ему нет никакого покоя? Бить, резать... Сволочи! Неизвестно, к кому относилось это бранное слово, но оно приподняло Обри. Он почувствовал злобу, как будто к горлу подступила кислота. И тогда он вынул стилет.

Две минуты спустя, убедившись, что латник Грине мертв, Обри положил под скамейку билет, который ему дал Бретейль. Билет был на имя Жака Дельмаса. Тщательно оглядев свои руки, пальто, штаны, Обри быстро зашагал к шоссе. Теперь он не восторгался весенним днем. Тошнота не проходила. Он с отвращением вспоми-

нал о колбасе: как резина! Хотел сплюнуть, но слюны не было.

Стемнело. На шоссе, возле остановки автобуса, стояли две девочки. Увидев Обри, они прыснули, и одна сказала:

— Приятной прогулки!

Обри, обозлившись, ответил:

— Шлюхи!

Поздно вечером в «Союзе инвалидов» он доложил Бретейлю:

— Выполнено.

Бретейль его поблагодарил, усадил рядом с собой на диван.

— Это твое боевое крещение.

Тогда Обри спросил:

— Он действительно был предателем?

Бретейль встал:

— Да. Можешь итти.

Глядя вслед Обри, он смутно подумал: придется убрать и этого.

На следующий день во всех газетах были портреты Грине. Репортеры сообщали, что человек, павший от руки неизвестного, был известен своими правыми убеждениями, участвовал в демонстрации шестого февраля. После него не осталось ни копейки. Он был беден; исключены корыстные мотивы преступления. Конечно, коммунисты уверяют, что никакого Жака Дельмаса они не знают, но все же очевидно, что Грине прикончили они, желая избавиться от политического противника, пользовавшегося влиянием в «Католическом синдикате коммивояжеров».

Обри не читал газет; он ни с кем не беседовал о загадочном происшествии в лесу Верней. Как всегда, он пробивал билетики, судорожно позевывая. Кончив работу, он зашел в незнакомое кафе и заказал «перно». Мутный напиток дурманил. Еще стакан. Третий...

За соседним столиком пили люди в кепках. Обри не хотел слушать, о чем они говорят, но имя Грине, повторяемое без конца, его раздражало. Грине больше не было, и он не хотел о нем слышать. Дураки не унимались.

— Что же, одной собакой меньше...

— Да, когда уж такой идет к фашистам, значит — купили...

Обри вдруг встал, подошел к крикунам и сурово сказал:

— Врешь! Он хотел гостиницу купить. А убили его коммунисты, голоштанники, как ты. Понял, сволочь?

Один из сидевших за столом встал и ударил Обри по лицу. Зазвенело стекло. Обри упал. Кафе быстро опустело. Старый официант долго подбирал тяжелые блюдечки, ложки, игральные кости.

3

Тесса накануне справлял свое шестидесятилетие. В бесчисленных телеграммах и письмах красовалась цифра шестьдесят. Молодые адвокаты поднесли Тесса большой торт, украшенный шестьюдесятью восковыми свечками. Вечером свечки зажгли, и Тесса долго глядел на голубые взволнованные огоньки. Он попытался загрустить, заставил себя подумать о длине пройденного пути, о близящемся конце; но эти мысли были отвлеченными; никогда он не чувствовал себя таким молодым. Он воспринимал цифру шестьдесят как красивый вензель. Жизнь его только начиналась. Конечно, он был знаменитым адвокатом, но завтра он станет одним из руководителей страны; его имя перейдет с пятой полосы «Тан», где пишут о судебных процессах, на первую. Время крайностей миновало; страна хочет покоя; она устала и от поднятых кулаков Народного фронта, и от древнеримских приветствий Бретейля; она предпочитает хорошее дружеское рукопожатие; с надеждой смотрит она на веселого гурмана, на доброго семьянина, на красноречивого, но трижды осторожного Тесса.

Да, вчерашний день был прекрасен, хотя и его омрачили семейные горести. Напрасно лучшие профессора устраивали консилиумы, напрасно госпожа Тесса прошла курс лечения в Виттеле; ее болезнь прогрессировала; припадки учащались. Вчера Амали наволновалась, переутомилась, и вечером, пока Тесса, глядя на шестьдесят свечей, думал об осчастливленной им Франции, она лежала в полутемной, пропахшей лекарствами спальне и с трудом сдерживала стоны.

Но и помимо болезни жены у Тесса были заботы. Люсьен оказался неисправимым. Амали попрежнему называла его мальчиком, но этому «мальчику» недавно исполнилось тридцать четыре года. Надежды на дипломатическую карьеру давно рухнули. Бездельник нашел себе странный заработок: он писал в газете Жолио о скачках, предсказывая победителей. Говорили, что он, пользуясь указаниями жокеев, сбивает людей с толку, сам играет, а половину доходов отдает Жолио. Все это вряд ли представляло подходящую профессию для сына министра. Оберегая свое здоровье, Тесса не заговаривал с сыном; за обедом оба молчали. А когда Люсьен раскрывал рот, Тесса испуганно ежился: ждал скандала.

Еще больше горя причиняла Тесса Дениз. Он теперь знал, что в области чувств нет справедливости. Думая о Люсьене, он боялся за себя: сын может его опозорить. Если бы Люсьен погиб, Тесса, всплакнув, почувствовал бы облегчение. Не так было с Дениз. То, что она ушла из дому, осрамила отца, сделавшись упаковщицей на заводе «Гном», и, по сведениям директора тайной полиции, состояла в каком-то коммунистическом комитете, казалось Тесса ничтожным по сравнению с тревогой за ее здоровье: ей плохо живется, она не приспособлена для тяжелой работы, ее могут убить во время одной из этих дурацких демонстраций... О Дениз Тесса узнавал через полицию или через контору частного розыска. Он пробовал ей писать, она не отвечала; не хочет с ним знаться. Эта мысль доводила его до слез. Он подумал о Дениз и над шестьюдесятью свечками вспомнил, как девочкой она присылала ему рифмованные поздравления на розовой бумаге. Он готов был расстроиться; но как раз в это время принесли телеграмму от председателя сената. Тесса усмехнулся: он — единственная надежда честной и благоразумной Франции. Его острый нос покрылся мельчайшими капельками пота: так бывало всегда в минуты волнения. Забыв про Дениз, он обдумывал начало министерской декларации.

На следующее утро приключилась неприятность: желая перечесть донесение посла в Праге, Тесса обнаружил пропажу документа, который ему вручил Фуже. Вся история с Гранделем раздражала Тесса: он не

любил разоблачений. Политика — тонкое дело; хороши не только громкие речи, но и шопот в кулуарах, задушевные слова за завтраком, «между сыром и грушей», оттенки мысли, намеки. Разоблачения выпадают из игры. Каким безобразием была шумиха, поднятая в свое время бандой Бретейля вокруг злополучного Ставицкого! Хотели запутать и Тесса... Фуже не прошел бы без голосов коммунистов. Понятно, что он за Народный фронт. Но Тесса и без него знает, что Грандель выскочка. Гранделя следует остерегаться. Какой оратор! Только покойный Бриан умел так заговаривать людей... Но при чем тут сенсационные разоблачения?.. Еще осенью Фуже сказал Тесса, что Грандель связан с немецкой разведкой. Тесса его оборвал: он не верил в измену депутата. Да и слово «измена» казалось ему пришедшим из другого мира. С иностранной разведкой могут быть связаны майоры, продувшиеся в карты, шалопаи вроде Люсьена, словом люди, припертые к стенке. Тесса понимал любую оплошность, связь с аферистами, заступничество за мошенников — извольте провести границу между вполне дозволенным участием в акционерном обществе и делом Ставицкого или Устрика! Но измена... В сознании Тесса проносились стихи Гюго, Чортов остров, шпага, надломленная над головой предателя... Нет, депутат не станет этим заниматься!

Но вот три дня тому назад неутомимый Фуже вручил Тесса эту проклятую бумажонку. Тесса пробежал глазами письмо и вложил листок в папку с делами иностранной комиссии. В записке говорилось о двух миллионах, отпущенных на пропаганду целебных вод Киссингена и Баден-Бадена. Тесса злился: хорошо, Грандель зарабатывает на немецких курортах, это еще не измена! Правда, Фуже уверял, что Грандель не сможет представить оправдательных документов. Но Тесса был против вмешательства в частную жизнь депутатов. Так он и ответил Фуже. Тот настаивал: «Необходимо ознакомить с письмом членов иностранной комиссии». Все это было на редкость глупо; особенно теперь, когда нужно с помощью правых свалить Блюма и в то же время заручиться поддержкой левых. Отказать Фуже Тесса не мог: тогда против нового правительства будут голосовать все левые радикалы.

Но если Тесса огласит документ в комиссии, Бретейль станет на дыбы; правые обрушатся на радикалов и радикалам придется поневоле еще раз выручить Блюма. Подумав, Тесса решил отложить дело недельки на две: он надеялся, что министерский кризис разразится в ближайшие дни.

Но кто мог похитить этот листок?.. Никогда еще Тесса не сталкивался со столь таинственным происшествием! Папка лежала в письменном столе. Уходя, он всегда запирал ящик. Все бумаги на месте. Если рассказать Амали, она, пожалуй, ответит, что документ украл Вельзевул...

В палате Тесса забыл о пропаже. Рассматривали законопроект об открытии двух ветеринарных институтов. В зале сидели только депутаты заинтересованных департаментов. Остальные толпились в кулуарах и в буфете. Говорили о надвигающемся кризисе; и по тому, с каким вниманием осведомлялись у Тесса о его здоровье, можно было безошибочно угадать, что дни Блюма сочтены. Виар, поздравив Тесса с шестидесятилетием, меланхолично вздохнул:

— В шестьдесят лет я и не думал, что мне придется взять в руки министерский портфель. Ты рано начинаешь. В добрый час!

Тесса хихикнул:

— Шестидесятилетняя девственница — совсем недурно! Кстати...

Он рассказал непристойный анекдот. Виар покраснел и ушел. Вдруг из табачного дыма выплыл Фуже. Взглянув на его очки и бородку (Фуже хотел во всем походить на радикалов прошлого века, «пожирателей кюре»), Тесса сразу вспомнил об украденном документе. А Фуже спросил в упор:

— Когда ты ознакомишь комиссию с делом Гранделя?

Тесса замахал руками:

— Разве можно рубить сплеча?.. Надо хорошенько обдумать. Я переговорю с Эррио. Теперь нужно быть сугубо осторожными, не то против нас окажутся все промежуточные группы.

Фуже не унимался:

— Правые все равно нас ненавидят. А налево у нас нет врагов. Потом, это дело не партии, но государства. Ты понимаешь: го-судар-ства! Если Бретейль честный человек, он должен первый вышвырнуть Гранделя. Ведь Грандель попросту немецкий шпион. Ты читал «Пари миди»? Телеграмма из Берлина... Эти «притеснения бедных судетов» могут кончиться походом на Страсбург. Я не потерплю, чтобы в такое время представитель «пятой колонны»...

— Зачем горячиться? Мы не в Испании, у нас споры кончаются не резней. Успокойся! Я старше и опытнее. Когда настанет время, я сам вытащу эту бумажку. Ты меня прости, я должен поговорить с Даладье...

Тесса поспешил скрыться от назойливого Фуже. Но мысль о пропавшем документе больше его не покидала. Конечно, дело можно замять. Он скажет Фуже, что послал документ на экспертизу, а потом свалит все на экспертов или на Второе бюро — там у Тесса приятели, они покроют... Можно попросту отказаться дать Фуже объяснения, заявить, что документ — фальшивка, поставить во фракции вопрос о доверии. Дело пустячное. Не все ли равно, какая у Гранделя кормушка? Довольно пуританства! Пора заняться серьезной политикой...

Но Тесса не переставал думать о глупой бумажонке. Он не мог объяснить себе загадочного происшествия. Что, если за ним следят агенты Виара или, того хуже, приятели Дениз? Тесса съежился. Коммунисты для него были беззастенчивыми преступниками, готовыми на все. Они могут заманить Тесса и отослать его в Москву... Неужели коммунисты?..

Дома он постарался успокоиться, сел за работу. Еще раз он тщательно просмотрел содержимое папки: оставалась надежда на второе чудо — вдруг документ на месте?.. Но пропавшего листка не было. Тесса начал изучать рапорты посла в Праге. Он давно решил, что насчет судетов можно договориться с Гитлером. Он говорил друзьям: «Конечно, Карлсбад — прекрасный курорт, но меня интересует судьба Виши».

Из спальни раздался стон. Оторвавшись от работы, Тесса пошел к жене. Амали шептала:

— Прости... Мне стало очень страшно... Я теперь скоро умру. Что станет с Люсьеном?..

Тесса поглядел на ее белое, обескровленное лицо и стал приговаривать:

— Поправишься. Обязательно поправишься. Все врачи говорят. Мы с тобой скоро в Виттель поедем. Обязательно...

Амали думала не о себе, но о своей любви: о рыжеволосом беспутном сыне.

— Скажи, что станет с Люсьеном?

— Он не мальчик. Устроится... Тебе нельзя волноваться.

Когда он вернулся в кабинет, оттуда вышел Люсьен. Они столкнулись в дверях. Сразу что-то осенило Тесса: документ украл Люсьен. Не раз он заставал сына в своем кабинете. Тот смущенно объяснял: искал спички или вечернюю газету. Теперь понятно... Да, такой на все способен...

Тесса вбежал в комнату Люсьена. На столе лежали фотографии лошадей, длинная дамская перчатка, револьвер. Тесса сел на диван, вытер ладонью мокрое лицо и спросил шопотом:

— Люсьен, это ты взял письмо к Гранделю?

Люсьен молчал. Тогда Тесса вне себя крикнул:

— На немцев работаешь?

Люсьен подбежал к отцу с поднятой рукой, потом отскочил и пробормотал:

— Мерзавец!

Этот негодяй еще оскорбляет отца. Тесса едва выговорил:

— Убирайся!

Он ушел к себе. Он слышал, как Люсьен попрощался с матерью; Амали всхлипывала. Теперь все кончено! Зачем ему министерский портфель? Дочь ушла. Сына он выгнал. Его сын — шпион! Тесса стало жаль себя; он долго грустно сморкался. А из спальни доносился плач Амали. Тесса пошел к ней, сел на кровать.

— Мамочка (так он называл ее, когда бывал растроган), вот мы и одни...

— Почему ты его выгнал? Он гордый. Теперь он ни за что не вернется.

— Я его и не впущу. Ты знаешь, что он делает? Он шпион. Он работает на немцев.

Тесса всегда знал, что его жена глупа и невежественна, но все же растерялся, услышав ее ответ:

— Я тебе говорила, что политика — гадкое дело. Это ты научил Люсьена. Разве ты не кричал, что с немцами можно сговориться, что Гитлер лучше Тореза?

— Замолчи! Я не хочу этого слышать... Люсьен не дипломат, но шпион. Ты не понимаешь разницы?

Тесса был и без того расстроен; хлопнув дверью, он ушел в кабинет. Он долго шагал из угла в угол, повторяя: «Шпион. Наемник. Негодяй». Утомившись, он сел в кресло. Нужно все продумать. Если Люсьена подослали за документами, это — дело серьезное. Значит, Грандель действительно замешан... Но теперь документ исчез. Улик нет. Рассказать о краже? Но этим он посадит в тюрьму Люсьена. Амали не переживет удара. А что выиграет Тесса? Хорош спаситель Франции, у которого сын — шпион! Нет, о краже — ни слова. Фуже придется сказать, что документ — фальшивка. А как быть с Гранделем?.. Шпион в палате депутатов — это все же неслыханно! Но у Тесса нет никаких доказательств. Поддерживая версию Фуже, он только наживет врагов среди правых. Потом, рассуждая трезво, даже если Грандель — немецкий агент, какой вред он может принести Франции? В военную комиссию он не входит. У немцев, наверно, десятки тысяч шпионов... Одним больше... В общем этим должны заниматься господа из Второго бюро, а не Тесса. Взвесив все, Тесса решил похоронить дело: Люсьена он выгнал как бездельника и неисправимого кутилу.

Он прошел к Амали.

— Насчет шпионажа не говори никому, это вздор, я погорячился. Но мне снова принесли его вексель. Потом он меня оскорбил. Ты можешь послать ему деньги, но сюда он не должен приходить. Спокойной ночи!

Тесса лег в кабинете. Он погасил свет и, лежа с раскрытыми глазами, думал о своей неудачной жизни. Как всегда, мысли вернулись к Дениз. Впервые Тесса подумал: может быть, она и права? Она ушла из проклятого мертвого дома. Что для нее отец? Она рассуждает

по-детски, не понимает, что такое правосудие. Тесса защищал убийц, подбирал алиби, вел дела отъявленных мошенников. Это священное право его ремесла. Но для Дениз он лжец, человек с нечистой совестью. Она не понимает и политики. Он вел сложную игру, дружил с Бретейлем, улыбался Виару. Это необходимо для спасения Франции. Но, конечно, это грязное дело. И вот Дениз возмутилась. Ушла от отца с его непонятной, темной жизнью, от суеверной матери, от брата, который оказался шпионом. Дениз честная, непримиримая...

Тесса видел суровое лицо дочери. Он засыпал, и знакомые черты сливались с картинами, статуями. То Дениз подымала меч, как Жанна д'Арк; то она держала окровавленный кинжал; то ему мерещился угрюмый взгляд Луизы Мишель, и он повторял: «Поджигательница!» Он знал, что коммунисты — убийцы. Теперь он благословлял дочь, которая должна его убить. Вот она подходит... У нее лицо из гипса, а вместо глаз — впадины. Она сжала горло Тесса...

И Тесса закричал. Его разбудила Амали. Услышав крик, она хотела встать, но не смогла, свалилась. Она приползла из спальни и вцепилась руками в голову Тесса.

— Поль, что с тобой?

Он не сразу опомнился.

— Мне приснилась Дениз... Мамочка, теперь мы одни...

Раздался телефонный звонок. Тесса вздрогнул. Кто может звонить так поздно?.. Не случилось ли чего-нибудь с Люсьеном?

Он взял трубку. Маршандо сообщил ему, что десять минут тому назад закончилось голосование в сенате. Блюм требовал чрезвычайных полномочий; за него подано сорок семь голосов; свыше двухсот против.

Заикаясь от волнения, Тесса сказал жене:

— Завтра я буду министром. Это победа.

Он хотел сказать что-нибудь радостное, обнадежить и успокоить Амали. Но нервы не выдержали: сидя за письменным столом, в голубой пижаме, он плакал и рукавом вытирал нос.

4

Пока сенаторы, сердито покашливая и багровостью апоплексических затылков выдавая душевное возмущение, слушали Блюма, на другом конце города рабочие «Сэн», бастовавшие уже свыше двух недель, собрались, чтобы обсудить ответ дирекции. Дессер наотрез отказался вступить в переговоры прежде, нежели рабочие очистят заводские помещения. Он теперь не философствовал, не острил: другие времена... Да и у рабочих не было того пыла, который два года тому назад помог им одержать победу. Завод «Сэн» последовал примеру других: забастовка охватила всю военную промышленность. Не было ни флагов, ни концертов, ни веселой перебранки с полицейскими. Забастовали потому, что жизнь стала невмоготу; но мало кто верил в победу.

Мишо не было: он сражался в Испании. Товарищи не знали, жив ли он; говорили, что в февральских боях бригада «Парижская Коммуна» понесла большие потери. Пьер был с забастовщиками; но и его укатали эти два года. Он поседел, помрачнел, мало походил на прежнего Пьера, наивного, всем увлекающегося. Предательство Виара его надломило. Он продолжал бороться, и ни грустные близорукие глаза Аньес, ни годовалый Дуду не могли его удержать от рискованных полетов в Барселону и Картахену; но боролся он теперь не с надеждой, а с горечью отчаяния.

Руководил забастовкой Легре. И если задор Мишо выражал душу июньской забастовки, угрюмая стойкость, молчаливость Легре как нельзя лучше вязались с суровой битвой этой холодной и неудавшейся весны.

Когда Легре огласил короткий ответ дирекции, наступило молчание. Легре предложил продолжать забастовку; в ответ не раздалось ни аплодисментов, ни протестующих криков. Все сидели как убитые.

— Кто хочет высказаться?

Тишина угнетала: за ней чудился разгром. Вдруг из глубины длинного полутемного ангара раздался слабый голос:

— Прошу слова.

На подмостки взошел старик Дюшен. Когда-то он работал в литейном, но уже много лет как его сделали сторожем; он с трудом нагибался, едва ковылял по двору, а уходить не хотел, отвечал: «Дома скучно». Кто не знал Дюшена? Кажется, он здесь работал с сотворения мира. Инженеры прислушивались к его замечаниям, а Дессер здоровался с ним за руку и говорил: «Это — наша гордость». Люди насторожились. Что скажет Дюшен? Это не крикливый подросток, которому на все наплевать... Зачем им говорить о низких ставках, о растущей дороговизне? Кто этого не знает? Но теперь не тридцать шестой... Дессер уперся. А семьи голодают. И нет в этой забастовке ни смысла, ни исхода... Что же скажет старик Дюшен, на своем веку все повидавший?

Дюшен стоял молча. Наконец он раскрыл рот и надтреснутым, старческим голосом запел:

— Вставай, проклятьем заклейменный...

Все встали, молча подняли кулаки.

— Вот вся моя речь.

Забастовку решили продолжать. Когда обсуждали обращение к другим заводам, Легре вызвали:

— В комитет... Говорят, что правительство слетит...

Дениз сразу узнала рабочего со шрамом на щеке, который подошел к ней в тот вечер, когда она встретила Мишо. Может быть, Легре что-нибудь знает?.. Дениз часто получала письма; Мишо рассказывал о боях, о трудностях испанского языка, о товарищах по бригаде, о холоде и зное Арагона, о мужестве крестьян. Иногда это были записки на клочке бумаги, иногда длинные послания. Он то вспоминал Париж, вечера, проведенные с Дениз, то писал о военных операциях, о казематах Теруэля, о работе истребителей, прозванных «курносыми». В последнем письме, после восторженного описания боев за предместье Теруэля, карандашом было приписано: «Я тебя люблю, и еще как!» Дениз всегда носила это письмо с собой: среди дня проверяла, на месте ли оно; знала каждую букву, но все-таки перечитывала.

Жизнь ее была на вид неприглядной: работа, потом собрание или книга и выписанные в тетрадку имена, колонки цифр. И все же Дениз знала, что это — война, что она — рядом с Мишо. Его письма, похожие на военные

реляции, вдруг, как бы нечаянно вырвавшиеся, мальчишеские слова о любви поддерживали ее в минуты душевной усталости. Но с февраля от Мишо не было писем. Дениз боролась с неотвязными мыслями. Он жив! Она повторяла его любимое восклицание: «И еще как!..» Но тревога росла. Увидев Легре, Дениз всполошилась: может быть, он знает...

На собрании говорили о правительственном кризисе. Сенат хочет отставки Блюма. Народный фронт может рухнуть: радикалы раскололись на две группы; социалисты юлят — боятся оттолкнуть от себя Тесса и остаться с коммунистами. Забастовки в Париже растут. Но подъема нет. А крестьян сумели восстановить против рабочих. По сравнению с прошлым годом положение ухудшилось.

Кто-то сказал:

— Упустили минуту...

На него прикрикнули: надо говорить о деле! Париж можно поднять на защиту Народного фронта. Если Блюм откажется уйти, кто выступит против? Друзья Бретейля, кагуляры, да, может быть, полиция. Армия не поддержит фашистов. Нужно только, чтобы Блюм и Виар приняли бой...

Набросали проект обращения. Правительство остается у власти. Виар должен арестовать кагуляров во главе с генералом Пикаром. Помощь Испании: пора, наконец-то, открыть границу! Можно было этого и не писать; все знали наизусть; слова казались привычными, потерявшими значение, как «здравствуй» или «до свидания». Решили, что с Блюмом переговорит Дюклю, а к Виару пойдет Легре, ведь Легре поддерживал Виара на выборах. Потом хорошо послать не депутата, а рабочего: пусть знает, что говорит народ.

Напоследок обсудили вопросы, связанные с забастовками. Надо держаться! Многое зависит от того, чем кончится кризис. Дениз спросили о положении на заводе «Гном». Она ответила:

— Все говорят, что надо кончать забастовку, но все понимают, что надо бастовать. Пока другие держатся, наши не подведут.

Легре усмехнулся:

— Как у нас.

На улице Дениз его догнала:

— Ты из Испании что-нибудь получил?.. Как Мишо?

Голос Дениз выдал волнение. Легре нахмурился: вот уже третий месяц, как оттуда нет вестей... Но он спокойно сказал:

— Все в порядке. Приехал один товарищ... Он недавно видел Мишо...

Дениз не смогла скрыть радость. И смутная улыбка, похожая на весенний день где-нибудь в Бильянкуре, среди шлака и гари, осветила сумрачное лицо Легре.

— Я завтра зайду к вам на завод. Надо ребят подбодрить... Да и у нас плохо. Сегодня старик выручил: запел «Интернационал»... Друг друга стыдятся, только поэтому и держатся.

Простившись с Дениз, Легре пошел по длинной набережной. Париж здесь не походил на себя: новые дома, непривычно белые; заводы, заводы; и сирены кричат, как в порту. Странная весна. Апрель, а холодно. Люди ежатся, сердятся, чихают. Каштаны уже приготовились цвести; их зелень кажется неуместной под злым зимним ветром. Легре вспомнил радостное лицо Дениз. Вдруг с Мишо что-нибудь случилось? Беда!.. А она его любит, это сразу видно. Славная девушка! Мишо говорил: студентка. Все-таки хорошо, когда есть на свете близкий человек. Говорят — спокойней. Нет, еще тревожней. Но хорошо: жизни больше.

Легре, сколько он себя помнит, был всегда один, как перст. Отца он не знал, мать умерла, когда он еще ходил в платьице. Взял его дядя, скупердяга, по профессии колбасник. Легре подавал жбаны со свиной кровью, топил печь, мыл полы. Потом он ушел на завод.

Война не во-время началась: Легре тогда приглянулась хохотушка, щебетунья Аннмари. Он о ней думал в окопах Аргонского леса. Война там шла под землей: подкапывались друг под друга. Осколком снаряда Легре был ранен в лицо; пометка осталась. А когда он вернулся с войны, Аннмари и след простыл: она уехала с американским летчиком.

Легре надулся на всех женщин. Жил он тогда скучно. Ходил в кино, иногда выпивал. Потом увлекся политикой. Снова влюбился и снова прозевал: он не знал, как

признаться Марго. Ему казалось, что она его презирает. Лето было беспокойное: Сакко и Ванцетти... Легре каждый день выступал на митингах. Осенью Марго вышла замуж за Дюбона. Легре подумал: ей с ним интересней... На Новый год Дюбон позвал к себе приятелей. Он жил в маленьком домике возле фортификаций. Сидели поздно, выпили, накурили. Марго вышла в садик — подышать. Легре уходил: там она его окликнула; начала говорить о кино, спрашивала — видал ли он картину «Остров горя». Он молчал. Вдруг она быстро сказала: «Я вас тогда любила...» И вернулась к гостям. Легре обозлился на себя, решил, что он не создан для счастья; стал еще молчаливей.

Почему он сейчас вспомнил об этом? Да вот, Жозет... Это — дочь товарища. Иногда Легре кажется, что Жозет ласково на него смотрит. Но ей двадцать четыре года, а ему сорок два. Он ей сказал: «Я для вас стар». Почему она рассердилась?.. Надо бы с ней поговорить. Легре все откладывал: не время. И вот сейчас, взволнованный беседой с Дениз, он думал: так и жизнь пройдет...

Он обмотал вокруг шеи шарф. Не то дождь, не то снег... Что ж это за весна?.. Позвонить Виару... Если Блюм уйдет, Дессер ни за что не уступит... Пожалуй, тогда очистят завод силой... А еще недавно казалось, что все у них в руках... Завтра Бретейль будет командовать... Слишком понадеялись на свою силу: большинство, выборы, Народный фронт, демонстрация... А те рыли и рыли... Вот и прозевали!.. Как Легре — Марго... Ну и холод!..

Легре прошел в комнату, где заседал стачечный комитет. Его обступили: что нового?

— Три пункта. Первый — насчет забастовки. Надо держаться. На других заводах настроение боевое. Там были делегаты... На «Гноме» ни за что не уступят... А Дессеру нелегко. Им самолеты теперь вот до чего нужны. Гитлер опять что-то готовит... Значит, на Дессера нажмут: заказы-то он должен сдать. Пункт второй: с министерством. Наши решили обратиться к правительству. Не должны они уходить. Палата выразила доверие. А что сенат? Богадельня! Этих старикашек давно надо отослать на покой. Я к Виару пойду. Мы им предлагаем поддержку. Если понадобится, выйдем на улицу.

— Виар — порядочное дермо.

— Не спорю. Но и дермо дерму рознь. А положение у нас посредственное: выбирать приходится не между двумя розами. С Тесса будет еще хуже.

— Это правда. А третий?

— Что третий?..

— Да ты сказал: три пункта.

Легре усмехнулся:

— Я и забыл... Третий — насчет погоды.. Разве это, товарищи, весна! Это не весна, а безобразие!..

5

На нарядной улице Сент-Оноре, возле дворца президента республики, с раннего утра толпились зеваки. Репортеры держали наготове блокноты и «зеркалки». Держали пари: кого вызовет президент? Любопытные в окрестных барах согревались кофе или грогом. В девять часов к воротам подъехала большая машина. Тесса, свежевыбритый и благоуханный, легкой поступью прошел наверх. Он позволил себя заснять, но шутливо погрозил пальцем журналистам:

— Президент вызвал меня для консультации. Это все, что я могу сказать. Бутоны распускаются. Зачем их преждевременно раскрывать? Терпение, друзья, терпение!

Пропажа документа, тревога за Дениз, болезнь жены — все было забыто; Тесса сиял; и один из журналистов пробормотал с завистью: «Подумать только, что ему пошел седьмой десяток!..»

Фотографы снимали Эррио, Даладье, Бонне. Жизнь депутатов и сенаторов была нарушена. Никто из них вовремя не позавтракал. Толпились в кулуарах палаты. Рассказывали друг другу о событиях; президент республики, поблагодарив председателя сената, заплакал от волнения; Даладье забыл выпить аперитив; Тесса при всех обнял Бретейля. Напрасно артистки Французской комедии, балерины, хористки и просто красотки поджидали в урочный час влиятельных любовников: представителям нации было не до любви.

Только Виар начал день необычайно спокойно: его не тревожили репортеры, он не пошел в палату, он был вне игры. Уже зимой он понял, что радикалы созрели для очередной измены, и теперь он не испытывал никакой обиды. Он погрузился в домашние хлопоты, смотрел, как рабочие упаковывали его картины (он собирался, не откладывая, переехать на свою частную квартиру), написал экономке в Авалон, чтобы закончили ремонт к июлю. В этом году он, наконец-то, насладится каникулами!..

За несколько дней до министерского кризиса к Виару приехала младшая дочь Виолет, проживавшая в Нанси, где у ее мужа была транспортная контора. Виолет нашла отца озабоченным; он подсчитывал голоса, брюзжал на сенаторов, жаловался, что никто его не понимает. Но теперь Виолет не могла нарадоваться: отец сиял. Он пил кофе из большой чашки, дул, чтобы отогнать пенки, и лукаво ухмылялся. Не зная последних событий, можно было принять его за победителя.

— С сегодняшнего дня я вольная птица. Я покажу тебе несколько выставок на улице Боэси. Последние работы Дерена восхитительны.

Он прошел в кабинет. Секретарь его ждал: неотложные дела. Префект Нижней Шаранты сообщал о наводнении; необходимо принять срочные меры для помощи пострадавшим. Еще вчера это известие взволновало бы Виара: он знал, как легко использовать стихийное бедствие для политической агитации. Но теперь он пожал плечами:

— Этим займется мой преемник. Кстати, я ему не завидую. Префект Нижней Шаранты — приятель Бретейля. Да и вообще этот департамент — осиное гнездо. Вы говорите, что Шаранта сильно поднялась?

И, не выслушав ответа секретаря, Виар задумался. Он видел большую реку, серую и молчаливую. Кое-где торчат затопленные наполовину деревья. Вороньи гнезда... Для Виара, освобожденного от государственных забот, наводнение было только явлением природы, поэзией. К действительности вернул его непрошенный гость—Легре.

— Коммунисты предлагают вам не сдаваться. Народный фронт победил на выборах, и только палата выражает волю страны.

— Но конституция...

— Конституция не обязывает вас считаться с вотумом сената. Вы хотите юридического оправдания? Пожалуйста! Когда сенат высказался против радикального кабинета, Леон Буржуа не ушел. А теперь — по существу. Если вы уйдете, вы откроете путь фашистам. Сначала Даладье, Бонне, Тесса. Потом — Бретейль.

— Мой друг, зачем преувеличивать опасность? Даладье — организатор Народного фронта. Да и Тесса не так уж страшен. Если я не ошибаюсь, за него голосовали и коммунисты. Это типичный радикал, колеблющийся, но честный...

Легре не умел прикидываться. Он встал, повысил голос:

— Вы как-то при мне сказали, что связали свою судьбу с судьбой рабочего класса. Рабочие хотят, чтобы вы остались. Я не стану вас обманывать. Часто мы осуждали вашу политику, вы это знаете. Но теперь не время для споров... Фашисты мечтают, как бы разгромить все рабочие организации. И мы готовы вас защищать. Вы обязаны остаться. На завтра назначена большая демонстрация перед зданием сената. Мы покажем старичкам, на чьей стороне сила.

Виар едва заметно улыбнулся.

— Я очень признателен вам и вашей партии за доверие. Но теперь это носит ретроспективный характер... Сегодня утром Блюм вручил президенту коллективную отставку.

Легре сел, закрыл ладонью глаза.

— Все это плохо кончится. Сначала они разгромят рабочих. Потом?.. Потом будет, как с Австрией,— придут немцы. Испания доживает последние дни. Чехов они выдадут. Бретейль пойдет с кем угодно, с Муссолини, с Гитлером, лишь бы «навести порядок»...

Виар сочувственно кивнул головой. Теперь он был только левым депутатом; он мог свободно высказывать свои чувства.

— Вы совершенно правы. С Испанией поступили отвратительно. Говоря откровенно, комитет по невмешательству — постыдная комедия. Итальянцы делают, что хотят... Я вполне разделяю ваш пессимизм.

Легре хотелось спросить: «А кто виноват?» Но он промолчал; он понимал бесполезность разговора. Виар патетично развел руками. Легре вспомнил, как два года тому назад на собрании Виар его обнял. Он повторил:

— Постыдная комедия... До свидания. Мне незачем вас утомлять.

Когда он ушел, Виар подумал: он не лишен деликатности, он понял, что я смертельно устал. А другие не понимают, теребят... Да, я хотел что-то сказать секретарю...

Секретарь уже стоял с блокнотом.

— На завтра назначена демонстрация возле сената. Сообщите префекту полиции, что демонстрация запрещена. Я не хочу, чтобы меня могли упрекнуть в шантаже. Мы разбиты, и мы уходим: таковы правила честной парламентской игры.

Он позвонил лакею:

— Здесь очень хо́лодно, затопите камин. И принесите мне туфли.

Какое это было наслаждение! Весело трещали дрова. Виар снял с себя тяжелые ботинки и в теплых туфлях на меховой подкладке, один, в одиннадцать часов утра, наслаждался свободой. Никуда не нужно итти. Мысли были ленивыми, уютными... Легре преувеличивает. Франция — это загадочная страна; каждое десятилетие она гибнет и никогда не погибает. Не погибнет и теперь... Может быть, сенаторы правы. Международное положение обострилось. Тесса, Даладье, Сарро, даже Лаваль... Это — домашние туфли. Франция к ним привыкла; они разношены, их не замечаешь. А Народный фронт можно до поры до времени поставить в шкаф...

Пришла Виолет. Он обрадовался: теперь есть время поговорить. Он расспрашивал про мужа, про дела, про квартиру.

— Я надеялся, что у тебя будет мальчик. Хочу понянчить внука.

У старшей дочери Виара были две девочки.

— Морис говорит, что теперь не время... У нас в Нанси все ждут войны.

Виолет хотелось расспросить отца о политике. Морис потом пристанет: «Что он говорил?»

— Ты знаешь, папа, эти два года мне лично было очень тяжело. Тебя у нас не понимают. При мне, конечно, молчат. Но все-таки до меня доходит через Мориса, через Жанну... Почему-то все ополчились на тебя. Одни говорят, что ты распустил рабочих. Это и я слыхала. Даже в кабаре пели... А другие, наоборот, сердятся, что ты выпустил из тюрьмы кагуляров. Я уже всего не помню... Но со всех сторон... Я часто плакала...

Подбородок Виара задрожал от обиды. Что он мог ответить дочери? Что больших людей всегда осуждают при жизни? Что он в течение двух лет ограждал Францию от кровопролития? Но ему самому эти громкие слова казались неуместными. Он придвинулся еще ближе к камину и сказал:

— Я знаю, что меня все ненавидят. У меня после смерти мамы никого не осталось.

Потом он встал и тщательно накапал в стаканчик двадцать капель лекарства.

— Чуть было не забыл... А это надо принимать за час до завтрака для правильного обмена веществ.

6

Почему Муш так привязалась к Люсьену? Он ее не любил, да и не говорил, что любит. Для него это была еще одна победа в послужном списке: хорошенькая, к тому же слывшая недоступной, женщина. Только теперь он понял, как сильно было его чувство к Жаннет: тогда он терзался от ревности, нетерпеливо ждал каждого свидания, боялся холода, отчужденности. С Муш он забавлялся. Только чтобы оживить приевшиеся ему объятия, он вдруг начинал упрекать ее за то, что она живет с мужем. Муш, плача, говорила: «Хочешь, я уйду от него?» Ей казалось счастьем перебраться в грязный номер, где жил Люсьен после ссоры с отцом, голодать, штопать носки любовника, носить в редакцию его статьи. Но он, поиграв в ревность, говорил: «Нет. Мне ты не нужна, а он тебя любит». Муш плакала еще сильнее. Он нетерпеливо морщился, и, пересилив себя, Муш шутила, пела гавайские песни...

С Гранделем она познакомилась три года тому назад на маленьком пляже в Бретани. Она сразу ему приглянулась. Он бродил с ней по скалам и говорил о «космических бурях»: он тогда был начинающим автором. Зимой они поженились. Оба были молоды, красивы, остроумны. Гранделю к тому же везло: он стал депутатом, завелись деньги. Они сняли хорошую квартиру в Отейле, много принимали, Муш одевалась у лучших портных, выезжала в «кадильяке», и шофер никогда не забывал украсить машину ее любимыми цветами — пармскими фиалками.

Казалось, все должно было содействовать семейному счастью. Но вот на четвертый год замужества, встретив Люсьена, Муш потеряла голову. Прежде всего ее поразила внешность Люсьена. Грандель был красив холодной, бесчувственной красотой; походил на гравюру. А в Люсьене все было порывистым: жесткие огненные волосы, яркие глаза, неясная, едва намеченная улыбка, длинные тонкие руки. Узнав его ближе, Муш поняла, что никогда прежде не встречала таких людей. Он весь загорался от одного слова, а потом погружался в беспричинную молчаливую печаль. Он часто играл, она это замечала, но и в игре он оставался самим собой, грубил, оскорблял себя, готов был на благородство и на подлость. Его завтрашний день представлялся загадкой для других, да и для него. Муш вдохновляла его биография, смены страстей, измены, глубокая нечестивость. Она выросла в благонравной, аккуратной семье мелкого колониального чиновника, где все было вымерено — и любовные шалости отца, и молитвы матери, и взятки, и гроши, выдаваемые старой служанке. Муш отдалась Гранделю потому, что он показался ей героем романа; но, прожив с ним три года, она знала, что он — черствый карьерист. Он сам как-то признался, что изменил ей с одной актрисой только для того, чтобы проникнуть в салон влиятельного депутата. Единственной страстью Гранделя была игра. Прежде он частенько бывал в казино Монте-Карло и Биарица. Сделавшись депутатом, он остепенился: говорил Муш, что политика для него — та же рулетка. Она ему не верила, презирала его; признавалась Люсьену: «У меня такое чувство, как будто он меня покупает...» Люсьен иногда в ответ ругался, раз даже ударил ее, но

чаще посмеивался: «Я люблю проституток, это порядочные женщины».

Разрыв Люсьена с отцом, то, что он пошел на полуголодную жизнь, еще сильнее привязало к нему Муш. Но она не понимала, почему ему вздумалось спасать репутацию Гранделя. Делами мужа она не интересовалась; никогда его ни о чем не спрашивала. Как-то ей почудилось, что муж подозревает об ее связи; она испугалась за Люсьена, убежденная, что Грандель способен на любую низость. Но Грандель, встречая Люсьена у Монтиньи, был с ним, как прежде, приветлив.

Люсьен никому не рассказывал о своих семейных неприятностях, опасаясь, как бы дело не дошло до Жолио: тогда он лишится доходов. Тесса тоже предпочитал не говорить о своей ссоре с сыном. Только Муш знала все. Грандель теперь чуть ли не каждый день заговаривал с ней о Люсьене. Она молчала. Наконец он сказал: «Я знаю, что ты с ним дружна. Пожалуйста, не отпирайся. Я не ревную... Я только хочу, чтобы ты его позвала. Нам нужно поговорить с глазу на глаз».

Взволнованная, она пришла на свидание. Она не знала, как передать Люсьену предложение Гранделя. Сердцем она чувствовала опасность. А Люсьен, как назло, был весел, потешался над ней. И впервые, когда он ее обнял, она ничего не почувствовала, кроме страха: как будто ее знобило. Потом она высвободилась и сказала:

— Он тебя хочет видеть. Люсьен, я боюсь за тебя.

— Чепуха! Грандель не Отелло.

— Ты не понимаешь.. Дело не в ревности. Это страшный человек. Он тебя запутает. Я знаю эту его улыбочку... Зачем только ты ему понадобился?

— Наверно, не знает, что я поссорился с отцом. Хочет войти в доверие. Карьерист. Но довольно об этом...

Он поцеловал Муш. Она отодвинулась и вдруг спросила:

— От кого было то письмо?

Он пожал плечами:

— Глупая фальшивка. Обычная история с деньгами. А подписано — Кильман.

Муш зарылась головой в подушку. Люсьен ее тряс за плечо.

— Ты что-то знаешь? Говори!

— Он тебя убьет...

— Говори! Ты знаешь о письме?

— Нет. О письме ничего... Но я знаю Кильмана. Только, ради бога, не говори!.. Он тебя убьет... В Люцерне... Он меня с ним оставил на несколько минут... У нас был двойной номер... Противный человек, затянут, как в корсете, а затылок выбрит наголо... Он смешно говорил по-французски, вместо «д» — «т»... Настоящий бош. Но ты никому не говори!.. Он мне тогда сказал, чтобы я не говорила... Он очень волновался... А ты знаешь, какой он спокойный... Ты не должен с ним связываться...

Люсьен ее больше не слушал. Он поспешно одевался. Потом крикнул:

— Одевайся!

Она ничего не понимала; искала губами его руки:

— Люсьен, не сердись!.. Я не виновата...

Она плакала. Желая ему угодить, взяла пудреницу, чтобы привести себя в порядок. Он вырвал из ее руки пуховку:

— Живее!

Они вышли вместе. Она шептала:

— Люсьен... Люблю... Мне так страшно!..

Она заметила, что у нее не застегнута блузка; кинулась в первую подворотню. Когда она вышла, Люсьена не было. Она села на скамейку. Кругом толпились люди; это была остановка автобуса. Но она никого не замечала. Напугал ее газетчик; над самым ухом он крикнул: «Угроза не миновала!..» Тогда Муш истерически вскрикнула, а из глаз побежали слезы. К ней подошла какая-то женщина и ласково сказала:

— Успокойтесь! Муж мне говорил, что войны не будет.

7

Было восемь часов вечера, когда Люсьен пришел к Бретейлю. Служанка провела его в гостиную, попросила обождать: Бретейль обедал.

Жил предводитель «верных», как буржуа средней руки. В гостиной стояло пианино, на котором никто не играл;

мебель была в чехлах, чтобы не выгорел красный атлас. На круглом столе лежали альбомы с семейными фотографиями и огромная книга «Замки Луары». На стенах висели пейзажи: закат над морем и плодовый сад в цвету.

Дверь была полуоткрыта в столовую с горкой, где красовался старинный хрусталь. Бретейль сидел напротив жены и молча ел компот из чернослива. В углу стоял детский стульчик: жена не захотела, чтобы его вынесли. Аккуратно свернув салфетку, Бретейль вышел к посетителю.

Он поморщился, увидав возбужденное лицо Люсьена: не любил, когда к нему приходили без приглашения. А Люсьен даже не стал извиняться; он был слишком взволнован: не прошло и часа, как он расстался с Муш. Он сразу сказал:

— Письмо не фальшивка.

Бретейль улыбнулся:

— Это вам сказал ваш достоуважаемый родитель?

— Нет, ему я не поверил бы. Но теперь я знаю, что Кильман существует и Грандель с ним встречался.

Бретейль шагал по длинной полутемной гостиной. Люсьен искоса следил за ним: хотел прочесть гнев, изумление, горечь. Но костистое сухое лицо Бретейля оставалось спокойным.

— Кто вам это рассказал?

— Не все ли равно... Я не могу назвать лица, но я ручаюсь...

Бретейль повернул выключатель. От резкого света люстры Люсьен зажмурился. Бретейль стоял над ним, облокотившись рукой о высокую спинку стула.

— Я вам советую забыть ваши слова. Вы стали игрушкой в чужих руках... Вы мне ручаетесь за человека, которого вы даже не хотите назвать. А я вам ручаюсь за Гранделя.

Люсьен встал и, не прощаясь, вышел в переднюю. Он долго искал в темноте свою шляпу. Потом вдруг вернулся в гостиную. Бретейль стоял все в той же позе. Люсьен сказал неожиданно спокойно, даже задумчиво:

— Я с вами провозился полтора года... И вот интересно... Вы что же, слепой? Или вы тоже знакомы с этим Кильманом?..

Он ждал, что Бретейль ударит его или крикнет: «Негодяй». Но Бретейль не изменился в лице.

— Вы слишком ничтожны, чтобы меня оскорбить. Мой вам совет: не занимайтесь политикой. Это не для вас. По природе вы воришка или сутенер. Ступайте!

Кулаки Люсьена сжались, но он не бросился на Бретейля; он покорно ушел. Только на улице он подумал: «Почему я его не избил?..» И тотчас забыл об обиде: отвращение к себе заслоняло все. Он ходил по улицам, несмотря на холодный ветер. Был конец мая, но зима не унималась.

Люсьен еще раз пережил крушение всего, чем жил; и теперь он знал, что это непоправимо. Он работал на какого-то Кильмана с бритым затылком... Мерзость! А Муш живет с Гранделем... Люсьен не подумал, что Муш много раз порывалась уйти от Гранделя. Тогда Люсьен уговаривал ее остаться с мужем. Теперь она была для него соучастницей преступления. Кто знает, не жила ли она с Кильманом?.. Одна шайка! Отец был прав: «на немцев работаешь». Но к отцу он не вернется. Не вернется и к дурачкам из Дома культуры. Назад дорога закрыта. А впереди ничего... Завтра Жолио узнает, что отец его выгнал. Тогда исчезнут и доходы: зачем Жолио с кем-то делиться... Бретейль думал его оскорбить. А это правда — завтра он начнет воровать, сделается котом. Это все-таки лучше их политики!..

Он вдруг остановился в изумлении: навстречу ползли карнавальные колесницы. Полураздетые девушки, ежась на холодном ветру, пытались улыбаться редким зевакам. Все было залито белым едким светом, от которого становилось еще холодней. И Люсьен вспомнил льды, смерть Анри... Белая колесница, огромные гипсовые лебеди, девушки в крахмальных чепцах с густо припудренными лицами... Почему сегодня карнавал?.. С трудом Люсьен припомнил: да, в газетах писали... Это Поль Тесса забавляет добрый французский народ. Довольно поднятых кулаков, красных флагов, бездушной политики! Да здравствуют веселье и торговля! Тесса решил показать всему миру, что Париж не боится ни революции, ни войны. Карнавальным шествием открывается весенний сезон: премьеры в театрах, розыгрыши крупных призов на ипподроме, балы, выставки

мод. Спешите, американцы и англичане! Тащите валюту. Вас ждут все кафешантаны, все портные, все парфюмеры, все проститутки. Вас ждет спаситель Франции — Поль Тесса.

Еще одна колесница. Тучная женщина с трехцветным шарфом на плечах держит электрический факел: это Франция. Ей холодно, у нее грустные глаза и лиловые губы. Люсьен остановился, поглядел на нее и вдруг, как мальчишка, показал ей язык.

8

Еще недавно слово «война» было связано с воспоминаниями: люди пятидесяти лет, мирные виноделы или счетоводы, в длинные зимние вечера любили возвращаться к бурям молодости. Свои рассказы они начинали: «Тогда была война...» Некоторые не щадили слушателей, преувеличивали пережитые опасности, старались звукоподражаниями и жестикуляцией передать грохот снарядов или стоны умирающих. Другим годы войны казались увлекательными похождениями, за которыми последовала серая, неказистая жизнь; забывая о грязи окопов, о вшах и страхе, с восторгом они описывали героические разведки, солдатские пирушки, любовные проказы. Детям давно надоели и бедствия, и удаль отцовской молодости. Война для них была чем-то вышедшим из употребления, как фиакры и керосиновые лампы. И вот знакомое слово обернулось, оно стало предчувствием, томлением; оно заслонило завтрашний день. Говорили: «Если не будет войны, мы осенью поженимся», или: «В июне сдам экзамены, если только не будет войны»...

В ту весну много писали о никому дотоле неведомых судетах, и, глядя на карту Чехословакии, люди боязливо ежились; они вспоминали четырнадцатый год, сербов, горячий день, когда беленькие листочки и смутный бой барабанов оповестили о всеобщей мобилизации.

Майская тревога оказалась ложной; но все боялись заглянуть в белесый туман знойного лета. Опять эти судеты!.. Что же тут было ответить приятелю, который спрашивал о каникулах? Тупо повторяли: «Если не будет войны...»

А каникулы приближались. И, отгоняя страх, парижане занялись выбором рыбацкого поселка или горной деревушки. Не сидеть же в раскаленном городе из-за проклятых судетов!..

Тесса твердо верил в счастливую звезду, свою и Франции; он заявил: «Наша страна — оазис мира!» Тотчас газеты и радио начали рекламировать спокойствие Франции, как патентованные пилюли или высокой марки аперитив. Куда ехать американцам? В Висбаден? Помилуйте, там штурмовики, военные маневры, концлагери, эрзацы. Не в Карлсбад, ведь там-то и живут эти самые судеты. В Италии госпитали с ранеными, прибывающими из Испании, суматоха — чернорубашечники готовятся к новым походам. А Виши, Трувиль, Биариц ждут гостей. Это воистину оазисы мира! И Жаннет каждый вечер повторяла в микрофон: «Оазисы мира... Заказывайте заранее комнаты... Изумрудное побережье... Не забудьте о красотах Маконэ, воспетых Ламартином... «О, благовест и мяты аромат!» Отменное белое вино и «траурная пулярдка», начиненная трюфелями...»

Отпуск Жаннет начался пятнадцатого августа. Она поехала на Лионский вокзал по пустым улицам. Как и в другие годы, Париж казался вымершим. Несколько провинциалов; автокар с англичанами. Опустевший город был живым, уютным. Толстяки на террасах кафе бесцеремонно расстегивали воротнички. Консьержки в шлепанцах сидели с вязаньем возле подъездов. Во всем была приятная истома. Люди благодушно улыбались, и шофер такси пожелал Жаннет: «Веселых каникул».

В вагоне снова говорили о судетах, о Гитлере, о войне. Жаннет не слушала: разговоры казались ей абстрактными, не связанными с жизнью. Но вот и Флери...

Почему она выбрала эту деревню, знойную и белую, среди синих виноградников, известную только виноторговцам? Может быть, она запомнила красивое имя с детства: Флери.

Жаннет давно не выезжала из Парижа. Она потеряла голову от воздуха, зелени, тишины. Дыша, она чувствовала, что дышит; она смаковала свежесть глубокого утра, бегала по полянам, взбиралась на холмы. Все здесь было спокойным, невозмутимым; вот такие же домики и вино-

градники Жаннет видела много лет тому назад, девчонкой... И, смеясь, она повторяла: «Оазис мира...» Хоть раз она не солгала!..

Виноделы опрыскивали лозы. Все было голубым: блузы, руки. Люди любовно осматривали каждую лозу; по-хозяйски, удовлетворенно, поглядывали на безоблачное небо, говоря Жаннет: «Вино в этом году будет хорошее...» Они помнили прожитую жизнь год за годом по тому, какое было лето: много ли солнца, удалось ли вино. Счастливые годы красовались на этикетках старых бутылок и жили в памяти, связанные с молчаливым торжественным зноем августа. А грозди уже темнели...

Внизу, в долинах, стояли деревья. Каждое жило своей жизнью; вязы, дубы, ясени были старше людей; и люди уважали деревья, заискивали перед их тенью, приходили к ним в часы изнеможения или любви. Под деревом закусывали, спали, целовались. Было среди деревьев у Жаннет любимое: на берегу узкой мутной речки стоял высокий ясень. На белом небе чернели как бы вырезанные листья. Ясень стоял прямо, не уступал ветрам, и Жаннет часто думала, что он, у въезда в деревню, сторожит мир.

Разговоры о войне дошли и до Флери. В полутемном кафе, где всегда бывало прохладно и где крестьяне медленно отхлебывали из тяжелых стаканов густое вино, вдруг раздавался голос диктора, этого недружелюбного чужого горожанина. Он говорил о судетах, о каком-то Генлейне. Виноделы хмурились: война подбиралась к их домам. Но вот приходил забулдыга Южень, неизвестно почему прозванный «Австрийцем», хотя родился он в соседней деревушке, усатый и красномордый, который восторженно объявлял: «А я сегодня съел сорок раков...» Позабыв про Генлейна, все обступали «Австрийца», хотели выведать, в какой речушке нашел он раков, но мошенник молча ухмылялся. Бывали и другие происшествия: из Лиона приезжали за вином для рабочего праздника; старик Боже продал туристам штопор, сделанный из лозы; у хозяина кафе сбежала коза. Все это было жизнью, а газеты и радио глухо говорили о смерти, и живые старались не вникать в их темные речи.

Жаннет вошла в пейзаж, слилась с окрестным миром. Крестьяне угощали ее вином, шутили с ней. Друг другу

говорили: «Забавная девушка; означало это — «славная, приятная». Она сразу забыла Париж, где оставила только одиночество да скучную, изнурительную работу. Автомобили на шоссе с нарядными парижанками напоминали ей о враждебном мире; она в страхе думала: «Скоро конец...»

И вот в один из самых спокойных, самых бездумных дней, когда неистовое солнце августа загоняло людей в прохладное кафе, с ней заговорил парижанин. Одет он был по-дачному: без воротничка, полотняные туфли. Веселый, с прогоревшей трубкой, с лицом обрюзгшим и насмешливым, с живыми внимательными глазами, он походил на виноторговца из Макона или Дижона. Вино он пил со смаком, прищелкивая языком и раздувая щеки. В тот день все засыпали от жары. А хозяйка кафе даже похрапывала. Но человек с трубкой был весел. Он рассмешил Жаннет, передразнив хозяйку и «Австрийца». Потом рассказал марсельский анекдот. Олив взволнован: «Иду вчера по Канебьер и вижу Мариуса. Кричу: «Здравствуй, Мариус!» А он не оборачивается. И представьте себе, оказалось, что он — это не он и я — это не я!» Жаннет смеялась: «Как глупо! Не он и не я...» Смеялась она так заразительно, что хозяйка, проснувшись, улыбнулась, а потом снова уснула.

Незнакомец понравился Жаннет, хотя был он немолод и некрасив. Привлекала его простота, ласковая насмешка, какая-то живучесть. Жаннет жила в мире актеров; там были лживыми все жесты, все интонации. Этот человек (про себя она называла его виноторговцем) пришелся ей по сердцу. Они весело болтали. А когда жара спала, вышли вместе, и Жаннет повела его к своему любимому дереву. Он сел на траву, снял шляпу, вытер большим фуляром лоб, сказал: «Удивительно хорошо» и сразу стал грустным. Помрачнела и Жаннет. Он сказал:

— И вы приуныли. Такой у меня талант: все замораживаю. В сказках есть люди, берут песок, а в руке золото. У меня — наоборот: вместо золота песок...

— Я это понимаю...

Жаннет в тоске вспомнила другое дерево, пыльное и сонное, на парижской площади, рядом с каруселью. Она могла быть счастлива. Почему она сама отказалась от

счастья? Как он... Вместо золота — песок. И чужой человек стал ей вдвойне мил. Она удивленно сказала:

— Вот мы и подружились. А я даже не знаю, кто вы. Я — актриса. Только не думайте, что вы знаете мое имя. Я — маленькая актриса. Работаю в радио. Жанна Ламбер, Жаннет... А вас как зовут?

— Дессер. Во Франции, наверно, сто тысяч Дессеров.

— Дюпонов больше. Я слыхала про какого-то Дессера... Миллионер. Говорят, чудак, но, как они все, мерзавец...

Дессер улыбнулся:

— Конечно... Давайте закончим представления; скажем, как мудрый Олив: не вы и не я. Хорошо? Вам это легко, поскольку вы актриса. Вы играете инженю? Обманутых любовниц? Деревенских служанок? Маргариту Готье?

— Я рекламирую вермут «синзано» и кровати «насиональ». И еще благоденствие Франции. Видите, какое ничтожество! Раз я должна была играть... Но меня заменили: вопрос имени, то есть денег. У меня есть приятель — режиссер Марешаль. Вы, наверно, слыхали... Он очень способный. Он придумывает постановки и не ставит: нет денег. У него революционный театр, а теперь это не в моде. Он чудесно придумал постановку «Нуманции». Я должна была играть главную роль... Все это мечты! Буду восхвалять искусственный жемчуг или новое слабительное. Все равно!.. Обидно, что скоро возвращаться в Париж...

Она подумала, что не знает даже, чем занимается ее собеседник; откуда он, правда, из соседнего Макона, из Парижа? Она робко спросила:

— Вы приехали сюда на каникулы?

— Да. Я снял домик недалеко отсюда, по дороге в Жюльена. Останусь до октября.

— Вы здесь с семьей?

Он рассмеялся.

— Я всегда один! Не знаю, что тому причина: я ли бегу от людей или люди от меня. Вот от вас не убежал...

— И я не убежала... Я тоже одна. То есть у меня были в жизни... я хотела сказать: близкие, это неправда — далекие. Жила с ними, вот и все. Это — внешняя сторона, роль,

которую поручили. Иногда даже меньше: комната в гостинице. Не все ли равно какая?..

Вечер принес прохладу; ясень вздрогнул под ветерком; закричали лягушки; вдалеке прозвенели бубенцы стада, Жаннет притихла. Дессер вдруг осунулся, постарел. Они молча вернулись к деревне. Прощаясь, Дессер попросил разрешения притти завтра. Он с горечью добавил:

— Ходатайствую, как школьник, о романтическом свидании под тенистой липой.

— Это не липа, а ясень. Не говорите так... Не нужно быть грустным! До завтра!

На следующий день выяснилось, что у нее глаза совы, волосы и доброта пуделя, язык парижского мальчишки. Выяснилось, что он презирает все и готов доупаду танцовать с девушками из Флери, что у него обтекаемая машина и потертый пиджак, что он любит стихи Лафорга, но почему-то занимается статистикой.

А еще через несколько дней выяснилось, что они ждут с нетерпением часа свидания, что оба наивны и самолюбивы, что никто из них не признается другому в своих чувствах. Жаннет думала: для него это банальное дачное похождение. Дессер говорил себе: я стар, уродлив, а ко всему купец...

Начало сентября было знойным. Крестьяне не могли нарадоваться. Грозди тяжелели. Скоро сбор винограда. Но Жаннет его не увидит: через неделю конец ее счастью.

Это было предпоследнее свидание. Дессер неловко ее обнял. В делах любви он и вправду был школьником. Жаннет почувствовала искренность, смятение Дессера. Она высвободилась и печально попросила:

— Не нужно.

Он тотчас покорился. Они шли по лесной тропинке, молчали. Потом Жаннет сказала:

— Здесь было много земляники, видите листья... Вы не сердитесь. Если бы у меня к вам ничего не было... Я ведь не девушка. Я сходилась просто, не знаю — отчего. От одиночества. Или не умела отказать... Но с вами другое...

Он ничего не ответил.

После этого разговора Жаннет всю ночь корила себя: она снова отказывается от счастья. Правда, она сама не знала, блажь это или настоящее чувство. Иногда ей каза-

лось, что она пристрастилась к беседам с этим человеком только потому, что он говорит, как эхо, отвечает ее мыслям. Они оба устали, опустошены, одичали без ласки. Оба бедняки. Что им дать друг другу? Иногда Дессер сливался с виноградниками, с отдыхом, с простыми шутками в деревенском кафе. Но сейчас ей показалось, что она его любит. Она рассердилась на себя за сцену в лесу: разыграла недотрогу. Потом — на него: почему он ее послушал? Наконец решила: «Завтра я его поцелую». И с этим заснула.

На следующий день Дессер пришел одетый по-городскому. Лицо у него было озабоченное.

— Через час я уезжаю в Париж.

Жаннет вскрикнула:

— Нет!

Он тихо ответил:

— Спасибо.

Потом показал синий листок — телеграмма.

— Меня вызывают. Неожиданное обострение...

И вдруг Жаннет услышала знакомые имена, как будто заговорил диктор: Гитлер, Генлейн, Чемберлен...

— Неужели война?

— Не думаю. Но нужно спасать мир. Во что бы то ни стало... Вы видали, как счастливы здесь люди. Нужно это отстоять...

Она глухо ответила:

— Да.

А минуту спустя удивилась:

— Почему вы?.. Нет, я ничего не понимаю. Я ведь до сих пор не знаю — кто вы. Сначала я думала, что вы торгуете вином... А теперь вы говорите, как будто вы депутат или министр...

Он на минуту развеселился.

— Нет, нет, не министр! Избави бог! Я торгую... Только не вином... Одним словом, тот самый Дессер, который мерзавец. Помните, вы в первый день сказали?.. Теперь вы, наверно, пошлете меня к чорту.

Жаннет изумленно посмотрела на него, как будто она раньше не видела этого человека. Миллионер... Она помнила богачей Лиона, чопорных и надменных. А Дессер пил с крестьянами, ходил в люстриновом пиджачке, прово-

дил дни с плохонькой актрисой... Непонятность всего еще усилила ее влечение к Дессеру. Как обидно, что он уезжает!.. Они попрощались у того же дерева. Жаннет хотела его поцеловать, но вдруг отвернулась.

— Я вчера ночью решила, что я вас поцелую. Но теперь нельзя — вы подумаете, что польстилась на миллионы...

У него на глазах показались слезы, и он, рассердившись на свое смятение, пробормотал:

— Это как всегда...

Она быстро его поцеловала и, взбежав на холмик, крикнула:

— Мой телефон: Суфрен ноль восемь двадцать шесть.

И, поднявшись еще выше:

— До свидания! В Париже увидимся. Хорошо?

Он уже успел притти в себя, стать обычным, чуть насмешливым:

— Конечно! Если только не будет войны.

9

Тесса так долго рассказывал всем о безопасности Франции, что сам в нее уверовал. Когда при нем говорили: «Если не будет войны», он с уверенностью отвечал: «Не будет». Собеседники улыбались, обнадеженные: Тесса что-то знает!.. А Тесса ничего не знал. Он мог бы, как другие, сесть и гадать: будет — не будет? Но он был спокоен. Спокойствие это было необъяснимым и непоколебимым; оно рождалось от зрелища людей, мирно распивающих аперитивы, от щебета Полет, от привычных парламентских сплетен; все в мире представлялось ему понятным и закономерным. Могла ли эта хорошо налаженная жизнь поколебаться от каких-то судетов?

Но вот наступил сентябрь. Телеграммы из Берлина говорили о близкой развязке. Нельзя было отделаться оптимистическими фразами. Тесса собирался отдохнуть в поместье друзей на берегу Луары, когда подошла гроза. Немногие понимали серьезность положения. Газетам не верили; помнили май, тогда журналисты тоже каркали; говорили: «Обойдется!..» Каникулы продолжались; заго-

рали на пляжах, подымались на ледники, удили рыбу. В теплой тишине дачных уголков газетные сообщения казались отвлеченными; трудно было представить, что донесения послов могут помешать купанью или прогулке.

Тесса пугала ответственность. Стоило ли интриговать, подкапываться, льстить, чтобы заполучить власть в такое проклятое время? Частенько он вздыхал о прошлом: куда легче было защищать честного убийцу, который, не говоря высоких фраз, прирезал богатую свояченицу! Но ни за что Тесса не расстался бы с министерским портфелем: в ощущении власти было нечто веселящее. Он помолодел лет на десять; даже Полет это заметила. Он все время был в движении, приподнят, возбужден. Он говорил себе: «Какие минуты! Министров было много, их забыли, а про меня будут читать правнуки. Только бы спасти Францию и мир!»

Положение с каждым днем обострялось. Нужно было что-то сделать, одернуть немцев. Но англичане отмалчивались. А Франция была разъединена. Тесса отводил в сторону Фланден, объяснял, доказывал, уныло повторял: «Мир на волоске...», и Тесса казалось, что вся беда в чехах. Потом прибегал бородатый Фуже, кричал о свободе, цитировал Клемансо, выплевывал: «Франция!.. Франция!..» И Тесса, испуганный, отвечал: «Чего ты петушишься? Мы не выдадим чехов. Ручаюсь...» И, освободившись от неистового бородача, Тесса вздыхал: кажется, придется воевать.

Только что ему принесли пространную телеграмму из Праги. Судеты выступят в ближайшие дни; германские войска перейдут границу, чтобы «защитить братьев»; Бенеш настаивает на совместном выступлении держав, гарантировавших неприкосновенность Чехословакии. Тесса задумался. Можно ли спасти чехов, когда Франция накануне распада?.. Правые грозят бунтом. Даладье пьет абсент и приговаривает: «Я не пошлю французских крестьян на убой...» Лебрен плачет. А друзья Дениз выносят воинственные резолюции и разжигают забастовки. Да, это тяжелее, чем защищать самого страшного убийцу!..

Когда в кабинет вошел Бретейль, Тесса грустно высморкался; предстоит еще один неприятный разговор. Мало ему судетов, надо считаться с оппозицией, ублажать

Бретейля!.. Тесса вдруг вспомнил Люсьена, выкраденный документ и всхорохорился. Его птичий нос заходил, как клюв хищной птицы.

— Видимо, придется воевать.

Бретейль спокойно ответил:

— Ни в коем случае. Ты знаешь, что мы не должны и не будем воевать. Успокой страну. Эта паника отражается на всей экономической жизни. Сегодня на бирже...

— А ты слышал, что на этой неделе ожидают путча судетов? Все как по нотам: немцы перейдут границу... Отвертеться мы не сможем.

— Если вы объявите мобилизацию, начнется гражданская война. Разгром Франции обеспечен. Конечно, Германия — наш естественный враг. Но бой нужно дать на выигрышных позициях. А Франция разделилась. Одни считают, что судетов следует отдать: богу — божье, Гитлеру — гитлеровское. Так рассуждают и депутаты моей группы. Кто против уступок? Коммунисты. Народный фронт. Поклонник Москвы Фуже. На чехов им наплевать. Они хотят укрепить свои позиции. Из ста французов десять — за компромисс, пять — за Бенеша, остальным попросту надоела вся эта история. Неужели ты пойдешь за коммунистами?

— При чем тут коммунисты? Речь идет о чехах.

— Да, но чехи — союзники Москвы.

— А мы? Пакт с Прагой подписал не Кашен, а Лаваль. Нельзя в вопросах иностранной политики руководствоваться партийными интересами.

— Мы не на Олимпе. Ты сам говорил, что французы не хотят умирать за барселонских анархистов. Нет, погоди, говорил ты это или не говорил? Ну вот, а теперь французы не хотят умирать за искусственное государство, которым к тому же управляют ставленники Кремля. Пойми, Поль, Чехословакия — авиаматка Москвы. Понятно, что Гитлер лезет на стену...

Тесса глядел на сухое костистое лицо Бретейля, и в голове все время вертелось: знает ли он, что документ Фуже выкрали?.. Наконец он не выдержал:

— Как ты относишься к Гранделю?

Бретейль пожал плечами:

— Я с тобой говорю о серьезных вещах, а ты спрашиваешь про какого-то мальчишку. Это не дело, Поль!..

Когда Бретейль ушел, Тесса стал прикидывать: правые сорвались с цепи — двести сорок голосов против... В одном Бретейль прав: страна разбрелась. Вытащить дело Гранделя? Но Тесса только осрамится: какие у него доказательства?.. Припугнуть Берлин? Но что, если Гитлер не испугается? Опасная игра... Генерал Гамелен три часа подряд говорил о «чешской линии Мажино». А когда Даладье поставил вопрос ребром, Гамелен предпочел ретироваться: «Армия выполнит приказания правительства». Повиноваться легко. Но ты изволь приказывать...

Перед обедом Тесса вызвал своего старого приятеля, генерала Пикара, которому он доверял. Пикар молодо выглядел, был спокоен; он как бы олицетворял непоколебимую армию Франции. Он не набросился на Тесса с тирадами, как Фуже или Бретейль, не стал увиливать; хладнокровно он изложил свои соображения.

— Я оставляю в стороне политическую сторону проблемы. Я человек военный... Конечно, потеря чехословацкого плацдарма будет для нас тяжелым ударом. Но нужно глядеть правде в глаза. Не думаю, чтобы нам удалось провести мобилизацию. Вы знаете настроения страны. Народ не понимает, почему он должен сражаться за судетов. Идея превентивной войны непопулярна. Что касается Германии...

— Но ведь чехи задержат их...

— Хорошо, если на неделю. Это — клещи; главный удар будет нанесен со стороны Австрии. Выступят венгры. Да и поляки... Немцы смогут сразу заняться нами. Конечно, у нас линия Мажино. Но...

— Но?..

— У нас мало самолетов. Летчики слабо обучены. Зенитная артиллерия далеко не на высоте. А испанский опыт показал...

Тесса перебил:

— Значит — нельзя?

Пикар вежливо улыбнулся.

— Для военного этого слова не существует. Но необходимо все взвесить... Потеря Чехословакии лучше военного разгрома.

Когда Пикар пришел, Тесса почувствовал некоторое успокоение; теперь он был подавлен. Пикар нарисовал картину разрушения Парижа. Если это знает Пикар, это знают и немцы. Нельзя даже блефовать... Что же делать? Подчиниться? Но роль Франции? Престиж?.. Тесса почувствовал острую обиду: его разжаловали, превратили в министра Бельгии или Португалии. В нем проснулся патриотизм. Сидя один в полутемном кабинете, он думал о днях Вердена, о товарищах, погибших на войне, о бесцельной победе восемнадцатого года. Да, статуя в Лувре полна значения: у победы крылья, но у нее нет головы...

Обедать он должен был с Дессером; и хотя Дессер всегда умел изысканной снедью порадовать своего приятеля, обед предстоял невеселый. Тесса даже не заглянул в меню. Ресторан был марсельский; об этом говорили запахи чеснока и лоз, на которых жарили рыбу. В другое время Тесса произнес бы вдохновенную речь о дивных дарах плодоносного юга. Но теперь он переживал горечь падения. Дессер усмехнулся:

— Мы не спрашиваем, имеются ли здесь раки в белом вине? Ай, ай, мы стали государственным человеком!

Впрочем, и Дессер был мрачен. Он обладал удивительной способностью: за день молодел или старел лет на двадцать. Вряд ли Жаннет узнала бы в этом обрюзгшем печальном человеке влюбленного романтика, приходившего под тень ясеня.

Дессер сдал за последние годы. Он и раньше мало во что верил; но была в нем страсть; с азартом он строил и опрокидывал могущественные тресты, затевал биржевые бури, менял, как перчатки, министров. Он клал все свои силы на сохранение окостеневшего общества, его уюта, духоты, скромных радостей. События последних лет, забастовки, террор фашистов, испанская драма, захват Гитлером Австрии, предвидение других, еще бóльших, испытаний лишали его жизнь смысла. Климат в мире изменился; нельзя было надеяться на чудодейственное спасение старомодной провинциальной Франции с ее удильщиками, сельскими танцульками и радикал-социалистами. Дессер продолжал работать; это было инерцией. Как упрямый игрок, он ставил все на тот же номер, и шарик рулетки над ним издевался. Положение обязывало: Дессера спра-

шивали, приходилось отвечать, а любое его слово расценивалось как приказание.

Так было и с Тесса: ведь не ради раков в вине пришел он сюда. Напрасно Дессер старался его развлечь гастрономическими сюрпризами. Тесса думал о своем: о развалинах Парижа, о голосах правых. Уныло он допрашивал Дессера:

— Что же будет?..

— Придется отступать. Ты говорил с Бретейлем?

— Да. Они рвут и мечут... Бенеш для них «большевик»!

Дессер рассмеялся:

— Конечно. Первым большевиком был Асанья. Интересно, кто окажется третьим. Чемберлен или ты? Все это очень забавно. Но вывод ясен: придется отступать. Понимаешь, они перепутали все карты. Теперь не может быть обыкновенной, честной войны, всякая война превратится в гражданскую. Когда-то опасность была только в подпольных кружках, в недовольстве населения, в солдатских бунтах. Идиллия!.. Теперь существует огромное государство с дипломатами, того хуже — с самолетами. Естественно, что все косятся на восток. Если русские будут с нами, друзья Бретейля станут пораженцами. Если русские пойдут против нас, пораженцами станут рабочие. А если русские останутся в стороне, предпочтут выждать, тогда все заделаются пораженцами. Наши буржуа боятся и поражения, и победы. Пуще всего они боятся, как бы Москва не окрепла. Вот и воюй в таком положении! Я понимаю, что рабочие поют «Марсельезу». Но ты не слушай. Песни — песнями, а нужно отступать.

Тесса молча сидел над тарелкой, наполненной раками. Он был еще бледней обычного, жаловался на жару, вытирал салфеткой лицо.

— Устал!.. А нужно на что-то решиться. Ты ведь знаешь Даладье — стучит кулаком, кричит: «Я, я, я...» Наполеон... А на самом деле тряпка. Хочет блефовать. Но что, если немцы в ответ пошлют пятьсот, тысячу бомбардировщиков? Пикар говорит, что наша авиация никуда не годится. Я чувствую, что на мне лежит страшная ответственность. Прага ждет ответа. Мы ведь им обещали...

— Я недавно обедал с Чемберленом. Хитрый купец. Злой, но меда вот столько!.. Он мне показал часы своего

дедушки — луковица, на крышке выгравировано: «Никогда не обещай того, чего не можешь выполнить». Для купца это замечательный девиз. Но ты не огорчайся: не ты обещал, а твои предшественники. Да если и ты — неважно! Политика не коммерция, в политике нельзя быть честным.

— Но мы должны на что-нибудь решиться...

— За нас решат другие... Мне час тому назад звонили из Лондона... Достоуважаемый Чемберлен решил договориться с Гитлером. Я тебе говорю: это хитрый старикашка. Значит, тебе нечего волноваться. Мы пока что британский доминион. Может быть, превратимся в провинцию «райха». Бретейль станет гаулейтером. Отвратительно! Но ничего не поделаешь: французы разжирели... Повторяю: придется отступать...

Дессер еще больше помрачнел. А Тесса теперь улыбался. Известие о намерениях Чемберлена его обрадовало: с правительства снимали ответственность. Если англичане уступят, даже Фуже подожмет хвост... Тогда за кабинет будут голосовать и правые, и левые. Можно будет произнести прекрасную речь: «В трагические минуты необходимо национальное единение»...

И если раки прошли незамеченными, Тесса оценил и кефаль, и рагу из бычьих хвостов. Он ел жадно, причмокивая, отрыгивая; потом в изнеможении, со слабой улыбкой, отвалился и удивленно спросил:

— Почему ты ничего не ешь?

— Нет аппетита.

Только теперь Тесса заметил, что Дессер плохо выглядит. Он покровительственно хлопнул по плечу всемогущего финансиста.

— Года через два-три мы отыграемся. Главное — оттянуть... Ты напрасно ничего не ешь. Надо поддерживать священный светильник. Я вот сегодня очень хорошо пообедал. Я даже не подозревал, что так проголодался. Возьму еще сыру...

Он ел, ел. Дессер улыбнулся:

— Когда умерла моя тетка, дядюшка съел в один присест две утки и сказал: «Это с горя...»

Тесса вернулся домой веселый. Амали спросила:

— Ты выпил?

— Нет. Но я хорошо пообедал, очень хорошо. Потом важные политические новости... Ты не поймешь — это все чертовски сложно. Вывод ясен: придется отступать.

И, стаскивая с себя брюки, он игриво бормотал: «Отступать... пать... пать...»

10

Жолио жаловался: «Сколько меня морили на курортах, не худел, а теперь я, наверно, пять кило потерял». Редакция напоминала штаб; Жолио держал себя, как главнокомандующий: принимал таинственные пакеты, отдавал еще более таинственные приказы, повесил в кабинете огромную карту Чехословакии. На самом деле он ничего не понимал и похудел от томления: боялся напутать, рассердить Дессера, который продолжал поддерживать «Ла вуа нувель». А от Дессера ничего нельзя было добиться; он отвечал: «Поддерживайте правительство». Но кого?.. Министры не могли сговориться; Даладье травил Манделя; Тесса подкапывался под Рейно. И все требовали от Жолио услуг.

Благодаря Дессеру «Ла вуа нувель» стала одной из самых влиятельных газет. Жолио изменял своему покровителю налево и направо: брал из секретных сумм министерства иностранных дел, не брезгал и подачками различных партий. Иногда он упрекал себя за ветреность: вдруг Дессер узнает?.. Но быстро утешался, говоря себе, что у него уйма расходов, что жена требует манто из чернобурок, что сотрудники прожорливы, наконец что деньги он берет у честных французов, друзей Дессера, и, следовательно, никого не обманывает. Однако теперь бедняга растерялся: сообщения напоминали шотландский душ с чередованием ледяной воды и кипятка. Трудно было разгадать намерения правительства: готовятся они к войне или пойдут на капитуляцию? Жолио говорил жене: «Это не политика, а бордель. Господи, только бы не наделать глупостей!» Но перед сотрудниками он прикидывался всезнающим, полным дипломатических тайн, и на вопросы многозначительно отвечал: «Мы ведем сложную игру, очень, очень сложную...»

Страна была сбита с толку. Одни газеты писали, что Гитлер собирается напасть на Страсбург; другие уверяли,

что чехи притесняют судетов и что Франция тут ни при чем. Проглатывая десяток статей, люди в ужасе спрашивали друг друга: «Что же это значит? И главное, чем это кончится?» Тем временем продолжалась обычная жизнь. Виноделы готовились к сбору винограда, театры — к премьерам, школьники — к началу учебного года. Женщины, запасаясь сахаром и рисом, приговаривали: «Хоть бы не было войны!» И повсюду находились люди, которые отвечали: «Ее и не будет. Какое нам дело до чехов? Войны хотят только марксисты и евреи. Но с ними мы скоро рассчитаемся...» Буржуа прославляли Чемберлена, окрещенного «ангелом мира»; поэты слагали в его честь стихи; газеты собирали деньги на ценное подношение ему; улицы французских городов называли «улицами Чемберлена». На роскошных курортах, в казино, в поместьях, в преждевременно проснувшихся после летней спячки богатых кварталах Парижа проклинали чехов; говорили, что вся беда от них, что они хуже болгар, не то большевики, не то башибузуки. А в рабочих пригородах ругали Даладье, вспоминали Испанию и «невмешательство», кричали: «Довольно капитуляций!»

Вечером пришло тревожное известие: вторичная поездка Чемберлена закончилась неудачей. Жолио развел руками. Он только собирался посвятить две полосы бескровной победе «ангела мира», не побоявшегося в преклонном возрасте совершить еще один полет. И вот снова осложнения!.. Жолио метался по кабинету, не зная, что предпринять, когда неожиданно позвонил Дессер: «Приезжайте».

В квартале Инвалид улицы были затемнены. Жолио суеверно вздрагивал: синие лампочки казались ему могильными лампадами. Вид Дессера его не успокоил: серое, отекшее лицо, погасший взгляд, фиолетовые мешки под глазами. Даже стол Дессера, обычно заваленный бумагами, наводил тоску — голый стол, а на нем стакан воды и таблетки от головной боли. Дессер сразу сказал:

— Положение серьезное. Конечно, войны никто не хочет, но все блефуют... Могут начать не люди, а винтовки!.. Хотя я, как всегда, оптимист. Послушайте, мой друг, вашу газету читают передовые люди, а не кретины. Марселю Деа они не верят. Это человек с подмоченной репутацией.

Над стишками Мориса Ростана смеются. Нельзя так! Посмотрите, какие у них имена: Кериллис, Дюкан, Буссорто, Фуже, Кашен... А кого вы им противопоставляете? Прощалыг. Или слезливых дамочек.

Жолио от волнения хрипел. Он судорожно рылся в своих карманах, набитых письмами, счетами, амулетами,— искал рукопись. Нет, он не зря получает деньги! С гордостью он протянул Дессеру листок тонкой хрустящей бумаги:

— Вот!

Это была статья знаменитого писателя. Дессер прочитал: «Лучше рабство, чем смерть» и отложил листок. Почему его лицо скосила брезгливая усмешка? Не раз он высказывал ту же мысль, защищал уступки, предлагал перейти на положение второразрядной державы, высмеивал непримиримых. Он боялся смерти, никогда не ходил на похороны, часто думал: «Только бы не умереть!» И вот это было написано на тоненьком листке... «Лучше рабство...» Слово было неприятным, жестким; оно не вязалось с детскими воспоминаниями Дессера, с задорными подростками, с ворчливыми стариками, с куплетистами, с морским ветром, с любимыми авторами. Дессер молча отдал рукопись и, прежде чем возобновить разговор, принял еще одну таблетку.

— Хорошо будет, если вы напечатаете статью Виара. Или интервью. Конечно, за годы у власти он потускнел. Но для значительной части рабочих он остается честным человеком. Если он выскажется за компромисс, никто его не заподозрит в шкурничестве. Скажут: «Интернационалист, пацифист...» Что касается этой статейки, мысли правильные, но я все же заменил бы слово «рабство»...

Дессер почему-то вспомнил Жаннет, тропинку в лесу, печальный голос, когда она попросила: «Не нужно».

— Я поставил бы другое слово: «скромность». Или «несчастье».

На следующий день Виар принял Жолио. Толстяк сразу объяснил, зачем пришел. Виар ответил глухим, утомленным голосом:

— Я знаю. Дессер меня предупредил. Мы об этом еще поговорим... Вы меня простите, но я не знал, что Гитлер

будет выступать по радио. Сейчас мы его послушаем. От этой речи многое зависит...

— Вы знаете немецкий?

— Конечно. На интернациональных конгрессах я слышал всех старых социал-демократов: Бебеля, Либкнехта, Каутского. Помню, как Бебель выступал в Базеле незадолго до войны... Хорошие были времена! Не то, что теперь... Да, мой друг, положение очень тяжелое. Мы, социалисты, говорили, что надо беречь Веймарскую республику. С Штреземаном было легче договориться... Нас не послушали. Вот и результаты! А воевать мы не можем. Да и не должны. Демократии не созданы для войны, это аксиома; от войны они либо гибнут, либо вырождаются. Клемансо чуть было не сожрал парламент. А в Италии? А судьба Керенского? Если нас побьют, неизбежна революция. И не та, о которой мы мечтали, но диктатура. Это понимают все. А что нас ждет в случае победы? Власть захватит какой-нибудь генерал. Конечно, у нас имеются честные военные, хотя бы старик Петэн. Но найдутся и авантюристы. Я недавно был на заседании военной комиссии. Туда пролез полковник де Голль. Самоуверенный субъект и честолюбивый. Он заявил, что мы зря теряем время, необходимо изменить бюджет, заняться моторизацией армии и так далее, в том же духе. Такой солдафон может в два счета объявить диктатуру. Я вообще считаю, что военных надо держать в стороне. Глупо с ними советоваться. Вот и Даладье...

Он не закончил фразы и кинулся к приемнику. Раздался гул.

— Сейчас он будет говорить. Подумать, что весь мир в эту минуту, затаив дыхание, ждет у приемников...

Когда Жолио спрашивали, на каких языках он изъясняется, он с гордостью отвечал: «По-французски и по-марсельски». Он не знал ни одного немецкого слова. Все же он напряженно слушал громкую отрывистую речь. Гитлер вначале говорил спокойно, но потом в хриплом голосе послышались угрозы. Приемник выплевывал непонятные и от этого еще более страшные слова. Гитлер лаял, как старый волк. Жолио стало не по себе; он сжал рукой спинку стула: он строго придерживался всех примет и верил, что дерево предохраняет от беды.

Виар то кивал головой, как бы одобряя речь невидимого оратора, то обиженно ежился; дрожали подбородок, нос, пенсне. Жолио жадно следил за лицом Виара, пытаясь понять суть темной для него речи. Иногда комнату заполняло рычание толпы: «Зиг-гейль!» Тогда Жолио хватался рукой за стул. Длилось это добрый час. Наконец раздался восторженный рев. Виар вытер платком лоб. Жолио робко спросил:

— Ну как?

— Что же, ничего особенного... Я все это предвидел. В общем я оптимист. Он еще раз подтвердил, что отказывается от Эльзаса. А для нас это самое существенное.

— Чехи?..

— В этом он непримирим. Но, поскольку он отказывается от притязаний на Западе, я считаю соглашение вполне осуществимым. В конечном счете позиция Праги зависит от нас. Компромисс намечается... Необходимо это объяснить. Сейчас я продиктую статью.

Он позвонил. Пришла машинистка, кудрявая, сильно напудренная. Виар начал диктовать. Он ходил по комнате, иногда останавливался и не диктовал, но декламировал; ему казалось, что он на трибуне. Его голос дрожал от волнения.

— Стеклянные глаза Горгоны памятны всем матерям. Мы знаем, что такое земля Вердена! С радостью мы отмечаем, что Гитлер, как солдат мировой войны, не забыл всех ужасов страшной бойни. Протянутую им руку мы, представители французской демократии...

Он вытянул руку и задумался. Машинистка спросила:

— После «демократии» точка?

— Нет, запятая. Сыновья миролюбивого народа, ученики Жореса...

Потом он проверил текст, подписал. Когда Жолио уходил, он ему сказал:

— Поставьте в конце, что права закреплены за агентством Атлантик — это для американцев. Ничего не поделаешь, приходится думать и о хлебе насущном,— я ведь вернулся к профессии журналиста. Мы теперь коллеги...

Оставшись один, Виар вспомнил речь и вздохнул. Да, это не Бебель!.. Хорошо, что министерский кризис разыгрался весной. Грязное дело! Еще хуже, чем с испан-

цами... Придется откупаться чужим добром. Впрочем, чехам тоже лучше уступить — их сразу раздавят... В такое время куда приятней быть журналистом: меньше ответственности... Радикалы обязательно хотели выкинуть социалистов из кабинета. Пускай теперь расхлебывают!

Он задремал, сидя в кресле. Разбудил его женский голос: неожиданно приехала из Периге старшая дочь — Луиза. Всхлипывая, она обняла отца:

— Вчера вечером пришли за Гастоном. Он в зенитной артиллерии. Папа, что же будет?

Виар стал благодушным и важным; с таким лицом он когда-то приносил дочкам подарки.

— Сейчас скажу... Погоди, не плачь! Все обойдется... Мы не допустим войны, понимаешь, не допустим.

А Жолио пришел домой невеселый. Конечно, Дессер знает, что делает, но все же синие лампочки, речь Гитлера... Бррр! И Жолио нервничал. Жена за ним ухаживала, принесла домашние туфли, заварила любимую его настойку — вербену. Жолио сказал:

— Получил статью от Виара. Триста строк. Пустили на первой полосе с портретом. Дессер будет доволен. Но если бы ты их видела, кошечка!.. Говорят они об оптимизме, а поглядеть — утопленники. Дессер, по-моему, болен, такой у него вид. Вдруг рак?.. Вот еще сюрприз!.. Тогда газете конец.

Жена налила вербеновую настойку и тихо спросила:

— Война будет?

Жолио засмеялся:

— Какая там война! Прагу отдадут, увидишь! Гитлер кричал, кричал... Я всю его речь слышал. Буйный помешанный. А Виар даже побледнел. Знаешь, чего я боюсь? Как бы они им Марселя не отдали. Тогда и удрать будет некуда, честное слово!..

11

Андре весь день бродил по взбудораженному Парижу, слушал лихорадочные разговоры: «Будет?.. Не будет?..» Под вечер, измучившись, пришел он на свою улицу Шерш-Миди. Но и здесь не было спокойствия. Сапожник кричал: «Если их не отвадить, они сюда придут. Это голод-

ные крысы!» Супруга антиквара Боло, седая дама в пышном корсете сетовала: «Нет, вы скажите мне: при чем тут Франция? Вы когда-нибудь видали живого чехословака?» А в кафе «Курящая собака» один посетитель стал доказывать, что немцам тесно: «Возьмите кафе в воскресный день. Столики часто выставляют дальше, чем полагается, это в порядке вещей». Хозяин, хмурясь, заметил: «За это штрафуют». Водопроводчик завопил: «Бошам тесно! А мне? Какой вы француз, вы фашист и подлюга!» Началась драка.

Андре разглядывал вещи: их вид успокаивал. Чего только не было в витрине старика Боло! Негритянский идол величественно и бесстыдно показывал миру свою божественную сущность. Тускло посвечивали тарелки; дельфтский фаянс — белый и синий, похожий на замерзшие каналы, руанский — теплый, розовый, кемперский — с петухами и бретонцами. Китайские пуговицы из слоновой кости. Табакерки с фригийским колпачком и непримиримой надписью: «Равенство или смерть». Ожерелья из тяжелого янтаря, гранатовые браслеты, персидская бирюза. Кружева валансьенские, брюггские, венецианские. Голубое стекло. Цветные английские гравюры: жокеи в пастелевых куртках, бледные стыдливые лошади. Кальян, пышный и загадочный, как колба алхимика. Ангелы, монеты, локоны, восковые розы. Сколько на все это положено труда!..

Рядом с антикваром помещалась молочная. Андре восхищенно смотрел на сыры, как будто перед ним полотна великих мастеров. Здесь были красные шары голландского сыра; слезящаяся скала швейцарского; сухой, похожий на воск, пармезан; копченый качкавал, украшенный гирляндами; рокфор — мрамор с голубыми прожилками; истекающий в истоме золотой бри; том, покрытый рыжей корой, с вкрапленными в нее сухими виноградинами; черный, как бы могильный, мелен; козьи сыры на зеленых листьях — сухие лепешки или пирамиды, или длинные, с веткой можжевельника, заменяющей хребет; здесь были десятки других сыров — от младенчески белых, творожных, до едких, кирпичных, оливковых, темносиних.

Еще дальше — магазин вина: бутылки корректные, с узкой шейкой — для бордо; это спокойное, семейное вино,

его любят сенаторы, мудрецы, юбиляры; пухлые бутылки, уютные, как тетушки — для бургундского, для вина зрелости; а для эльзасского, которое почитают влюбленные, и бутылки романтические, тонкие, зеленые. На этикетках имена маленьких сел, облетевшие весь мир: Шамбертен, Шабли, Барзак, Бон, Вувре, Нюи, Шатонеф-дю-пап. Бутылка с коньяком обросла пылью, она могла бы красоваться в лавке Боло. И Андре подумал: «Старше меня...»

А вот его любимая витрина. Здесь Андре частенько останавливался, разглядывая трубки: длинные и носогрейки, прямые, изогнутые, похожие на горный рожок, крохотные для снобов и увесистые для моряков, черные, бурые, светлорыжие. Хозяин магазина как-то объяснил Андре, что трубки делают из корней мертвого вереска; корни должны пролежать в земле, по меньшей мере, полвека, иначе курить невкусно. И Андре сейчас захотелось поговорить о мертвых корнях. Но хозяин, заикаясь от волнения, спросил: «Как по-вашему, будет война?» Андре поплелся к себе в мастерскую.

Забежал Пьер, торопился все выложить — вечером на заводе собрание, рабочие встревожены. Конечно, Пьер постарел, но осталась в нем порывистость южанина; он был потрясен событиями; не мог ничего договорить до конца; все время открывал и закрывал приемник; кричал:

— Всему есть предел! Теперь они не могут отступить: дальше — пропасть... И все-таки трусят!.. Ты читал статью Виара? Какой срам! Но рабочий класс...

Андре его прервал:

— Мечтатель! А в общем я ничего не понимаю. Как всегда... Тебе что — войны хочется? Ведь и война — дермо. На картинах в Версальской галлерее — полководцы, знамена, облака. А на самом деле — грязь, вши. Не знаю, право, как жить?.. Тебе хорошо. У тебя, во-первых...

Он загнул большой корявый палец.

— ...Аньес. Во-вторых, сын. В-третьих, что называется, идеалы. А у меня пусто, ох, как пусто!

— У тебя искусство.

— Искусство? Это, Пьер, разговоры. Погода неподходящая. Я вчера получил от отца письмо; спрашивает, как насчет войны — ему для яблонь нужно знать. Ну,

а мне для картин. И мне-то некого спросить. Если даже теперь обойдется, через год или два начнут сначала... А ты хочешь, чтобы я жил искусством! Отстояться все должно. Для этого нужно много времени, очень много. Я сегодня трубку присмотрел, чудесная, все жилки идут наверх. Ты знаешь, из чего она? Из корня мертвого вереска. Понял? Он в земле сто лет пролежал. А здесь что? Забастовки, демонстрации, Гитлер вопит, какие-то судеты, и, пожалуйста, садись, пиши классические полотна! Я тебе говорю — дермо!..

Теперь не Пьер — он кинулся к приемнику, и Пьер его остановил.

— Еще рано. Сообщения будут передавать через двадцать минут.

Андре не мог признаться, что ему безразличны отклики Рима и Вашингтона на поездку Чемберлена, что он ждет другого: эту страсть он пронес сквозь два тяжелых, смутных года — по вечерам слушал Жаннет. Он не видел ее, не знал об ее горестях; для него она не менялась. Да, только она и не менялась в этом сумасшедшем мире.

— Я боюсь прозевать... Сначала они пускают рекламы. Но это недолго...

Радио молчало. Жаннет не было. И это показалось Андре самой страшной приметой. Он сказал Пьеру:

— Не сговорились.

— А я боюсь, что Даладье пойдет на попятную...

Они о разном думали, разного опасались. Вместо обычной передачи, вместо глубокого голоса Жаннет, раздавались удары метронома, сухие и безжалостные; от них болела голова. И вдруг равнодушный голос:

— Военнообязанные с литерами А и Б...

Андре обрадовался: что-то свалилось с плеч. Теперь за него будут думать другие.

— Вот так штука!.. Значит — воевать....

Он не слушал рассуждений Пьера, его доводов, споров с самим собой, признаний. Все та же, столь хорошо знакомая улица; напротив, на балкончике, горшок с цветами; бледный, немощный месяц на светлом небе. Андре понял, что для него все это время было только мучительной паузой: от июньских дней с красными флагами, от ночи, когда кружилась карусель, до стука метронома, до топота под

окном, до мобилизации. Не знать, не помнить, не думать. На минуту сжалось сердце: что с Жаннет?.. Но и эта тоска уже была бессильна: все падало, кружилось, пропадало. Он вышел вместе с Пьером. Возле ворот плакала женщина. Прошли запасные с чемоданчиками; пели «Марсельезу», потом «Интернационал». Пьер все продолжал рассуждать. Синие огоньки. Теплая летняя ночь. «Рай для влюбленных»,— неожиданно подумал Андре и снова увидел площадь Контрескарп праздничной ночью. Огни, огни...

— Мне нужно на метро, боюсь, что опоздаю. До свидания, Андре.

Пьер сказал это, но не уходил. Слова «до свидания» смутили обоих. Андре поглядел — не было Пьера-отца, Пьера-инженера, всех этих разговоров о Дессере, о социалистах, о войне. Перед ним стоял школьный товарищ, озорник и мечтатель, который когда-то предлагал двенадцатилетнему Андре уехать в Гренландию. И Андре сказал:

— Помнишь, ты хотел в Гренландию? За китами. Смешно! А тебя, наверно, тоже призовут. Перебьют нас, как мух, это наверняка. Почище Вердена... Но это неважно. Хорошо, что ожидание кончилось: так больше нельзя жить. Теперь какая-то развязка. Стихи есть, не знаю чьи: «Обманутой дано мне умереть...» Но ты понимаешь, что самое смешное? Давно это было; в нашем кафе ко мне немец подсел, классический — голубые глаза, сзади все выбрито. Я думал — эмигрант, нет, немец как немец. Рыбами занимался. Ему мои пейзажи понравились. Он тогда напился и уверял, что обязательно будет война и что немцы разрушат Париж. Чудак! Мне смешно, что его, наверно, тоже призвали. Значит, он — на меня... Ну разве не дермо? Но я, Пьер, счастлив, что-то кончилось. Война — так война...

Они простились.

12

Бретейль едва держался на ногах; глаза у него были красные от бессонных ночей. Поддерживали его железное сложение и воля: нужно во что бы то ни стало добиться компромисса. С Германией можно договориться. Главное — порвать пакт с Москвой. А события быстро развора-

чивались; Гитлер не хотел ждать; «ангел мира» напрасно летал над растерянной Европой; во Франции могикане Народного фронта требовали отпора. Бретейль писал статьи и листовки, беседовал с дипломатами, наставлял «верных», а через генерала Пикара руководил штабами.

Париж затемнили. И в темноте сновали доверенные Бретейля, увещевая или науськивая:

— Чехословаки сами виноваты. Войны хотят богатые евреи.

— Мандель за войну. А его настоящая фамилия Ротшильд. Бенеш ему заплатил... А наших детей гонят на убой!

— У немцев сто тысяч самолетов. Они раздолбят Париж в первый же день...

На Восточном вокзале царила суматоха: то и дело отходили поезда с запасными. Некоторые подымали кулаки, пели, говорили: «Надо показать немцам, что не все ползают на брюхе». Другие угрюмо бормотали: «Нам-то зачем лезть?..» Женщины плакали. Здесь было раздолье фашистам; они говорили, что мобилизацию объявили незаконно, что чехословаки сами нарушили договор, и французам на них наплевать.

Как в начале испанской войны, Париж разделился на два лагеря. На Елисейских полях торжествовало «миролюбие»: проклинали ужасы войны, взывали к гуманности, даже к «братству». Люди легко забывали не только свои недавние слова, но и свою биографию, традиции среды, мифы касты. Тупая ненависть к «лодырям» (так фашисты продолжали называть рабочих) оказалась сильнее всего. Колониальные офицеры, проделавшие кампанию в Рифе, самодуры, подводившие солдата под расстрел за ничтожный проступок, теперь клялись, что ничто не может оправдать кровопролития. Академики, еще вчера чванливо толковавшие о «непобедимой Франции», жившие цитатами из маршала Фоша, утверждали, что воевать нельзя: стоит немцам дунуть, и, как карточный домик, полетит вся линия Мажино. А уроженец Лотарингии Бретейль, для которого лучшим часом его жизни было вступление французского отряда в Метц, говорил: «Вопрос о границах отходит на задний план по сравнению с защитой нашей западной цивилизации от большевиков».

Из богатых кварталов люди поспешно уезжали. Курорты было опустели: встревоженные газетными сообщениями, дачники вернулись в столицу, но когда началась мобилизация и город затемнили, буржуа стали покидать Париж, отсылали свои семьи подальше. И в непривычное время года ожили морские пляжи, горные деревушки. Уже опадали деревья: над Ламаншем кружились осенние бури. Дачники-поневоле мерзли и в досаде твердили: «Пора все-таки обуздать этих проклятых чехов!» (О судетах больше никто не вспоминал.)

А в рабочих предместьях раздавались другие речи. Войне и здесь не радовались; но люди молча шли защищать свою родину; знали, что страна приперта к стенке: повторяли, что дольше так жить нельзя. Слово «агрессор» стало понятным, будничным. И часто «Интернационал» провожал запасных. На будущее глядели с надеждой: предстоял бой с фашистскими захватчиками, с их французскими друзьями — с людьми Бретейля и Дорио. Иногда казалось, что оживает июнь тридцать шестого. Обри, который осмелился в Бильянкуре прославлять Чемберлена, жестоко избили. Когда его уносили полицейские, мальчуган весело крикнул: «Вот и война!..»

— Войны не будет, — говорил на собрании «национально мыслящих депутатов» Бретейль. — Ее и не должно быть. Чехословаки связаны договором с Москвой. Другими словами, нам предлагают сражаться за коммунизм. Необходим компромисс. Будем рассуждать трезво. Мы подточены большевизмом. В Испании еще продолжается национальная война. Англия на своем острове защищена от заразы. Англичане могут лицемерить, блефовать, кокетничать либеральными идеями. Но кто действительно способен защитить Европу от коммунизма? Да только Гитлер. Значит, наши союзники — наши враги, а наши враги — это наши союзники.

Впервые Бретейль посмел высказать свои мысли в присутствии Дюкана. Он ждал полемики, патриотических тирад. Он не знал, в каком состоянии находится Дюкан: он его не видел с начала сентябрьской тревоги — избегал встречи. А Дюкан был доведен до бешенства. Этот человек, неглупый, но медлительный и упрямый, как бы проснулся. Он ведь пошел к правым, думая, что они отстаи-

вают «великую Францию». И вот он увидел, как друзья Бретейля, вчерашние друзья Дюкана, срывают мобилизацию, призывают к дезертирству, к измене. А кто хочет защищать Францию? Рабочие. Страшно сказать — коммунисты! Для Дюкана это было тяжелым ударом. Он долго не хотел верить в правду. Он утешал себя мыслью, что классовый эгоизм, ослепляющий десятки тысяч людей, чужд Бретейлю. Все последнее время он пытался поговорить с Бретейлем, но это ему не удавалось, и он терзался сомнениями. Будь Дюкан моложе, он нашел бы успокоение на боевом посту; но в пятьдесят шесть лет трудно мечтать о воздушных боях. Он боролся, как мог, с пропагандой пораженцев. Его сторонились; иногда снисходительно замечали: «фантазер», иногда злобно обрывали: «инструкции Москвы». Теперь впервые он услышал из уст Бретейля все то, что его возмущало. Он хотел заклеймить своего учителя, разоблачить врагов Франции. Но он так волновался, что не мог говорить. Порок речи перешел в немоту. Раздавалось мучительное мычанье. Наконец он неестественно громко выкрикнул:

— Вот кто вы!.. Поклонник Гитлера! Вас ранили на войне, это — знак почета, но вы его недостойны!

В его голосе послышались слезы. Схватив свои бумаги, разбросанные на столе, он выбежал из комнаты. Депутаты пожимали плечами: сумасшедший! Некоторые говорили, что Дюкана нельзя судить слишком строго: на войне его трепанировали; наверно, это отразилось на его психическом состоянии. Только Грандель насмешливо ухмыльнулся:

— Под видом безумия вполне логичный поступок. Я вчера его встретил с Фуже. Это не столько патриотизм, сколько московская кормушка...

Бретейль предложил не терять драгоценного времени: инцидент с Дюканом можно отложить до более спокойных времен, а теперь следует заняться международным положением — каждый час может принести развязку.

— Мы должны опереться на Муссолини, он нас сблизит с Гитлером. Об этом мечтает и Чемберлен. Радикалы должны будут волей-неволей осуществить нашу давнюю мечту — пакт четырех.

Приняли резолюцию: «Национально мыслящие депутаты надеются, что правительство приложит все усилия для сохранения мира и не предпримет каких-либо опрометчивых шагов».

Когда депутаты разошлись, к Бретейлю подошел Грандель и дружески сказал:

— Вы изумительно держались! На вашем месте я не стерпел бы. Эти разговоры о вашем ранении... Какая низость!

Бретейль оглянулся. В комнате никого не было. Он очень тихо сказал:

— Я не люблю, когда меня считают простофилей. Дюкан — дурак и невропат. Что касается вас... Я теперь осведомлен о двигательных силах вашего патриотизма. Надеюсь, вы меня поняли?

Грандель растерянно заморгал:

— Нет.

— В таком случае я уточню. Мне известно, что некто Кильман...

— Опять эта фальшивка!..

— Простите, но мне подтвердили, что вы действительно с ним встречались.

Грандель побледнел: если Бретейль выступит против него — крышка... Он молчал.

— Хорошо, что вы не возражаете. Я никому об этом не говорил. Не собираюсь говорить. Но я не хочу, чтобы вы принимали меня за простачка. Ваши берлинские хозяева считают, что они мною пользуются. Это их дело. Я лично убежден, что я пользуюсь ими. Я служу, господин Грандель, не Кильману, но национальной Франции.

Грандель успокоился, даже повеселел. Он ответил:

— Это, дорогой господин Бретейль, оттенки. Зачем о них спорить?

На улице была все та же тревожная суета: приезжали, уезжали, толпились, обсуждали слухи, вырывали у газетчиков последние выпуски газет, прощались, спорили, пели. Бретейль торопился: у него было свидание с корреспондентом римской газеты. Однако по дороге он зашел в церковь Сен-Жермен-де-Пре. Он коснулся желтой пергаментной ладонью святой воды в мраморной раковине, помочил лоб, потом дошел до правого алтаря, где вокруг каменной

богоматери трепетал рой свечек, и, преклонив одно колено, прочел молитву. Кругом женщины молились за мужей, сыновей.

После полумрака солнце показалось нестерпимым. Бретейль зажмурился, и на минуту все поплыло: сказались бессонные ночи. А газетчики надрывались. Вместе с Бретейлем вышел священник в облачении. Мальчик, прикрытый шелковой попоной, звонил в колокольчик. Кто-то умирал, и священник спешил с причастием. А в церковном садике пели птицы. И на террасе кафе «Дэ маго», против церкви, парижане, прикидываясь, что ничего в мире не происходит, тянули аперитивы, настоенные на полыни, на анисе, на корне гиацинта, на коре эвкалипта, на мандаринах, на ландышах.

13

Собрание на заводе «Сэн» закончилось рано: никого больше не тешили слова. Все знали, что во главе страны стоят ничтожные, малодушные люди, способные на любую измену. Рабочие были готовы к войне; но в этой решимости не было ни веселья, ни задора. Решили послать делегацию в чехословацкое посольство: высказать солидарность.

На следующее утро Легре и Пьер, направляясь в посольство, шли по Марсову полю. Проехали танки. Девочки играли в серсо. Какой-то человек средних лет и среднего достатка философствовал: «Говорят, у чехов пиво хорошее. А я пива не люблю. Я вас спрашиваю — при чем тут мы?..»

Легре сказал Пьеру:

— Вот ты вчера говорил, что Франция скоро окажется одна. Это правильно. Но и мы во Франции одни. Мы еще говорим: «Народный фронт», а его нет. Я предпочитаю Дюкана всем «социалистам»: честный человек. Рабочие держатся замечательно. Зрелость большая... А крестьяне?.. Если Даладье пойдет на капитуляцию, эти, пожалуй, обрадуются...

Пьер улыбнулся:

— Да что крестьяне, моя Аньес обрадуется, а она — дочь рабочего, казалось — понимает. Путаница страшная.

Она мне отвечает: «Что вы раньше писали?» Я лично доверяю чувству. Как с Испанией... Я видел Асанья в Барселоне. Вроде нашего Сарро, типичный радикал. Скажешь, он не сажал рабочих? Конечно, сажал. Но ведь не в нем дело. Так и с чехами. А вот Аньес не понимает: все валит в одну кучу.

— Может быть, понимает, только боится, что тебя пошлют на фронт. Ребенок у нее. Это можно понять.

Легре вздохнул: он-то один на свете, никто за него не боится.

День был облачный; солнце чувствовалось за белой пеленой; больно было глядеть. Пьер пробормотал:

— Уступят. Какой-то заколдованный круг...

Все эти недели он жил ожиданием. Даже Испания отошла на задний план. От одной поездки Чемберлена к Гитлеру до другой, казалось, проходили годы. Нельзя было ни работать, ни думать, ни спать. Пьер не был восторженным, как в дни Народного фронта. Осталась горечь разочарования, даже пришибленность. Это не вязалось с его характером, и он думал: попал в тупик. Приходилось вести дипломатические беседы с перекупщиками военного снаряжения. Редкие и короткие поездки в Испанию вспоминались смутно, как чудесные сны. Он ждал развязки, разлуки, войны. А ребенок, который неизменно жил в нем, мечтатель из ленивого Перпиньяна, требовал счастья. Вот и сейчас, услышав звуки рояля, доносившиеся из раскрытого окна, он остановился, зажмурил глаза от удовольствия.

— То самое скерцо... Замечательно!

В посольстве их принял первый советник Ванек, коренастый, неповоротливый, с широкими руками крестьянина, с толстой шеей, сдавленной крахмальным воротничком.

Все последние дни в посольство приходили делегации рабочих, и, однако, каждый раз Ванек изумленно морщил лоб. Слушая слова «солидарность пролетариата», он спрашивал себя: что же приключилось? Кто жал ему руку, говорил о гневе и надежде? Коммунисты! И он признался послу: «Я больше ничего не понимаю».

Девять лет тому назад Ванек, по образованию филолог, по убеждениям либерал, служил в Моравской Остраве. Там разразились беспорядки: коммунисты демонстриро-

вали против новых военных законов. Их похватали. Ванек выступил на процессе как свидетель обвинения. Он обрадовался приговору: зачинщикам дали четыре года. И вот теперь в Париже его утешают коммунисты! А люди, с которыми он дружил, которых он угощал завтраками, с которыми беседовал о линии Мажино, о речах Титулеску, об операх Сметаны, культурные и симпатичные люди,— куда-то пропали. Как Ванек радовался весной, узнав, что Тесса назначен министром! Ведь в дни юбилея Масарика Тесса написал: «Чехословакия — оплот нашей западной культуры в самом центре Европы, это страна гуманизма...» А теперь к Тесса не подойти. Ванек страдал за судьбы своей страны. Статьи французских газет доводили его до бешенства. Прочитав о выступлении Бретейля, который назвал чехов «варварами», Ванек не стерпел, разбил кофейный сервиз. Ко всему примешивалось личное горе: он был уроженцем маленького моравского города, расположенного неподалеку от границы. Там жили старики-родители, сестра Ванека. Он тупо повторял по сто раз за день: неужели французы выдадут? Ездил в министерство. Ловил знакомых депутатов; они отмалчивались или соболезнующе вздыхали, как на похоронах. В посольство приходили делегации; но напрасно Ванек ждал представителей печати, профессоров, адвокатов, радикалов или хотя бы социалистов. Приходили рабочие, повторяли те же слова. Ванек благодарил, жал руки и в смятении думал: опять коммунисты.

Легре все время молчал. Говорил Пьер. И что-то поразило Ванека: приподнятость тона, необычный словарь. Ванек понял, что перед ним не рабочий, да и не коммунист — свободомыслящий, человек круга и мыслей Ванека.

— Меня обрадовали ваши слова. Хорошо, что к нам приходят люди различных убеждений. Иначе могло бы создаться впечатление, что за нас одни коммунисты.

Пьер вспыхнул:

— Я — коммунист.

Ванек вежливо улыбнулся. Они стояли перед раскрытой дверью балкона. Доносились тревожные крики газетчиков. Ванек думал, примет ли его сегодня Тесса, и щурился от едкого света.

На улице Легре сказал:

— Слушай, Пьер... Теперь, конечно, не время об этом говорить. Но я давно хотел спросить... Почему ты не идешь в партию?

Пьер ответил не сразу.

— Не знаю... Так, по-моему, честнее...

Тесса, наконец-то, принял Ванека. Желая избежать нападок, министр стал сразу кричать:

— Как вы не понимаете? Судьба малых держав зависит от судьбы больших. Мы не можем сейчас принять бой. Но когда мы перевооружимся, мы вернем вам эти области. Нужно уметь ждать. Когда пруссаки взяли Шлезвиг, мы не вступились. Но прошло полвека, и мы вернули датчанам их добро. Это — азбука дипломатии.

Ванек, обычно сдержанный, совершил бестактность; он ответил Тесса:

— Допустив захват Шлезвига, а потом разгром Австрии, Франция подготовила Седан...

— Неуместная аналогия! Распадающаяся Вторая империя — и Франция 1938 года, в расцвете сил. Можете быть спокойны: Седан не повторится. Но нужно подождать. В вопросе о судетах Франция разделилась.

Ванек молчал. Его обветренное лицо стало еще краснее; на лбу вздулись жилы. А Тесса успокоился. От гнева он перешел к ласке. Он подошел вплотную к Ванеку и зашептал:

— Верьте мне, ваше горе — наше. Я хорошо помню время, когда статуя Страсбурга на площади Конкорд была окутана траурным крепом. Вы всходите на костер как очистительная жертва. Вы отдаете самое дорогое, только чтобы спасти мир. Женщины Франции этого не забудут...

Ванек вспомнил морщинистое сухое лицо своей матери под черным платком — мать одевалась, как крестьянка. Проснулась надежда, нелепая, ребяческая: вдруг не выдадут? Он сказал:

— Вы сказали «в вопросе о судетах»... Но на спорной территории много округов с чешским населением. Там немцев нет. Я знаю это хорошо — я сам оттуда. Необходимо отстоять хотя бы эти районы.

Тесса зевнул: его утомил разговор.

— Даладье мне сообщил час тому назад, что он вылетает в Мюнхен. Там они все решат. Председатель вашего правительства будет, конечно, информирован. Так что не стоит теперь заниматься географией...

Голубые глаза Ванека затуманились; но он быстро овладел собой и, поблагодарив Тесса, откланялся. А Тесса подумал: «Ну и ремесло у меня! Лучше провожать убийц на гильотину... Это чех — хороший человек, но до чего он наивен! Как они не понимают, что мы не можем рисковать всем?.. Довольно благотворительности! Франция хочет, наконец-то, подумать и о себе».

Он позвонил Полет:

— Можно притти? Я хочу утешиться... Нет, нет. Новости хорошие, даже очень хорошие. Войны не будет. А настроение у меня отвратительное. Как сказал Верлен: «Душа без причины тоскует...» Хорошо, еду, еду...

14

Жолио, сняв пиджак, носился по типографии. Материал для экстренного выпуска был заготовлен заранее. Особенно Жолио гордился рассказом о детстве Чемберлена: английский премьер в четырехлетнем возрасте мирил своих сверстников, и мать предсказывала ему блестящее будущее.

— Как подадим? — спросил один из сотрудников.— «Соглашение в Мюнхене»?

Жолио поморщился:

— Серо. Невыразительно. Не отвечает настроению.

— Может быть, «Победа мира»?

Но и это не удовлетворило Жолио. Откинув назад голову и прищурясь, он шепнул:

— «Победа Франции», и через всю полосу...

По приезде в Париж Даладье направился к Триумфальной арке, чтобы возложить венок на могилу неизвестного солдата. Закрылись учреждения, конторы, магазины. Толпа заполнила широкие тротуары Елисейских полей. Люди радовались: их не погонят в окопы. Особенно много было женщин. Дома разукрасили флагами. Цветочницы продавали розы и георгины. Накануне на затем-

ненных улицах слышался грустный шопот, всхлипывания, хриплое пение. И сразу все сменилось праздничной суматохой.

В одном из ресторанов средней руки, неподалеку от Елисейских полей, за темным столиком в углу сидел Дессер. Он только что кончил завтракать и пил кофе. Он выбрал этот малопосещаемый ресторан, боясь встреч. Купив у газетчика «Ла вуа нувель», он не взглянул на первую полосу, а стал читать напечатанные мелким шрифтом сообщения о кражах и пожарах. Он был мрачен и еще более помрачнел, когда к нему подошел Фуже:

— Ты здесь?

— Как видишь...

В другое время Дессер обрадовался бы встрече: Фуже он знал с давних времен; оба учились в Политехнической школе, мечтали стать инженерами. Потом Дессер увлекся финансовыми операциями, а Фуже — историей и политикой. Встречались они редко, но, встречаясь, беседовали дружески, без натяжки или притворства. Когда Дессеру говорили, что его любимцы радикалы разложились, стали прихлебателями республики, приятелями Ставицких, Дессер отвечал: «А Фуже?» Этот бородатый энтузиаст олицетворял для него добродетели старой Франции.

Фуже был добросовестным историком. Его работы о клубах якобинцев в Пикардии и о борьбе против шуанов заслужили общее признание. Он жил не только философией, но и бутафорией Великой революции. Патриотизм для него сочетался с простотой нравов. Он восклицал с величайшей естественностью: «Отечество в опасности!» Беря в руки новорожденного сына одного из своих избирателей, он говорил счастливому отцу: «Хороший гражданин!» Фуже считал себя наследником якобинцев. Любовь к прошлому его ослепляла. Он был убежден, что кто-то неизменно угрожает республике, любого генерала подозревал в бонапартизме и, встретив на улице аббата, возмущенно отворачивался. Мир ограничивался для него Францией; тем, что происходит в других странах, он не интересовался. Вместо «Советы, Чемберлен, дуче» он говорил: «Совье, Шамберлан, дюс». Коверкал он не только слова: хорватские «усташи» были для него «балканскими нигилистами», а Ганди—«индусским Дантоном».

Сын гравера-резчика, влюбленного в свое ремесло, он с детства знал, что труд — счастье. Ему повезло: он всегда занимался любимым делом. Он не видел, что вокруг него миллионы людей ненавидят подневольный и плохо оплачиваемый труд. Социальное движение представлялось ему затеей благородных, но отвлеченных умов. Он наставлял синдикалистов: «Главное, не забывайте о происках Ватикана!»

Карманы его были набиты делами невинно пострадавших. Он хлопотал за какую-то вдовицу, выселенную из квартиры, за сенегальцев, за анархистов. Конечно, он был одним из самых ревностных работников «Лиги для защиты прав человека и гражданина». Жена с насмешкой говорила: «Наш хлопотун». Это была полная, спокойная женщина, занятая домом: мастерила абажуры, развешивала картины, вышивала подушки. Фуже шутливо жаловался: «Женился на улитке с домом». Сыновья выросли шалопаями, ничего не хотели делать и выклянчивали деньги у Фуже, напоминая отцу, что он стоит за «терпимость».

В парламенте Фуже числился радикалом, но для Тесса он был большевиком. Тесса кричал: «Помилуйте, этот человек утверждает, что у радикалов нет врагов налево! А коммунисты?..» Фуже как-то сказал о коммунистах: «Они выражаются чересчур абстрактно, но это хорошие патриоты». Ему было пятьдесят два года, но от него веяло стариной; и в палате его прозвали «последний извозчик Парижа».

Дессер помрачнел: ему не хотелось разговаривать, а он знал, что от беседы с Фуже не уйти. И действительно, Фуже, который знал о закулисной работе Дессера, сказал:

— Почему ты не на Елисейских полях? И не пьешь шампанское? Ты должен радоваться: до некоторой степени это твоя победа.

— Как сказать... Видишь ли, одержать столь легкую и столь шумную победу не очень-то приятно.

Фуже не понял и рассердился. Его борода запрыгала.

— Слова, Дессер, слова! Ты этого хотел, не отпирайся! Ты даже мумию Виара мобилизовал, я знаю все. Можешь торжествовать!

— Нет, я не этого хотел. Я знал, что мы не готовы к войне, не можем воевать. Я стоял за компромисс. Но, во-первых, условия куда тяжелее, чем мы предполагали. А во-вторых, и это самое главное, я оказался чересчур прав. Понимаешь, чересчур! Сегодняшний день показал, что нам не помогут никакие линии Мажино, никакие вооружения. Что-то надломилось. Я убежал сюда, увидев толпу на Елисейских полях. Сделать из дипломатического Седана торжество! Даладье боялся показаться на аэродроме, думал, что его забросают тухлыми яйцами. А они его встретили, как балерину — с цветочными подношениями. Такой народ не сможет защищаться.

— Почему ты обвиняешь народ? Вы в этом виноваты. И ты, Дессер. Я тебе это говорил в начале испанской истории. Нельзя рекламировать трусость как гражданскую добродетель, а потом удивляться, если народ радуется капитуляции. Ты оплачиваешь газеты, которые восхваляют дезертирство. Ты поддерживаешь врагов Франции. Ты хочешь...

Дессер прервал:

— Я сам не знаю, чего я хочу. Моя карта бита. Наверно, как карта нашей страны. Я знаю, чего я хотел: сохранить равновесие, отстоять счастливую Францию, среди молодых, голодных и драчливых народов. Не вышло. А остальное неинтересно. Если бы я мог, я вообще уехал бы на Таити. Но меня вяжут дела. Мне наплевать на них, но я не могу их бросить. Для поэта неврастения — законное состояние. Музы, кажется, это любят. Биржа — нет.

Он расплатился. Они, как завороженные, повернули к Елисейским полям и, выйдя туда, остановились.

Даладье ехал в открытой машине. Толпа его восторженно приветствовала. Вслед за ним ехал Тесса. Он считал себя именинником и не хотел подарить всех оваций Даладье. Когда Тесса раскланивался, его острый нос подпрыгивал; он улыбался стыдливо и с достоинством, как трагик, закончивший патетический монолог. Дама кинула ему розу: он прижал цветок к груди.

— Веселые похороны,— сказал Фуже.— Хоронят, кстати, Францию.

Дессер неожиданно засмеялся:

— Особенно хорош Тесса. Почему роза? Ему нужны лавры.

Фуже загрохотал:

— Теперь, Дессер, не до шуток! Отечество в опасности! Я боюсь, что через год по Елисейским полям будут дефилировать немцы. Шлюхи найдут и для них розы.

— «Отечество в опасности»? Ты честный человек и неисправимый оратор. А может быть, отечества уже нет? До свидания, Фуже!

15

Стены были тонкими. Во всех квартирах слушали радио, и казалось, что голос диктора повторяет эхо.

Пьер переехал сюда незадолго до рождения сына. Это был огромный дом, состоявший из десятка корпусов, построенный муниципалитетом на пустыре. Еще недавно на этом месте были крепостные рвы, лужайки с вытоптанной травой и курослепами. Когда-то Пьер здесь назначал романтические свидания, декламировал стихи, клялся в вечных чувствах. Теперь повсюду высились огромные дома и ночью пылали тысячи окон. Жили тут служащие, техники, рабочие. Все квартиры состояли из двух крохотных комнатушек, и во всех квартирах шла та же жизнь: вставали рано, бежали к метро; в девять утра женщины проветривали тюфяки и выбивали коврики; в двенадцать прибегали ребята из школ в передниках, с пальцами, замаранными чернилами, доносились запахи маргарина, лука, кофе; под вечер горланило радио; в половине восьмого ели суп; в одиннадцать гасили свет и засыпали.

Последние дни радио не замолкало до полуночи: люди ждали страшных вестей. И вот сейчас диктор сразу всех успокоил: войны не будет.

Пьер и Аньес обедали. Услышав сообщение, Пьер замер с вилкой в руке, потом вскочил, отбросил салфетку, выругался. Все смешалось в Аньес: радость — Пьера не возьмут на войну, да и не будет войны, разрушенных домов, убитых детей, калек; радость и безотчетная тоска — она не разделяла мыслей мужа, но его горе доходило до нее, оно ее разъедало.

Как они не походили друг на друга! Суматошный, шумливый Пьер, у которого все на лице, Пьер, с его переходами от восторга к отчаянию, и Аньес, сдержанная, больше того — скрытная, непримиримая, вечно ищущая единственной, абсолютной правды, здоровая, полная радостного материнства и простой телесной страсти. Они жили дружно, с бурными, но короткими размолвками и с непрестанным ощущением спайки, которая лежала вне их понимания и вне их воли. У каждого были своя жизнь, свое дело, свои увлечения. Аньес вкладывала в свою работу подлинное вдохновение; каждый ребенок был для нее загадочным хрупким растением, способным погибнуть, разрастись, зацвести. Она говорила себе: «Они все для меня, как Дуду». Это было неправдой: сына она любила слепо и ревниво, гордясь его первым лепетом, его волосами цвета бледного золота. Сильней этого чувства была только любовь к Пьеру, скрываемая ею не только от него, но и от самой себя. В ней жило сопротивление девушки; она отдавалась ему как бы впервые, с легким вскриком изумления и радости.

В ее углу было пусто и чисто; она не любила вещей. А на столе Пьера накоплялись геологические пласты: порывшись, можно было найти следы различных забытых им самим увлечений.

Они могли бы быть счастливы в этой тесной квартире на бульваре Брюн, между школьными тетрадками и чертежами, рядом с розовым, пухлым Дуду. Но счастливы они не были: что-то постороннее вмешалось в их жизнь. Аньес это поняла давно: в кафе на Больших бульварах, когда солдаты шутя говорили о надвигающейся войне. Два года продолжалось напряженное ожидание. Им казалось, что эта жизнь — временная, что они ее снимают, как проезжий комнату в гостинице — на день. Аньес раз сказала: «Ну, вот еще день подарили...» Для Пьера это было связано с борьбой, с идеями, с лихорадкой надежды и отчаяния. Но напрасно Аньес пыталась понять сердцем его взволнованные речи. Особенно она растерялась за последние недели. Было нечто человеческое в испанской войне. Аньес негодовала, видя фотографии разрушенного Мадрида, невольно восхищалась героизмом интернациональных бригад. Она говорила Пьеру: «Это не мое... Но

это чистое дело». А слово «чистое» для нее было признанием. Но теперь, когда все перепуталось — дипломатия и чувства, пацифизм и шкурничество, «Интернационал» и генералитет, она сжалась, онемела. В школу приходили заплаканные матери. Беда надвигалась. И вот — короткое сообщение о мюнхенском сговоре. Войны не будет!..

— Пьер, сколько людей сейчас радуется! И у них... Ты думаешь, они иначе переживают?.. Да забудь ты хоть на минуту про свою политику.

— Ты рассуждаешь, как Андре.

— Почему как Андре? Как миллионы! Ты их называешь «обывателями». Что и говорить, теперь твое время...

— Не понимаю.

— В другое время мы живем, работаем, воспитываем детей. А вы, то есть такие, как ты, вы это терпите и едва терпите. Тогда пишут длинные книги, прокладывают дороги, открывают сыворотки. А теперь мы должны терпеть волю таких, как ты. Я говорю не об идеях, но о природе. Теперь все подчиняется одному. А это ужасно...

Он не стал спорить: мрачный, зарылся в газеты; читал о том, что еще утром было жизнью и сразу стало историей. А она терзалась. Она поняла, что ничего не разрешилось. На сколько теперь отсрочка? На неделю? На год? И как можно отпускать жизнь по каплям?..

Аньес подошла к Дуду. Он мирно спал. Она думала: жизнь должна быть длинной, очень длинной. Прорастают зубы, потом они выпадут, ведь это только молочные... Как Дуду сможет жить?.. От одной мобилизации до другой... Она хотела поцеловать его, но не решилась. Стала исправлять школьные тетради. Тишина была тяжелой. Уж лучше бы хрипело радио! Но его закрыли. На неделю? На год? Напрасно Аньес старалась сосредоточиться, вникнуть в смысл простых детских фраз. Раз десять она перечла: «У дяди в Фонтене кролики и теленок». Ее охватила тоска по деревьям, по теплу хлева, по медлительному существованию — не спешить, не ждать, не думать...

Измученный неделями волнения, ночной работой, собраниями, Пьер уснул. Черная голова, с рано показавшейся сединой, упала на серый газетный лист. Ровное

дыхание Пьера успокаивало Аньес: хоть в этом жизнь брала свое. Она не видала лица Пьера. А встав — сломался карандаш,— она вскрикнула: лицо у Пьера было, как у покойника — ни кровинки, напряженное, будто замерзшее. Он проснулся от ее крика, сказал равнодушно «ага» и снова заснул.

16

Мобилизация показалась Люсьену выходом: с лета его жизнь стала призрачной. Случилось то, чего он боялся: толки о его разрыве с отцом дошли до Жолио,— и толстяк, которому давно претила заносчивость Люсьена, передал рубрику скачек своему племяннику. А других доходов не было. Люсьен узнал голод, грязные воротнички, вечера без папирос. Он уходил из гостиницы на время обеда, чтобы хозяин, и без того косо поглядывавший на неаккуратного в платежах жильца, не догадался, что у него нет денег. Он бродил по знойным улицам; на террасах люди ели; их вид возмущал Люсьена: гадают над карточкой, что заказать, смакуют, привередничают, улыбаются; запахи вызывали дурноту. Потом он нападал на какого-нибудь приятеля: литератора, или завсегдатая Дома культуры, или приверженца Бретейля, или посетителя игорных притонов. Люсьен наспех сочинял историю: он забыл бумажник дома или сегодня невыгодно менять египетские фунты — и, дерзко ухмыляясь, выклянчивал пятьдесят франков, которые тотчас проедал.

Как-то пришло письмо от матери; она сообщала, что здоровье ее ухудшилось, молила Люсьена примириться с отцом. На минуту он пожалел мать; вспомнил свое детство, как он болел скарлатиной, кстати пожалел и себя. Может быть, последовать совету матери? Сколько же голодать и стрелять франки!.. Он уже взял бумагу, чтобы ответить на прочувствованное письмо, но скомкал лист. Нет и нет! Конечно, там чистая постель и обед из трех блюд. Но он не станет ради этого унижаться. Его вера в Бретейля была ошибкой. Это — ошибка честного человека. А отец — делец, лишенный совести. Потом, какая скука!.. Снова слушать сентенции: «Работай, и ты достигнешь всего. Я тоже не сразу стал министром...»

Иногда Люсьен вспоминал Муш, ее смятение в вечер их последнего свидания. В нем жило раскаяние, хотя он этого не сознавал, называя свои чувства «сентиментальностью». Муш несколько раз писала ему: умоляла ее простить, говорила, что ей опротивела жизнь. Он мучительно морщился и рвал на мелкие кусочки лиловые листки. Потом перестал вскрывать ее письма: зачем?.. Помочь ей он не может. Он и сам несчастен. А жалости на свете нет: Анри умер, Жаннет его бросила, Бретейль оказался низким политиканом.

После разрыва с Бретейлем Люсьен окончательно охладел к политике; даже не заглядывал в газеты. Мировая история представлялась ему докучливой и грязной, как папки отца, как семейная квартира Бретейля, как затылок неведомого Кильмана. Слыша на улице или в кафе разговоры о Гитлере, о войне, Люсьен зевал: видимо, папаша ухаживает за Фуже... И вдруг Люсьена призвали. Он вспомнил Саламанку, лихорадку военных сборов, попойки фалангистов, приезжавших с фронта, и обрадовался.

А два дня спустя объявили о мюнхенском соглашении. Люсьен издевался над собой: его еще раз надули. Вместе с миллионами простаков он поверил в затемнение, в танки на парижских улицах, в мобилизацию. А это папаша набирал парламентские голоса. И Люсьен судорожно зевнул: значит, снова поиски денег, ворчливый хозяин с неоплаченными счетами, злое небритое лицо, которое неожиданно выглядывает из зеркала витрин.

Судьба над ним сжалилась: возле Мадлен он встретил своего бывшего издателя Готье. В другое время Готье поспешил бы отделаться от Люсьена, но сегодня он был потрясен: еще утром он всхлипывал над кроваткой трехлетней дочки, готовясь к смерти, и вдруг экстренный выпуск «Ла вуа нувель» вернул ему, казалось, потерянную жизнь. Готье готов был расцеловать не только Люсьена, но газетчика, полицейских. Он даже не заметил, что Люсьен опустился: небритое худое лицо, потрепанный костюм (формы не успели выдать) он принял за естественную бутафорию тревожных дней.

— Я не могу опомниться,—кричал он.—Ты понимаешь, какое это счастье? Ведь я должен был завтра

ехать в Кольмар: сержант в корпусной артиллерии. И вот...

Отдышавшись, он спросил:

— А ты?

— Я? Пехота. Солдат второго ранга.

— И ты, кретин, не радуешься?

— Откровенно говоря, мне все равно.

— Сноб! Нет, погоди, это у тебя нервный шок...

Люсьен вспомнил: деньги! Он сказал, таинственно улыбаясь:

— Потом у меня неприятность... Я был в Трувиле с одной актрисой, когда началась эта суматоха. Я-то знал, что войны не будет. Но вот сюрприз: мобилизация. Пришлось ее оставить там. Я должен сейчас же съездить в Трувиль, привезти ее. Отпуск дали, но дурацкая история... Все банки уже закрыты. Не хочется откладывать до завтра... Если ты можешь меня выручить, я тебе буду очень признателен, но если это тебя как-нибудь стеснит...

— Да что ты!..

Готье вынул из бумажника тысячную ассигнацию. Люсьен усмехнулся: он знал, до чего Готье скуп. В свое время он с трудом получал у него авторские. А тут дал тысячу (Люсьен рассчитывал на двести). Готье кричал:

— Погоди! Я тебя так не отпущу. Когда твой поезд? Успеешь...

Они зашли в бар и выпили по два коктейля. Люсьен почувствовал тепло, довольство. Простившись с Готье, он подозвал такси и поехал на Монпарнас. Он вошел в большой ресторан, поднялся на второй этаж. Увидев себя в зеркале, он кивнул приветливо головой: сегодня полагается быть небритым, запущенным, а красота остается красотой. Вот и гардеробщица на него загляделась...

Он заказал пышный обед; наслаждался своей выдумкой, капризным тоном; хотелось сразу съесть хлебец, лежавший на столе, но он лениво говорил метрдотелю: «Потом, пожалуй, пулярдку с трюфелями, конечно если пулярдка из Бресс...»

Вокруг шло пиршество. Героями были мужчины призывного возраста; они выглядели томными, усталыми, как будто вернулись с фронта. Некоторые были в форме,

почти все — небритые; это напоминало о походной жизни; говорили нарочито грубо, ругались. Женщины за ними ухаживали; они были добрыми феями, сестрами милосердия, верными любовницами, прождавшими много лет своих рыцарей. Лампы на столиках в пастелевых абажурах давали слабый, скрашивающий все свет. Танго говорило о возвращенном рае. Хлопали пробки от шампанского; звенели бокалы — то и дело чокались: «За мир!» Некоторые, осушив уже несколько бутылок и помня восторженные строки, сочиненные Жолио, кричали: «За победу!»

Люсьен выпил бутылку старого шамбертена; он бессмысленно улыбался. Он не помнил теперь ни о Кильмане, ни о хозяине гостиницы, ни о своем постыдном существовании. Он снова был знаменитым писателем, другом сюрреалистов, сыном модного адвоката, любовником красивой актрисы; он снова жил.

События и хмель не его одного освободили от чувства времени; все кругом ощущали исключительность этого вечера, его оторванность от ряда скучных дней. Люсьен не удивился, когда содержатель картинной галлереи Гюйо, с которым он не виделся года три, подойдя, весело закричал:

— Что же ты не заходишь в галлерею? Я, милый мой, жемчужину нашел, настоящую жемчужину!..

Гюйо шатался. Его красное, круглое лицо сверкало. В петличке была белая восковая камелия с поломанными лепестками. Гюйо потащил Люсьена к своему столику. И Люсьен не пожалел, что пошел: он увидел женщину, которая сразу его поразила — тоненькая, с очень черными, гладко зачесанными волосами, с детски вздернутым носиком, с пухлыми приоткрытыми губами и с зелеными, как будто фарфоровыми, глазами. Гюйо бубнил:

— Познакомьтесь. Это и есть жемчужина — художница Дженни. А это один из наших лучших писателей — Люсьен Тесса. Просьба не смешивать с отцом.

Люсьен рассмеялся:

— Что ты болтаешь? Я вовсе не писатель. Я специалист по коневодству.

Дженни посмотрела на него в упор; глаза ее ожили, потемнели.

— Я читала вашу книгу. О смерти... Я вас ждала, как смерть ждала персидского садовника в Багдаде.

Английский акцент придавал ее словам нечто ребяческое. Люсьен подумал: выпила, но какая красотка! Он сел, выпил бокал шампанского, потом ответил:

— Я вас тоже ждал. Но прозаичней: как хорошенькую женщину. Теперь мы познакомились. Давайте пить.

— Хорошо. Но я пью только виски.

Дженни родилась и выросла в одном из самых скучных городков штата Кентукки. Отец ее был методистом и торговал фанерой. Дженни с детства отличалась экзальтированностью: зачитывалась стихами Шелли и Китса, хотела перейти в католицизм, писала рассказы о страданиях негров, а когда Вильсон вернулся из Европы, убежала, чтобы его приветствовать. Ей тогда было шестнадцать лет. А в восемнадцать она вышла замуж за бродячего фотографа, который обещал увезти ее в Голливуд. С фотографом она вскоре развелась, но все же добралась до Голливуда: хотела стать кинозвездой. Там она узнала нужду и обиды. Помощники режиссеров деловито отвечали: «Поужинаем, а после...» Она возмущенно отвергала эти предложения. Увлеклась живописью: натощак писала пейзажи — рыжую землю, кактусы, пестрые дома. Она была способна, но безвкусна, да и в природе ей нравилось все крикливое, несвязное. Вдруг ей посчастливилось: в нее влюбился инженер из Лос-Анжелоса, конструктор самолетов; он ей тоже понравился; они поженились. От нищеты Дженни перешла к богатству. В семейной жизни инженер был мил, скромен, для нее сер; она говорила себе: «Я так и не узнала настоящей любви». Два года спустя муж разбился. Она съела два тюбика веронала; ее спасли. Она кинулась в озеро; ее вытащили. Год она не выходила из полутемной комнаты. Потом ожила. Она оказалась одна, с большими деньгами. Уехала в Европу; металась из одной страны в другую; осматривала музеи и притоны; сходилась с авантюристами — хотела узнать «настоящую любовь»; аккуратно, как школьница, посещала различные художественные школы; потом осела в Париже на Монпарнасе, где выпавшие из жизни американцы издевались над светом Старым и

Новым и пили при этом виски. Она тоже издевалась и тоже пила.

Она была всего на год старше Люсьена, но ей казалось, что с ней сидит юноша. Он одержал еще одну победу: лихорадочность его глаз, огненные волосы, грустный цинизм речи настолько ее потрясли, что она глядела только на него, не слушала болтовни Гюйо, не хотела танцовать. Это чувство было сильным; Люсьен ему поддался — ему показалось, что он влюблен.

Гюйо постучал ножиком о стакан:

— Я предлагаю тост. Люсьен — пехота, я — в зенитной, Шарль — летчик, Дюмон — капитан, тоже пехота. Итак, мы могли бы все через месяц удобрить поля Эльзаса. Или Пфальца, это все равно. А мы живем и будем жить. Это действительно наша победа, победа наших дипломатов, наших писателей, победа Поля Валери, Дерена, победа виноделов, портных, консьержек. Прошу не презирать консьержек: это тоже ангелы мира. Я предлагаю выпить за самую прекрасную из французских побед!

Дженни зааплодировала; потом сказала Люсьену:

— Я не люблю Валери. Мне нравится Элюар. А вам? Гюйо говорил сейчас, как Вильсон, но тогда французы были против Вильсона. Не сердитесь, я ничего не понимаю в политике. Но я счастлива... Ужасно подумать, что вас могли бы убить!..

Он рассмеялся:

— Гораздо проще: мы могли бы не встретиться.

Гюйо крикнул: «Счет!» Люсьен запротестовал: платит он. Он кинул старому официанту сто франков на чай. Тот улыбнулся:

— Спасибо, господин майор.

— Ошибка: господин солдат второго ранга.

Он тихо сказал Дженни:

— Последний глоток за вас. Персидский садовник боялся смерти и убежал в Багдад. Там он встретил прекрасную девушку. Он никогда таких не видал... И он прогнал смерть.

Она сжала его руку.

Они вышли; доехали до Пасси. Дженни жила на тихой улице. Возле дома, в свете фонаря, смутно шевелилось

большое дерево. Она хотела проститься, но он прошел в переднюю. Она растерялась, по-детски попросила:

— Не нужно...

Ей казалось, что это — настоящая любовь; она боялась сразу все потерять. Он сел, не сняв пальто, в глубокое кресло и закрыл глаза. Лицо у него было утомленное. Дженни вдруг успокоилась:

— Я сейчас сварю кофе. Хорошо?

Она принесла кофейник: стеклянный шар; под ним бился синий огонек. Приоткрыв глаза, Люсьен сказал:

— Алхимия...

Ему было спокойно; ничего не хотелось; крепкий, сладкий, как сироп, кофе казался пределом счастья. Дженни болтала безумолку; инстинктивно опасалась молчания. Пережившая немало любовных связей, она вела себя, как неопытная девушка.

— Больше всего я люблю желтые розы, не чайные, а желтые. У Бомана на Монпарнасе много. Они чудесно пахнут. Если вы захотите меня порадовать, вы мне принесете...

И Люсьен, полный неги, спокойно ответил:

— Вряд ли. У меня даже на метро не осталось...

Люсьен стыдился своей бедности, и признание было неожиданным для него самого. Он пришел сюда, хорошо зная, зачем. Потом все перепуталось: кофе, чинная поза Дженни, разговор о живописи, о Греции, о цветах... И он много пил, устал. Он не слушал своих слов. Дженни подумала, что он шутит: ведь только что он заплатил за всех. Она сказала, смеясь:

— Не сейчас... Вот что значит кутить!..

Люсьен очнулся; шутливый укор его разозлил.

— Я кутил на деньги Готье. Такие оказии выпадают редко. Обычно я стреляю по мелочи: не на розы, но на хлеб с колбасой. Вам этого не понять. Вы богатая американка. А я обыкновенный безработный. Мы люди двух классов.

Он и вправду чувствовал к Дженни ненависть бедняка. Он не глядел на нее, не видел, что она плачет.

Дженни хорошо знала, что такое нищета; она не забыла двух лет Голливуда. Тогда она говорила подругам,

что не ест потому, что боится потолстеть, а от голода ее мутило. Выбежав в соседнюю комнату, Дженни вернулась с пачкой кредиток. Она пыталась засунуть деньги в карман Люсьена:

— Я прошу вас! Умоляю!..

Злобная гримаса искривила его лицо. Он скомкал деньги, швырнул их на столик.

— Я не за этим пришел...

Он больно сжал ее плечи. Он не чувствовал ни влечения, ни страсти: он доказывал чистоту своих намерений. А Дженни думала: он простил ей ее богатство, влюблен, не хочет ждать, не может... И она отдалась ему без горечи, без колебаний.

Она уснула измученная и счастливая. Он не спал. Он постепенно возвращался к жизни последних месяцев. Что же ему делать?.. Стать сотрудником шантажной газетки? Покаяться перед папашей? Ограбить кого-нибудь? Поглядев на Дженни, он удивился: забыл было все; потом брезгливо покривился. От нее исходила теплота животного довольства. Корчила недотрогу: Валери, живопись, желтые розы... А сколько у нее таких похождений?.. Ему хотелось разбудить ее, обидеть, ударить. Но он лежал, не двигаясь; разглядывал комнату: мебель под какого-то Людовика, копия Ватто, лилии в вазе. Дженни снимала меблированную квартиру; все вещи были чужими, но для Люсьена они были ее мещанской обстановкой. Он снова на нее поглядел. При резком утреннем свете показались морщины; кожа была чересчур нежной и плиссированной, как начинающий вянуть цветок. Он зевнул; стал считать своих любовниц; дошел до двадцати шести, запутался — были две Марго, кажется, вторую он еще не считал, а может быть, считал. Это была блондинка, то есть крашеная, дочь учителя музыки... Он оборвал себя: какая пошлость! Его поташнивало. Он тихо оделся, хотел уйти. Но Дженни проснулась; она еще улыбалась, полная сна; потом встревожилась:

— Почему ты оделся?

— Пора.

— Люсьен...

Он деланно рассмеялся:

— Гюйо пил за победу. На самом деле победили немцы. Это даже дети понимают. Но когда пьешь, нужно врать. Теперь мы не пьем... Ты вчера была прекрасной девушкой. Кажется, так? А ты тетушка из Америки. В возрасте... Я не персидский садовник, а кот. Ты, может быть, не знаешь, что такое кот? На языке Поля Валери — сутенер.

Она ничего не понимала; плакала; цеплялась за его ноги.

— Ты должен притти вечером! Обещай мне!

Что-то в нем сломилось, последняя гордость, остатки душевной чистоты. Он поглядел на валявшиеся смятые бумажки: бледнолиловые тысячные билеты. По меньшей мере десять тысяч... Засунув деньги в брючный карман, он равнодушно сказал:

— Хорошо, приду. Может быть, не сегодня,— завтра или послезавтра.

Было чудное утро, ясное, теплое. Он прошел пешком до Люксембурга; глядел на листву деревьев, медную, золотую, палевую — рассыпанные драгоценности уничтоженного царства. В парке шла обычная жизнь. Несмотря на ранний час, матери и няньки уже привезли сюда коляски; малыши играли среди яркорыжего песка; мальчики на пруду пускали игрушечные кораблики. Рантье, отставные чиновники, греясь на солнце, читали газеты. Суетились черные, будто навакшенные, дрозды. Перед Люсьеном высилась голова Верлена; поэт походил на старого фавна; на мраморе были черные потёки — Верлен плакал. Люсьен машинально повторил строчку стихов: «Жизнь простая и спокойная...» Почему ему нельзя? Просто и спокойно... Поступить на службу, есть суп, нянчить детей, приходить сюда... Рядом беседовали:

— Чемберлен обещает мир на двадцать лет...

— Ну, о двадцати я не мечтаю. Но вот десять...

Люсьен посмотрел: этому семьдесят. Зачем ему десять лет мира?.. Он пробормотал: «Незачем!» Старичок обиженно заморгал. Люсьен встал, зевнул. Что же ему делать?.. И вдруг он вспомнил о деньгах. Ночь казалась выдуманной. С недоверием он пощупал карман: хрустят... Тогда он поехал к английскому портному на улицу Пирамид: он закажет зеленый костюм из шотландского гомспума.

17

После долгого перерыва Дениз получила письмо от Мишо.

«Дениз, дорогая!

Я тебе писал отсюда два раза, но боюсь, что письма не дошли — один раз сожгли грузовик с почтой, другое я послал с оказией, ехал один товарищ, серб, говорят, будто его схватили в Сербере. А время у нас было горячее. Где уж тут письма писать! Сейчас мы отдыхаем в десяти километрах от фронта. Утром привезли воду, мы помылись и наслаждаемся. Только с табаком беда, иногда ночью с ума сходишь — так курить хочется. Если можно, пришли — это всем нашим.

Вчера мы опять отбили атаку фашистов — восемнадцатая по счету. С тех пор, как мы перешли Эбро, они не унимаются. Понятно — боятся за свои коммуникации. Когда-нибудь я тебе расскажу, как мы переправлялись. Река очень быстрая, повсюду водовороты, я таких рек у нас не видел. Шли ночью. Испанцы — молодцы! Не сравнить с тем, что мы застали, когда приехали. Тогда тоже были хорошие ребята, но ничего не умели, на обед уходили с позиций, беспорядок был невообразимый, всюду торчали предатели. Теперь настоящая армия. А дух остался прежний. Когда мы брали Флис, затянули «Интернационал», а они подхватили по-испански, ударили слева. Это все крестьянская молодежь.

Чего только фашисты не пробовали, чтобы выбить нас! Летчики — немцы, они в Эбро всю рыбу перебили. Я недавно там был,— плавает сонная рыба. Но понтонеры, как на подбор, работают под бомбами. А мы семь недель защищали высоту 544. Каждый день прилетали их бомбардировщики. Мы их зовем «индюшками». Скидывали тонны бомб. Потом — артиллерия. Вчера они решили, что у нас никого в живых не осталось; на самом деле за вчерашний день мы потеряли только четверых. Жаль Карпино! Замечательный был парень, монтер из Тулузы, весельчак. Мы как-то вечеринку устроили для испанского населения, он

показывал, как певица исполняет арию Лакме, все обхохотались. Храбрый был — когда ходил в разведку, привел трех итальянцев. Атаку они повели к концу дня, солнце уже садилось. Пейзаж здесь особенный, похоже, как изображают луну с кратерами, ни деревца, землю наизнанку вывернули. Перед атакой — два часа ураганный огонь. Интересно, сколько у них там батарей! Мы им дали подойти на сто метров, потом — из пулеметов. Откатились, и еще как! Ранили при этом бельгийца Пелетье. Я его перевязываю, а он кричит: «Отбили? Вот здорово!»

Видишь, настроение у нас неплохое. Хотя все, конечно, отчаянно устали. Потом, как я тебе сказал, нет курева. Но это неважно. Главное — держимся. Они поэтому не пошли на Валенсию. Силы у них большие. Авиация — против одного нашего — десять. Мы на себе чувствуем, что такое «невмешательство». Блюма и Виара наши часто поминают, даже ругаются: «Эх ты, Виар!..» Пехоты у них тоже много, и пехота хорошая, не только макаронщики, как на Гвадалахаре, но марокканцы и наваррские части. Но всетаки я думаю, что мы удержимся. Вот только последнее время наши приуныли. Это из-за вас. Страшно взять в руки газету: опять какая-нибудь капитуляция. Испанцы на нас свысока поглядывают: что же вы за народ? И посвоему они правы. Но теперь, я думаю, все изменится. Дальше и отступать некуда. Сегодня по радио передали о частичной мобилизации. Наши приободрились. Придется и радикалам признать, что мы здесь сражаемся за Францию.

Письмо доставит хороший товарищ. Ты его пригрей — это человек без семьи и без родины. Он тебе расскажет о нашей жизни, о военных операциях. А чего не скажет, пойми сама. Поняла, о чем говорю? Все помню и часто вижу, как ты заходишь к себе, тогда туман был... Одним словом, понятно. Я даже не думал, что это может быть так сильно. А высказать трудно, особенно в письме. Остается только сказать, что верю в нашу близкую встречу и крепко, крепко целую.

Люк Мишо».

Дениз ответила в тот же вечер:

«Париж 4 октября.

Дорогой Мишо!

Как я обрадовалась твоему письму! Не скрою — все это время я очень волновалась за тебя. Поддерживала меня какая-то смутная вера в твою счастливую звезду, в твою и в мою. Товарищ, который привез письмо, много мне рассказал о тебе. Он сразу понял, до чего мне важна каждая мелочь. Он симпатичный и смелый.

Скажу прямо, Мишо: я тебе завидую. Какое это счастье бороться — прямо, открыто, каждый час рискуя своей жизнью, быть окруженным честными, храбрыми людьми, чувствовать на себе всю теплоту их дружбы! Здесь часто говорят, что судьба Испании предрешена, что дальнейшее сопротивление бессмысленно. Это — неправда. Пока хоть один человек держит винтовку, ничего еще не предрешено и не потеряно.

Мне трудно тебе писать о здешних событиях. Мы задыхаемся среди низости, трусости, лжи. Накануне мюнхенского соглашения наши верили в отпор. В Париже была забастовка строительных рабочих. Ее прекратили за четыре дня до Мюнхена — таков был патриотизм рабочих. А все оказалось шахматным ходом Даладье, моего отца и всей компании. Если бы ты видел, как они запугивали население и организовывали панику!..

За два дня все переменилось. Теперь, если они и захотят воевать, ничего не выйдет. Они радуются, что распался Народный фронт, на самом деле распалась Франция. Идет ликование: празднуют победу, устраивают балы, даже триумфальные шествия. Я вчера видела на Больших бульварах немецкие флаги со свастикой. Отвратительно! Фланден отправил Гитлеру поздравительную телеграмму. Прочитав твое письмо, вспомнила смешную подробность. Ты пишешь о товарище, который имитировал Лакме. Наш инженер мне рассказал, что он был в «Опера комик» на «Лакме», там певица вставила в арию отсебятину: «О, как я хочу поцеловать Чемберлена!», и ей устроили овацию. Ты чувствуешь, сколько подлости и глупости?

Рабочие обозлены. Влияние партии за неделю выросло. Сегодня на нашем заводе было собрание. Решили отказаться от сверхурочных — предложение нашей

ячейки. В стране достаточно безработных. Поскольку наш завод — военный, мы до последнего времени не протестовали. Но теперь ясно, что речь идет не о защите Франции. В правых газетах появились статьи об Украине, даже карты. Я не удивлюсь, узнав, что они готовятся вместе с немцами к походу на Советский Союз: здесь-то все пацифисты сразу станут вояками!

В связи с этим начались гонения на партию. Ходят слухи, что мой отец стоит за запрещение. Мы к этому готовы, имеется костяк, который сможет продолжать работу в подполье.

Наконец последняя низость — Легре мне вчера сказал, что они хотят объявить бойцов интернациональных бригад дезертирами, придравшись к тому, что вы не явились на мобилизационные пункты. Это предел цинизма: дезертиры, которые обвиняют бойцов, два года сражающихся на фронте, в дезертирстве!

Что тебе сказать о моей жизни? Работаю попрежнему на «Гноме». Откровенно говоря, живу только партийной работой, все остальное от меня отскакивает. Я как-то разговорилась с одним инженером, культурный человек, левый — где-то между анархистами и Блюмом. Он мне заявил: «Вы слепая. Вам нужно было родиться в эпоху инквизиции, когда фанатизм был ко двору». Все это вздор! Но я действительно жалею, что потеряла столько лет, изучая старую архитектуру. Не потому, что это не нужно. Конечно, нужно. Я знаю, что прекрасные вещи долговечней той или иной политической ситуации, я ведь не слепая. Но меня это не занимает. Все должно решиться в бою с фашизмом — лет на сто, судьба не только наша личная,— нашей цивилизации. По сравнению с этим другое бледнеет, отходит на задний план.

Письмо вышло сухим. Я отвыкла от других слов. У тебя война — живое. А мы роем, роем, как кроты... Теперь — о нашем. Дорогой мой Мишо, не думай, что я чего-то не поняла. Я тебя жду каждый день. Иногда мне кажется, что ты приехал, сейчас придешь, засуетишься, крикнешь: «И еще как!» Я всегда с тобой, даже когда думаю о другом — это во мне. Я не хочу об этом писать, чтобы не расстроиться. Пойми без слов!

Твоя Дениз».

18

Всего месяц прошел с того дня, когда Тесса, отвечая на приветствия толпы, прижимал к груди розы; но он забыл об этих прекрасных минутах; каждый день приносил ему новые волнения.

Страна узнала горечь похмелья. Ярко освещенные улицы никого больше не радовали. Люди быстро забыли о сентябрьской тревоге. А мобилизация влетела в копейку; надо было расплачиваться. Что ни день, правительство вводило новые налоги. Объявили о повышении цен на хлеб. Проезд в автобусе стал роскошью. Начались забастовки. Предприниматели требовали крутых мер. Газеты продолжали писать о благоденствии, но никто им больше не верил. В «землячествах» Бретейля лихорадочно готовились к мятежу. Обри говорил: «К Новому году наведем порядок...» Даладье истерически вопил о своей «железной воле»; стал подозрительным. Казалось, правительство доживает последние часы; и Тесса судорожно метался по кулуарам парламента.

Тесса не верил в мятеж фашистов; он не боялся и забастовок. Уличные беспорядки для него были только аккомпанементом парламентских прений. Тесса опасался другого: вдруг палата откажет правительству в доверии? Сколько раз он говорил Даладье: «Осторожно! Не ставь вопроса о доверии — кто их знает?..» Виар как-то сказал: «Разве мы знаем, что думает страна?» Тесса в ответ замахал руками: «Хуже — я не знаю, что думают депутаты!»

Видя шаткость правительства, Бретейль теперь разговаривал с Тесса, как с подчиненным; требовал: «Распустите коммунистическую партию». От таких советов Тесса бросало в холод. Шутка ли сказать: распустить политическую партию! Начнется крик. Социалисты, конечно, в душе обрадуются; но найдется и среди них десятка два беспокойных. Эти увлекут левых радикалов. Тесса окажется в руках Бретейля. А кто поручится, что Бретейль не скажет: «Тесса поработал. Пусть он уступит место Лавалю».

За спиной Бретейля сновал красавец Грандель. Он окреп — говорили, что он спас Францию в сентябре от

катастрофы. Жены запасных города Ла Флеш поднесли ему письменный прибор — на пресс-папье был мраморный голубь с масличной ветвью. Грандель произносил боевые речи. На одном собрании он заявил: «Пора очистить Францию от коммунистов и от прислужников интернациональной плутократии — от всех Тесса!..» Как жалел Тесса, что выпустил из рук злополучную бумажку! Будь у него это письмо, он уничтожил бы Гранделя, а заодно унял бы Бретейля. Но кто его подвел? Люсьен!.. И, вспоминая об этом, Тесса выходил из себя. Близкие его предали: Дениз науськивает на отца рабочих, а Люсьен работает с Гранделем.

Повсюду у Тесса оказались враги. Неприязнь Бретейля естественна, он — представитель оппозиции, это соответствует правилам парламентской игры. Но и в радикальной фракции раздаются голоса против Тесса. Во главе банды все тот же неистовый Фуже. Тесса возмущался. Надо уметь жить и не мешать другим. Он никогда не интриговал против Фуже; у них разные избирательные округа, разные профессии, разные интересы. Фуже — начетчик, а Тесса — живой человек. И вот Фуже осмелился усомниться в патриотических чувствах Тесса; на собрании фракции он сказал: «Тесса защищает Мюнхен. Это его право. Однако почему он покрыл немецкого агента Гранделя и уничтожил документ, который я ему передал?..» Тесса в ответ произнес горячую, но туманную речь, намекал на высшие интересы Франции, на дипломатическую тайну. Ему аплодировали. Все же некоторые депутаты поверили Фуже; поползла сплетня о тайной связи Тесса с Гранделем. Тесса негодовал, но вопрос о документе обходил молчанием. Как он мог объяснить историю, в которой замешан Люсьен? А Фуже не унимался.

Даладье предложил распустить парламент и назначить новые выборы. Депутаты всполошились. Тесса понимал, что это глупая затея. Усилятся коммунисты и правые. Радикалы потеряют, по меньшей мере, пятьдесят мест. Своими руками вырыть себе могилу! Потом, палата не пойдет на это: самоубийство никого не прельщает. Здесь все объединятся против правительства — левые и правые: кто не дорожит своим местом? Даладье говорит, что выборы в сороковом году будут катастрофой. Конечно.

Но до выборов далеко. Хуже, что депутаты начинают юлить: боятся избирателей; то они против новых налогов, то не хотят раздражать рабочих. Что же тут делать?.. Тесса долго думал и придумал: надо продлить полномочия палаты на два года. Все клюнут на эту удочку — каждому лестно просидеть два лишних года в Бурбонском дворце. Такая мера может обеспечить кабинету твердое большинство на год. А дальше и заглядывать глупо — кто знает, что будет через год?..

Вот только бы зажать рот Фуже! Тесса рассчитывал на съезд радикальной партии — там он обуздает строптивых. Он энергично готовился к съезду. Написал речь, вдохновенную и хитрую, с цитатами из Плутарха и Гамбетты, со ссылками на дефекты отечественной авиапромышленности и с патетическими воспоминаниями о героях Марны. Не брезгал Тесса и черной работой: инструктировал провинциальные комитеты, оплачивал дорожные сборы подходящих делегатов, сулил синекуры, ордена.

Амали ему говорила: «На тебя страшно глядеть. Разве можно столько работать?» Он кротко отвечал: «Что ты хочешь, мамочка? Дети нас бросили. У меня осталась только Франция...» За последний год Амали сильно исхудала: не могла есть, плохо спала. Она стала крошкой, седым ребенком. Тесса отворачивался — жалел жену. Готовясь к своему выступлению и выписывая цитату из Иеремии, Тесса напал на историю Иова. Он прочитал две страницы, и ему показалось, что это написано о нем: он все потерял, как Иов. Его дом стал домом раздора. Дети ушли. Амали смертельно больна. И все на него клевещут. Никто не понимает, что он одинок, несчастен. У Иова был бог. Тесса просвещенный человек. Он не хочет, как Амали, жить суеверным страхом. Нет у него надежды и на загробную награду. Что же его поддерживает? Он задумался и ответил себе: «Гордость, сознание человеческого достоинства!»

Готовился к съезду и Фуже. Он не хотел выступать в палате против правительства, состоявшего из его партийных товарищей: он был предан партии, верил, что радикалы — духовные дети якобинцев и что Тесса случайно затесался среди них. На съезд соберутся лучшие люди

партии, трудолюбивые и честные провинциалы, готовые умереть, чтобы отстоять республику. Там-то Фуже раскроет измену Гранделя, заклеймит двуличие Тесса, потребует, чтобы Даладье вдохновлялся не принцем Конде, но Робеспьером.

Фуже твердо верил, что слово «свобода», произнесенное с трибуны, способно вызвать бурю и опрокинуть правительство: «Либо радикалы, порвав с позорной политикой капитуляций, поведут Францию к победе, либо их сметет всеобщее негодование!» Когда его спрашивали, как он себе представляет этот взрыв народных чувств, он, не колеблясь, отвечал: «Баррикады, мой друг, баррикады!..»

Съезд был назначен в Марселе. Накануне отъезда Фуже был на заседании «Общества изучения революции». Он вернулся потрясенный: дантонисты, отрицая подлинность ряда документов, продолжают обвинять Робеспьера в «подстроенном процессе». Фуже, не вытерпев, обозвал почтенного историка «приспособленцем» и, приехав домой, загрохотал в передней:

— Нет, ты представь себе эту слепоту!..

Жена, выслушав целый доклад о безнравственности Дантона, печально сказала:

— У меня голова занята другим.

Он добродушно усмехнулся:

— Наверно, моль съела гардины...

Он знал, что толстуха Мари-Луиз озабочена одним: уютом и чистотой дома. Но она сердито ответила:

— Ты живешь на небе, а я должна все расхлебывать. Луи спутался с какой-то девушкой. Она дочка чиновника. Католическая семья. Она решила сделать аборт и требует денег. Грозит ему, что скажет родителям.

Фуже возмущенно закричал:

— Я против! Решительно против! Это низость! Пусть женится или живет в свободном браке. Все, что угодно, только не это!

— Но он не хочет жениться, он говорит, что не любит ее, что все это случайно...

Из соседней комнаты прибежал Луи, прыщавый юноша в голубой куртке, и фальцетом подхватил:

— Я ее ненавижу! Святоша и стерва. А отец у нее католик, страшный скандалист. Где же твоя «терпимость»?..

Фуже был непримирим; он повторял одно: «Я против!» Он продолжал это выкрикивать в пустой комнате — не заметил, что Мари-Луиз и сын давно ушли.

Наконец, отдышавшись, он сел за работу: хотел еще раз просмотреть тезисы своего марсельского выступления. Мари-Луиз осторожно вошла, поглядела на мужа, увлеченного работой, и робко попросила:

— Две тысячи... Это не Луи, а мне. Я выбрала дешевый мех...

Фуже растерянно забормотал:

— Что же ты не сказала раньше? Я дал три тысячи на чешских беженцев... Придется подождать до двадцатого...

Мари-Луиз была бережлива; она умела переделывать старые платья, покупала носки мужу на распродажах, обегала десяток магазинов, разыскивая дешевые скатерти или стулья. Никогда она не упрекала мужа за то, что он дает ей мало денег. Но сейчас она вышла из себя: ее рассердило упрямство мужа — пришлось выдумать эту историю с меховым манто, чтобы достать две тысячи для Луи. И Мари-Луиз закричала:

— Разве я часто у тебя прошу?.. Почему ты не займешься делом, если тебе нужно содержать каких-то беженцев? Все мне говорят: «Вы жена депутата, у вас много денег». А я работаю, как поденщица. Другие депутаты прекрасно зарабатывают. Много ты получаешь за твоего Робеспьера?

Фуже, обезумев, затопал ногами:

— Молчи! Ты понимаешь, на что ты меня толкаешь? Я не Тесса! Я лучше пойду мыть стекла!

Мари-Луиз махнула рукой и ушла. Сыну она сказала, что завтра заложит серебро. Это было ее приданое; она с ним впервые расставалась и, сидя на кухне, она перебирала сахарницы, молочники, щипчики, ложки, гладила их.

А Фуже до утра шагал по кабинету. Он обвинял всех: распущенного Луи, Тесса, историка, оклеветавшего «неподкупного Максимилиана», и себя — нужно жить проще, строже, чище!.. Потом, плеснув на лицо немного

водицы и расчесав всклокоченную бороду, он поехал на вокзал.

Тесса должен был уехать в то же утро, но Даладье собрал совет министров: банки высказались против законопроекта Маршандо. Во время заседания Тесса тоскливо зевал и подсчитывал, сколько мандатов может оказаться у сторонников Фуже. Когда заседание кончилось, он поехал домой за вещами. Его поджидал незнакомый человек.

— У меня нет времени! — крикнул Тесса.

— Я у вас отниму, господин министр, ровно пять минут. Это по крайне важному делу.

Тесса не хотел слушать; он думал, что перед ним обиженный чиновник.

— Тогда, господин министр, разрешите вас побеспокоить в Марселе?

Узнав, что перед ним делегат и что дело касается съезда, Тесса сразу переменился, стал любезен, провел посетителя в кабинет. Тот вынул мандат, представился:

— Вайс, делегат кольмарской группы департамента Верхнего Рейна.

Вайс был приятным блондином с трогательными голубыми глазами, с локонами. Выглядел он провинциалом: стоячий воротничок, брюки в полоску, на жилете золотая цепочка; говорил с эльзасским акцентом:

— Радикалы Кольмара всегда были противниками Народного фронта, и мы считаем вас, господин министр, истинным вождем нашей партии. Мы возмутились, узнав, что Фуже намеревается выступить на съезде.

— Но Фуже старый член партии. Он вправе защищать свою точку зрения, как бы ошибочна она ни была.

— Радикалы Кольмара полагают, что Фуже — скрытый коммунист и работает по указке Москвы. Чрезмерными нападками на церковь он способствует отторжению Эльзаса от матери-родины. Неоднократно он заступался за дезертиров. Он помешал полиции очистить в Безансоне военный завод, захваченный забастовщиками, то есть подрывал оборонную мощь Франции. Он выдавал немецким эмигрантам рекомендательные письма, желая нас поссорить с Германией. Наконец, получив взятку, он

добился освобождения Ларишо, обвиненного в растлении малолетних.

Вайс говорил сухо, монотонно, как будто зачитывал обвинительный акт; голубые глаза выражали возмущение ребенка перед низостью мира. Услышав имя Ларишо, Тесса усмехнулся: он знал эту историю. Фуже растрогала мать Ларишо, он советовался с адвокатом, но, узнав, что это — темное дело, стал вопить: «Зачем вы таких защищаете? Ему голову отрезать мало!» А Ларишо откупился: мать девочки за хорошее вознаграждение согласилась показать, будто она, а по ее наущению и дочка оклеветали невинного. Тесса не стал делиться с Вайсом судебными воспоминаниями. Он только спросил:

— Что же вы намерены предпринять?

— Не допустить выступления Фуже.

— Но это противно традициям нашей партии. Свобода мнений...

— Не для преступников!

Тесса помолчал, потом улыбнулся:

— Я понимаю ваши чувства... Вы, молодежь, наша надежда. Но зачем быть таким непримиримым? Впрочем, я не вправе вас отговаривать: вы повинуетесь гражданскому долгу. Мы еще увидимся в Марселе. А вы там разыщите моего друга Билье. Ему под шестьдесят, но душой юноша и рассуждает, как вы. Он вам поможет.

Когда Вайс ушел, Тесса приказал горничной вынести чемоданы, а сам зашел к Амали проститься. Она лежала бледная, перебирала четки и едва шевелила тонкими губами. Тесса ее осторожно поцеловал.

— До свидания, мамочка! Поправляйся! И пожелай мне успеха. Я надеюсь вернуться со щитом. Пусть он только попробует раскрыть рот...

19

Марсель называли «французским Чикаго»: его порт был бульоном, в котором плодились гангстеры, продавцы живого товара, сутенеры, контрабандисты, скупщики опиума и кокаина; здесь же промышляли люди, покупавшие и продававшие оружие — от револьверов до бомбар-

дировщиков, агенты Бретейля, дельцы, зарабатывавшие на горе Испании. То и дело в городе находили трупы: гангстеры убирали предателей и болтунов. На узеньких улицах Старого порта находились публичные дома. Полураздетые женщины поджидали путешественников, клерков, коммерсантов, матросов. Если прохожий не поддавался соблазну и пытался пройти мимо, с него сбрасывали шляпу, обливали его помоями. Сутенеры подготовляли избирательные кампании, срывали забастовки, покрывали или разоблачали шпионов.

Накануне выборов гангстеры богатели. Кандидатам приходилось быть щедрыми: гангстеры избивали ораторов, сдирали со стен воззвания, разгоняли избирателей. Гангстеры делились на два клана. Первый, во главе с кривым Лепети, обслуживал местный муниципалитет, точнее, его социалистическое большинство. Лепети, еще недавно интересовавшийся только кокаином, снисходительно пояснял: «Я за разоружение...» Второй клан работал на Бретейля и был подчинен Лебро, начавшему свою карьеру с убийства бразильского коммерсанта. Из одного клана гангстеры легко переходили в другой. А не заручившись их содействием, опасно было и выставить свою кандидатуру в палату, и открыть кафе на Канебьер.

Узнав, что съезд радикалов назначен в Марселе, гангстеры оживились: предвиделись заработки. Действительно, взвесив все, приятель Тесса Билье обратился к Лебро. Билье, торговавший оптом кофе, знал, что Лебро человек честный: не раз он пользовался его услугами для охраны товара от утечки. Теперь он обратился к Лебро с просьбой поддержать порядок на заседаниях съезда. Две сотни сутенеров и контрабандистов получили пригласительные билеты; кто гостевой, кто корреспондентский. Все было сделано, чтобы помешать Фуже нарушить распорядок.

Войдя в огромный зал, Фуже изумился. Он привык встречать на съездах провинциалов, немолодых, бородатых, с толстыми неповоротливыми шеями, лавочников, нотариусов, фермеров, учителей чистописания, коммивояжеров, ремесленников, среднюю, малоприметную Францию. Конечно, и на этот раз он увидел несколько милых ему бород, но они терялись среди молодых людей спор-

тивного вида, щеголявших бицепсами и блестящими, гладко причесанными волосами над низким лбом. Одни из них были гостями — их подобрал Лебро; другие приехали как делегаты; эти называли себя «младорадикалами» и были посланы группами, в которых Тесса нашел единомышленников или людей, падких на деньги. Многие младорадикалы прежде состояли в фашистских отрядах; они соблазнились близостью к власти. С Бретейлем приходилось ждать переворота; здесь же легко было оторвать теплое местечко, красную ленточку в петлицу или хотя бы несколько кредиток. Младорадикалы ругали рабочих и евреев, требовали «авторитарной республики» и буйно восторгались «реализмом» Муссолини и «смелостью» Гитлера. Они бродили по залу, острили, зевали, переругивались; и заседания съезда напоминали трибуны во время футбольного матча.

Даладье встретили овацией; и бородачи, и младорадикалы, и сутенеры кричали: «Да здраствует мир!» Воевать никому не хотелось, и молодые люди призывного возраста, не лицемеря, благодарили маленького человека с тупым взглядом исподлобья, который спас их от окопов. А делегатам постарше льстило, что герой Франции — их сотоварищ по партии, старый радикал, гражданин Эдуард Даладье. Тесса в душе обиделся: опять Даладье срывает все цветы!.. Но он понимал, что Даладье только символ, и, сказав себе: «Это приветствуют и меня»,— сам зааплодировал.

Даладье говорил очень громко, часто его речь переходила в крик. Как многие слабовольные люди, он хотел показать себя стойким, непоколебимым. Неизменно он возвращался к утверждению своей силы, выкрикивая: «Я сказал!.. Я хочу!.. Я не допущу!..» Минутами в голосе слышались слезы маленького учителя гимназии, которого все водят за нос, но который волей судьбы принужден разыгрывать Наполеона. Даладье воскликнул: «Я запрещаю говорить о капитуляции! Мюнхен не был капитуляцией!» Он приподнялся на цыпочках, засунул два пальца за борт жилета и наклонил голову: может быть, он и вправду Наполеон, одержавший бескровную победу? Зал ответил овацией. На минуту всех увлекла иллюзия: это был спор не только с Фуже, но с историей.

Когда Даладье сошел с трибуны, делегаты почувствовали душевное утомление. Все стали шутить, кричать, бродить по залу. Напрасно председатель потрясал звоночком. Докладчика, говорившего об обороне Франции, никто не слушал: военные проблемы мало занимали этих глубоко штатских людей. Они приехали сюда, чтобы одобрить политику мира, похоронить Народный фронт и потребовать крутых мер против «лодырей». А оборона Франции?.. Зачем? Разве после Мюнхена кто-нибудь угрожает Франции, кроме коммунистов? Только два бородатых винодела внимательно слушали докладчика, стараясь разобраться в незнакомых им терминах и цифрах. Потом один сказал другому: «Темное дело, но раз у нас линия Мажино, можно спать спокойно. Это, конечно, стоило больших денег, но зато, как он сказал, это — раз и навсегда...»

Делегаты разошлись; они заполнили все кафе и бары города — пили аперитивы, потом обедали, потом, разбившись на маленькие группы, ринулись в Старый порт, где их поджидали хозяйки публичных домов, девушки, таперы, вышибалы и почетная гвардия в виде молодцов из клана Лебро. «Запретный квартал» давно был приятно взволнован известием о съезде; так ждали здесь только прибытия больших пароходов с американскими туристами. Для провинциальных делегатов съезд был не сухим выполнением гражданского долга, но очаровательным похождением; на пять дней они освобождались от семейных уз, превращались в холостяков, приехавших из сонных маленьких городков в веселый, беспутный Марсель. Неудивительно, что хозяйки некоторых домов предусмотрительно вывесили на дверях своих заведений листочки: «Открыто только для господ делегатов».

Впрочем, наслаждаясь иллюзией любви, делегаты не забывали о политике. Сальные куплеты перебивались политическими спорами. Противников правительства было мало, их быстро осаживали. Пропаганда фашистов, а впоследствии и Тесса, проникла в чащу провинции. Лавочники возмущались Народным фронтом: «Мы пошли с ними, думая, что защищаем республику от фашистов, а они надули нас. Они распустили рабочих, потакают

забастовщикам, разорили страну!» Крестьяне защищали мюнхенское соглашение: «Кого погонят воевать? Нас. Рабочие останутся на заводах. Дудки!» После нескольких «пастис» или бутылки шампанского раздавались воинственные крики, грозили расстрелом забастовщикам, Торезу, даже Жуо и Блюму. Сутенеры лихо подхватывали: «Перебить их всех!..» А девушки шептали: «Малыш, угости меня!», и бородатый «малыш», кряхтя, вытаскивал из кармана огромный рыжий бумажник.

Второй день съезда был решающим. Когда на трибуну поднялся Фуже, все замолкли: предстояло нечто необычное. Фуже разложил перед собой бумаги. Он проработал всю ночь: учитывая настроения делегатов, смягчал некоторые пассажи, решил осторожно отзываться о Даладье; он готов был на все уступки, лишь бы добиться перелома. Он говорил себе: «Самое важное — показать съезду, а тем самым стране, что предатели толкают Францию в пропасть. Против идей можно спорить. Но что скажут делегаты, узнав о письме Гранделю, которое Тесса припрятал?..»

Фуже начал спокойно:

— У ложа больной матери дети не спорят, а Франция тяжело больна...

Его прервал чей-то крик. Во втором ряду стоял высокий человек; это был Вайс.

— Мы не можем допустить, чтобы здесь выступал агент коммунистов...

Фуже растерянно спросил:

— Кто вы?

— Делегат Кольмара.

Сразу, как по команде, младорадикалы и молодчики Лебро завопили:

— Долой! В Москву!

— Да здравствует Эльзас! Расстрелять коммунистов!

— Бандит! Где деньги Ларишо?

— Безансон!

— Он изнасиловал девочку! К стенке!

Напрасно Фуже пытался говорить; его слова заглушал рев. Председатель сначала звонил, стучал по столу, потом тихо сказал Фуже:

— Пожалуй, лучше не настаивать.

Некоторые делегаты, сторонники Фуже, негодовали, но они были разбросаны по залу; их окружали приятели Лебро. Кое-где дошло до потасовок. Эррио, грустно вздохнув, пошел в буфет. Наконец Фуже, собрав листочки, сошел с трибуны. Председатель объявил, что слово предоставляется следующему оратору. Все потянулись к выходу. И вдруг раздался голос Фуже:

— Когда я передал Тесса документ о Гранделе...

Дальше нельзя было разобрать: шум возобновился. Председатель объявил перерыв.

Вайс был героем, к нему подходили, жали его руку, поздравляли. Председатель марсельской группы, оптовик Билье, тот, кто по указанию Тесса подготовил обструкцию, пригласил Вайса обедать в ресторан «Лукуллус». Угощал Билье наславу. Гордость Марселя — рыбная похлебка «буйябесс» была наварена на изумительной рыбе, приправлена красным перцем и шафраном. Вайс мечтательно говорил:

— Я люблю все острое...

Фуже пошел обедать к своему старому другу, проживавшему далеко от центра, в квартале Зоологического парка. Чтобы успокоиться, он пошел пешком. Он решил завтра отправить открытое письмо комитету партии. Если радикальные газеты откажутся напечатать, он перешлет письмо в «Юманите». Он расскажет о Кильмане. Пусть страна рассудит, кто истинный патриот — он или Тесса?

Он шел задумавшись. Его обогнали два спортсмена в штанах для гольфа и в рыжих коротких пиджачках. Они остановились, стали на дороге. Фуже хотел пройти:

— Простите.

— Вот тебе, каналья!..

Удар оглушил Фуже, он упал. На темной улице никого не было. Тоскливо мяукала кошка. Пахло гнилыми листьями: поздняя южная осень умирала.

Вечером Тесса, вместе с другими делегатами, сидел в холле большой гостиницы. Он пил липовый чай. Прибежал молоденький секретарь:

— На Фуже напали бандиты... Отвезли в больницу... Полиция говорит, что украли бумажник...

Тесса воскликнул:

— Какой ужас!

Он был потрясен и опечален: ему было жалко Фуже. Вдруг он умрет от внутреннего кровоизлияния?.. Один... В больнице... Тесса сказал Маршандо:

— Конечно, как политик он никуда не годится, но это энтузиаст...

— Возмутительные нравы! Интересно, когда же они очистят Марсель от гангстеров!

— Пора бы! Я надеюсь, что виновников накроют.

Он вытер платком лицо, отодвинул чашку — жарко! А Маршандо с присущей ему бестактностью спросил:

— О каком письме он говорил? И при чем тут ты?

Тесса пожал плечами:

— Можно подумать, что ты его не знаешь. Фантазер! Живет в мире книг, как Дон-Кихот. Наверно, начитался документов о Дантоне и перенес все на Гранделя... Но мне его жалко.

Тесса выступил на следующий день. Он теперь ничем не рисковал, и все же он волновался. Говорил он красиво; знатоки переглядывались: «В форме!..» Говоря о скромной любви к отечеству, которая чужда честолюбия, Тесса процитировал Ламартина. Потом он заговорил о крохотном материке, орошенном кровью и потом столетий:

— Мы должны отстоять Европу и от муравьиного варварства Азии, и от трансатлантических приготовишек. Как строители древних соборов, люди разных стран внесут свою лепту в дело созидания новой, лучшей Европы. Что отделяет нас от Германии? Река и предрассудки. Границы Европы не здесь, они далеко на востоке, там, где христианская и рыцарская Польша сменяется полукитайским фаланстером...

Младорадикалы не пожалели своих ладоней. А когда Тесса воскликнул: «Коммунисты нарушили пакт Народного фронта, они — вне нации», ему устроили еще одну овацию. Делегатам надоели половинчатые меры, они шли за Тесса. И Тесса на торжественном завтраке, который дали в его честь радикалы Верхней Марны, горделиво сказал:

— Климат в Европе изменился. Я всем сердцем с молодыми. Нельзя цепляться за устаревшие каноны. Ради-

калы всегда были живой партией. Бретейль надеется произвести переворот и насадить у нас импортированный режим. Нет, мы сами уничтожим язвы парламентаризма, мы создадим авторитарную республику, не порывая при этом ни с гением нации, ни с традициями нашей свободолюбивой партии.

Он переваривал прекрасный завтрак, когда ему сказали, что в центре города начался большой пожар. Тесса не любил катастроф. Ребенком, когда дети убегали, чтобы поглядеть на пожар или на наводнение, он сердился: зрелище стихии его оскорбляло. Но теперь он счел своим долгом отправиться на место несчастья, чтобы выразить симпатию пострадавшему городу.

Универсальный магазин сгорел, как коробок спичек. Дул мистраль, и огонь быстро перекинулся на другую сторону улицы, где находились лучшие гостиницы. Канебьер была оцеплена. Увидев Тесса, полицейские закозыряли. Тесса кашлял от дыма. Он увидел толстяка Эррио, который кричал: «Чорт знает что! В городе нет пожарных лестниц! Я вызвал пожарных из Лиона. Но когда они приедут?..» Рассказывали, что в магазине погибло много продавщиц: не было ни одного запасного выхода. Ребята Лебро забыли о съезде: пробравшись в гостиницы, они набивали, чем могли, карманы. Возмущенная толпа гудела: «Лестниц нет!.. Нет насосов!..» Фашисты вели агитацию: «Режим сгнил... Разве могло бы такое случиться в Италии?..»

Тесса на минуту залюбовался: огонь вылетал из высокого дома в почерневшее небо. «Похоже на фейерверк,— подумал Тесса,— и не страшно...» Тотчас он спохватился, стал печальным: «Это — народное бедствие. Конечно, пожаром воспользуется Бретейль... И что за совпадение — как раз в дни съезда!.. Хорошо, что во главе муниципалитета не радикалы, а социалисты... Что скажет Виар, когда ему преподнесут — ни одной пожарной лестницы в миллионном городе?.. Лодыри!.. Обидно, что это наруку Эррио — у него в Лионе порядок... И потом — продавщицы... Жалко людей!.. Очень жалко!»

Гостиница, где остановился Тесса, наполовину сгорела. Министрам отвели комнаты в здании префектуры. Перенесли туда багаж. У многих делегатов пропали доку-

менты. Тесса с гордостью сжимал свой портфель: после истории с Люсьеном он стал осторожен. Он легко отделался: у него украли только дорожный несессер. Правда, несессер был хороший — все вещицы из черепахи.

В салоне префектуры горел камин. Тесса, взглянув на веселое пламя, припомнил Канебьер. Все-таки это красиво... Улыбаясь, он сказал Даладье:

— Убытки небольшие — несессер...

Даладье был расстроен, видел в пожаре «дурное предзнаменование». А Тесса развеселился: он снова переживал свой триумф на съезде. Что такое пожар? Мелкое событие. Через неделю о нем все позабудут. А политика Франции теперь предопределена на долгие годы. Начинается новая эра: еще один кризис, и во главе страны будет Поль Тесса...

Он сидел в глубоком кресле, закрыв глаза, когда принесли телеграмму. Домашний врач сообщал, что болезнь Амали неожиданно обострилась.

Тесса почувствовал во рту соленый вкус слез. Но все же он сохранял спокойствие. Он протянул голубой листок Даладье:

— Мне необходимо срочно вернуться в Париж. Но ведь завтрашнее заседание чисто деловое... А ты был прав: оказывается, пожар — не к добру... Нет, нет, я не падаю духом. Я спокоен.

20

В полутемной комнате горели две свечи. Пахло лилиями; душный приторный запах. Лицо у Амали было спокойное, даже благостное, как будто она переживала освобождение от телесных страданий, от тревог. Тесса сидел рядом с кроватью. Он никак не мог осознать случившегося. Он прожил с женой тридцать шесть лет; знал, что она всегда рядом, дышит, суетится, стонет. Мертвая, она еще продолжала жить. Когда Тесса сказал себе: «Ее нет»,— это было словами, формулой. Амали была. Ее просветленное лицо в сумерках, среди цветов и взволнованных, то и дело нагибающихся огней, уводило Тесса в

прошлое. Вспоминались почему-то студенческие проказы. Все проплывало среди светлого дыма. Он подумал: «Нехорошо!..» Он чувствовал, как грусть растекается, а хотел он ее посвятить только Амали. Давно он ей не приносил цветов... Когда-то приносил. Она любила анютины глазки и анемоны. Тесса стал напряженно восстанавливать картину их первой встречи.

Это было весной. Тесса прошлым летом получил диплом. Он жил в Латинском квартале, носил широкополую бежевую шляпу, галстук, завязанный бабочкой, увлекался речами Жореса, скульптурой Родена, верил в единственную любовь, но волочился за всеми мастерицами, кричал: «Пусть нашу кровь освежат пролетарии» и, выпив два абсента, декламировал перед восхищенной белошвейкой стихи Реми-де-Гурмона:

Да будут груди богохульные благословенны
За скрытые грехи, за тайные измены!

Эти стихи он прочитал и Амали. Незадолго перед этим она приехала в Париж из монастыря: ее обучали урсулинки. Услыхав стихи, она смутилась и заплакала... Она повторяла: «Знаешь, Поль», ничего больше не говорила и комкала крохотный кружевной платок. Он увез ее из театра. Играли в тот вечер «Эдипа». Трагик Муне-Сюлли восклицал, все потеряв: «Как жизнь страшна!..» Тогда были фиакры с крохотными оконцами, завешенными темносиними шторами; а впереди сидел кучер в блестящем цилиндре. Они ехали по темной аллее Булонского леса. Тесса целовал Амали. На ней была шляпка с длинными лентами вроде капора. Она обнимала его и говорила: «Какое счастье!» И потом: «Грех!..» И еще крепче обнимала. Губы у нее были пухлые, как у Полет...

Тесса рассердился на себя: все это не то! Он знал, что скорбь его глубже этих несвязных воспоминаний. Он стал повторять: «Умерла, умерла». Может быть, слово передаст боль? Но слово было пустым, официальным. Сколько раз он равнодушно говорил его о других? А если позвать Амали, она не услышит. Разве это возможно?.. У нее чуткий сон... Нет, теперь надо говорить: «был»... Он не может ей рассказать, как все было в Марселе, про Фуже, про пожар. И ничего больше ей не расскажет. Вот ее

вязанье: не довязала ему кашне. Спицы, шерсть... Он зачем-то стал считать петли и задремал: в дороге не спал, волновался.

Он не слышал, как в комнату вошла Дениз. О смерти матери она прочитала в газете. Прибежала. А увидев покойницу, растерялась: никогда она не видела мать такой. Было в этом лице столько мудрости, что Дениз смутно подумала: «Я ее не знала!.. А теперь поздно...» Дениз взглянула на отца. Он спал с клубком зеленой шерсти на коленях. И лилии — как в церкви... Все это было невыносимо, как дурной сон. Чужое... Только рука матери была знакомой, понятной. Впервые Дениз увидела свое детство издалека. Она прижала к худой, твердой руке свои горячие губы и почувствовала, что плачет. Слезы сделали все простым, не облегчили горя, но успокоили. И, поплакав, Дениз вышла на цыпочках из комнаты. Прошла по хорошо ей знакомому длинному коридору. На фотографиях Тесса в адвокатском балахоне продолжал паясничать. А на улице было горько и празднично; только что прошел дождь; по асфальту плыли огни; все блестело — черное, темнофиолетовое, серебряное.

Амали перед смертью причастилась, но Тесса распорядился, чтобы похороны были гражданскими — зачем раздражать левых, да еще сразу после марсельского съезда?.. Зазвенел кладбищенский колокол. Ворота раскрылись. Процессия двигалась медленно. Впереди шел Тесса, потом мужчины, потом женщины. Похороны супруги министра были событием, и собрался «весь Париж». На соседней улице стояли сотни машин — те же, что стоят возле Бурбонского дворца в дни крупных дебатов, а возле театра в вечера премьер. Депутаты различных групп захотели выразить Тесса свое соболезнование: старая лиса Марен и Виар, Маршандо и Бретейль. Пришли адвокаты, представители акционерных обществ, в правлениях которых Тесса состоял или дела которых он вел, прокуроры, дельцы — барон Ротшильд, Дессер, Меже, журналисты во главе с Жолио, Поль Моран, директора театров, дипломаты. Говорили, что присутствие советника германского посольства — «хороший симптом». Венки везли на отдельном грузовике. Жолио, размахивая палкой с огром-

ным набалдашником, говорил журналистам: «Фуже? Он!.. Я Марсель знаю...» Тесса шел спокойно, но часто вынимал платок и печально сморкался.

Амали хоронили на Пер-Лашез. Это было самое дорогое кладбище, но Тесса не поскупился. Он выбрал прекрасный участок. Он сразу купил место и для себя. Это было будничной житейской подробностью — так делают все. Разговор шел об участках, о метрах, о деньгах, и Тесса не связывал его с мыслями о смерти. Он подписал контракт. «В вечное пользование...» Нужно иметь место среди порядочных могил. Направо от Амали покоился адмирал, налево — супруга сенатора.

Много раз Тесса бывал на кладбищах: хоронить министров и депутатов входило в его обязанности. Но сейчас он поглядел на кладбище хозяйским глазом и удивился. Город!.. Улицы, у каждой свое имя; номера домов. Нет, не домов — могил... И чисто. Садовник срезает сухие ветки. Конечно, тесно. Но, умирая, люди как-то съеживаются... зато хороший квартал... И то, что кладбище — город, что оно входит в жизнь, успокоило Тесса.

Он стоял один над раскрытой могилой. Он увидел вдали рыжую голову Люсьена и отвернулся. До чего Люсьен похож на дядю Робера!.. Робер был бандитом... А Люсьен исчез за памятником. Он пришел сюда, ни о чем не думая, как лунатик: проститься с матерью (домой пойти не решился). Увидев гроб, украшенный серебряными листьями, маскарадные шляпы могильщиков, постную физиономию Бретейля, васильковый галстук Жолио, Люсьен понял, что матери здесь нет, и убежал, озираясь, как неудачливый вор.

Все, выстроясь, чинно проходили мимо могильщика, державшего на подносе землю, и бросали вниз горсточку. Потом жали руку Тесса.

Сколько раз Тесса брал щепотку земли, жал руки вдовам и вдовцам! Но теперь все это показалось ему непонятным. Дул холодный, резкий ветер, от него было больно глазам. Тесса жмурился. Вдруг он подумал: «Может быть, это меня хоронят?.. Два места...» Он зашатался. Чья-то заботливая рука его поддержала. Он поглядел — борода Дормуа... «А говорили, что Дормуа меня ненавидит...»

Теперь Тесса вглядывался в лица, проверял, какие депутаты пришли. Это напоминало голосование в палате, и с радостью Тесса почувствовал: «Жив! Просто усталость...»

Вечером он поехал к Полет. Он долго колебался — не оскорбит ли он этим память Амали? Но все же поехал: он нуждался в сочувствии, в ласке. Слишком пусто было дома. И всякая безделка напоминала об Амали.

Полет была полной, красивой женщиной. Обладая небольшим, но приятным голосом, она исполняла в варьете песенки, то сентиментальные — про жену моряка, про гибель солдата в пустыне, то непристойные. В жизни она не любила сальностей, была благодушной, созданной для уюта; обожала детей, огород, рукоделия; на сцену она попала случайно — глупая связь в ранней молодости. С Тесса сошлась три года тому назад. Эта связь ей льстила: к ней, маленькой актрисе, приезжал блистательный адвокат, депутат парламента, теперь министр. Дочь провинциального лавочника, она писала с ошибками и посвящала досуги детективным романам. Тесса она уважала: он все знает, вставляет в разговор стихи и латинские поговорки, говорит об Америке, как о соседнем квартале. Она и жалела Тесса — у нее было доброе сердце: много работает, больная жена, неудачные дети. Старалась его порадовать: причесывалась, как он любил, вязала ему галстуки, готовила домашние паштеты. Тесса ее баловал, и Полет была убеждена, что она ему верна, хотя у нее был второй любовник, жокей Альбер, о существовании которого Тесса не подозревал. Для Полет это не было изменой. Раз в неделю она встречалась с молодым жокеем, который знал только имена жеребцов; он находил даже полицейские романы «утомительными». Полет с ним не разговаривала, не вязала ему галстуков, не угощала паштетами. Она только его целовала, жадно, молча — так едят очень голодные люди. И, уходя, она не чувствовала ни печали, ни угрызений.

Она сидела у себя в голубом кимоно, на котором были вышиты цапли, когда позвонили. Увидав Тесса, она удивилась — не ждала его сегодня. Он молча поздоровался, прошел в комнату, сел и расстегнул воротничок—он плохо себя чувствовал, задыхался. Жалость мучила Полет: она

не знала, что сказать, а молчание было несносным. Заговорил Тесса:

— В Марселе, когда был пожар, говорили, что это дурной признак. Я не верю в приметы. Но что ты хочешь, иногда задумываешься...

Полет была суеверна, боялась пройти под лестницей, плакала над разбитым зеркалом. От слов Тесса ей стало неуютно. Может быть, и вправду есть высшая сила?.. А Тесса уже говорил о другом:

— Ужасно, что это случилось в такое время! Я совершенно выбит из колеи, а нужно работать... Они готовятся к всеобщей забастовке. Это будет катастрофа. Только-только мы избежали войны...

Полет принесла бутылку старого арманьяка. Тесса нагрел руками рюмку и выпил. Снова нашла тоска, как у могилы. Мысли путались. Он неожиданно сказал: «Знаешь, я купил два места...» Она отвернулась. Он подумал: «Как я — от Амали...» Он просунул руку под рубашку, потрогал свою грудь. Тепло тела успокаивало: жив!.. Он налил еще арманьяка, налил и Полет, чокнулся с ней:

— За твое!.. Доктор мне дал лекарство, успокаивает будто бы нервы. Он сказал, что она не страдала. Все-таки это ужасно! Я никак не могу понять, что случилось... Ей было легче: верила. Боялась, что попадет в ад. А я просто боюсь... Это рядом с адмиралом Леперье...

Они выпили еще. Он поглядел на кимоно:

— Какой глупый пеньюар! Почему птицы?..

Он оглядел комнату, как будто никогда здесь не был. Пианино; на стенах фотографии актеров с размашистыми автографами; диван и десяток пестрых подушек. Арманьяк хороший, очень хороший...

— Где ты достала этот арманьяк?.. Она хотела, чтобы ее хоронили с кюре. Мне все равно. Но у меня общественное положение... Конечно, Бретейль обрадовался бы, но я должен считаться и с левым крылом... Они теперь обозлены. А ей все равно, она не слышит. И если позвать, не услышит... Я об этом уже думал... Полет, детка, спой мне что-нибудь грустное.

— Господи, нет у тебя сердца! Ни-ни...

21

Ноябрьские туманы были желтыми, горчичными, черными. Слезились дряхлые, закопченные дома предместий. Людей в ту осень охватило отчаяние. Рабочие потеряли все завоеванное ими летом тридцать шестого. Каждый новый декрет нес обиды и лишения: увеличили рабочую неделю, снизили оплату сверхурочных часов, обложили налогами нищенские заработки. Вспыхивали разрозненные забастовки. Полицейские очищали заводы. Стачечные пикеты попадали на скамью подсудимых, и суды строго наказывали «зачинщиков». А кто правил страной? Даладье, еще недавно на площади Бастилии подымавший кулак: «Я — сын пекаря, друг народа...» Тесса, за которого в Пуатье голосовали коммунисты. Разуверение глушило страну. Тираж газет пал. Собрания проходили в пустых залах. В маленьких кафе, где собирались рабочие, стояла унылая тишина. Глядя на агонию Испании, люди говорили: «Теперь наш черед».

Даладье страдал манией преследования: боялся беспорядков. Он не догадывался о том, какая усталость охватила Францию. А его противники жили иллюзиями. Синдикаты решили провести однодневную забастовку. Задолго вперед объявили о назначенном дне. Тесса забыл Амали, оживился: он — главнокомандующий! На стенах снова забелели листочки, возвещавшие мобилизацию: железнодорожники, рабочие военных заводов и общественных предприятий были приравнены к солдатам. Правительство разъяснило, что забастовщиков будут карать как дезертиров. Самодовольно улыбаясь, Тесса говорил: «Это мое изобретение. Трудно только начало. А теперь все понимают, что мобилизация — явление, так сказать, естественное».

Побеседовав с Тесса, Жолио написал, что забастовка наруку немцам: «Французы, остерегайтесь даров московских данайцев!..»

Рассказывали о поражении Дессера. На собрании промышленников он предложил компромисс: рабочие отказываются от задуманной забастовки, правительство пересматривает некоторые декреты. Все возмутились: капитулировать перед коммунистами?.. Напрасно Дессер

говорил: «Нам угрожает война. Теперь не время озлоблять рабочих». Монтиньи вопил: «Пора с этим покончить. Гитлер показал пример... Пускай бастуют. По крайней мере мы сможем очистить заводы от коммунистов».

Взглянув на термометр, Виар с облегчением воскликнул: «Тридцать семь и восемь» — грипп освобождал его от ответственности. Он возмущался политикой радикалов: «Кидают рабочих в объятия коммунистов. Дело кончится бунтом и победой фашизма». Еще до болезни он написал туманную передовицу: «Наш долг — предостеречь рабочих от провокации. Если плебеи, справедливо возмущенные новыми декретами, скрестят руки, это будет национальной катастрофой». Он не призывал к забастовке и не осуждал ее; но некоторые из его друзей обратились к рабочим с призывом не бастовать.

Обыватели с опаской приоткрыли ставни: что-то сегодня будет?.. Подметают террасы кафе. Будничное туманное утро. Но вокруг заводов посвечивали каски; вокзалы, министерства, почтовые отделения охранялись отрядами жандармов; в автобусах рядом с шофером сидел полицейский; проезжали гвардейцы с конскими хвостами на медных касках, тупо оглядывая дома. Все говорили о расправах: арестантские роты, каторга...

Старые рабочие были угрюмы, неразговорчивы: боялись, что забастовка сорвется. Для Дениз это было боевым крещением. Она верила, что правительство не выдержит удара. Тогда конец позору! Парижские рабочие спасут обессиленную, но еще живую Испанию.

Дениз долго готовилась к этому дню; спрашивала себя — хватит ли у нее силы, находчивости, смелости. Ей казалось, что она сможет пристыдить малодушных, прочитав им письмо Мишо — о мужестве бойцов Эбро. А если приведут солдат, она им скажет: «Вы — наши братья!..» Душевное напряжение сказывалось в ее глазах, сухих и блестящих.

Все были в сборе, но никто не приступал к работе. Пришли из литейного цеха, сказали, что часть рабочих работает. Попробовали запеть «Молодую гвардию»; несколько голосов утонуло в грустной тишине. В цех вошел старший инженер. Его окружали полицейские в штатском; один помахивал револьвером. Инженер сказал:

«Господа, если вы не намереваетесь приступить к работе, прошу покинуть помещение». В ответ раздались возмущенные возгласы. Инженер махнул рукой и ушел. А полицейские остались. Рабочие стали вполголоса обсуждать, как быть.

— В литейном работают...

— Ничего из этого не выйдет...

Дениз крикнула:

— Товарищи!..

Полицейские подхватили ее, вынесли. Один больно скрутил ей руки.

Некоторые рабочие стали на работу; другие ушли. Десяток непокорных вывели на двор. На боковой улице стоял полицейский фургон. Арестованных втолкнули туда; одному вышибли зубы. Порвали платье Дениз. Она говорила товарищам: «Наши не уйдут!..» Боль, арест казались Дениз наградой. Ни грусть товарищей, ни темная, грязная комната в префектуре, куда кинули задержанных, не могли ее протрезвить.

Ее обыскали; усатый полицейский, от которого разило ромом, огромной ручищей шарил по телу, говорил сальности. Она глядела пустыми глазами: ее здесь не было. Она думала об одном: как проходит забастовка?

А на другом конце города, в Бильянкуре, шли приготовления к штурму завода «Сэн». Дессер, сидя у стола, тупо глядел в одну точку. Попробовал закурить, но трубка каждую минуту гасла. Он задыхался. Болело левое плечо, рука. Смутно он подумал: «Может быть, грудная жаба?..» Впервые Дессер чувствовал бессилие. Тупость предпринимателей его изумила: слепцы, куда они ведут страну?.. Он хотел во что бы то ни стало предотвратить забастовку, беседовал с Даладье, с Тесса, с Фроссаром, доказывал, убеждал. Его вежливо выслушивали, потом отвечали: «Надо покончить с коммунистами...» А промышленники требовали солидарности: «Вы — член нашего объединения». Дессер думал было закрыть свои заводы на несколько дней: этим он спасет положение — не придется прибегать к репрессиям. Но Тесса завопил: «Саботаж!.. Что скажет палата?..» Инженеры ворчали: «Если правительство не расправится с коммунистами, мы устроим отряды самообороны». Монтиньи грозил сканда-

лом. И Дессер подчинился. Режиссер стал простым зрителем. Он сидел и, томясь, ждал событий.

Легре боялся, что забастовка провалится: люди устали, изверились. Но угрозы разозлили рабочих: «Не запугаете!..» Даже противники забастовки притихли. Среди сизого тумана краснели флаги. В цехах, во дворе рабочие готовились к бою.

В помещении дирекции инженеры обступили Пьера:

— Демагог!

— Агент Москвы!

Взбешенный, он кричал:

— Фашисты! Гитлеровцы!

Дело дошло бы до пощечин, но Пьера вызвал Дессер.

— Ступайте домой. Это скверная история. Теперь не тридцать шестой. Они хотели этой забастовки... А вы сломаете себе шею. На вас набросятся, как на инженера. И я не смогу вас отстоять.

— Меньше всего я сейчас думаю о себе.

— Напрасно. У вас жена, ребенок. Идеи?.. Бросьте! Вы уже убедились, что Виар старый комедиант. Другие не лучше. Теперь надо спасать свою шкуру.

— Этим занимаетесь вы. Да, да, именно спасаете шкуру. В Мюнхене. Здесь. И не спасете!..

Когда Пьер вышел к рабочим, поднялись тысячи кулаков: инженер Дюбуа с нами! Вся теплота этих рассерженных суровых людей шла к нему.

Старший комиссар, увидев толпу, смутился и пошел к Дессеру:

— Ваш авторитет...

Дессер раздраженно пожал плечами:

— Господин комиссар, я бессилен. Да и вам советую не настаивать...

— К сожалению, у меня имеются инструкции.

Увидев полицейских, рабочие замолкли. Некоторые держали камни, железные бруски. Приготовили шланги. Легре стоял у главных ворот.

Судьба еще раз вмешалась в его сердечные дела. Он так и не рассказал Жозет о своих чувствах. Но месяц назад его жизнь переменилась. Он зашел к отцу Жозет: говорили о партийной кассе. Когда он уходил, Жозет спросила: «Вам в какую сторону?» — «В Сюрен».—

«И мне туда». На набережной она сказала: «Мне не нужно в Сюрен...» Был сырой осенний вечер. Зачем-то они ходили по пустой набережной — до моста и назад. Наконец Жозет сказала: «Когда вы не приходите, мне очень грустно». Он вскрикнул: «Правда?» И сейчас же добавил: «Стар я для вас, ведь мне...» Она не дала ему договорить, поцеловала. И вот — забастовка. Легре теперь не до чувств. Только иногда приходит в голову: «Что Жозет?»

Пьер был наверху, в лаборатории, когда увидел, что полицейские выбили ворота. Они накинулись на Легре. Легре был силен, отбивался; его повалили. Из окон посыпались камни. Пьер сбежал вниз. Вдруг он почувствовал резь в глазах. Он схватился за косяк двери, чтобы не упасть. По двору метались люди. Кто-то отчаянно крикнул:

— Газы!..

Дессер стоял у окна, он все видел, и в тоске он спрашивал себя: «Это — Франция?» Той страны, которую он любил, больше не было. Не было Франции уютной и сердечной, где рабочие добродушно ругали хозяев, а потом чокались с ними, где люди после пламенных речей садились обедать и за хорошим рагу забывали о «социальной революции», где любили цветы, шутки. Он хотел спасти вымышленную Францию, воспоминания, книги, миф. Газами?.. Что же, пускай! Теперь не помочь... Надо и впрямь подумать о своей шкуре, поменьше курить, лечиться. Позвонить Жаннет. Уехать подальше — на Яву или в Чили.

Полицейские увезли около ста рабочих. В префектуре не знали, что делать с задержанными; а грузовики каждые полчаса привозили новых постояльцев.

Дениз жадно прислушивалась к разговорам полицейских. Злятся, значит забастовка удалась! Иногда в камеру приводили новых. Телефонистка рассказала: «Все сорвалось, испугались репрессий». Привели служащего метро; лицо у него было в крови; отдышавшись, он выругался: «Трусы!..» Метро работало. К вечеру Дениз узнала, что бастовали только большие заводы. Когда стемнело, полицейские втолкнули в камеру еще трех рабочих.

— На «Сэн» все забастовали. Остались. А они газами...

Слово «газы» всех потрясло. Телефонистка плакала. А Дениз вдруг встала и запела. Другие подхватили. На-

прасно полицейские грозили избить арестованных, песня не смолкала, ее услышали в соседних камерах, она понеслась по окаянным коридорам, пропахшим сыростью, кожей, мышами. В этой песне сказались все чувства: мужество, гнев, братство. А пели рабочие заводов «Сэн», «Гном», Рено песню сибирских партизан...

Вечером Даладье выступил. Он говорил у себя в кабинете, один перед микрофоном. Тупо глядел он в пустоту, а на лбу набухали жилы.

— Правительство одержало победу...

После стольких отступлений, после Мюнхена он, наконец-то, выговорил сладкое слово «победа».

Начали допрашивать арестованных. Услышав «Дениз Тесса», комиссар усмехнулся:

— Уж не родственница ли?..

Никакие пытки не могли бы сломить Дениз. Но этот человек коснулся самого страшного. Она молчала. Потом она подумала: «Еще унизительней скрыть».

— Я дочь вашего министра. Но это не имеет никакого отношения к делу. Я коммунистка. Вы можете продолжать...

Комиссар поморгал, погримасничал и пошел к начальнику. Доложил префекту.

Тесса спал: звонок «по срочному делу» его разбудил. Накануне был горячий день. Он выхватывал из рук секретаря сводки, звонил в префектуру: боялся, что забастовка разрастется. Успокоился он только поздно ночью. В три часа утра он принял ванну. Блестел белый кафель; вода казалась голубой. Тесса разглядывал свои тонкие ноги и напевал арию из «Риголетто». Это у них отнимет охоту бастовать. Вот только не воспользовались бы провалом забастовки правые!..

Сонный, он слушал: «Дело касается вашей дочери...» Он сразу понял все. Теперь он в руках префекта! Кто поручится, что не узнает Бретейль?.. Какая пожива для газетчиков! Проклятая девчонка!..

Тесса стоял в кабинете префекта возле гипсового бюста Республики, когда ввели Дениз. Увидев ее, Тесса почувствовал жалость. Дениз была в порванном платье, растрепанная, бледная после бессонной ночи. И это — его дочь, над здоровьем которой он дрожал — возил на

курорты, приглашал профессоров!.. Он постарался пересилить негодование; нежно, с дрожью в голосе сказал:

— Дениз, я приехал, чтобы тебя освободить.

У него был свой план: он скажет префекту, что Дениз хотела написать роман из жизни низов; для этого пошла на завод. Он увезет ее к себе, и осиротевший дом снова оживет. Как он будет ее холить!..

— В таком случае освободите всех.

Эти слова, голос Дениз, неожиданное обращение на «вы» ошеломили Тесса.

— Дениз!..

Она молчала. Перед ней был чужой человек: вчерашний день освободил ее от прошлого.

Тесса вышел из себя.

— Освободить этих мерзавцев? Да ты понимаешь, что ты говоришь?

— Кто мерзавцы? Перед немцами вы струсили: «Мы не готовы...» Вот для чего вам понадобились газы!

— Твои коммунисты работают на немцев. Вчера, пока вы бастовали, итальянцы выступили с требованиями: Ницца, Корсика. Первые результаты забастовки.

— На немцев работаете вы. Кто закрыл авиазаводы? И потом не вам лично это говорить. Когда Фуже открыл рот, вы подослали гангстеров...

— Ложь! Гнусная ложь! Идиотка, ты веришь всему, что тебе говорят! Овца!

Он долго выкрикивал обидные слова; потом вдруг замолк. Зачем? Это — одержимая. Ее не разубедишь. Надо замять дело...

— Не будем спорить. У каждого свои убеждения. Но ты должна меня понять. Если это попадет в газеты, обрадуются наши общие враги — фашисты, Бретейль.

— Чем вы лучше Бретейля?

— Ты все сводишь к политике. Есть чувства. Как-никак, ты моя дочь. Вспомни покойную маму. Какое у нее было сердце!.. Дениз, я тебя умоляю — вернись домой! Во имя мамы!..

Не вытерпев, она крикнула:

— Замолчите! Вы низкий человек!

(Потом она упрекала себя за эти слова: она выдала свою муку.)

Тесса ушел, ничего не добившись. Пришлось нажать на префекта. Сообщение об аресте Дениз не попало в газеты; не упомянули и о приговоре. Судили ее вместе с другими рабочими завода «Гном»; всем дали по месяцу тюрьмы. Дениз была счастлива: председатель скороговоркой пробормотал ее имя, не спросил о происхождении. Она не подозревала, сколько усилий это стоило ее отцу.

А Тесса возненавидел коммунистов. Прежде у него не было врагов. Конечно, он порой обижался на Бретейля или на Виара; но это были партнеры по игре. Он пожалел даже Фуже, хотя бородач хотел его очернить. Но коммунисты отняли у него Дениз. Они превратили кроткую, любящую девушку в фурию, в поджигательницу. Такие в девяносто третьем танцовали вокруг гильотины!.. Разве это политическая партия? Это душевное подполье. Если их не уничтожить, они будут пытать, резать, душить. Тесса для них клоп. Но Франция еще держится! Забастовка провалилась. Значит, поживем... Можно отдохнуть у Полет.

22

Дессеру не хотелось расставаться с Пьером; собственное бессилие раздражало: он, перед которым лебезили министры, должен подчиниться кучке крикунов! Но оставить Пьера на заводе он не решился: правые газеты расписали эпопею «красного инженера». Дессер предложил: «Я пошлю вас в Америку. Надо переждать год». Пьер отказался: считал это «подачкой».

Объяснение происходило на террасе большого кафе. Вечер был необычно холодным: четыре ниже нуля. Посетители, шипя и фыркая, спешили внутрь, чтобы согреться стаканом грога. А на пустой террасе сиротливо розовели жаровни.

Дессер говорил:

— Конечно, вы вправе не поверить мне... Но это так. Мы все связаны — средой, общественным мнением, предрассудками. Наверно, среди рабочих было немало противников забастовки. Они оказались бессильными. Я принужден считаться с суждениями господина Монтиньи. На вашем языке это — фашист, на моем — дурак и хам. Они

обвиняют Кота: мало бомбардировщиков. Но вы — один из лучших инженеров, и мне приходится с вами расстаться. Какое им дело до бомбардировщиков? Какое им дело до Франции?

Пьер, когда-то безмерно доверчивый, стал подозрительным, сухим. Жалобы Дессера казались ему притворными:

— Почему вы их упрекаете?.. Ведь и вы были за Мюнхен.

— Я хотел вооруженного мира, переговоров, компромисса. А они мечтают об одном: как бы поскорее сдаться на милость Гитлера. В событиях разбираются только жулики, и эти торопятся нахапать. А честные люди ослепли.

— Есть и другие... Вы разговаривали с Легре? Его избили полицейские; он теперь в больнице. Таких, как он, много. В человеке тысячи чувств и мыслей. Обычно они рассеиваются; люди создают искусство, уют, семью. Почему я заговорил о коммунистах? У них все направлено на одно, и это не слепота, а устремленность.

— Видите эти жаровни? Иллюзия тепла. Как будто можно отопить улицу!.. Кстати, я продрог. Итак, в последний раз — вы отказываетесь?

Пьер ждал упреков Аньес: безработица, нищета. А здесь Дуду... Но Аньес сразу сказала: «Ты прав». Она не соглашалась с ним, когда он говорил о политике, но как только вставал вопрос о независимости, о достоинстве, она восхищенно глядела на него, как девочкой глядела на отца.

Прошло три недели, и та нищета, которая еще недавно казалась призраком, грозным, но отвлеченным словом, стала бытом. Жалованье Аньес ушло на квартирную плату и на врача (Дуду болел). К концу месяца они остались без денег. Оба прежде знавали аккуратную бедность; теперь на них надвинулась оскорбительная нищета.

Кажется, не было завода, куда не зашел бы Пьер. «Союз предпринимателей» занес его имя в черный список. Напрасно он пытался наняться механиком, даже чернорабочим: повсюду нарывался на отказ.

Он продал часы; заплатили долг молочнице. Аньес отнесла старьевщику зимнее пальто («Оно мне велико...»);

неделю обедали. Она обнадеживала Пьера: «Может быть, к празднику мне дадут наградные». Он уходил рано утром, весь день бродил, заходил в маленькие мастерские, часами изучал объявления. Вечером говорил Аньес, будто встретил приятеля и тот его накормил обедом. Одет был Пьер опрятно, каждый день брился; никто не принял бы этого корректного седеющего мечтателя за нищего. Но, проходя мимо колбасных, он отворачивался...

Как-то он увидел объявление: в случае снегопада производится набор рабочих для очистки улиц, являться в пять часов утра. Небо смилостивилось: снег начал падать с вечера, большими хлопьями; сначала он таял, потом покрыл мостовые. В четыре Пьер тихонько, чтобы не разбудить Аньес, вышел из дому. Его знобило от холода, но он улыбался: наконец-то он принесет Аньес двадцать, может тридцать франков! Он был на месте без четверти пять. Большой газовый фонарь освещал белый пустырь и толпу людей вокруг темного кирпичного здания. Кого только здесь не было! Безработные, босяки, почтовики, уволенные за участие в забастовке, изголодавшийся художник, несколько немецких эмигрантов, старики, подростки. Требовалось сорок человек, а пришло не меньше трехсот. Пьер терпеливо ждал. Потом крикнули: «Хватит!» Он поплелся домой. От голода он ослаб, ноги были ватными, мутило.

Он прошел мимо Центральных рынков. Здесь царило оживление: рестораторы, владельцы мясных, гастрономических и зеленных магазинов толпились, забирая товар. Кажется, все в Париже изменилось, кроме его «чрева», описанного Золя. И, увидев сырые, склизкие своды, горы живности, Пьер смутно подумал о полузабытом романе: голодный чудак, мечтатель, беглый каторжник среди сытых, бесчувственных торгашей...

На крюках висели огромные туши: багровые, фиолетовые, нестерпимо розовые. Сколько нужно обжоре-городу волов и ягнят? Сколько гусей, с искусственно увеличенной, похожей на опухоль, печенью? Сколько пятнистых цесарок и пестрогрудых фазанов?

В рыбном ряду лежали огромные, будто отлитые из пластмассы тунцы, нежные тюрбо, макрели, мерланы, скользкая камбала, устрицы, то плоские, как бы отточен-

ные «маренн», то корявые, называвшиеся «португальскими», мидии, морские ежи. Запах был несносен. Краснели руки торговок, изъеденные солью. С мрамора струилась вода.

Еще дальше торговали зеленью: бледным цикорием, каротелью, репой, парниковой спаржей. В кокетливых корзиночках лежали шампиньоны. Кочаны латука из Русильона. Дальше — глыбы медового масла из Шаранты, сыры, яйца, сметана в жестяных жбанах. Апельсины мессинские и яффские, яблоки, ветки загнивающих бананов с их пряным запахом тропиков, финики, ананасы.

Торговки ели луковый суп, грея о миску одеревеневшие пальцы. Бродяги подбирали картошку. Знатоки ощупывали сыры, прицениваясь к дичи. Пронеслись газетчики с серыми листами, пахнущими краской. Потом зазвонили колокола средневековой церкви Сент-Эсташ. Мясники в багряных фартуках рубили туши. Огородники выгружали из старых «ситроенов» брюкву и порей; потом пили у стойки кофе с коньяком. По мостовой, как кровь, текло красное вино. Цветы, стиснутые в громадные кубы, казались загадочными: пуды левкоев, гвоздик, роз. Поезда шли из Ниццы, из Грасс с душистым грузом: мимоза, примулы, гиацинты, ландыши, азалии. Для Парижа не было календаря: на ручных тележках круглый год цвели цветы.

А с неба падали мокрые хлопья. Счастливцы теперь сгребают снег! Не Пьер... Он шел, как заведенный; даже не чувствовал голода; от запахов тошнило; изобилие снеди подавляло — это было не едой, о которой можно мечтать, но вызовом, философией: враждебный мир торговок, макрелей, весов, сальных бумажников. И сто тысяч букетов... Что Парижу слезы Ванека, горе Каталонии, боль Легре, голод Пьера?.. Париж живет. Вот колбасник, отпуская сорок кило кровяной колбасы, мурлычет: «Париж остается Парижем...» В этом утверждении жизни был такой пафос, что Пьер присмирел. Он делал вид, что спешит, зная, что спешить некуда, мерз и вдруг замедлял шаг, поворачивал назад, бессмысленно кружился в лабиринте узких коленчатых улиц квартала Бюси, возвращаясь все к тому же перекрестку с тележками, на которых умирали скользкие плоские рыбы.

Потом Пьер присел на мокрую скамью; подобрал брошенную газету: «Успокоение в Европе... Выступление Тесса. Гарантии мира...» И вдруг все в нем очнулось: донесся запах жареной картошки. Она кипела в больших чанах; ее накладывали в бумажные кулечки, и торговка назойливо выкрикивала: «Горяченькая!.. Десять су!..» Да, вот горделивая мечта — десять су! Неожиданно для себя Пьер вскочил, протянул измятую газету прохожему. Это был чиновник, спешивший на службу; он изумленно взглянул на Пьера и зашагал быстрее. Пьер поплелся назад к скамье. «Зачем я это сделал?..» Он снова впал в оцепенение; как бы издалека доносились гудки машин, крики торговок. Прошла мимо парочка; девушка поглядела на Пьера и что-то шепнула своему спутнику. Подошла старая такса, обнюхала ботинки Пьера, опустила хвост и отошла. Он несчастен, даже собака это почувствовала...

А дома ждала беда; Аньес его встретила шопотом:

— Отец приехал.

В другое время как бы они обрадовались!.. Отец Аньес, который жил в маленьком городке на юго-западе Франции, давно хотел навестить дочь и поглядеть внука. Иногда от него приходили короткие письма, написанные крупным детским почерком.

Аньес часто рассказывала Пьеру о своем отце. Лежандр был старым механиком. До войны он просидел десять месяцев в тюрьме за антимилитаристическую пропаганду. Лет пять тому назад он стал прихварывать, бросил завод и уехал в Дакс, где у младшего брата был маленький гараж. Он помогал исправлять машины, а в свободное время корпел над грядками. Ему было шестьдесят четыре года. Пьеру он представлялся прежде большим, с седой гривой. Увидел он ссохшегося старичка; на голове, как у новорожденного, пух.

Пьер сразу понял, почему Аньес шепнула в страхе: «Отец...» Старик считал, что дочь его вышла замуж за инженера, живет в достатке, Дуду не знает ни в чем отказа. И как раз он пожаловал в такое время!.. Если сказать правду, старик огорчится. Но чем его накормить?

Тесть с любопытством разглядывал Пьера, сказал: «Хорошие у вас ботинки, крепкие...» Пьер вспомнил:

такса, газета, картошка... Лежандр все в квартире осмотрел, пошел на кухню, одобрил: «Чисто». Спросил Пьера, как работа? С восторгом слушал рассказы о новых моторах. Потом заговорили о политике. Лежандр вздохнул: «Отстал я. Дакс — захолустье. Брат у меня малосознательный, выписывает «Матен». Лежандр не понимал, в чем суть Мюнхена, и оживлялся только, когда Пьер упоминал об испанцах; тогда он закричал: «Победят! Обязательно победят!» Разговор перешел на прошлое. Лежандр просиял; стал вспоминать забастовки, демонстрации: «В шестом мы вышли на улицу с флагами». Гордился тем, что знал Жореса, рассказывал: «Он, когда говорил на собраниях, обязательно снимал воротничок — тогда носили пристяжные,— до того напрягался. Но и голос же у него был!..»

Пьер примолк; он особенно остро ощущал свое бессилие рядом с этим веселым стариком. Лежандр понял его молчание по-своему: «Может быть, я не то сказал?.. Свой ли это?» Его отпугивали манеры Пьера: все-таки инженер!.. Аньес теперь живет в другом мире, и выбрала она не рабочего... Лежандр смутился:

— Я вам, наверно, помешал. Я пойду к Дуе.

Аньес и Пьер переглянулись: надо удержать. Но теперь время обеда, а чем его накормить? Суп для Дуду... Сказать, что уходят, приглашены? Старик обидится. Аньес попросила: «Погоди. Расскажи, как в Даксе?» Старик стал рассказывать. Летом было много туристов; брат заработал. А теперь время тихое. Боятся, что будет война, не строят, мало покупают автомобилей, говорят: «Реквизируют...» Особенно плохо с грузовиками. Растет безработица.

— А в Париже много безработных?

— Много. И во всех отраслях. Я сегодня видел — пришли улицы очищать, и наборщик был, и кондитер, даже художник. Мы часа два простояли...

Он понял, что проговорился. Старик не поймет, но Аньес... Ведь он ей говорил: «Меня возьмут как инженера...» И Аньес в ужасе на него поглядела, точно впервые осознала все горе нищеты. А Лежандр засуетился. Он вдруг все понял: и стесненность Аньес, и недомолвки Пьера, и пустоту на кухне.

— Я сойду на минутку вниз, на угол — надо мне позвонить Дуе.

Он вернулся четверть часа спустя с покупками: литр вина, сардинки, паштет, сыр, кофе; даже сахару не забыл. Он проворчал Аньес: «А еще дочка!..» Не спрашивал ни о чем. За обедом Пьер ему рассказал про забастовку: газы, разговор с Дессером, черный список. Лежандр сиял: Пьер оказался своим. А нужда?.. Что же, молодые, выдержат...

И Лежандр чокнулся с Пьером:

— За победу!

Для него все было ясно: испанцы скоро расколотят фашистов, да и повсюду рабочие подымутся — забастовки, баррикады.

Пьер осовел от еды, от вина; тепло, хорошо. Но почему не проходит грусть? Вот оно, старое поколение!.. Они ведь тоже пережили разгром, разочарование. Почему же нет у Пьера веры, ясности, веселья вот этого старика?..

Уложили Дуду. Он капризничал, не хотел спать и, конечно, сразу уснул. Глядя на него, Лежандр говорил шопотом:

— У него будет спокойная жизнь, увидите. Не то что у нас. Мы ведь войну пережили. Я в Шампани был. Какое это было горе! А теперь войны не будет — рабочие поумнели. Да и немцы не пойдут, у них тоже рабочие. Неужели они допустят?..

Он привык рано ложиться, вставал в пять. Глаза его стали неподвижными, стеклянными. Несколько минут он боролся со сном, а потом уснул, сидя над кроваткой Дуду; и лицо у него было детское.

23

Кажется, никогда время не тянулось так медленно, как в ту зиму. Париж был тих и загадочен. Синие декабрьские сумерки сердобольно окутывали памятники давней славы. Еще пестрые паяцы и глазированные каштаны в витринах говорили о мирном рождестве; еще бродили одинокие повесы, преследуя не то музу, не то доверчивую мидинетку; но бесчувственность города была забытьем.

Министры аккуратно каждое утро подписывали декреты об увольнении непокорных телеграфистов и кочегаров. Предприниматели рассчитывали рабочих. Голод душил сотни тысяч безработных. Даладье говорил о национальной обороне; но, как заколдованные, стояли станки военных заводов.

Жолио на суммы, полученные от растроганных читателей, поднес супруге Чемберлена туалетный прибор из золота; толстяк хвастливо шептал: «Высшей пробы!..» А когда Чемберлен приехал в Париж, рабочие, собравшись возле вокзала, его освистали. Это было последним вмешательством народа; потом наступила тишина. Суды работали безустали. Механики, шлифовщики, литейщики в тюрьмах клеили бонбоньерки.

Легре доставили в суд из больницы. Его поддерживали два жандарма. Он начал: «Я обвиняю Даладье...» Председатель равнодушно приказал: «Выведите» и пять минут спустя загнусавил: «Согласно закону от двенадцатого июля... Легре Жак... к исправительным работам...»

Друзья Фуже на собрании радикальной фракции потребовали отставки правительства. Кокетливо улыбаясь, Тесса ответил: «Отставка правительства означает войну с нашим могущественным соседом». Он просидел вечер над атласом и теперь, завтракая с каким-нибудь депутатом, в торжественную минуту — «между сыром и грушей» — говорил: «Вы увидите, что немцы пойдут на восток! Там, дорогой мой, нефть. А вы знаете, что такое нефть? Это — кровь века».

В Париж приехал фон Риббентроп. Полиция предусмотрительно очистила улицы от прохожих; и гость увидел фантастическую картину: красное зимнее солнце над пустой площадью Конкорд. Он вежливо сказал: «Париж на этот раз мне особенно понравился...»

Итальянские дивизии подходили к Барселоне. Депутаты собрались на совещание и решили послать к генералу Франко сенатора Берара. Тесса приветствовал решение: «Пора рассеять недоразумение!»

Виар выступил на митинге. Он оплакивал судьбу чешских женщин и каталонских детей; говорил, что правительство несправедливо обрушилось на рабочий класс; потом патетически воскликнул: «Наша республика — по-

следний оплот свободы в порабощенной Европе!» Раздались жидкие аплодисменты. А старик Дюшен, сторож на заводе «Сэн», сидевший в первом ряду, встал и ответил: «Кто пойдет умирать за этот оплот? Да только святые и шлюхи. Но святые — на небесах, а шлюхи не умирают».

Когда Тесса рассказали о реплике Дюшена, он засмеялся: «Что ни говорите, а французы — остроумный народ. Меня не пугает карканье Дюкана — мы не чехи...»

Однако часто на Тесса находила тоска; он думал: «Зачем я за это взялся». Коммунисты кричали: «К стенке Тесса!» Дюкан подхватил историю с письмом Гранделя: «Немецкий шпион в парламенте!» Даже парламентские комиссии ворчали: требовали прекращения репрессий. От комиссии труда к Тесса явился Виар:

— Я тебя недавно защищал на рабочем митинге. Меня прерывали, хотели линчевать... Ты перегнул палку. Правительство исключительно непопулярно.

Тесса пожал плечами:

— А кто популярен? Ты? Фланден? Бретейль? Все это вздор! Я тебе скажу, кто у нас популярен — Гитлер. Лично я очень жалею, что сел на твое место. Теперь куда спокойней быть в оппозиции. Вот вы говорите: «прекратить репрессии». Я рад бы... Что я, зверь? Но пускай коммунисты прекратят свою кампанию. Мы налаживаем мир, а они все срывают. Лучше посадить в тюрьму десять тысяч, чем послать миллионы на убой. Они хотят превентивной войны, а я придумал, ха-ха, превентивные аресты!

Виар снял пенсне, вытер платком стекла и, глядя на Тесса добрыми невидящими глазами, спросил:

— Ты действительно веришь в мир?

— Как тебе сказать?.. Есть шансы, что немцы полезут на восток. Тогда мы спасены лет на двадцать. Можно и просчитаться... Я люблю играть, но мы теперь не игроки, мы карты, нас тасуют, сдают... Отвратительное ремесло! Я завидую безработным: спят под мостом и ни о чем не думают. Огюст, мы не живем, у нас нет времени сосредоточиться. Когда умерла Амали...

Его голос дрогнул: он вспомнил — две свечи, лилии.

А Виар расчувствовался: он не любил Тесса, считал его дельцом. Теперь он увидел в нем близкого человека. Они выросли на тех же книгах, любили те же картины. И оба погубили себя зря, растратили душевный жар: прения, голосования, парламентская грубая стряпня... Он подошел к Тесса и крепко пожал его руку:

— Я понимаю... Я тоже очень одинок.

Они забыли про вотум комиссии, про судьбу Франции. Два старика отдались своему личному горю. Виар жаловался:

— Когда-то были монастыри — затворялись, читали, думали о сущности мироздания, поливали цветы... А теперь нет даже убежища.

Но Тесса уже успел отойти. К чему эти мрачные мысли?.. Он весело возразил:

— Не говори! Я позавчера был в «Фоли бержер». Все-таки гёрльс — дивная находка! Конечно, нельзя к этому подходить, как к хореографии. Это не Павлова... Но когда они прыгают, я, честное слово, оживаю.

24

Тесса теперь опирался на правых. Он старался расположить к себе сурового Бретейля; но тот с каждым днем становился требовательней, настаивал на отставке Манделя. Бретейль заявил на банкете спортивных клубов: «Увы, еврей Мандель до сих пор министр! Он хочет нас поссорить с Германией». Тесса поспешил высказать Манделю соболезнование: «Что вы хотите, Бретейль — фанатик, у него восточный ум, недаром он уроженец Лотарингии, а мы — картезианцы, нам это чуждо...» Но Бретейлю Тесса сказал: «Да, да, в вашем замечании насчет Манделя много правильного — Израиль остается чужеродным телом».

Смущала Тесса тень Гранделя: он повсюду бывал, очаровательно улыбался, пришепетывал: «мой дорогой друг», и Тесса спрашивал себя: «Может быть, он хочет и меня окрутить?..» Грандель стал любимцем парижских салонов. Он прочитал перед фешенебельной аудиторией «Амбассадер» доклад: «Германо-латинский мир в борьбе

против большевизма». Его снимали кинорепортеры. Улыбаясь, он на ходу кидал: «Украина стоит изучения. Я вчера прочитал биографию Мазепы: интересно и поучительно!..» Тесса не знал, кто это — Мазепа, но к каждому слову Гранделя он относился подозрительно. Иногда он вспоминал письмо Кильмана; но чаще думал: «Грандель метит в министры. Надо с ним быть осторожней!..»

А Брейтель попрежнему поддерживал Гранделя; никто не подозревал, что между ними пробежала кошка. Разговоры Фуже теперь подхватил Дюкан; он повсюду кричал: «Остерегайтесь Гранделя!» Когда его спрашивали, имеются ли у него доказательства, он отвечал: «Нет! Но я это чувствую...» С Бретейлем Дюкан перестал здороваться, вышел из фракции. Правые его травили, называли «юродивым», «реваншистом», «национал-большевиком». Но личная безупречность создала Дюкану репутацию честного патриота; и эту репутацию трудно было разбить. Многие друзья Бретейля продолжали встречаться с Дюканом; в некогда дисциплинированной партии начался разброд.

Генерал Пикар, потрясенный отзывом Дюкана, пришел к Бретейлю:

— Для вас у меня нет тайн. Но вот приходит Грандель и ставит вопросы, касающиеся нашего вооружения... Как я могу ему доверять?

— Грандель работает со мной.

— Да, но вы знаете, что про него говорят... Теперь не тридцать шестой, во главе Франции не Блюм. Если начнется война, отвечать будем мы...

Бретейль нервно теребил край скатерти:

— Это сложная игра. И опасная — не скрою. Мы не можем победить одни. Стоит нам уступить, и снова — Народный фронт. Конечно, если бы я мог, я выбрал бы других союзников. Как-никак, я лотарингец... Но выбора нет. Англичане — это боги на Олимпе. Мы для них игральные жетоны: заплатят нашим Тунисом или Индо-Китаем. И потом хорошо говорить о тройственном пакте, когда в парламенте один коммунист, да, да — один! А у нас?.. Я стою на национальной точке зрения. Немцы хотят нас использовать, это понятно. Но Франция — единое

тело, ее нельзя раздробить, зараза не коснулась костяка. Значит, произойдет обратное: мы используем немцев, а не они нас. Вы меня понимаете? Угроза войны позволит нам освободиться от коммунистов. Побеждает тот, кто говорит народу: «Мир!» А воевать Гитлер не посмеет: наша армия чего-нибудь да стоит. Впрочем, вы это знаете лучше меня...

— Я ничего больше не знаю. Боюсь, что наша армия не выдержит удара. Дело даже не в вооружении, хотя и на этот счет у меня нет сомнения. Я видал нашего атташе, который был в Испании. Он очень высокого мнения о немецкой авиации. Но, повторяю, дело не в этом. Надломлен дух... Офицеры не хотят воевать. И вряд ли захотят, даже если обстоятельства этого потребуют. Вы рассчитываете отступать до такого-то предела. Но я не знаю, сможем ли мы удержаться на рубеже? Армия — нечто живое, это организм...

Пикар волновался: для него армия была кровным делом. А Бретейль, изложив свой план, успокоился. Он все сказал; умолчал только о связи Гранделя с Кильманом, но это деталь, техника... Игра, конечно, опасная... Сколько раз Бретейль колебался! Поддерживала его вера в бога, в провидение. Он вспоминал о лотарингской пастушке, посланной всевышним для спасения Франции. Нет, Франция не погибнет!..

Вскоре после этого разговора Бретейль потребовал от Тесса опровержения:

— Слухи, порочащие Гранделя, исходят от Дюкана. Это человек невменяемый. Но неизменно повторяется твое имя. Опять та самая фальшивка... Ты должен положить предел.

Тесса уперся:

— Я ничего не утверждаю, но и не намерен опровергать. При чем тут я? И потом я не чувствую никаких симпатий к Гранделю. Скажу прямо — лично мне он не внушает доверия.

— А ты думаешь, что Грандель мне нравится? Авантюрист, бабник, падок на деньги. Будь у меня дочь, я бы ее не выдал за Гранделя. Но перед нами — вопрос политики, а не вкусов. Кто ведет кампанию против Гранделя? Фуже. Дюкан. А за их спиной коммунисты. Они хотят

воскресить Народный фронт. Поскольку ты опровергнешь клевету, мы расстроим их планы.

— Все это хорошо, но я далеко не убежден, что письмо — фальшивка. Между нами, я думаю, что Грандель замешан в грязную историю.

— Может быть... Но разве у тебя есть доказательства?

— Нет.

— Вот видишь... Значит, отсечь его мы не можем. Остается рассматривать вопрос не в моральном, а в политическом разрезе. Если ты промолчишь, они тебя съедят. Вот последняя выходка Дюкана...

Бретейль показал Тесса письмо, которое Дюкан разослал некоторым правым депутатам: он требовал обследования финансовых ресурсов не только Гранделя, но и всех замешанных в «дело Кильмана», среди них — Тесса.

Тесса от негодования закашлялся:

— Боже, какая низость!..

После этого Бретейль легко добился подписи Тесса под коротким, но энергичным опровержением.

Вечером у Полет Тесса раскис.

— Бретейль меня прижал к стенке... Шантажист! Конечно, мы одержали еще одну победу. Бюджетная комиссия хотела нас свалить: там засели приятели Фуже. Но я преподнес им сюрприз: франко-немецкую декларацию. Они сразу притихли. Ты видишь, сколько побед: Мюнхен, провал забастовки, миссия Берара, декларация. Как говорили в древности, еще одна такая победа — и все полетит к чорту.

— Что полетит?

— Как «что»? Франция.

Полет не интересовалась политикой; в газетах читала только хронику убийств и романы с продолжением, но ее воспитали на культе Франции: Жанна д'Арк, Наполеон, Гюго, Верден. Она в ужасе смотрела на Тесса. А он трясся от смеха.

— Чего же ты смеешься?

Тесса кротко ответил:

— Это лучше, чем плакать. Я устал, я имею право на отдых. Но ты не огорчайся, кошечка, я просто сострил. Франция не может погибнуть. Скорее погибнет мир...

25

Желая повлиять на политику Даладье и Тесса, испанское правительство отказалось от помощи интернациональных бригад. Батальон «Парижская Коммуна» томился в крохотной каталонской деревушке, недалеко от границы: во Францию бойцов не впускали. Крестьянки колотили на речке белье и собирали бледный зимний салат. Жизнь казалась мирной. Вдруг, как столбы пыли перед грозой, закружились беженцы.

Бежали жители Барселоны: к городу подходили марокканцы. Крестьяне снимались с места; некоторые гнали мулов и коз; другие резали скот. Качались на возах буфеты и курятники. Женщины несли узлы. Потом побежали солдаты. Валялись ящики с патронами. Артиллеристы тащили орудия. Фашистская авиация бомбила дороги; в воронках прятались дети, прижимая к себе спасенные игрушки.

Люди неслись к смутно-голубым горам: там начиналась Франция. Но Тесса заявил журналистам: «Мы не можем впустить беженцев. Я не люблю шантажа, а господа коммунисты нас шантажируют состраданием...» И граница была закрыта.

Отдельные командиры еще пытались организовать сопротивление; подбадривали солдат; возвращали с границы пристыженных дезертиров. Появились крохотные газеты с призывом к спокойствию и к мужеству. Министерства и генеральный штаб кочевали, каждый день переезжая из одной пограничной деревни в другую. В сараях и амбарах щелкали «ундервуды». Итальянские бомбардировщики бомбили последний город республики Фигэрас, крошили его старые дома с балконами, уничтожали беженцев. А среди мусора и щебня валялись измученные люди.

Последнее заседание кортесов состоялось в подземелье. Депутаты были в дорожной грязи, небритые, с глазами, красными от бессонных ночей. Выступил Негрин; он говорил о священной войне испанского народа, о варварстве Гитлера и Муссолини, о бездушии Франции, которая отказывается впустить раненых и женщин; во время речи он несколько раз закрывал рукой лицо. Ка-

кой-то старичок постлал лестницу, спускавшуюся в подвал, ковриком: «Все-таки кортесы...» А вокруг горели подожженные бомбами села.

Когда канонада дошла до деревни, где стояли французы, Мишо сказал:

— Идут, и еще как!.. Не даваться же им живьем! Стройся!

Батальон выступил; помогли эвакуировать снаряжение; отбили танковую атаку. На час все ожили: снова война! Дух Мадрида, Теруэля, Эбро поддерживал этих людей, в последние часы оборачивался призраком победы. А ночью подъехал автомобиль; кузов был прострелен; бледный адъютант, с рукой на перевязи, закричал:

— Завтра последние части должны перейти границу.

Мишо даже вскрикнул от злобы: для него битва только начиналась. Скрепя сердце французы повернули на север.

Пограничная полоса походила на табор: две недели здесь кочевали беженцы, ожидая, когда откроют границу. Закалывали последних овец. Жгли шкафы, архивы. тряпье, ящики, сундуки с бельем. Зачем люди притащили сюда этот скарб?.. Ночь была холодной, и возле костров грелись женщины. Кричали ослы. Одиноко звенела труба.

Военные сказали Даладье, что если испанцы будут вынуждены защищаться у самой границы, бои могут легко перенестись на французскую территорию. И Даладье приказал приоткрыть границу: цепи жандармов и солдат, главным образом сенегальцев, фильтровали людей, обыскивали их, отбирали не только оружие, но скот, зачастую вещи. В Перпиньяне жандармы бойко торговали «трофеями»: револьверами, пишущими машинками, часами.

Батальон «Парижская Коммуна» не походил на разбитую часть. Солдаты отбивали шаг; шли с винтовками; несли знамя. Только лица выдавали горечь поражения. Не так они думали вернуться домой!.. Это походило на изгнание; и многие, глядя в последний раз на испанскую землю, изрытую бомбами, покрытую брошенным оружием и пожитками, едва сдерживали слезы.

Сенегальцы преграждали дорогу; они что-то кричали — французы не понимали слов.

Мишо скомандовал; батальон «Парижская Коммуна» салютовал выцветшему на солнце, полинявшему под дождями старому знамени. Стоявшие в стороне солдаты французского линейного полка смутились. А сенегальцы добродушно скалили чересчур белые зубы.

Жандарм сорвал с приятеля Мишо, пулеметчика Жюля, повязку: «Может быть, ты золото припрятал?..» Увидев свежую рану, жандарм выругался. Французов погнали в лагерь: «Потом разберут! Вы — дезертиры...» Вместе с ними гнали других: испанцев и шведов, англичан и сербов, женщин с грудными детьми, профессоров Барселонского университета, деревенскую детвору, поэтов, пастухов, тяжело раненных. Сенегальцы били прикладами отстававших.

А за колючей проволокой люди кишели, как овцы в загоне. Холодный норд кидал в лицо песок. К ночи пошел дождь. Некуда было укрыться. Сказали, что привезут хлеб; не привезли. Щерилось море — лагерь был на самом берегу. Вдалеке раздавались одинокие выстрелы.

Из Парижа приехал друг Тесса, депутат Пиру. Весь день в доме таможни он поджидал испанских фашистов. А увидев в бинокль красно-желтый флаг, просиял. Четверть часа спустя он протянул испанскому генералу свою визитную карточку: «Поздравляю вас с блестящей победой». Генерал снисходительно улыбнулся.

Шли дни. Заключенных мучил голод. Вода в мелком колодце пахла мочой. Приезжали туристы: на испанцев глазели, как на зверей в зверинце. Каждую ночь вытаскивали трупы умерших от дизентерии или от простуды.

Перпиньян был веселым, ленивым городом, там ели миндальную халву, пили крепкое вино «рансио», слушали на площадях военную музыку, с восторгом голосовали за Народный фронт. Теперь в Перпиньяне шла охота на людей: полицейские искали испанцев. Школы были превращены в тюрьмы. Напрасно испанки, привыкшие ходить простоволосыми, на последние гроши покупали крохотные, модные в ту зиму, шляпки; их выдавали заплаканные глаза.

Многие французы прятали испанцев на чердаках, в винных погребах, в морских купальнях, в пастушеских хижинах. Тысячи самоотверженных людей уходили ночью

на перевалы и проводили беженцев никому неведомыми тропинками.

Это был грустный вечер. Жандарм ударил по лицу молоденького испанца; тот не вытерпел и повесился. Все пали духом. А паек снова уменьшили: пятьдесят граммов хлеба... Мишо отдал свою долю испанцу Фернандесу, учителю рисования, который до разгрома командовал саперным батальоном. Мишо говорил:

— Позор!.. Тебе лучше — ты за это не отвечаешь. А я все-таки француз.

Фернандес наивно ответил:

— Я никогда не был за границей. Это в первый раз...

— Мне обидно, что ты не видишь других людей, товарищей. Я тебе правду говорю — есть другие французы. Но где они? И сколько их? Когда-то Франция была другой. Наш батальон назвали «Парижская Коммуна». Хорошее имя!.. Они ведь не назовут своих дивизий «мюнхенскими»... Знаешь, в чем наша беда? У нас люди хорошо живут. Войну четырнадцатого все забыли. Говорят: стряслась беда, больше не повторится, мы — умные. Как будто ум может спасти от несчастья? А живут хорошо: хорошо едят, девушки красивые, море, горы, повсюду садики, кафе, не жарко и не холодно. Вот и начали не только не бояться горя — презирать горе. Двадцать лет тому назад презирали русских,— я ребенком был, но помню,— смеялись: «Хотели переделать весь мир, а у самих нет ни штанов, ни хлеба!» Теперь презирают испанцев: «Говорили о достоинстве, не хотят «жить на коленях», а пришлось просить у нас убежища». Подлая философия! И не видят они опасности, не ценят простых чувств, дружбы, верности... Кажется, только горе спасет Францию, большое человеческое горе.

Над ними были тысячи звезд. А море грозилось: наступало время мартовских бурь.

26

Жолио, взглянув на фотографию, усмехнулся: молодая актриса снялась в противогазе. Большое декольте позволяло оценить ее женские достоинства, но лицо в маске походило на свиное рыло; и Жолио сказал секретарю:

— Звезда Хрю-хрю... Поставьте в номер. Кстати, сегодня «марди гра».

Когда-то «марди гра» — масленица — был праздником. Жолио помнил толпы на бульварах, белые балахоны пьеро и трико арлекинов, болеро, косички, маски из черного бархата, обшитые кружевом, пестрое конфетти. Потом карнавал зачах; все же в «марди гра» устраивали маскарады; в кафе врывалась банда ряженых; ребята разгуливали по улицам в масках, с приставленными носами и прицепленными бородами. А сегодня? Маска Хрю-хрю... Жолио громко вздохнул (он все делал патетично, а когда над ним посмеивались, отвечал: «В Париже люди рассуждают, в Марселе чувствуют»).

Дела Жолио шли прекрасно: он получал большие суммы из секретных фондов правительства. Он завалил жену подарками: ожерелье из сапфиров, шкатулка, по словам эксперта, принадлежавшая госпоже Рекамье, скотч-терьер, получивший первый приз на выставке в Лондоне. Жолио кормил целую свору дармоедов: безработных журналистов, марсельских поэтов, томных шулеров, почему-то называвших себя «анархистами». Никто теперь не посмел бы привлечь Жолио к ответственности за диффамацию. Депутаты перед ним заискивали. Он обедал с послами и пренебрежительно говорил секретарю: «О Румынии ни звука — венгры симпатичней, да и натура у них шире...»

Несмотря на успех, он состарился, потускнел; не украшала его даже новая булавка — изумрудный попугай с рубиновым глазом. Жолио измучила чересчур сложная игра его покровителей. Он говорил себе: «Я сам не понимаю, что пишу...»

Тесса говорил ему: «Дайте статью о слабости Красной Армии, сошлитесь на отзыв итальянского атташе». Два дня спустя Тесса требовал: «Подчеркните, что военные ресурсы России неисчерпаемы».

Сегодня утром его снова вызвал Тесса: «Международное положение обостряется — это мартовские иды. Нам важно сохранить коммуникации с колониями. А Центральная и Восточная Европа — чужой огород...»

Жолио начал статью: «Как это прекрасно выразил г. Марсель Деа, мы не хотим умирать за Данциг...» Что

дальше? Жолио вдруг оживился, прищурил правый глаз и приписал: «Мы не хотим умирать за Варшаву, за Белград, за Бухарест». Он откинулся в утомлении. Главное — хорошо подать. Надо пустить крупным шрифтом слово «умирать». А под статьей фото: Хрю-хрю...

Завтракал Жолио с редактором «Ла репюблик» Жезье. Тот ел блинчики, облитые мараскином, и, набив щеки, весело приговаривал:

— Ужасная ерунда! Чемберлен будто бы предложил итальянцам Тунис. А Бонне вопит: «Отдадим им лучше Мальту!» Бордель! Даладье мне вчера сказал: «Ни слова о коллективной безопасности». Завтра пускаем передовую о еврейском засилье. Написал, кстати, еврей. Я тебе говорю — бордель!

Выпили арманьяк. Жезье спешил. А Жолио пошел пешком: он хотел проветриться. Этот Жезье — каналья и дурак. При чем тут Мальта? Разве Мальта в Европе? Он шел по проспекту Ваграм к площади Этуаль. Погода то и дело менялась: стоило показаться солнцу, как все оживало, выступали почки на каштанах, женщины хорошели; потом холодный ветер наметал низкие тучи, и дождь был по-зимнему скучным. Дойдя до площади, Жолио остановился. Могила Неизвестного солдата... Как всегда, бледный огонь, венки, провинциалы. А над могилой арка. Это место волновало Жолио; иногда он снимал шляпу; иногда насвистывал «Марсельезу». Как большинство людей его поколения, Жолио считал годы войны годами молодости и душевной чистоты. Он вспоминал с умилением даже брань сержанта, койку, на которой провалялся два месяца, болея тифом, тошноту и озноб перед атакой, когда солдатам варили кофе с ромом и они жадно сжимали горячую жесть кружки. Он помнил всех товарищей: и коротышку Дорнье, и близорукого Деваля, и весельчака Клемана — беднягу убили...

Кто похоронен под этой аркой? Может быть, Клеман?.. Почему бы нет! И Клеману подносят цветы, ему салютуют генералы, послы, Тесса... Бедный Клеман, он здорово играл на гребенке. И хотел жениться на какой-то девчонке из Марселя.

Жолио вспомнил: «Мы не хотим умирать за Данциг...» А за что умер Клеман?.. Прежде говорили: «За Фран-

цию». Девчонка из Марселя, наверно, вышла за другого. Могла и умереть — четверть века прошло, вот сколько!..

В редакции царила привычная суматоха; Жолио обрадовался — он устал от размышлений. Из министерства прислали статью: «Италия — оплот латинской культуры на Ближнем Востоке». Хрю-хрю гримасничала на первой полосе. Под окном продавцы гнусаво завывали: «Пятое издание!.. Мы не хотим умирать...»

Кончив работу, Жолио пошел в кабаре: давно приглашали, упрашивали. Молодой, сильно нарумяненный куплетист пел:

Прожить бы только до завтра,
И что впереди — наплевать!

Публика подхватывала припев: «Наплевать!» Потом другой актер, вспомнив, что сегодня — «марди гра», вышел на сцену в маске: маска была белая, с острым клювом и черными дырами для глаз. Кто-то в зале сказал:

— Это смерть.

— Глупости! Это Тесса. Видишь — его нос?

Жолио наскучила глупая программа, и он поехал домой. Жена сидела в столовой над газетой. Она никогда не расспрашивала Жолио о его делах; занята была своим: портные, распродажи, моды. Но за последнее время она часто растерянно думала: «Господи, что же они пишут?..» Она осмелилась сказать:

— Я не понимаю...

Жолио развел руками:

— Ты думаешь, я понимаю?.. Ведут игру. А может быть, и не ведут, только делают вид. Я прежде восхищался: ну и хитрые! А теперь не знаю... Может быть, они просто очумели от страха?

Жена не сводила с него глаз. Она спросила шопотом:

— Скажи... Ты у немцев ничего не берешь?.. Я боюсь... Ведь за это могут расстрелять...

Жолио завопил:

— Ты с ума сошла! Как ты могла такое подумать? Кто мне дает? Наши, французы, правительство!..

И вдруг он пробормотал (жена так и не поняла, к чему это):

— Умереть за Париж... Бедный Клеман!..

27

— Как вы поживаете?

— Спасибо. А вы?

Не дослушав, Дессер пошел дальше. И вдруг подумал: «Что, если бы каждый отвечал всерьез? Нескончаемые исповеди: горе, страхи. Но это — формула, как речи Тесса, как молитвы в церкви, как клятва влюбленных. Вероятно, в этом спасение; если все обнажить, не выдержат и дня...»

Никто не догадывался о закате Дессера. Дела его шли хорошо: попрежнему Чикаго и Ливерпуль ждали его приказов. Размолвка с Даладье, выступления Дессера перед забастовкой остались случайными эпизодами. Монтиньи считал, что Дессер «оригинальничает». А Тесса восторженно мотал головой: «Ну и хитрец! Этот обойдет всех. У человека дьявольский глаз...»

А Дессер ничего не видел. Он продолжал игру; напротив него было пустое место — он играл с болваном. События теперь казались ему стихийными. Он читал по ночам длиннейшую историю гибели Византии, читал и смеялся: все, решительно все понимали, в чем дело, и никто не мог предотвратить катастрофу.

Конечно, Мюнхен был единственным выходом. Конечно, надо во что бы то ни стало договориться. Но как? И с кем? С ураганом? Чудеса, чудеса!

До пятидесяти лет он не хворал; много пил, курил без остановки, недосыпал. Все сказалось сразу. Он был мнителен; внимательно выслушивал докторов, но предписаний не выполнял; жил, как прежде, беспорядочно и утомительно. Даже стал пить больше прежнего: боялся смерти. Ночью отъезжал в гоночной машине на несколько сот километров от Парижа и, остановившись у какого-нибудь маленького кафе, пил с железнодорожными рабочими белое вино и приговаривал: «Ну и погодка!..»

Спасала его, как многих других, инерция мыслей, душевных реакций, поступков. Он продолжал заниматься финансовыми операциями, открыл два новых завода, принимал участие в переговорах с Римом. Делал он это без страсти; но все же, работая, оживлялся: азарт или его

видимость? Так легче было не думать ни о распаде Византии, ни о грудной жабе, ни об одиночестве.

Он и к Жаннет пошел, надеясь найти у нее забытье; не признался, что полюбил эту взбалмошную и чужую ему женщину. Но после вечеров, проведенных с ней, он чувствовал себя еще сиротливее. «Все не то»,— говорил он себе, возвращаясь домой. А чего хотел — не знал.

Они часто встречались; заходили в небольшие кафе на окраинах; иногда он ее возил по мокрым, пустым дорогам; гнал — сто сорок в час, заражал своим беспокойством; потом отвозил ее и, прощаясь, церемонно целовал руку. Хорошо, когда ждала досадная телеграмма или накопившиеся срочные дела не отпускали от стола — можно было не думать о Жаннет. Ведь и чувства оказались стихией, против которой нельзя было бороться выкладками или расчетом.

Дессер заехал за Жаннет в студию. Никогда он не слышал, как она выступает; ему казалось это нескромным — не станет же она расспрашивать его о бирже! Его попросили подождать, провели в пустую комнату с тяжелыми красными шторами. Он услышал голос Жаннет. Она читала стихи; кажется, он когда-то видел их в школьной хрестоматии:

Признает даже смерть твои владенья.
Любви не выдержит земля,
Увидим вместе мы корабль забвенья
И Елисейские поля.

Дальше он не слышал: грусть, как густой туман, окутала его. Пришла Жаннет.

— Вы хорошо читали.

Она усмехнулась:

— Это реклама — краска для ресниц.

Они вышли. Накрапывал дождик. Она спросила:

— Что слышно насчет войны?

(Вспомнила разговоры в студии. Дессер, наверно, знает.) Он ответил:

— Я не оракул.

Рядом шла женщина в старомодной, порванной накидке; несла множество пакетов, кульков и сама с собой разговаривала: «Я ему пальчиком в горло... Вот пассаж!..» Дессер шепнул: «Сумасшедшая». Им стало не по

себе; они побежали к машине; Дессер не сразу пустил мотор: сидел одуревший. Потом понеслись. Сквозь слезившиеся стекла мелькали огни, зеленые и красные. Фары впивались в темноту, вырывая из ночи обрызганные дождем деревья. Дессер привез Жаннет в свой загородный дом. Не спросил ее — хочет ли она. Молчал. Принес бутылку коньяку.

— Согрейтесь. Вы хорошо читали. Вам нужно на сцену. Помните, вы говорили, что у вашего режиссера нет денег. Это пустяки...

Она покачала головой:

— Нет. Я теперь не смогу сыграть... Когда говоришь, нужно верить каждому слову. Если нет, и зрители не верят. Тогда в зале тихо, но кажется, что голос пропадает. Вы не понимаете? Я пропала. Когда-то я верила... Я тогда жила с одним актером. Он спал, а я лежала рядом и повторяла монологи Федры...

Она вышла в сад. Пахло землей, гнилыми листьями. Весна шла поспешно, задыхаясь; и стук капель казался ее лихорадочными шагами. Жаннет жадно дышала. Дессер кричал: «Простудитесь!» Она не откликалась. На несколько минут большое счастье дошло до нее, и снова, как во Флери, она поверила вымыслу. Вернулась в комнату; улыбаясь, посмотрела на Дессера своими испуганными глазами. Он смутился. А она говорила:

— Нет, не простужусь... Я пропала, Дессер. Пропала...

Она начала его целовать печально, отрывисто, сама не понимая, зачем.

Она и потом не могла понять, зачем сошлась с Дессером. Сулило ей это только горе и обиды. Но в ту ночь, прислушиваясь к шуму дождя, она повторяла:

В краю, где вечны золотые весны,
Где сердца не томят труды,
Где, вскормлены природой плодоносной,
Свисают пышные плоды,
На берегу, то нежась, то играя,
Срывая мирта вечный цвет,
Мы не забудем и под кущей рая
Любви возвышенный обет.

Он вдруг спросил:

— Жаннет, почему грусть?..

— Это не грусть. Грусть там — Флери, наше дерево... Или в стихах. А это — отчаяние... Помните сумасшедшую?.. И вы пропали, Дессер. Я теперь это знаю.

Говорила и целовала.

Они вернулись в Париж утром. Жаннет терзалась: зачем это? О Дессере думают: всесилен. В газетах его называют «некоронованным королем». А он — нищий. У него ничего за душой. И пришел к ней... Разве это не смешно — искать у нее спасения? Она его пожалела за ребячливость. Да и он ее жалеет. Только из жалости не выкроить любви. Стихи? Реклама — для крема, для пылесосов, для забытья. Актрисой она не будет, поставим крест. И замуж за него не выйдет. Когда он ей предложил, она рассмеялась. Стать «некоронованной королевой»? Нет. Хорошо, что у него свое дело. Вот и сейчас — спешит на работу, как рабочий. Сядет, будет считать миллионы... Почему он не видит, что и она нищая? Ее обобрали. Она что-то давала Фиже, Люсьену. А теперь она пустышка. Вчера не она говорила — дождь, Ронсар. Только с Андре она была естественной, не лукавила, не жалела. Андре живет, как она — нарочно. Не то слово... Он сказал — «перекати-поле». Только катятся они в разные стороны. Наверно, таких много. Где-то она прочитала: «отравленные искусством»... Но почему она думает только об Андре? Да просто она его любит...

Впервые Жаннет сказала себе это. И тотчас обратилась к Дессеру:

— Я люблю другого. Это ничего не меняет: я его не вижу, да и не увижу никогда. Но я хочу, чтобы вы это знали.

Сказала сухо, почти официально. Он остановил машину и поцеловал руку Жаннет.

— Вы меня тронули. Очень тронули. Жаль, что вы не хотите на сцену. Но и это неважно...

Он довез ее до дому; простились; потом условились: вечером встретятся. Все сразу стало понятным, даже будничным: связь.

Дессер взял телеграмму: германские войска в Праге. Он вдруг стал смеяться, громко, долго, задыхаясь. Потом вынул из книжного шкафа бутылку. К чему теперь слу-

шаться доктора? Через год — конец. А Жаннет?.. Что же, она любит другого. Добрая женщина, но страшная; глаза, как у той сумасшедшей. А это правда — они вместе увидят корабль забвенья.

28

— Я там тебя часто видел. Горы красные, и ни кустика. А воздух как будто густой — так жарко. И вдруг ты рядом. Чувствовал — обнимаю. Ах, Дениз, почему об этом нельзя рассказать? Я говорю про любовь!.. Разве ты поймешь!..

Она не ответила, только еще сильней целовала.

— Я думал прежде, что страшно умереть — так все говорят. Нет. Очень просто. И как тебе это сказать?.. Торжественно. Как сейчас... Все, что тогда,— непонятно. Но не страшно. Страшно другое — разгром. Нехорошо, мутно. Говорить ни с кем не хочется... А смерть — это свое, это внутри...

— В тюрьме я лежала ночью и слышала: стреляют. Но я знала, что тебя не убьют. Это глупо звучит, но знала. Не могли убить. Я все время была с тобой.

— Дениз!

— Что?

— Ничего.

На стенах обои: рыжие астры. Они цветут уже сто лет и еще не отцвели. Почему на стене портрет усатого маршала? А на камине копилка — карлик в красном колпачке. Случайная комната, случайные вещи. Другие могли бы здесь прожить всю жизнь. А для них это привал. На час? На неделю? Все равно!.. Но астры не посмеют отцвести. Маршалу неловко, да и завидно; кусает седые усы. Учебники забыты: кого он побеждал, зачем?.. Карлик — пустой; в его фарфоровом тельце ни су; если его щелкнуть по носу, он не обидится. Может быть, она вспомнит этого карлика в тюрьме? Там белые, скучные стены; смотришь на трещины и кажется: дерево, облака, лицо викинга. А Мишо вдруг в окопе увидит: рыжая астра. Потянется, чтобы сорвать. И пуля... Но пуля обязательно пролетит мимо.

— Мишо, ты здесь?..

Она чувствует на щеке его дыхание; хочет услышать голос; проводит руками по жестким волосам, по лбу; все время ищет подтверждения, что они вместе.

И вот они закружились по комнате, как расшалившиеся дети.

— Мишо, ты сошел с ума!.. Что подумают внизу? И как ты на улицу выйдешь? Посмотри, вот зеркало...

Он послушно смотрит.

— Ну?

— А глаза? Не видишь?.. Сумасшедший!

Ему надо итти: заседание назначили на девять. Он нахмурился: ищет мысли, слова.

— Партия окрепла. Отпали только любители легкого успеха. Зато много новых. Я понимаю, почему Виар пишет о смерти: у них пустота. А над правительством все смеются. Сегодня в автобусе один кричал: «Эх, предатель ты, Даладье!..» Мы их расколотим. И еще как!

— Мишо, это — ты? Скажи, что ты.

— Люк Мишо. Подтверждаю. Ты знаешь, где я узнал, что тебя схватили? В Перпиньяне. Ты уже тогда была на свободе, но этого я не знал. Еле сдержался, хотелось трахнуть какого-нибудь шпика. Я тобой очень гордился... Хорошие у нас люди! Торез считает, что они хотят распустить партию: линия Тесса. Но у нас все готово, чтобы перейти в подполье. Костяк крепкий. Главное, не растерять связей. Меня посылают в Сент-Этьен — надо там все наладить...

— Когда ты едешь?

— Еще не знаю. Может быть, завтра или в субботу.

Он надел пальто, кепку; стал городским, озабоченным. Только глаза еще говорили о счастье. Она вышла с ним. Спустились в метро. Толчея. Длинные, смутные переходы. Люди бегут. Дышать нечем, горячая сырость. И гремят, пролетая, поезда. А на изразцах огромные гуси в дамских чепчиках, в ермолках, в фесках «Наилучший гусиный паштет...»

Значит, завтра они снова расстанутся. Сейчас нельзя говорить — кругом люди. Ни о любви, ни о подполье. Все — тайна. И Дениз горда: отвагой Мишо, боями, которые впереди, любовью. Мишо все же не вытерпел, шепнул:

— И еще как!..

Да — и еще как! Это будет их паролем... Они простились. Мишо поехал дальше; еще один красный огонек затонул в темноте. А она побежала по коридорам: вниз, наверх, снова вниз. Подземные ходы были сложными, извилистыми. Суета, шум, равнодушие... Дениз подумала: «Одну разлуку мы выдержали, но сколько впереди?.. Страшно прожить жизнь в ожидании! Потом скажут: будьте счастливы. Но поздно... Нет, все это не так! Они молодые. Нужно только хотеть, сильно хотеть, тогда все сбудется: встреча, революция, счастье. А Дениз хочет... Она остановилась на платформе, среди людей, автоматов, реклам; шепчет: «И еще как!.. Мишо, Мишо!..»

29

Порядок в мастерской Андре, непривычный порядок. Выкинуты пустые бутылки. Пристыженные, попрятались в шкаф старые ботинки. Холсты чинно прижались к стенам. Большой стол пуст, на нем только учебник астрономии и открытка с видом Рюгена: дюны — летучие горы... Открытку прислал немец, тот самый, что рассмешил Андре: любит пейзажи, а изучает рыб. Ихтиолог написал одно слово: «Привет»; но Андре сразу вспомнил ночную встречу в «Курящей собаке». Немец говорил: «Хорошо, что поглядел Париж, пока Париж еще на месте». Больше двух лет прошло, и Париж на месте. Только с Андре что-то приключилось. Интересно, может ли немец теперь сидеть над своими рыбами? Впрочем, они двужильные... А вот Андре забросил живопись. В мастерской не пахнет скипидаром. Палитра — на полке, рядом с заржавевшим чайником. И порядок удивляет хозяина: он осторожно ходит по мастерской, как гость. Консьержка, та ахнула: «Вы уезжаете?» Нет, он никуда не уезжает. Говорят, что люди прибирают свой дом, чувствуя приближение смерти. Но он здоров, отчаянно, неприлично здоров, ест за троих, бродит весь день, стоит лечь — засыпает. Какое же колесо зацепилось?..

Лето он просидел в городе. Люди причитали: «Будет война», но все же разъехались на каникулы. Как про-

шлым летом... Андре надоело все: ожидание, газетная шумиха, споры. Предсмертное томление стало бытом. Жизнь развалилась. И жизнь все же продолжается. Недавно прислали приглашение: скоро «Осенний салон». Чудаки!..

Пьер, промаявшись полгода, поступил на фабрику автоматических ручек. Он как-то пришел к Андре; говорил: «Надо быть стойким!» и грустно озирался по сторонам. А руки у него дрожали, как у старика.

Андре встретил на Бульварах Люсьена. Тот кричал, что повсюду предатели, что жить стоит только в свое удовольствие. А когда Андре сказал: «Значит, ты хорошо живешь?» — Люсьен выругался: «В нужнике!»

И снова тревога. Газеты полны сенсационными заголовками: теперь не судеты — Данциг. Андре не читает газет. Редко слушает радио. Иногда вспоминает — Жаннет... Но это было давно, в другой жизни. В один из дождливых вечеров, глядя на фиолетовый город, Андре слушал: стихи перемежались с названиями фирм. Жаннет звала:

Прильни ко мне, я клятвы не нарушу,
Поверить в счастье мне позволь,
Вдохни в меня твою живую душу
И успокой былую боль!

Он судорожно улыбнулся: краска для ресниц, хорошая краска, которая позволяет красоткам плакать. Все нарушили клятву: и он, и Жаннет, и мир. А живой души нет.

«Как дела?» — спрашивает машинально Жозефина, красная от кухонного жара. «Помаленьку»,— отвечает антиквар Боло. Улица Шерш-Миди живет. Что же делать старой улице? Вот только сапожник, тот, что пел про «шельму-любовь», умер от воспаления почек. Новому — лет тридцать, у него красавица-жена, двое детей; тоже весельчак; говорит заказчикам: «Этих подметок вы не сносите до самой войны».

В «Курящей собаке» старенький фокс продолжает служить с мундштуком в зубах. Андре ему как-то сказал: «Ты, брат, чересчур похож на Тардье. Боюсь, как бы ты не заговорил о Данциге!..»

В то лето все женщины вязали: говорили, что это успокаивает нервы. Андре купил у букиниста на набережной старый учебник астрономии — вязать он не умел. И звезды стали для него твердой землей, а земля ходила под ногами. Часами он просиживал над книгой; прочитает несколько строк и задумается. Цифры, таблицы, имена, все его успокаивало.

В Никее за два века до нашей эры Гиппарх измерял расстояние между землей и солнцем. А ведь и тогда рассыпались царства; люди лепили богов и жгли отступников; умирали солдаты; звенела медь. Гиппарх составлял каталог звезд.

В другой раз Андре позавидовал судьбе Гершеля. Сын бедного музыканта в осеннее равноденствие взглянул на небо. Он сам шлифовал стекла: у него не было денег на телескоп. Он открыл планету Уран, как открывают девушку в окошке напротив. Над Европой бушевала революция. Наполеон грозился завоевать остров. Питт, как паук, плел коалиции. А Гершель описывал переменные звезды и туманности.

Андре подходит к окну. Ревут газетчики: «Надежды на посредничество Рима!.. Отголоски московского пакта!.. Данциг!.. Данциг!..» И Андре возвращается к любимой книге. В Данциге когда-то жил Гевелий. Он был занят топографией луны; писал, писал. И вдруг пожар, сгорели все записи, все чертежи. Гевелий тогда был стариком. Что же, он снова сел за работу.

«А я,— говорит себе Андре,— предал краски, изменил кистям». Наверное, есть и в Париже астрономы; они продолжают работать. Может быть, работает старый физик, которого Андре видел в Доме культуры. Врачи борются с раком. Отец Андре собирает первые яблоки, бледные, восковые. Уехать к отцу? Нет, от этого не уедешь... Андре — перекати-поле... И в тоске он идет на угол, пьет у стойки едкий кальвадос; еще раз пересекает смутный город, окутанный белым дымом зноя.

Был горячий день; с утра собиралась гроза, но тучи разошлись, а воздух не освежился. Весь день Андре просидел в накаленной мастерской. Внизу упаковывались; забивали ящики: «тук-тук» отдавалось в виске Андре. Под вечер он решил пойти в «Курящую собаку» — только

спирт может смягчить эту тупую боль. Выйдя на улицу, он сразу понял, что случилась беда. Цветочница над ворохом помятых роз плакала: «Убьют!.. Убьют!..» Хозяин кафе налил кальвадоса Андре и себе, чокнулся:

— За ваше!.. Вот вам и война! Дождались... Чтоб они сдохли!..

Кругом спорили:

— Это еще не война. Это только мобилизация.

— Нет, теперь война, не выкрутиться. Проклятый Гитлер!..

— Ничего... Сговорятся...

Рабочий в кепке дал фоксу сахару:

— Ну, послужи на прощанье!.. Почему они прошлой осенью сговорились? Очень просто — боялись. Не хотели итти вместе с русскими. А теперь дело другое. Теперь они — вояки. В душе они за Гитлера. Предадут они нас, это дело ясное. А умирать кому? Нам!.. Служи, миляга, служи! Я тоже солдат второго ранга...

Сапожник повесил на двери лавчонки листок: «Закрыто по случаю ежегодной мобилизации» — не верил, что будет война, ворчал: «Придумали! У меня срочные заказы...» Цветочница продолжала плакать.

Снова люди с чемоданами, с мешками. Темнота, синие огоньки. Прощай, Гершель и туманности! Равнодушно Андре положил в чересчур просторный чемодан рубашки, мыло. Он лениво подумал: «Как тогда... Или вправду — воевать?..» Недодумал: стало скучно. Завтра он должен выехать в Туль, это твердо. Не все ли равно, что будет потом?.. Жизни не будет.

Ни песен, ни криков; никто не клянется, не твердит о ненависти, не бредит победой. Суета. Да плач цветочницы. Сквозь листву каштана прорвался слабый огонек. Жаннет — вот его звезда! Но он не открыл ее, не занес на карту. Она промелькнула. Где она, не звезда — живая женщина, с узкими горячими руками и с несчастной судьбой? Наверно, плачет, как цветочница...

На бульваре одиноко выла труба. А сапожник, подвыпив, выкрикивал:

— Раз-два, направо, в могилу!..

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Люсьен шел по затемненному городу. Походка была необычной: он как будто ощупывал враждебную землю. Моросил дождик. Синие лампочки таинственно просвечивали среди черной листвы платанов. Люсьен злился. Еще позавчера он думал, что войны не будет: просто отец подготовляет очередной министерский кризис. И вот вам, сюрприз!.. Рассказывают, что на линии Мажино уже стреляют. Завтра вечером Люсьен должен явиться на призывной пункт. За что он будет сражаться? За Бека? За «человеческое достоинство», как сказал папаша? Могут убить... Но страшнее другое: окопы, ругань капрала, переходы по сорок километров. Скучно!

И Люсьен громко зевнул. Его окликнула женщина:

— Хочешь бай-бай?

Он засмеялся: эти не теряют времени! — на углу стояли проститутки с противогазами. Люсьен сказал:

— Значит, на боевом посту?..

Одна из женщин выругалась.

Люсьен увидал за шторами свет; зашел в бар. Там было людно; пили, кричали. Заплаканная хозяйка чокалась с посетителями.

— Ваш?..

— Сегодня уехал.

Владелец зеленной пил ром и бушевал:

— Нет, вы мне скажите, кому она нужна, эта война? Наплевать мне на поляков!

Другие поддержали:

— Если англичане хотят, пожалуйста, пускай воюют!..

— Секрет полишинеля: Тесса получил миллион фунтов...

Люсьен не вмешивался в разговор; молча пил и злился. Потом пошел к Дженни — простится и заодно возьмет несколько тысяч. Завтра он будет весь день пить. Да и с собой нужно прихватить тысчонку — не сидеть же на солдатской баланде!..

Дженни его встретила грустная, но восторженная. Все ей казалось необычайным: Люсьен будет защищать свободу, а Париж разрушат, погибнет Лувр... Она обнимала его и говорила:

— Весь мир должен выступить... Я купила тебе теплые вещи...

Увидев меховой жилет, Люсьен фыркнул:

— Это, милая моя, для офицера, а я солдат второго ранга. И потом теперь сентябрь, до зимы все кончится.

— Люсьен, у тебя есть противогаз? Они, наверно, сегодня прилетят... Я ходила за противогазом, но иностранцам не дают. В аптеке мне продали какую-то жидкость, сказали, когда пустят газы, смочить этим носовой платок. Видишь?

— Бутылочка очаровательная. Чем не духи «Молине»? Вообще, да здравствует изящная жизнь! Я надеюсь, что и вши в окопах будут элегантными.

Он фальшиво запел «Париж остается Парижем». Дженни зажала уши. Потом она стала серьезной.

— Люсьен, скажи, тебе страшно?

— Нет, противно.

— Но ведь правда на нашей стороне?

Он недаром опрокинул в баре четыре рюмки — как он смеялся! Его неизменно белое лицо зарумянилось.

— Правда?.. Погоди, сейчас я тебе все объясню.

Он сорвал с постели кружевное покрывало, накинул его на плечи, на голову надел шляпу Дженни, сложил руки и забормотал:

— Дети мои, святой дух снизошел на Бонне и Тесса.

Мы придем на помощь великомученику Беку. Этот бессребренник сподобился узреть богоматерь в чешском городе Тешене. А в Беловежской пуще он постился вместе со святым Себастьяном, в миру именуемым маршалом Герингом. А теперь Вельзевул хочет отнять у Бека Данциг. Трепещите, нечестивцы! Поль Тесса идет освобождать гроб господень. Аминь!

Дженни растерялась. О каком Беке говорил Люсьен? И где этот Тешен?.. Она не читала газет, не разбиралась в политике. Но за гаерством Люсьена она почувствовала тоску. Молча они выпили кофе. Наконец Дженни робко спросила:

— Значит, неправда, что война за свободу?

— За какую свободу?

— Не знаю... За свободу вообще... Ну, писать в газетах что хочешь...

Он зевнул.

— Жолио вчера был красным, сегодня он белоснежка, завтра станет густофиолетовым. Скучно!

Она задумалась; потом наивно сказала:

— Тогда нужно устроить революцию.

Люсьен рассердился: сколько он терзался над этим словом! Дом культуры, статьи, книги, ссоры с отцом... И вот какая-то американочка ему подносит: «устроить революцию!»

— Устраивайте у себя. Мы четыре раза устраивали. С меня хватит! Ладно, раздевайся, я хочу спать.

Его разбудил крик сирены. Дженни тряслась; ее руки не попадали в широкие рукава пеньюара. А он повернулся на другой бок: к чорту! Напрасно Дженни умоляла его спуститься в подвал. Наконец постучали в дверь:

— Сходите!

— К чорту!

— Я — начальник противовоздушной обороны.

Пришлось сойти. В погребе было жарко, тесно; мужчины в полосатых пижамах; растрепанные, полуголые женщины. Небритый субъект, называвший себя «начальником», покрикивал: «соблюдать тишину» и «приготовить противогазы». По его команде старенькая консьержка стала зачем-то поливать стены водой. Женщина, прижав к себе детей, всхлипывала. Говорили, будто бомба упала

на соседнюю улицу. Дженни держала флакон с таинственной жидкостью и кружевной платочек. У одной женщины были красивые плечи; Люсьен загляделся, растолкав других, стал с ней рядом. Красавица отодвинулась. Люсьен злобно пробурчал:

— Теперь, сударыня, время военное...

Глаза Дженни были мокрыми — от ревности, от страха, от предстоящей разлуки. А Люсьен все зевал и зевал.

Так ему и не удалось выспаться. Утром он вышел сонный, злой. В подъезде скандалила женщина: у нее магазин вина, а погреб хотят отобрать под какое-то бомбоубежище!..

— Я пойду к министру! Они все время кричат, что Франция должна быть сильной. Зачем же бить по коммерции? Я не очищу погреба. Вы меня слышите? Вы перейдете через мой труп!

Люсьен приподнял измятую шляпу:

— Великолепно!.. Вы достойны лучших героинь Расина. «К оружью, граждане!..» Ну, и балаган!..

2

Каждую ночь парижане просыпались от рева сирен. Какие-то люди рассказывали, будто видели разрушенные дома. Но Тесса усмехался: «Простая предосторожность. Стоит немцам перелететь границу, как мы даем тревогу. Это приучает Париж к идее самопожертвования...» Многие предпочли покинуть беспокойную столицу. Богатые кварталы опустели; зато ожили курорты Нормандии и Бретани. Запасные ехали на восток; рассудительные буржуа — на запад.

Монтиньи отправил семью в Овернь: «Идеальное место! На сто километров ни одного завода...» Обеспечив мир домашним, он приступил к другому, более сложному делу: начал переправлять капиталы в Америку. Узнав об этом, Дюкан написал статью «Плохой француз». Цензура статью запретила; два белых столбца в газете были украшены изображением ножниц. О нападках Дюкана рассказали Монтиньи, тот возмутился: «Скажите, пожалуйста,— Дантон!.. Я хочу сберечь то, что принадлежит мне и

только мне. Кажется, Франция ничего не выиграет, если я разорюсь».

Полет решила уехать к тетке в Морван: боялась газов. Тесса всполошился: в такое время остаться без женской ласки!

— Ты хочешь бросить меня одного...

— Поль, я не героиня.

— Тебе нечего бояться. Сюда они не прилетят. Это молчаливый уговор... Если они тронут Париж, мы начнем бомбить Берлин. А это им невыгодно.

Полет заплакала:

— Зачем вы затеяли эту войну?

— Я? — Голос Тесса задрожал от обиды.— Как ты могла такое сказать?.. Ты знаешь, что я хотел одного: сохранить мир. Но что же мы могли сделать? Они полезли на стену.

Полет продолжала плакать:

— Зачем убивать людей?

— Никого не убивают. Воюют поляки. В конечном счете это их дело. Данциг не Страсбург. Понятно, на линии Мажино могут быть случайные жертвы. Но сколько погибает в мирное время от автомобильных катастроф!.. Пойми, кошечка, теперь все изменилось. Нельзя рассуждать по старинке. Это не война в прежнем смысле слова. У нас линия Мажино, у них линия Зигфрида. Никто не может продвинуться вперед хотя бы на один километр. Значит, мы будем сидеть друг против друга и таращить глаза. Покойная Амали в таких случаях говорила: «Как фарфоровые собачки на этажерке...» Поляки защищаются великолепно. Я всегда говорил: рыцарский народ! Они продержатся до весны, может быть и дольше. За это время мы хорошенько вооружимся. А тогда можно будет договориться с немцами. Ты видишь, что тебе нечего бояться.

— Все это ужасно... Когда я выхожу на темную улицу... И ночью... Сирены...

Заплаканная, она показалась Тесса еще привлекательней. Он прижал к ее груди свою маленькую птичью головку.

— Кошечка, не уезжай! Я очень измучен... Ты не можешь себе представить, сколько у меня работы. Ведь ближайшие недели будут решающими...

— А ты сказал, что ничего не будет...

Он засмеялся:

— Глупенькая, конечно, ничего не будет. Я говорю о внутренних делах. Большинство в палате обеспечено. Но ты понимаешь, что значит ликвидировать коммунистов? Это не простая полицейская операция. Это настоящая кампания большого стиля. Здесь нужен Наполеон. Но мы их уничтожим!..

Его лицо окаменело. Ему казалось, что он показывает пример гражданской добродетели. Кто знает, как он любил Дениз! Но она пошла с врагами Франции, и он вырвал из сердца отцовские чувства.

И вдруг Тесса хихикнул:

— Я тебе сейчас расскажу... Это очень смешно! Догадайся, что мне предстоит завтра? Никогда не догадаешься. Я должен представлять правительство на торжественной мессе. Ты видишь меня коленопреклоненным? Ну, разве не смешно?

Но Полет продолжала плакать.

С детских лет Тесса не бывал в церкви. Он ненавидел все, связанное с религией; желая высмеять кого-нибудь, говорил: «Воняет ладаном», а священников называл «черными воронами», чем в свое время немало огорчал Амали.

Он думал, что в церковь ходят только старухи, и удивился, увидав среди молящихся мужчин, даже военных. Полумрак, свечи — как над гробом Амали... Им овладела грусть. Тонкие голоса певчих и лучи солнца, процеженные сквозь темнофиолетовые стекла, говорили о потерянном рае. Тесса теперь понимал этот язык: у него отобрали Амали, детей, покой. Конечно, все эти обряды — предрассудки; но иногда приятно уйти от мелких дрязг, забыться...

Он поглядел на толстого епископа: красные жилки, а глаза печальные и умные. Наверно, и у епископа свои заботы — надо ладить с папой, с кардиналами, паствой. Жизнь — это политика. А потом — конец, восковые свечи...

Зазвенел колокольчик; все опустились на колени. Тесса про себя усмехался — как в театре... Но покорно согнул колени и потом поднялся вместе с другими.

Надоело!.. Тесса едва сдерживал судорожную зевоту. И вдруг оживился: направо стояла молодая женщина в

длинном черном платье, с большим выпуклым лбом и тонкими, но яркими губами. Тесса подумал: флорентийка, портрет Бронзино... А такие бывают страстными, очень страстными...

Почувствовав на себе жесткий взгляд Бретейля, Тесса вздрогнул, зашевелил губами,— как будто молится. Дураки думают, что роль Бретейля кончена — он ведь стоял за сближение с Германией. Но Тесса понимает, что будущее принадлежит Бретейлю. Все проклинают Народный фронт; значит, правительственное большинство будет перемещаться направо. И потом война не навеки!.. А кто сможет договориться с Гитлером, если не Брейтель? Да, с этим изувером нужно ладить!

Звуки органа снова навели на Тесса тоску. Ничего не скажешь — играют красиво... В семнадцатом году случилась катастрофа: снаряд «берты» попал в церковь. Было очень много жертв. Вдруг сейчас упадет бомба? Нет, не может быть: они побоятся начать. Воевать никому неохота... Говоря откровенно, поляки — дикари. Немцы ведут в Польше колониальную войну. А французов они уважают... Жалко, что не договорились! Муссолини, наверно, помирил бы всех. Растерялись... И вот война... Гамелен придумал какую-то операцию в лесу. А там мины... Зря убивают людей. Могут убить и Люсьена. Конечно, Тесса устроил бы его в штабе, но шалопай исчез, его теперь не найти. Грустно это! Да и все грустно... Когда же они кончат играть?

Вот генерал де Виссе... Как он усердно молится! А говорили, что он — приятель Фуже, красный... Смешно: командующий армией — и кладет поклоны, как деревенская бабка. Неужели он верит в непорочное зачатие? Впрочем, пускай!.. Лучше, чем водиться с Фуже.

Служба кончилась. После церковного мрака Тесса наслаждался ярким осенним днем. Каштаны были в золоте. На Елисейских полях, как водяная зыбь, дрожали солнечные пятна. Женщины выглядели особенно нарядными. В предвидении бомбардировок обыватели наклеили на оконные стекла полоски бумаги; получались затейливые узоры. Тесса усмехнулся: «Вот вам новый декоративный стиль!»

3

Наступил октябрь. Зарядили дожди. Тесса в кулуарах парламента кричал:

— Я всегда говорил, что поляки не продержатся и месяца! Это воры и пропойцы. Но мы ничего не потеряли. Наоборот... Гитлер убаюкивал немцев победами на востоке. Теперь они почувствуют, что такое линия Мажино. Четырнадцатого июля мы будем танцовать всю ночь на освещенных улицах, увидите!

С неба падали не бомбы, а листовки. И фешенебельные кварталы ожили. Монтиньи выписал семью: зачем мокнуть под дождями в глухом поместье? Жена Монтиньи ворчала — не могла примириться с продовольственными ограничениями.

— Бог знает что такое!.. Какое дело правительству до кухни? Неизвестно, что заказать на обед: в понедельник нельзя получить бараньих котлет, во вторник запрещено продавать ростбиф, в среду не делают пирожных... Это издевательство!

На несколько дней исчезло кофе; госпожа Монтиньи обезумела:

— Я была у Корселе, у Кардама — нигде... И подумать, что это из-за поляков! Я убеждена, что англичане пьют свой чай. Они себе ни в чем не отказывают. Виноват Даладье: это — ничтожество, репетитор, а не премьер!..

Кофе вскоре привезли, и госпожа Монтиньи несколько успокоилась.

Дела шли прекрасно: близость смерти даже скупцов сделала расточительными. В ресторанах нельзя было найти свободный столик. Ателье мод работали, как никогда. Дамские шляпки напоминали головные уборы солдат. В витринах были выставлены брошки-танки, пудреницы с английскими флагами, амулеты и шелковые платочки, украшенные надписью: «Он где-то во Франции».

«Где-то во Франции» стало формулой, заменив скучную букву N. Газеты сообщили: «Вчера где-то во Франции генерал Сикорский принял парад». А под окнами гнусавил бродячий певец: «Где-то во Франции вспомни лобзанья!..»

Говорили, что солдаты скучают; собирали для них патефоны, футбольные мячи, игральные карты, домино, полицейские романы. Любящие жены посылали офицерам жилеты из шерсти ламы, наполеоновский коньяк, консервы, изготовленные лучшими поварами столицы.

На банкете иностранной прессы Тесса заявил:

— Расскажите всему миру, что мы живем по-старому. Грохоту пушек мы противопоставили слова песни «Париж остается Парижем».

Думали, что война принесет с собой грусть и лишения. Но осенний сезон начался блистательно: премьеры, рауты, выставки, благотворительные аукционы. И везде можно было встретить баловня судьбы Гранделя; без него не обходился ни один прием.

В первые дни войны Грандель потребовал, чтобы его отправили на фронт: «Я хочу сражаться!» Депутаты запротестовали: «Здесь вы будете куда полезней». Популярность Гранделя настолько возросла, что когда Дюкан попробовал было напомнить о пропавшем документе, все возмутились: «Не разбивайте национального единения личными дрязгами!»

Грандель не скрывал, что до последней минуты стоял за компромисс:

— Первого сентября вечером еще можно было все предотвратить. Бонне говорил по телефону с графом Чиано. Я настаивал на встрече четырех премьеров. Меня поддерживали депутаты нашей группы. Но события разворачивались слишком быстро... История установит вину каждого. А теперь не время спорить. Поскольку война объявлена, надо ее выиграть.

Война освободила Гранделя: карты в колоде оказались перетасованными. Он готов был сражаться. Когда он говорил: «Нужно победить», в его голосе слышалось подлинное волнение.

Депутаты восхищались патриотизмом Гранделя; промышленники называли его «трезвой головой», а светские дамы были в него влюблены — красавец, говорит так, что хочется плакать, и за спокойствием чувствуется настоящая страсть...

Даже Бретейль заколебался: уж не стал ли он жертвой мистификации? Он поверил Люсьену, который

обожает дешевую романтику. А Грандель ведет себя безупречно...

Для Бретейля война была драмой. Он пытался продумать все до конца и не мог. Иногда говорил себе: «Нужно выиграть войну». И тотчас усмехался: «Ее нельзя выиграть, пока у власти шайка депутатов. Да и что принесет Франции победа?.. Распустить парламент, посадить под замок болтунов! Может быть, огонь противника переплавит Францию...»

Виски Гранделя побелели; глаза стали печальными. Бретейль, глядя на него, думал: «Терзается, как я...» И Бретейль первый пожал руку Гранделя, когда они остались наедине:

— Забудем прошлое!

Никто не знал ни о размолвке между Бретейлем и Гранделем, длившейся свыше года, ни об их примирении: для депутатов и для страны они оставались единомышленниками, друзьями. Всем казалось естественным, что Бретейль выдвинул Гранделя на ответственный пост, предложив доверить ему руководство военной промышленностью.

Бретейль помнил, с каким трудом он добился от Тесса реабилитации Гранделя: он и теперь ждал сопротивления. Но Тесса было не до воспоминаний. История с документом, похищенным Люсьеном, представлялась ему далекой и неинтересной. Кто заподозрил Гранделя? Фуже, Дюкан. Фуже исключили из радикальной фракции; во время московских переговоров он стал обличать Чемберлена и чуть было не поссорил Париж с Лондоном. А Дюкан витийствует: этот заика вообразил себя Гамбеттой; восстановил против себя всех; Виар назвал его «шовинистом, пропахшим нафталином», а Бретейль подал на него в суд за диффамацию. Нет, враги Гранделя не заслуживают доверия... Притом надо смотреть на вещи трезво. Грандель ненавидит коммунистов; он вертелся среди них, знает среду. В представлении толпы это — левый, любит обличать «двести семейств», написал брошюру против американской олигархии. А военная промышленность — тот фронт, на котором придется дать коммунистам генеральное сражение. Пускай Грандель сажает в тюрьму, проводит удлинение рабочей недели, снижает ставки. Если он

перегнет палку, будут ругать его, а Тесса и радикалы останутся незапятнанными.

Еще недавно Бретейль говорил Тесса, что не выдал бы своей дочки за Гранделя. Оба забыли об этом разговоре. Теперь война — надо подняться над партийными раздорами!.. И Тесса сказал:

— Что же, я одобряю твой выбор.

Крупные промышленники, за исключением Дессера, поддержали кандидатуру Гранделя. Монтиньи кричал: «Он, по крайней мере, наведет порядок. Как можно воевать, когда в тылу анархия? Рабочие ничем не хотят поступиться. Словами их не убедишь, здесь нужен кулак».

Во главе союза промышленников стоял Меже. Он также покровительствовал Гранделю. Дюкан как-то заявил, что Меже продолжает поставлять немцам боксит через Швейцарию; тот ответил: «Это — клевета. Но у меня есть программа...» Его программа была проста: воевать нужно не с Берлином, а с Москвой. Коньком Меже был «крестовый поход против Третьего интернационала». Когда Тесса попробовал возразить: «Увы, воюем-то мы против Германии», Меже многозначительно ответил: «Погодите, это только первый акт...» После объявления войны он съездил в Мадрид; говорили, будто он там встречался с германским послом.

Только Дессер рассердился, узнав о назначении Гранделя: «Здесь нужен техник, специалист, а не политический интриган...» Но положение Дессера за последний год сильно пошатнулось. В финансовых кругах рассказывали о его неудачных спекуляциях. Депутаты считали, что Дессер остался в дураках: поддерживал Народный фронт, хотел предотвратить войну резолюциями Лиги наций. Бретейль острил: «Пожарный с дамским пульверизатором»... Даже Тесса теперь относился к Дессеру, как к неудачнику.

Прошел месяц. Грандель показал себя неутомимым работником. Каждый день он встречался с Бретейлем, советовался, докладывал. Грандель говорил: «Коммунисты... Дессер... Это — авгиевы конюшни. Прежде чем начать, нужно чистить, чистить и чистить!»

На заводе «Сэн» осталась треть рабочих. Дессер решил объясниться. Возмущенный, он вошел в кабинет

Гранделя; держал в руках шляпу и палку с большим набалдашником; говоря, помахивал палкой. А Грандель улыбался, листал бумаги на столе; он наслаждался положением: еще недавно всесильный Дессер, покровитель Бриана и Бонкура, сидит перед ним как ходатай!

Дессер задыхался; он был болен, знал, что болезнь тяжелая, не лечился, пил. Его личная жизнь была запущенной и унылой, как его дела: печальные свидания с Жаннет, полные жалости и тревоги, одинокие ночи в загородном домике, мысли о смерти. Он боялся умереть, хотел преодолеть страх и не мог. Видел, как страна идет к разгрому, и мучился от своего бессилия. Еще недавно он чувствовал себя всемогущим. А теперь он оказался выброшенным из игры. Его вежливо выслушивали; но никто его не слушал. Он стал вдовствующей императрицей, биржевым академиком, осколком идиллических времен. Слушали глупого крикуна Монтиньи, Меже, способного за несколько миллионов продать родную мать, других, но только не Дессера.

Он сказал Гранделю:

— Как вы хотите, чтобы я сдал в ноябре заказы, когда у меня не осталось рабочих? Войны еще нет, а все квалифицированные рабочие на фронте.

— Это печально, но я не вижу другого выхода. Мы не можем поставить рабочих в привилегированное положение. Наша страна земледельческая. Что скажут крестьяне? Они должны умирать, пока рабочие зарабатывают вдвое? Нельзя выиграть войну, пренебрегая элементарной справедливостью.

— А сорокалетние? Эти не на фронте. Механики моют стекла в казармах.

— Мы не можем выделить рабочих...

— Я вас спрашиваю — нужны вам моторы или нет? Интересно, как вы собираетесь воевать без авиации? А если вам нужны моторы, верните рабочих. Вчера на заводе «Сэн» снова арестовали двести человек...

— Проказу не лечат бальзамом. Мы теперь расплачиваемся за времена Народного фронта...

— При чем тут Народный фронт? — Дессер махал палкой, будто собирался ударить Гранделя.— И потом вы прошли в палату как кандидат Народного фронта...

— Насколько я помню, господин Дессер, вы не пожалели денег, чтобы обеспечить победу Народного фронта.

Дессер посмотрел на Гранделя; красивое лицо, с тонкими бровями, с точеным носом, с холодной, еле заметной улыбкой, еще больше его разозлило.

— Я тоже помню... Все помню... И бумажку Фуже...

Грандель не изменился в лице; все так же улыбаясь, он сказал:

— Во время войны дуэли неуместны. Поэтому попрошу вас удалиться.

Уходя, Дессер уронил шляпу, закашлялся. А Грандель делал вид, что читает рапорт.

Вечером у Гранделя был прием. На приглашениях стояло: «Ужин солдата». Гостям подали сальми из фазана на грубых оловянных тарелках; превосходное «Оспис де бон» пили из жестяных кружек. Принимала Муш. После разрыва с Люсьеном она долго хворала, ездила в Альпы. Она все еще была красива, но теперь это было прелестью раннего увядания; в каждом жесте сказывались грусть и болезнь.

Когда все разошлись, Грандель снял смокинг, жилет. На ослепительно белой рубашке выделялись тонкие черные помочи. Он сказал жене:

— За тобой, кажется, ухаживал полковник Моро. Это крупная фигура. Я не удивлюсь, если он кончит начальником штаба.

Он зевнул: устал за день. Снял аккуратно брюки и вдруг сказал:

— А все-таки мы победим...

Муш не вмешивалась в его дела. Она даже не вспоминала про злополучное письмо. Последнее объяснение с Люсьеном ее опустошило. Война, разговоры о линии Мажино и бомбардировках, карьера мужа — все это было туманной проекцией на крохотном экране. Но теперь, неожиданно для себя, она спросила:

— Кто «мы»?

Она сразу поняла, что сказала бестактность; отвернулась, ожидая оскорбления. Грандель спокойно ответил:

— Мы. Французы.

Он был игроком; вся жизнь его напоминала сдержанный шопот, проглоченные вскрики вокруг зеленого сукна.

Так было в те страшные месяцы, когда он наделал столько глупостей, чуть было не погубил себя... Он проиграл восемьдесят тысяч. Выручил его Вернон. Пришлось встретиться с Кильманом... Доставать для немцев документы... Впрочем, зачем об этом вспоминать? Он дорвался до крупной партии. Он говорил себе: «Мы победим»; но в точности не знал, о какой победе думает. Сказал вслух — Муш или себе:

— Глупый вопрос!.. Дураки хотят переспорить судьбу. Это как с рулеткой: они ставят на тот же номер. А надо менять, почувствовать, где счастье, пойти ему навстречу... В этом весь фокус...

4

Даже Монтиньи ворчал: «Одно дело арестовывать коммунистов, другое — посылать стариков в казармы. У меня нехватает рабочих». В кулуарах палаты вопрос о военной промышленности стал модным; его подхватила скрытая оппозиция.

Говоря с Дессером о «справедливости», Грандель повторял слова Бретейля. Грандель крестьян ненавидел и боялся: «Это не люди, но репа, корнеплоды...» А Бретейль твердо верил, что беда Франции в гипертрофии промышленности, в росте городов. В деревнях скучно, нет кино, работа тяжелая, и молодежь уходит... Сколько во Франции брошенных деревень! Разваливаются дома, гниют амбары, дичают плодовые сады. Отсюда — коммунизм, Народный фронт, безбожие, развал. Бретейль думал, что война выдвинет крестьян на первое место, и он подсказал Гранделю: «Никаких поблажек рабочим».

Все же пришлось уступить. В конце октября правительство решило откомандировать сорокалетних рабочих, занятых в военной промышленности.

Среди них оказался Легре. В самом начале войны его отправили на юг. Возле Тулузы он охранял мост, по которому когда-то проходила узкоколейка. Ветку давно упразднили, и мост порос желтым душистым кустарником. Но пункт числился в списках военного округа; и два месяца Легре глядел на лужайку с пятнистыми коровами.

Он много передумал за это время. Вспоминал ту войну, Аргонский лес, сапы, лазареты. Как будто это было вчера! А недавние события казались ему тусклыми, призрачными. Между двумя войнами прошел один день... Тогда они думали, что люди поумнели, рассчитаются с виновниками войны. Одни верили в Вильсона, другие повторяли: «Ленин... Ленин...» Если бы тогда им сказали — через двадцать лет снова!..

Легре тосковал о Жозет. Так и не суждено ему узнать счастье! Летом они решили пожениться, присматривали квартиру. А теперь конец... Отца Жозет арестовали. Она уехала в Безансон к сестре; пишет короткие грустные письма. Ночью, глядя на частые звезды юга, Легре вспоминал Жозет и уныло, громко зевал.

На заводе он не нашел своих старых друзей: Мишо и Пьер были на фронте. Вечером Легре отправился на розыски; заходил в кафе, где собирались товарищи; побродил вокруг закрытой библиотеки; поехал в Монруж, потом в Вильжюив. Он никого не встретил: одних арестовали, другие прятались.

Легре был одинок, растерян. Он не знал, что делает партия, и это было как слепота. С ненавистью он отбрасывал газеты, которые писали, что коммунисты — предатели, что русские сражаются на линии Зигфрида, что Морис Торез убежал в Германию. В Тулузе говорили, будто выходит «Юманите» — печатают в подполье. Но как ее раздобыть?.. Рядом с Легре работали новички; они подозрительно на него поглядывали — уж не подослан ли полицией?..

Легре терялся от своей оторванности, от вынужденного бездействия. Это продолжалось четыре дня. На пятый его арестовали.

Он провел ночь в крохотной камере. Кого только там не было! Политические и сутенеры, немецкие эмигранты и евреи из Польши, остряки, которых схватили за анекдот об аперитивах Даладье или о любовных похождениях Тесса, обыватели, поплатившиеся за панический вздох: «молока не будет» или «призовут семнадцатилетних».

Утром Легре повели на допрос. Комиссар Невилль входил в масонскую ложу и не боялся говорить, что предпочитает Эдуарда Эррио Эдуарду Даладье — для полицейского это было свободомыслием. Невилль знал, что

Легре — один из руководителей коммунистической организации «Сэн». Если Легре отступится, это произведет впечатление. Газеты напишут: «Еще один прозревший». Тесса оценит рвение Невилля: покаявшийся стоит десяти грешников... И Невилль был отменно любезен: предложил Легре папиросу.

— Я — чиновник,— начал он,— и не имею права высказывать мои убеждения, но верьте мне, я не фашист. Я искренне радовался победе Народного фронта. Мы тогда думали, что это — прочный союз. Случилось иначе... Впрочем, теперь не до борьбы партий. Все французы должны объединиться. Вы — коммунист, но вы — француз. Вы были ранены на войне. Я не могу вас рассматривать как изменника.

Он ждал что скажет Легре; но Легре молча мял кепку и оглядывал стол, заваленный синими папками.

— Что же вы молчите?

— Не знаю, право, что сказать. Вы сами сказали... Я был коммунистом, ну и остался.

— Я понимаю ваше упрямство, оно продиктовано благородными соображениями — не хотите изменить товарищам. Но, мой друг, теперь не до щепетильности. Вы были игрушкой. Вас обманывали, говорили о патриотизме, призывали бороться с фашистами. А теперь?.. Морис Торез — дезертир.

— Положим, дезертиры не мы, это вы оставьте. Где теперь Морис Торез, я не знаю. Только уж не в Германии, как пишут ваши газеты! Я думаю, он издает «Юма». Это настоящее дело. А где дезертиры, я знаю. Мюнхен, кажется, помню. И как с Испанией было... Наши там дрались против фашистов, а Бонне помогал врагам Франции, это даже дети знают. Я вас слушаю и удивляюсь: вот вы говорите «фашисты»... Да вы их всегда защищали с дубинками. А теперь фашисты у власти.

Невилль снисходительно улыбнулся:

— Вам сорок три года, а пыл юношеский. Это похвально. Жаль только, что не хотите расстаться с шорами. Ваша партия вам изменила. Она добивается победы Германии.

— Никогда я этому не поверю!

— Тогда чего же они хотят?

Легре насупился:

— Какие теперь лозунги, я не знаю. Это вы постарались — «Юма» закрыли, похватали всех честных людей. И меня хотите сбить с толку. Но кое-что я сам соображаю. Кто теперь травит коммунистов? Даладье, Тесса, Виар, Бретейль, Лаваль, — словом, вся шайка. Значит, коммунисты не изменили — враги-то старые... Вот если бы Лаваль закричал: «Браво, коммунисты!», здесь бы я задумался. А теперь все в порядке.

Невилль бросил недокуренную папиросу и позвонил: «Уведите».

Легре, вместе с другими коммунистами, отправили в концентрационный лагерь. На узловой станции Нуази-ле-Сек поезд, в котором везли арестованных, простоял свыше часа. Жандармы не подпускали к нему публику, объясняли: «Везут дезертиров». Солдаты и женщины злобно поглядывали на вагоны: «Шкурники! Другим, значит, умирать?..» Кто-то крикнул: «Трусы!» Тогда Легре запел «Интернационал». Люди на платформе, удивленные, замерли. А из вагонов кричали: «Мы не дезертиры! Мы рабочие, коммунисты». После «Интернационала» запели «Марсельезу». Солдаты на платформе подхватили припев. Напрасно жандармы пытались оттеснить народ. Высунувшись в окошко, Легре кричал:

— Я на той войне ранен был, на лице печать, они этого не сотрут... А сняли меня с авиазавода. Везут нужники чистить. Вот где изменники — Бонне, Тесса, Фланден!.. А за нашу Францию мы на смерть пойдем!..

Он поднял кулак — полузабытый грозный жест, память о тридцать шестом, о великой несбывшейся надежде. Жандармы его оттащили. Поезд тронулся. Но тогда поднялись сотни кулаков: женщины и солдаты провожали осужденных.

5

Арестовывали по спискам, по доносам, по наитию. Один преступник поднял кулак, другой насвистывал «Интернационал», третий повесил у себя изображение Кремля. Читая сводки полиции, Тесса разводил руками: куда только они не проникли! «Союз любителей рыбной ловли

в Ньевре», «Шахматный кружок департамента Бар», «Общество альпинистов Гренобля» оказались филиалами коммунистической партии. Тесса говорил себе: «Да, это сила! Теперь понятно, что они могли увлечь наивную Дениз».

Бретейль требовал расстрела депутатов-коммунистов. Тесса отвечал: «Осторожней, мой друг! Как-никак, это — народные избранники». Тесса боялся создать прецедент... Он питал чувство профессиональной солидарности к арестованным депутатам; хотел их спасти: «Подпишите, что вы отрекаетесь от Третьего Интернационала, и вы сохраните мандаты». Узнав, что арестованные упираются, он вышел из себя: «Фанатики! Я сделал для них все, что мог».

Пришлось выдержать атаку Фуже. Кулаки марсельцев ничему не научили сумасброда; он заявил: «Преследования коммунистов деморализуют армию». Тесса крикнул: «Значит, вы за Гитлера?» Депутаты зааплодировали, и Фуже сошел с трибуны под дружный свист.

Никогда Тесса так не трудился; редко вырывал он часок для Полет, в изнеможении спрашивал себя: может быть, бросить все? Зачем притворяться? Он стар. Сколько ему осталось жить? Но тотчас отгонял эти мысли. Разве Клемансо в преклонном возрасте не спас Францию?.. Тесса казалось, что он — наследник Клемансо. Его статуи будут красоваться на площадях. Он как-то сказал Полет: «Улица Тесса — это звучит неплохо...»

Тесса приходилось заниматься стратегией, экономикой, даже механикой, говорить о запасах хлопка, о новых бомбардировщиках, о торговом договоре с Венецуэлой. Все приходили с претензиями, жаловались на беспорядок. Прежде он имел дело с депутатами или финансистами. Теперь он должен был выслушивать военных: не понимая терминов, не знал, как подойти к человеку, что обещать, чем развлечь. Он говорил: «Армия — иной мир», а про себя добавлял: «низший».

Узнав о предстоящем визите генерала де Виссе, Тесса нахмурился. С этим ворчуном, кажется, трудно сговориться!..

Генерал де Виссе выдвинулся в пятнадцатом году; он тогда командовал бригадой на Шемен-де-Дам. Раненный

в ногу, он не покинул командного поста. В шестьдесят четыре года он сохранил бодрость, даже задор. Его круглое обветренное лицо с жесткими желтыми усами походило на морду бульдога. Был он человеком добрым, но вспыльчивым; покрикивал на жену, ругал адъютанта; любил только военное дело и садоводство: на досуге ходил с лейкой, подвязывал розы, прививал, стриг.

Никогда генерал де Виссе не заговаривал о политике; когда его спрашивали, что он думает о том или ином министре, отвечал: «Армия — великая немая». Одни говорили, будто он монархист и якшается с эмиссарами претендента; другие (среди них генерал Пикар) уверяли, что де Виссе чуть ли не коммунист, слушается беспрекословно Фуже и не зря расхваливает советскую авиацию. Увидав, как де Виссе молится, Тесса искренне удивился: «Вот вам и приятель Фуже!..»

Зачем он пришел? Может быть, хочет нажаловаться на Пикара, который запретил солдатам читать левые газеты? Или потребует, чтобы утвердили институт полковых священников? Поди разберись.

Тесса усадил генерала в покойное кресло, вынул коробку с сигарами:

— «Партагас» и, кажется, свежие. Боюсь, что теперь не скоро получат новую партию: пароходы завалены другим добром. Что вас привело ко мне, дорогой генерал?

Де Виссе долго готовился к разговору; он составил дома вступление — о патриотизме, об уроках прошлой войны, о долге военного. Но теперь он забыл все, откусил кончик сигары, выплюнул его и сразу брякнул:

— Положение отвратительное — во всем нехватка! Вы знаете, сколько пулеметов на батальон?.. Я уже не говорю об авиации. Я, например, располагаю десятью бомбардировщиками. Да, да, вы не ослышались,— десятью. Нет обуви, нет одеял. А зима на носу.

Тесса сокрушенно кивал головой.

— Знаю, знаю... Это — наследие Народного фронта, платные отпуска и прочее. Но положение скоро изменится. Кое-что мы купим в Америке...

— Надо покупать, и скорей!

— Сразу видно, что вы не экономист (Тесса покровительственно улыбнулся). Покупать самолеты в Америке

исключительно невыгодно. Куда остроумней выписать оборудование. Мы экономим на каждом моторе. Да и промышленники волнуются. Меже — против, говорит, нельзя посягать на национальную индустрию. Но я повторяю — кое-что мы купим в Америке. Разместили некоторые заказы в Италии. К весне сорок первого года...

Генерал перебил:

— А если они начнут весной сорокового?

— Вы лучше меня знаете, что взять линию Мажино невозможно.

— Ничего нет невозможного. Все зависит от того, сколькими людьми они решат пожертвовать. Потом линия Мажино не защищает нас с севера.

— А форты Льежа, канал Альберта? Если бельгийцев тронут, они будут драться, как львы: это рыцарский народ.

— Может быть. Но нельзя полагаться на других. Мы должны укрепить северную границу.

— Для этого нужны годы. И мы обязаны соблюдать экономию. Войну выиграет тот, у кого будет больше золота.

Тесса снисходительно смотрел на собеседника: ребенок! Лицо генерала побагровело. На груди ходили ленточки орденов.

— Я человек военный, мое дело повиноваться. Но я не могу молчать... Генерал Пикар твердит, что необходима тяжелая артиллерия к сорок второму году: брать линию Зигфрида. А вы видали, что произошло в Польше? Какие у них моторизованные части, видели? Они могут попытаться прорвать фронт. На коротком участке. И вот мне говорят, что производство противотанковых орудий не только не увеличилось — понизилось. Почему? Да потому, что рабочих отправили в концлагери. Я видел — они там мешки делают. Хорошо еще, что не бонбоньерки. Я был у Гранделя. Он говорит: «Не ранее сорок второго года...» Господин министр, это катастрофа! Почему квалифицированные рабочие...

Тесса рассердился:

— Напрасно вы слушаете Фуже. В лагерь посылают только коммунистов. Я не вмешиваюсь в стратегию, оставьте политику!

— При чем тут политика? Я говорю об орудиях, о самолетах.

Тесса встал, прошелся по кабинету, вытянул руку и проникновенно, как будто перед ним присяжные, сказал:

— Я видел, как вы молились. Не скрою — я был потрясен. Лично я вырос в свободомыслящей семье, но я уважаю религию, понимаю чувства верующего. Скажите, как можете вы, католик, заступаться за коммунистов?

— Я не за коммунистов заступаюсь. Мне доверена армия. Религия тут ни при чем. Кто будет отвечать? Мы, военные. Я ненавижу немцев. Это вам понятно? И вот они могут притти сюда, в Париж. Да я согласен посадить на заводы не только коммунистов — чорта, лишь бы у нас было снаряжение!..

— Вы напрасно волнуетесь. Не учитываете специфики этой войны. Это скорее вооруженный мир. Не знаю, зачем Гамелен погубил столько жизней в Варнадтском лесу. Франция — страна низкой рождаемости, мы должны вдвойне экономить... Красивые жесты обходятся слишком дорого. А война решится иначе. Блокада — вот наше оружие! Причем расплачиваются англичане. Кого топят немцы? Англичан. Нам это только выгодно: пусть Англия придет на мирную конференцию сильно потрепанной. Блокада — чудовищный пресс: мы его закрутим, но не слишком. Было бы ошибкой довести немцев до отчаяния — тогда они могут действительно полезть на линию Мажино. Необходимо их припугнуть, и они станут сговорчивей. Почему мы воюем против Германии? Это роковое недоразумение и только. Простите, я привык говорить прямо. Военные должны стушеваться: эту войну выиграют не генералы, а дипломаты.

Рассказывая потом о беседе с министром, де Виссе кричал: «Выпроводил меня, как прислугу — не вашего ума дело!.. В Америке покупать не хотят — дорого. Здесь ничего не делают: рабочие — коммунисты. И воевать не собираются — армия должна сидеть смирно. А чего они хотят? Вот и поймите!..»

В тот вечер Тесса обратился по радио к стране. Он не любил говорить в микрофон: его расхолаживало отсутствие глаз, которые загораются или покрываются влагой

сочувствия. Когда пришли операторы, Тесса позвал старого курьера.

— Морис, посиди здесь, пока я буду читать. Твое лицо меня вдохновляет.

Морис улыбнулся и замер. А Тесса, кокетливо улыбаясь, восклицал:

— «Рубикон перейден! Наша война — крестовый поход двадцатого века. Мы обнажили меч за высокие моральные ценности, за христианский гуманизм, за очеловечение грубой механики. Наш меч — страшный меч. Я не раскрою перед неприятелем военной тайны, сказав, что никогда небо Франции не видало столь мощного воздушного флота. Никогда наша земля не сотрясалась от таких полчищ танков. Мы работаем не останавливаясь, день и ночь, чтобы еще усилить гигантскую броню. Нам помогают наши доблестные союзники — англичане и великая заатлантическая демократия. Но главная наша сила — наш дух, братство, которое вяжет людей всех партий, всех классов, единство нации, ее воля к победе. Французы, мы не вложим меч в ножны, пока не сразим заклятого врага цивилизации!»

Морис боялся шелохнуться. Он сидел на кончике стула все с той же искусственной улыбкой; ему казалось, что его фотографируют.

6

Штаб армии помещался в усадьбе богатого эльзасского фабриканта. Это был поместительный дом с зимним садом и с биллиардной, где у офицеров по вечерам происходили турниры. В библиотеке офицеры сидели над картами. Канцелярия находилась в бывшей детской; там стучали безумолку «ундервуды», на стене еще висел мышонок из фильма, а под ним работала машинистка Люси, с соломенными волосами и с длинными ресницами, выкрашенными в фиолетовый цвет. За ней волочился любимец генерала, майор Леруа.

Хозяин усадьбы любил безделушки; на письменном столе, за которым работал генерал Леридо, стояли чернильница в виде Пизанской башни, пингвин из копенга-

генского фарфора и часы с различными циферблатами, показывающими время Парижа, Сан-Франциско и Токио. Работая, генерал отодвигал пингвина: боялся разбить. Он не выносил ущерба; его оскорбляли чернила, пролитые на паркет, или солдатские сапоги, примявшие газон.

Казалось, человек с таким характером должен был выбрать другую карьеру; но в семье Леридо все были военными. В четырнадцатом году Леридо командовал полком; показал себя исполнительным; дошел до генеральского чина. Он умел ладить с начальниками и с подчиненными; он не вылезал вперед; называл себя учеником Фоша; говорил: «В нашем деле самое главное — спокойствие, чувство меры». Неизменно любезный, гладко выбритый, пахнущий одеколоном, он всем нравился, всех успокаивал. Его несчастьем был низкий рост; он не позволял фотографам снимать его, когда кто-нибудь стоял рядом.

Успеху Леридо способствовала его тактичность. Он ненавидел депутатов, но когда штатские при нем заговаривали о политике, отвечал: «Я доверяю избранникам нации». С Леридо ладили все: Бретейль, Дюкан, Виар. Он охотно беседовал с ними о роли, сыгранной семидесятипятимиллиметровыми орудиями в Марнской победе, или о красоте классической поэзии. Он обожал литературу; покупал роскошные издания Расина и Корнеля и даже напечатал лет тридцать тому назад статью в провинциальном журнале — «О некоторых погрешностях Стендаля», посвященную разбору «Пармской обители» с точки зрения военной науки.

Свое дело Леридо любил; но война его огорчала хаотичностью — все, что на маневрах было совершенным, искажалось тысячами случайностей. И за три последних месяца он осунулся, постарел. Жаловался на боли. Врач говорил: «печень», но Леридо приписывал болезнь хлопотам. Все его смущало: фронт был коротким, и он не знал, что делать с частями, приговаривал: «Горе от избытка, вот что...» Люди спали под открытым небом; в ноябре начался грипп. Офицеры побаивались солдат, не проводили учений, а солдаты томились и пьянствовали. Когда Леридо говорили: «Гамелен накапливает тяжелую артилле-

рию для атаки против линии Зигфрида», он вздыхал: «У командиров нет револьверов, вот что...»

Он строго следил за распорядком дня в штабе. Все вставали в шесть часов. Полковник Моро принимал рапорты. Майор Леруа читал скучные газеты, стараясь заглянуть в канцелярию, где стучала на машинке Люси. Майор Жизе распекал интендантов. Полковник Жавог изучал карты. А капитан Санже, лысый и мечтательный, вздыхая про себя о парижских кабачках, докладывал генералу: «В Цвинкере два солдата ранены... Против шестнадцатой дивизии замечено передвижение, немцы подвезли сто восемьдесят шестой полк... Вчера действий авиации противника не замечено... В Танвилле открыли лазарет для венериков...» Генерал, отодвигая пингвина, бормотал: «Вот что!..» За стол садились ровно в двенадцать.

Сегодня подали страсбургский паштет из гусиных печенок. Полковник Моро сказал:

— Дары местных богов.

Генерал вздохнул: врач посадил его на диету. Чтобы утешить себя, он заметил:

— Самое полезное — салат. С возрастом человек становится травоядным существом. Это естественно...

Поспешно проглотив кусок паштета, капитан Санже поддержал:

— Конечно...

Поговорили о том, что Гитлер — вегетарианец. Генерала это удивило; он долго приговаривал: «Вот что... Интересная черта...» Потом майор Леруа стал излагать содержание газетных обзоров.

— В центре внимания Финляндия. Все спрашивают, что будут делать русские.

Генерал оживился:

— Очень интересно! Конечно, они могут начать обходное движение, попытаться выйти к Ботническому заливу, чтобы отрезать Хельсинки от Швеции. Могут предпринять и лобовой удар на линию Маннергейма. Посмотрим, посмотрим... (Война в Финляндии была для него стратегической задачей; она как бы возвращала его к уюту парижского кабинета, и он меланхолично вздохнул.) А что пишут о наших делах?

— Мало. В «Эпок» цензура вырезала две колонки...

— И хорошо сделала. Наверно, статья Кериллиса или Дюкана. Не понимаю, как им позволяют писать!

Полковник Моро был близким другом генерала Пикара; оба ненавидели Дюкана. И полковник сказал:

— Мне пишут из Парижа, что Дюкан собирался сюда. Только его нехватало!..

Генерал, сердясь, всегда облизывал губы. Так он поступил и теперь:

— Ни в коем случае! Даладье может нас избавить от подобных сюрпризов. Дюкан способен заразить всех своей паникой... Я сам слышал, как он кричал: «Немцы весной предпримут решительную операцию...» Что вы хотите, человек когда-то был летчиком, но в стратегии неуч, отстал, ничего не видит. Для него линия Мажино — это полевые укрепления на Эне или на Сомме... (Он тщательно выбрал грушу — долго ощупывал ее, проверяя, спелая ли, потом маленьким ножом осторожно снял кожу, вытер пальцы, залитые душистым соком.) Когда ножик входит, как в масло, груша всегда хорошая... Попробуйте, майор. (Он протянул Санже половину груши.) А в болтовне Дюкана сказывается влияние полковника де Голля. Я прочитал его записку... Гамелен прав: это фантазер. Не хочет понять, что немцы блефуют. Валит все в одно: Польшу, Испанию, где против регулярной армии сражались анархисты, наш фронт... Вообще плохо, когда люди, вместо классиков военной науки, питаются газетными сенсациями. Такой де Голль считает себя новатором. На самом деле он рутинер. Он видит перед собой Седан или наполеоновские войны. Забыл про опыт мировой войны. Думает, что танки будут носиться по Европе, как когда-то носилась кавалерия. А эпоха молниеносных войн миновала. Мы вернулись к длительным осадам стран. Это Троянская война, вот что...

Он аккуратно свернул салфетку, надел на нее кольцо и встал. Кофе подали в гостиной. Полковник Моро сказал:

— Генерал Моне запрашивал... Они хотят провести нечто вроде маневров — приучить солдат к действию пикирующих самолетов.

Слово «маневры» напомнило Леридо мирное время, но тотчас же он нахмурился: этот Моне опять что-то при-

думал!.. Выскочка, всегда хочет опередить других!.. А полковник Моро продолжал:

— Префект против. Дело в том, что за Мюнстером население не эвакуировано, крестьяне боятся, как бы не пострадали виноградники...

Генерал кивнул головой:

— Я вполне согласен с префектом. Мы должны быть особенно внимательными к эльзасцам. Все это вздорная затея... «Пикирующие самолеты!..» Да, в Польше или в Испании, когда нет зениток... Они клюют на немецкую удочку, поддаются любому паническому слуху. Так и сообщите генералу Моне... Обычные занятия, не больше... Притом надо дать людям отдохнуть.

После завтрака генерал с капитаном Санже отправились на позиции. Шофером у Леридо состоял сын промышленника Меже, молодой спортсмен, благодаря положению отца откомандированный в штаб армии. Меже гнал машину, и Леридо приговаривал: «Тише, мой друг, вот что...»

Леридо любил поговорить с шофером: Меже знал все, что случается окрест.

— Какие новости, мой друг?

— Все спокойно, господин генерал. В Мюнстере я разговаривал с нотариусом: он приезжал из Периге за вещами. Он говорит, что на эльзасцев произвел тяжелое впечатление процесс Россе.

— Я так и думал. (Леридо обратился к Санже.) В Париже они ослеплены. Да если этот Россе и был связан с немецкой разведкой, теперь не время выволакивать дело... Зачем углублять политические распри? (Генерал слегка повернулся к шоферу.) Вы ездили с полковником на позиции?

— Мы были, господин генерал, в Эрштейне. Майор Лесаж жаловался: солдаты там распустились.

Меже хотел рассказать, что майора Лесажа солдаты вымазали коровьим навозом, но во-время спохватился: это выведет генерала из себя. Меже только усмехнулся, вспомнив, как визжал бедный майор. А Леридо сказал:

— Ничего не поделаешь, люди скучают. Нужно организовать разумные развлечения.

Они въехали в Страсбург. Город был пуст. В киосках за стеклом висели газеты от последних чисел августа. На террасах кафе стояли мраморные столики, соломенные стулья, как бы поджидая посетителей. Портал собора был прикрыт мешками с песком. Часы на площадях все показывали разное время. Увидев в витрине сиреневый пеньюар, генерал вздохнул: такой пеньюар у Софи... Леридо четыре года тому назад вторично женился на молоденькой дочери военного врача. Софи в двадцать шесть лет была рассудительной и заботливой. Когда Леридо работал, в доме ходили на цыпочках. Софи готовила его любимое блюдо: телячью голову в винегрете. Она душилась духами «Корсиканский жасмин»...

Наблюдательный пункт находился в беседке, прикрытой хвоей, над обрывом. Леридо в бинокль увидел людей возле блокгауза. Он машинально подумал: «Противник...» Потом он заметил большой транспарант: «Французы, наш общий враг — Англия!» Рядом красовались изображения Гитлера и Жанны д'Арк. Леридо поморщился: до чего это вульгарно! Вместо военных операций какая-то пропаганда. Как будто война — предвыборная кампания... А там дальше — дома с бурыми крышами, синий дымок, виноградники... Слов нет, странная война! Можно забыться, принять все за маневры: синие пытаются форсировать реку... А в шестнадцатом году было иначе... Леридо вспомнил развалины Перонна, щебень, воронки, кости. Это не повторится. Тогда мы начали войну с песнями и красными штанами «пью-пью». Теперь у нас линия Мажино.

Леридо шел по размытой дорожке. Пахло сырой землей. Показалось мутное зимнее солнце. Вдруг он услышал музыку: Шуберт. Эту вещицу играла Софи...

— Что это?

Полковой командир отрапортовал:

— Громкоговоритель: заглушаем немецкую пропаганду. А противник слушает знакомую музыку. Мы им показываем, что ничего не имеем против немцев.

Леридо одобрил:

— Прекрасно придумано.

— Нам предлагали между музыкальными номерами вставлять короткие обращения на немецком языке. Так

делают в двадцать седьмой дивизии. Но я нашел это неудобным.

— И правильно сделали: на войне нужно воевать. Предоставим политику политиканам. Что же, у вас целый день концерт?

— Сегодня с семи часов утра до семи сорока была артиллерийская перестрелка. Их батареи находятся...

— Знаю, знаю... Имеются жертвы?

— Три солдата убиты, один сержант тяжело ранен.

На минуту воцарилась тишина. И тотчас с того берега донеслось по-французски:

Так за вашими спинами
Подписали условье:
Англия платит машинами,
Франция — кровью...

Поехали дальше, в штаб двадцать седьмой дивизии. Леридо хотел проверить — правда ли, что там занимаются политической пропагандой?.. Но он забыл про громкоговорители: его ожидало важное известие — утром возле Эрштейна разбился немецкий истребитель. Летчик погиб; на трупе нашли документы — лейтенант Карл фон Ширау.

Леридо распорядился устроить торжественные похороны.

— Вот вам настоящая пропаганда! Мы покажем, что умеем уважать противника. Я пришлю полковника Моро. (Он задумался.) Вы говорите: фон Ширау?.. фон... Наверно, из аристократической семьи... Это может произвести в Германии большое впечатление... Я постараюсь тоже приехать...

Леридо осмотрел госпиталь. Зашел в барак. Солдаты быстро прикрыли шинелью игральные карты.

— Что, дети мои, отдыхаете?

— Так точно, господин генерал.

Леридо не знал, что сказать, и вышел. В дверях он услыхал:

— Генеральчик с пальчик!..

Леридо однажды уже слышал это обидное прозвище — в Париже на улице. Но он не думал, что здесь, на фронте, кто-то посмеет над ним глумиться. Наверно, ком-

мунист... Он облизал губы, и капитан Санже вздохнул: он собирался вечером завести разговор о трехдневном отпуске.

Поехали назад: всю дорогу Леридо переживал обиду. В вестибюле стояло большое зеркало; пройдя мимо, генерал отвернулся. Он вызвал полковника Моро:

— В двадцать седьмой дивизии царит распущенность. Солдаты производят отвратительное впечатление, вот что... А генерал Моне, вместо того чтобы подтянуть людей, занимается пропагандой... Передают немцам какие-то политические речи, наверно эмигрантов, коммунистов... Мы сейчас составим записку главнокомандующему, копию Даладье...

Полковник вздохнул: он собирался сегодня взять реванш у майора Жизе — две партии по сто очков... А капитан сказал Леруа:

— Губы лижет... Там кто-то крикнул «с пальчик»... А я думал завтра съездить в Париж. Ну и жизнь!..

Пробило шесть часов. Канцелярия опустела. Только Люси еще работала. Наконец она отстучала: «Дюбуа Пьер, сержант», сложила копирки, покрыла машинку чехлом и, осторожно озираясь, прошла наверх — ее ждал майор Леруа.

— Деточка, давайте представим себе, что мы в Венеции, в гондоле...

7

Дождь зарядил с утра, длинный дождь гнилой зимы. Скучно было глядеть на серо-желтое пухлое небо. И Пьер разглядывал свои рыжие, промокшие насквозь ботинки. Он теперь часто глядел в одну точку, казалось, что-то высматривает; но он ничего не видел. Он и не думал ни о чем. Все происходящее вокруг было смутным, хотелось потрогать себя, крикнуть, проверить — не спит ли он. Да ничего и не происходило: сержант тридцать девятого полка мок под дождем, слушал то рапсодии Листа, то брань сержанта, изредка прерываемые грохотом снарядов. За всем было нечто страшное: об этом Пьер не смел думать.

Это началось в горячий день августа. А проснувшись на следующее утро, он радостно потянулся: Аньес варила

кофе, на полу играл Дуду, и его рыжая лошадка браво гарцовала, вся залитая солнцем. Но сейчас же Пьер вспомнил...

С тех пор он жил в оцепенении, не мог выпрямиться, молчал. А он был создан для громкой жизни.

На родине Пьера сейчас тепло; цветут розовые декабрьские розы; вдали видна, вся обожженная, рыжая гора Канигу. Когда-то он на нее взбирался... А дождь будет итти весь день, завтра, послезавтра. И скоро в несвежей вате неба ангелы хрипло, как громкоговоритель, завоют: «Сла-а-а-ва в вышних».

Перед отъездом Пьер бродил, как осужденный. Аньес видела, что он погибает, искала выхода.

— Пьер, уедем куда-нибудь далеко, в Америку. Будем работать.

Он покачал головой:

— Всем плохо. Что ж я буду спасать шкуру? А того, что было, все равно не вернешь.

Говоря так, он думал о днях Народного фронта.

Прежде ему казалось, что он участвует в событиях, отвечает за них. Даже после предательства Виара он мог сказать: «Я переправляю самолеты...» А теперь он был деревом, помеченным дровосеком, колесиком, неспособным и своей гибелью замедлить ход машины.

В день отъезда они чуть не поссорились. Нахмурив лоб, Аньес сказала:

— Но вы этого хотели...

Он вскипел:

— Не этого! Это — не наша война.

Для Аньес война была войной: снаряды, грязь, кровь, смерть. Как он мог ей объяснить, что сентябрь тридцать девятого года не похож на сентябрь тридцать восьмого? Она возражала: «Софизм, политика, игра». А для него это было правдой. По-другому звенели шаги запасных. Никто не пел. Была на лицах покорность обреченных. И Пьер не видел выхода.

Он теперь понял, что отделяло его от Мишо. Давние споры не были случайными. Мишо — крепкий, его можно сломать, тогда он упадет, как упал вчера Жюль. Но Мишо нельзя согнуть: он усмехнется, скажет «и еще как», выстоит. Где он теперь? Мокнет под дождем? Посадили?

Как хотел бы Пьер с ним поговорить! Но нет, и Мишо не помог бы... Мишо ответил бы: «Надо глядеть вперед.. Диалектика событий...»

Пьер был одинок. Его всунули в роту, составленную из бретонских крестьян, богомольных и пугливых; им сказали, что Пьер — анархист, безбожник, в Испании он жег церкви. Лейтенант Эстерель, уродливый гном, был одним из «латников» Бретейля; он обожал поэзию, говорил, что «нищета романтична» и что в фашизме «мистическая сущность». Лейтенант презирал своих солдат: они пахли по́том, плохо говорили по-французски, верили в ладанки с изображением святого Геноле. Пьера он боялся, предостерегая других офицеров: «Такой способен выстрелить в затылок...» Его оскорбляло, что Пьер — инженер, что он ходил в театр «Ателье» и читал стихи Элюара.

Пьер подружился с единственным парижанином Жюлем, который работал прежде на газовом заводе. Это был неисправимый балагур. Он корил Пьера: «Нельзя вешать нос на квинту. И не то бывало... Сейчас, наверно, Морис Торез думает. И придумает. А я пойду на охоту — здесь куриным пометом пахнет. Давненько я не ел хорошей яичницы». Он смешил Пьера: «Я оптимист. Посмотрим на события с точки зрения свиньи. До войны свиней кололи семь дней в неделю. А теперь по понедельникам и вторникам запрещено продавать свинину. Значит, не пройдет и ста лет, как свиньи добьются неприкосновенности личности, увидишь!..» На минуту Пьер выходил из своего полусна, смеялся. И вот Жюля убили.

Письма Пьера были короткими: он не знал, что рассказать Аньес. О дожде? О шутках Жюля? О том, как Жюль, умирая, почему-то повторял: «Брюква...»? О лейтенанте Эстереле, который читает стихи Валери и боится, проходя, задеть солдатскую шинель? Аньес заполняла письма вопросами о здоровье Пьера или рассказами о проказах Дуду. Им столько нужно было сказать друг другу, но оба онемели. Пьер часто думал об Аньес — прямая дорога в белый июльский день: слепит... Иди, и ты обязательно дойдешь... А у него тропинки... Неразбериха!.. Вот и заблудился...

А дождь никогда не перестанет! Пьер вспомнил дождливый вечер на тулузском аэродроме. Как он тогда му-

чился! Теперь и боли нет: умирание под хлороформом. Шинель пахнет мокрой псиной: это еще живой запах, надо им дорожить, за ним — ничего. Патефон... Говорят, это чтобы немцы не скучали... Шутники!

Его вызвал лейтенант Эстерель.

— Отнесите капитану Жемье.

— Слушаю, господин лейтенант.

Он взял книгу. Лейтенант хотел унизить Пьера: коммунист, наверно, признает только пролетарских поэтов... Пускай прогуляется! До фермы, где стояли артиллеристы, было четыре километра. Капитан Жемье тоже был эстетом, просил: «Пришлите что-нибудь почитать. Я со скуки составляю словарь рифм».

Забравшись под навес, Пьер раскрыл книгу. Стихи... Он не поглядел, кто автор.

Бывает — радости наперечет.
Не зацвести ему, но он живет...

И захлопнул. Ему показалось, что его окликнула Аньес, подошла, провела рукой по мокрой щеке. Рука горячая... А с лица падали капли дождя.

Он пошел дальше по крутой дорожке между виноградниками. Ферма была скрыта маленькой рощицей. Направо осталась церковь... Петушка на колокольне сбили... Пьер обогнул воронку; машинально подумал: «Пристрелялись...» И свернул с дороги.

Он отдал книгу близорукому застенчивому капитану, выпил с артиллеристами кувшин молодого кислого вина, пошел назад. Вот так штука — дождь перестал!.. Громкоговорители смолкли на час раньше обычного. Прошумел внизу ружейный выстрел, но остался без ответа. Воцарилась тишина. Пьер смутно повторял: «Бывает — радости наперечет...» Вечером будет письмо от Аньес. Потом — сенник, душное животное тепло, уютный храп рыжего Ива...

Вдруг в тишину ворвался грохот. Это приключалось по два раза в сутки, но Пьер никак не мог привыкнуть к первому разрыву: мир сразу менялся, раздирали воздух... Сейчас ответят наши... Пьер пошел в сторону и присел на корточки: мокро... Придется просидеть час. Зато вечером будет письмо...

Он не осознал второго разрыва; только подскочил —

осколок попал в пах. Полчаса спустя его подобрали артиллеристы.

Очнулся он под утро; увидел невыносимо четкий свет лампочки без абажура и сейчас же закрыл глаза. Медленно припоминал: книга, артиллеристы, вино, снаряд... Он, кажется, ранен... Может быть, умирает?.. Нет... Спит?.. Он захотел повернуться на правый бок — всегда так спал, но вскрикнул. Значит, умирает... Нужно вспомнить что-то очень важное... Напрягаясь, он вспоминал сам не знал, что. Хотел увидеть Аньес, как увидел ее под навесом, и не мог — лица не было. Он только повторял, чтобы успокоить себя, имя: «Аньес!..» Подошла сиделка, поправила подушку. У сиделки лицо было длинное, как черта; он подумал: «Чужая». Потом увидел на одеяле яркую игрушку. Это была песочница, красная с едкими зелеными полосками. Он сидел на куче песка. Из песочницы выходили пирожки. Нет, рыбы... Или, может быть, карлик с длинной бородой?.. Песок был сухим, формы распадались. Он крикнул: «Почему сухой?..» Сиделка подошла с мокрым полотенцем, положила его на лоб Пьера, он не почувствовал — снова впал в забытье.

А под окном гремела музыка: третий батальон салютовал убитому немецкому летчику. Генерал Леридо произнес речь:

— Мы преклоняемся перед останками воина... Любовь к отечеству... Чувство долга...

И снова пошел дождь, еще сильнее, чем вчера, будто он хотел наверстать потерянное.

Письмо от Аньес пришло, как и думал Пьер, вечером. Оно пролежало в канцелярии три дня; его отослали с пометкой: «Адресат скончался».

8

Цензуру называли «теткой Анастасией», и Жолио жаловался, что эта тетка загонит его в гроб. Газета выходила с белыми пятнами. Нельзя писать, что в Вогезах стоят лютые холода, что итальянцы устроили германскому послу овацию, что чилийское правительство приютило испанских беженцев. Жолио разводил руками:

— Осталась одна тема — бром!..

Говорили, будто солдатам в кофе подмешивают бром, чтобы они не тосковали по женам. И Жолио поместил в своей газете куплеты:

Гретхен, я у вашего дома
Без брома, без брома, без брома!..

Закат Дессера вынудил Жолио искать нового покровителя. Бретейль свел его с Монтиньи. «Ла вуа нувель» не впервые меняла направление; но на этот раз Жолио загрустил: Дессер умел жить, смягчал резкость шуткой, чек давал просто, как папиросу; а Монтиньи кричит на Жолио, как на лакея; вмешивается в редакционные дела; возмущается невинной заметкой о свадьбе какого-нибудь радикала или социалиста. А как может Жолио рассориться со всеми? Ведь и Монтиньи не вечен...

Один из сотрудников употребил в очерке слово «боши» — так прозвали немцев четверть века назад. Монтиньи вышел из себя:

— Возмутительно! Вы апеллируете к самым низким инстинктам. Конечно, мы воюем с Германией, но это рыцарский поединок, если угодно, это историческая трагедия. Гитлер — величайший государственный ум!

Легко понять, как обрадовался Жолио, узнав о торжественных похоронах немецкого летчика. Описанию церемонии и речи Леридо была посвящена целая полоса. Но на следующий день Жолио снова томился: о чем писать? Вот уже четвертый месяц, как идет война, а ее не видно, это — война-невидимка. Солдаты умирают от гриппа. Вчера в палате огласили конвенцию с Германией о железнодорожном сообщении через Рейн; только при голосовании кто-то вспомнил, что законопроект, внесенный в парламент летом, устарел, и мосты через Рейн давно взорваны. Войну окрестили «ну-и-война». Говорят: «Как вам нравится ну-и-война?» Нравится она всем. Только писать не о чем...

Неизвестно, кто враг? Немецкие самолеты скидывают листовки, брошюры. Подбирают, говорят: «Хорошо издано...» Слушают радиопередачи из Штуттгарта; там диктор — француз. Жолио его окрестил «штуттгартским предателем». Кличка привилась. Но «штуттгартский преда-

тель» стал популярным персонажем. Депутаты спрашивают друг друга: «Что рассказал «штуттгартский предатель» о закрытом заседании палаты?..»

И вот произошло чудо. Монтиньи поздно вечером вызвал толстяка, был весел, даже любезен, дал Жолио, не торгуясь, столько, сколько тот попросил, восторженно приговаривая:

— Политическую сторону поручите Бретейлю. И побольше анекдотов, героических штрихов, эпизодов... Пошлите лучших военных корреспондентов...

Враг, наконец-то, был найден. Два дня спустя военные корреспонденты выехали в Хельсинки.

Тесса пригласил к завтраку итальянского посла; расхваливал римскую кухню, пьемонтское вино, живопись Веронеза, государственный гений Муссолини.

— Вы не можете себе представить, как я был удручен, когда, несмотря на вмешательство «дуче», началась война! Эти месяцы для меня были кошмаром. Как для всех культурных европейцев... Но вот вам первый просвет: реакция на выступление Москвы показывает, что не все еще потеряно. В частности, меня ободряет позиция Италии. Говорю: «меня»,— я всегда стоял за союз латинских стран. Мы — наперсники великого Рима. Что значит Данциг, да и вся Польша по сравнению с судьбой цивилизации? Скажем прямо: наш общий враг — Москва! От борьбы на Карельском перешейке зависит будущее не только Парижа или Рима, но и Берлина.

Все оживились. Госпожа Монтиньи организовала «северные вторники»; дамы из лучшего общества, под звуки Сибелиуса, вязали носки и наушники для финских солдат. Меже пожертвовал на «лотт» Маннергейма полтора миллиона; чек был торжественно вручен дочери финского маршала. Марсельский гангстер Билье потребовал, чтобы Московскую улицу переименовали в Гельсингфорсскую.

В соборе Мадлен служили молебен — о даровании победы финскому воинству. Бретейль горячо молился. Из церкви он поехал в редакцию «Ла вуа нувель». Он ошеломил Жолио (а толстяка трудно было чем-либо удивить):

— Сейчас же поезжайте к Виару. Пусть он напишет несколько статей о Финляндии.

Монтиньи не выносил Виара; кричал: «Это он распустил рабочих, приучил их валяться на пляжах!..» Жолио приходилось считаться со вкусами своего нового покровителя, и он избегал Виара. Как-то они встретились в ресторане «Мариус», возле Бурбонского дворца. Виар меланхолично вздохнул:

— Вы меня забыли...

Жолио запротестовал:

— Вы думаете, что я Зевс? Я только посланник богов, Меркурий. Вы ведь знаете, что за скотина Монтиньи! То, что Дессер сдал, несчастье не только для меня — для Франции... Теперь я пишу под диктовку Бретейля. Это богомольный сухарь, злой судак. У нас в Марселе таких нет. Помесь галльского петуха с немецкой овчаркой. Я ему несколько раз говорил: а Виар?.. Увы, национальное объединение существует только на словах! Лично я вас ценю, уважаю, больше того — люблю!

Виар грустно улыбнулся и выбрал спокойный столик. Ему предстояло трудное дело — заказать завтрак согласно указанию врача. Виар носил при себе список запрещенных блюд, сверял: щавель, помидоры нельзя, морковь можно...

И вот Бретейль послал Жолио к Виару. Толстяк всю дорогу разговаривал сам с собой — до того был потрясен. Ну и времена! Каждый день все меняется. Непонятно, кому улыбаться, кого чернить?..

Виар теперь жил уединенно среди картин и книг. Он с отвращением следил за событиями, как зритель, которому показывают дурную драму — уйти нельзя, а глядеть скучно... Говорил: «Во всем этом я не вижу никакой идеи...» С удовлетворением думал: «Мне все же повезло! Во-время на мое место сел Тесса. Они заварили, пускай расхлебывают!..» Конечно, в парламенте Виар голосовал за правительство; дважды выступил с патриотическими декларациями; он говорил сухо, как будто повторял неинтересную цитату. «Ну-и-война» казалась ему ненужной суматохой. Вот и в Китае убивают людей. А зачем?...

Он несколько ожил, когда начались преследования коммунистов. Проснулась старая обида: коммунистов он считал виновниками своего поражения. Это они подстроили захват заводов, озлобили лавочников, толкнули

Даладье в объятия Бретейля. Кричали о патриотизме, возмущались Мюнхеном, а когда дело дошло до войны,— выкрутились. Теперь рабочие говорят: «Только коммунисты против войны...» Виару это казалось хитрым предвыборным маневром; он почти машинально думал: заработают миллион голосов... Конечно, он поддержал предложение о выдаче депутатов-коммунистов; приговаривал: «Ничего не возразишь — справедливо». А узнав, что сенатор Кашен оставлен на свободе, огорчился. Кашена он ненавидел; когда-то они были в одной партии, вместе выступали на собраниях. Молодые коммунисты были людьми с другой планеты; Кашена Виар считал изменником — культурный человек, гуманист, демократ, и остался с коммунистами!..

Каждый день арестовывали сотни людей. Кое-где в провинции стали хватать и социалистов. Виар всполошился: «Начинается реакция!» Он почувствовал себя блюстителем традиций, старым жрецом. Может быть, выступить? Но тотчас осадил себя: это будет наруку коммунистам.

Он снова замкнулся. Ему удалось приобрести маленький натюрморт Сезанна: два яблока на лакированном подносе. Часами Виар глядел на холст. Яблоки были мирами в себе, законченными и бесконечно тяжелыми, как сущность материи.

Он думал, что неспособен увлечься: не знал себя — события в Финляндии вернули ему молодость. Он выступил в палате с негодующей речью, и пенсне его подпрыгивало, как двадцать лет назад. Война стала сразу осмысленной: «Коммунисты — вот тайная армия империализма!..»

Когда Жолио изложил просьбу Бретейля, Виар сказал:

— Охотно, мой друг, охотно, и это несмотря на возраст, на болезнь. Врач запретил мне работать. Но когда страдают слабые, я на посту. Хорошо, что Бретейль забыл партийные раздоры. Теперь мы сможем осуществить национальное объединение не только на словах.

Он продиктовал первую статью. Его голос дрожал от волнения.

— Я возмущен. Когда-то солдаты фон Гольца сражались за правое дело... Маршал Маннергейм — борец за справедливость...

Потом он сказал Жолио:

— У нас мощный союзник: генерал-мороз.

Жолио развел руками:

— По правде сказать, я даже не знаю толком, где эта Финляндия. Но говорят, что там чертовски холодно. Если пошлют наших, они замерзнут, честное слово! А что вы думаете о позиции Италии? Я ведь марсельский патриот... Как бы они не пошли на Марсель...

— Никогда! Они возмущены Москвой, как мы с вами. Теперь итальянская опасность миновала.

На следующий день к Виару приехала дочка Луиза. Ее мужа призвали в армию.

— Гастон пишет, что там страшный беспорядок... Нет противотанковых орудий, кажется, это называется так... А у солдат нет ботинок. Они ужасно настроены. Гастон боится с ними разговаривать. Папа, что будет с Францией?

Виар слушал рассеянно.

— Ужасно!.. Я всегда говорил, что эта война ни к чему не приведет. Главное — никакой идеи... Другое дело — Финляндия...

Он начал с жаром рассказывать об операциях в Карелии, о лыжниках, «лоттах». Луиза перебила:

— Я теперь часто не могу уснуть до четырех-пяти. Все думаю, думаю... Вдруг немцы победят?

— Возможно.

Он сказал это настолько спокойно, что Луиза растерялась:

— Папа, что ты говоришь?

Он увидел, что у нее дрожат губы,— сейчас заплачет, и стал успокаивать:

— Не бойся. У нас линия Мажино...

Принесли газету. Там была статья Виара. Он внимательно прочел ее; кивал головой, одобряя свои слова. Потом взглянул на фотографию: снег, и стоят два мертвых солдата — замерзли. В руках винтовки. Как будто идут в бой — мороз продлевал жесты жизни. Виару это показалось обидным: нет успокоения, выхода...

Луиза ушла. Сидя в кресле, он наслаждался покоем. Он впервые понял, что ему безразлично, кто победит. Да и в Финляндии... Не все ли равно?.. Какие-то люди бегут, падают, замерзают... Это — жизнь. А он над ней, он — мир в себе, как яблоки. Довольно волнений, слов, суеты! Пора отдохнуть!

Его потревожил фотограф «Ла вуа нувель», земляк Жолио, шумный и патетичный.

— Простите за вторжение! Необходим ваш портрет на первую полосу — к событиям в Финляндии: неутомимый борец за свободу и справедливость!..

Виар поправил пенсне и постарался придать лицу мужественное выражение.

9

Тесса вряд ли узнал бы в кокетливой мастерице, которая развозила платья нарядным заказчицам, свою дочь: короткие завитые волосы, пунцовые губы, шляпа, похожая на поварской колпак, а в руке картонка, перевязанная лиловой ленточкой.

Дениз работала в мастерской мод на бульваре Мальзерб. Мастерицы шили бальные платья. В салоне стояли длинные зеркала. Заказчицы показывались редко, и хозяин жаловался, что дела идут плохо. Это был немолодой человек с короткими седыми усами и с грустным взглядом. Иногда он перелистывал «Жарден де мод» или «Вог». Манекены в сумерки казались посетителями. Пели швейные машины; танцовали электрические утюги; длинные ногти пробегали по шелку — звук был несносен. А в задней комнате хромой Южен приправлял лист на американке: там помещалась подпольная типография. Хозяин мастерской мало что смыслил в модах, он писал листовки; а Дениз разносила их в нарядной картонке.

Сегодня у Дениз праздник. Она спешит в Бельвиль. Вот адрес... Там она встретится с Мишо. Это первая встреча после четырех месяцев разлуки.

Мишо послали сначала в Брест: он был запасным флота. В штабе, прочитав сопроводительный лист, стали думать, как бы отделаться от «смутьяна». Недели две спустя его отправили в Аррас — в пехотный полк. Он мыл

полы в казарме. Батальонный командир Фабр был пьяницей и чудаком, политику презирал, начальству не верил, говорил: «В жизни два отрадных явления — таксы и кактусы». Вначале он решил, что Мишо вор, а узнав, что «преступник» сражался в Испании, развеселился, прозвал его «Дон Кихотом», благоволил к нему. Вот отпустил на два дня в Париж.

Дениз волновалась; не сразу нашла она узкую, полутемную улицу, похожую на десятки таких же улиц. Дверь открыла старая женщина. Мишо еще не было.

— Садитесь, милая. Я сейчас кофе сварю. Замерзли? Мишо скоро приедет.

Но Мишо задержался. Хозяйка спросила:

— Вы моего Жано не знали? Его фашисты убили на заводе.

Дениз вспомнила рассказы Мишо о Клеманс.

— Это вы?..

Клеманс вытерла глаза передником: Жано!.. И Дениз теперь поняла язык маленькой комнаты. На стене висел портрет ушастого подростка. На комоде лежали книги, тетрадки. Старая кепка... Клеманс не могла расстаться с вещами сына. Она ухаживала за его товарищами, кормила их, пришивала пуговицы. Когда началась война, она сидела по вечерам и плакала: всех забрали! А в ноябре к ней пришел незнакомец.

— Я от Мишо. Можно у вас остаться до утра? Меня ищут...

Она теперь прятала у себя коммунистов. Никогда не расспрашивала — кто, зачем; готовила ужин, стелила постель. С ней разговаривали о событиях. Она гордилась доверием. Сказала Дениз:

— Финляндию они придумали, чтобы отвести глаза...

Потом поглядела внимательно на Дениз и улыбнулась:

— Я давно Мишо говорила — зачем ты один болтаешься? Хорошо, что вы его заметили, он скромный. А сердце у него замечательное! И умница. Скоро будет, как Морис Торез. Только без женской руки трудно...

Скрытная Дениз не смутилась: будто с ней говорит близкий человек...

Вот и Мишо! Какой он смешной в форме!

— Ты!

Он обнял Клеманс. Старуха напоила его кофе.

— Мне на работу нужно. Если уйдете раньше, заприте дверь, а ключ — под коврик. Ты смотри, Мишо, чтобы тебя не убили! Говорят: «Войны нет», а все-таки убивают. Ты еще пригодишься... Я вот ей сказала: будешь, как Морис.

Когда она ушла, Мишо прижал к себе Дениз и забормотал:

— Стосковался! И еще как!

Вот и умер короткий январский день. Комната стала синей; сумерки — как дым. Скоро вернется Клеманс. А они еще не наговорились.

— Развал... Мы у бельгийской границы стоим. Хотели рыть укрепления, раздумали. Я слышал, как полковник кричал: «Только пораженцы могут говорить, что они придут сюда!..» Это их излюбленное слово. А кто пораженцы? Они. Все делают, чтобы немцы нас расколотили. Конечно, будь другое правительство, было бы иначе... Удержаться можно... Только я боюсь — сначала разгромят, а потом нам скажут: «Спасайте». Солдаты спрашивают: «Как коммунисты?..» Когда я листовки получил, накинулись... Офицеры, как на подбор, фашисты. Те же гитлеровцы. Только мой исключение — оглашенный с кактусами... А остальные: «наказание за Народный фронт», «измена коммунистов» и так далее. Солдат боятся. А солдаты ждут, сами не знают чего. Пороха много, искры нехватает. Но если в Париже начнется, поддержат...

— Здесь то же самое... На заводах возмущены, но молчат. Вот только Финляндия растолкала. Говорят: «Финским фашистам самолеты строить? Ни за что...» Могут начаться забастовки. А тогда прорвется...

Он расспрашивал, какие известия из-за границы, что думают в Москве. Дениз объясняла. Он вдруг улыбнулся:

— Вот какая ты стала важная! А помнишь, как я тебя повел на первое собрание?

Они вспомнили начало любви, недомолвки, смущение... И ни губы, ни руки, ни глаза не могли передать силу созревшего чувства. А сейчас снова расстанутся...

— Я прочитала в газете про одного капитана. Англичанин. Это было под Новый год. Они ужинали. Вдруг

взрыв — немцы, подводная лодка. Там была его жена, молодая женщина. Он надел на нее пояс и потащил к борту. Она отбивалась, думала, что он сошел с ума. Он ее бросил в воду. Она спаслась. Понимаешь, какое самообладание! И чувство какое!.. Теперь, Мишо, нужно мужество, чтобы жить. Ты мне это скажи, прикрикни на меня, чтобы я была сильной. Я не про опасность говорю, мне ничего не грозит... Но когда мы с тобой расстаемся, каждый раз думаю — вдруг навсегда?

— Все теперь на плотах. Корабль потопили... Но держимся. И доплывем, Дениз. Увидишь!

Они расстались на углу двух темных улиц, широких и тихих, как ночные реки. На груди у Мишо была пачка листовок, два номера «Юманите». До поезда оставалось три часа. Он пошел на вокзал пешком. Затемненный Париж был непонятным, новым городом. Иногда из темноты выступали голые ветки деревьев. А дома не были видны, они только смутно чувствовались, как далекие горы. Детский смех, голос женщины: «Я уронила перчатку», гудок автобуса, огонек папиросы... И была в темноте синева, влажность, неясное бормотание города, похожее на морской прибой.

Мишо думал о Дениз, о расставании судорожном и поспешном — оба боялись выдать боль. Она говорила: «Я положила папиросы в карман...» Он: «Закрой шею, простудишься...» Когда они теперь встретятся? И встретятся ли?

Широкие темные улицы, реки... Вот идет кто-то с фонариком. В темноте слабый свет кажется ярким; он освещает камни, решетку вокруг дерева, ноги. Неужели когда-то на улицах были яркие фонари? А свет исчез, прохожий повернул за угол. Если бы пронести любовь через эти темные годы, как свет фонарика, как крохотный огонек!..

10

Андре послали в Пуатье. Каждый день говорили, что полк отправят на линию Мажино; но слухи не подтверждались. Прошло четыре месяца. Полковник стал своим в салоне маркизы де Ниор; престарелый Гранмезон обсу-

ждал с ним операции против Баку, а местные археологи его расспрашивали, не грозят ли Пуатье воздушные бомбардировки. Офицеры завели себе любовниц. Солдаты задолжали всем кабатчикам, обследовали все публичные дома. Андре каждый вечер вычеркивал в карманном календаре еще одно число. Его приятель Лорье говорил:

— Интересно, потеряли мы день или выиграли?..

Жизнь была монотонной, как в тюрьме, маршировали, подметали длинный двор, ели суп с репой; потом бродили по городу, знакомились с продавщицами, смотрели в кино старые картины, пили аперитивы; потом сидели возле чугунной печки, отрыгивая и посапывая, дремали. Андре разглядывал лица, которые постепенно освобождались от напряжения, забот, хитрости. И лица напоминали пейзаж. Андре думал о сходстве человека с землей, о связи между гончаром и глиной. И в такие минуты Андре хотелось работать. Он издевался над собой: «В Париже не писал, а здесь тоскую по краскам...» Лорье сказал: «Через неделю выступим». Андре мерещились огромные клубы дыма, холод рассвета, проволока, смерть, пустая и белесая, как те невыносимые дни, бессолнечные, но слепящие, когда предметы теряют цвет и форму.

Андре легко сходился с людьми. В Париже он жил одиноко — среди холстов, на голубятне. Здесь он оказался с другими, слушал, рассказывал, смеялся, шутил. Особенно он подружился с Лорье. Это был музыкант из Авиньона: играл в кафе. Беспечный, ребячливый южанин, он пел: «Все прекрасно, госпожа маркиза»; минуту спустя говорил: «Война на сто лет»; потом смеялся: «Полковник поднес богородице восковые руки и ноги — авансом, чтобы его не ранили».

Бретонец Ив вздыхал: «Земля здесь хорошая! И коз много. А у нас нет коз. И кто это придумал, чтобы воевать?..» Он останавливался возле каждого дерева, будто встретил земляка. Андре с ним подолгу беседовал об удобрениях, ячмене. Ив иногда ночью хныкал: тосковал по жене, по детям, по дому.

Нивелль был прежде официантом в большом кафе. Два месяца он пролежал в госпитале на испытании. Жена приносила ему герань. Нивеллю сказали, что от герани у него начнется сердечная болезнь, и тогда его освободят.

Но герань подвела... Нивелль горячился: «Зачем они меня держат? Я вырабатывал восемьдесят франков в день. Помножь на тридцать. А теперь дела идут еще лучше. Мне вчера сказал официант в «Кафе де Пари», что он зарабатывает вдвое против прежнего. Значит, помножь две тысячи четыреста на два. Я понимаю, что им наплевать на меня. Я тоже на них наплевал бы, если бы мог... А сколько таких, как я? По меньшей мере три миллиона. Значит, помножь четыре тысячи восемьсот на три миллиона. (Он вытаскивал обглоданный карандаш.) Получается четырнадцать миллионов четыреста тысяч. Помножь на двенадцать...

Бухгалтер Лабон боялся самолетов: «Хоть бы просто застрелили. А то сверху...» Утешался он тем, что жена далеко; не выходил из домов терпимости: «Все равно убьют, хоть на прощанье узнаю, что такое свободная жизнь».

А молоденький, тщедушный Живер писал стихи о черной улице и сумасшедшем шарманщике.

Все эти люди жили вместе, томились, пьянствовали. Кто-нибудь прибегал: «Завтра трогаемся!..» Начиналась суматоха, писали письма, обнимали девушек. Потом объявляли: «Ложная тревога». И снова Ив вздыхал: «Зачем?..»

Андре как-то сказал Лорье:

— И не думай понять! Все перепуталось. Кто с кем? Впечатление давки, только никто не двигается с места. А слушать, что они говорят?.. Все равно правды не скажут. Плутуют, стараются друг друга перехитрить. Представь себе, что я сел писать. Тюбики с краской. Нажмешь киноварь, выползает черная; нажмешь белила, а там краплак. Нет, лучше не думать!

Когда радио переходило от веселой музыки к сообщениям, его закрывали: надоело слушать, что Даладье стоит за культуру, что на фронте не произошло ничего существенного и что немцы потопили еще семнадцать тысяч тонн.

Город забыл про войну. Жизнь, на несколько недель потревоженная мобилизацией, снова вошла в русло. Парикмахер Шардоне выиграл двести тысяч в лотерее. Вышел очередной номер археологического журнала, посвя-

щенный раскопкам в Афганистане. Маркиза де Ниор жаловалась, что все вздорожало; ей пришлось рассчитать садовника — за садом будет присматривать шофер. Садовник украл у маркизы часы и столовое серебро. Его поймали в доме свиданий. Местные газеты занимались этим делом куда больше, нежели морской битвой возле берегов Уругвая. На большой площади расположился цирк. Три замученных леопарда прыгали с кресла на кресло.

В январе полковник изругал Ива: «Вы похожи не на солдата, а на деревенского пожарного...» Казармы почистили. Через главную улицу протянули трехцветные ленты. Приехал депутат Пуатье, ставший министром. Мэр в приветственной речи сравнивал Тесса с мужами древности и с Клемансо. Тесса одобрительно кивал головой; потом сказал:

— Я хотел в эти исторические дни посетить город, оказавший мне доверие. Я знаю, что в груди сыновей Пуатье пылает священный огонь. Он вдохновлял некогда покровителя Пуатье, святого Иллариона, ныне он вдохновляет защитников линии Мажино. Все наши помыслы посвящены одному — победе...

Тесса приехал, чтобы купить участок в департаменте Вьенн. Прежде он тратил все, что зарабатывал. Теперь он не знал, что делать с деньгами. А различные акционерные общества, в правлениях которых он состоял, процветали. Конечно, можно перевести деньги в Америку. Но зачем?.. Они станут цифрой, абстракцией. Да и ненадежно... Тесса теперь не верил ни в акции, ни в доллары. Только одно непреложно — земля. Можно купить красивое поместье; на пасху привезти туда Полет, забыть среди цветов о войне, о Бретейле, о генералах... Еще недавно Тесса посмеивался над Лавалем: «Овернъяк, скопидом, знает одно — скупает землю». А сейчас он с волнением разглядывал в конторе нотариуса планы, фотографии. Вот эта усадьба недурна: фасад восемнадцатого века, парк в духе Малого Трианона и все удобства...

На следующий день он приехал в Пре-де-Дэн — так называлось облюбованное им поместье. Он надел на себя шерстяное белье и два вязаных жилета. Стояла на редкость суровая зима. Часто Тесса думал: что с Люсьеном? Видел сына замерзшим.

— Совсем, как в Финляндии,— сказал он нотариусу.— Кстати, вы читали сегодня газеты? Этот маршал с немецкой фамилией — молодец! Я лично уверен в победе...

Голая нимфа держала бронзовый кувшин; из него торчали, как стрелы, сосульки. Казалось, и нимфе холодно...

Тесса сказал:

— Дом прекрасный. Мне нравится сочетание: лепные потолки Людовика XV и центральное отопление.

Он вернулся в город под вечер. Вспомнил, как покупал в кондитерской конфеты для Дениз, и приуныл. Почти четыре года прошло... Не будь войны, скоро пришлось бы предстать перед избирателями. Но теперь другие заботы... А хорошее было время! Он — единственный кандидат; все перед ним отступили. Дома его ждали Амали, дети. Дениз улыбалась, даже Люсьен старался быть любезным. Как Амали обрадовалась бы, узнав, что он купил Пре-де-Дэн! Она любила деревенскую жизнь, кур, овощи... А для кого теперь эта усадьба? Для Полет? Но она его бросит, как только подвернется богатый мальчишка, вроде сына Меже. Нет, земля для него, и только для него. Он вдруг подумал о другой земле — на кладбище Пер-Лашез, рядом с Амали. Готов был заплакать; но, к счастью, вспомнил, что вечером прием в его честь у маркизы де Ниор, и утешился.

Маркиза встретила его восторженным щебетом:

— Мы рады вас приветствовать, как соседа... Хорошо, что вы выбрали Пуату!..

Тесса нашел в салоне местных аристократов, археологов, несколько военных и своего былого соперника, старика Гранмезона, который кричал:

— Их надо проучить! Я не понимаю деликатности англичан. Войти в Черное море, и точка...

Обступили Тесса. Он пил жидкий чай и важно объяснял:

— Все разворачивается согласно плану. Нельзя рассматривать Германию как нечто целое. Зима их многому научила. Бегство фон Тиссена важнее военной победы. Рейхсвер возмущен... Я предвижу возможность серьезного

разговора с немцами. Такой человек, как Геринг, прекрасно понимает положение... А Гесс!..

Он осведомился о судьбе своих противников. Ставленник Бретейля агроном Дюгар был мобилизован, ведал поставками бензина. А слесаря Дидье отправили в концлагерь на острове Ре. Тесса вздохнул:

— Ужасно, что приходится прибегать к таким мерам! Но ничего не поделаешь — враг стоит у границ Франции.

Тесса уехал на следующий день. Батальон отдавал ему почести. Андре много раз слышал рассказы Люсьена об отце, но никогда он не видел Тесса. Он удивился: маленький, как птичка... А Тесса торжественно прошел мимо солдат, потом вытер рукой в лайковой перчатке длинный нос. Раздалась «Марсельеза».

Солдаты говорили о приезде Тесса; все знали, что он купил поместье. Ив вздыхал:

— Вот, сукин сын, пронюхал, что земля хорошая! И денег не пожалел. Мне говорили, что земля здесь здорово вскочила — с трех франков на двенадцать...

— Ему-то что,— проворчал Нивелль.— Он на каждом снаряде зарабатывает. Как я когда-то на каждой кружке пива. А чтобы отпустить меня, это ему не придет в голову...

Лорье сказал:

— Лицо у него постное. С таким лицом только на похороны ходить. А он кричит: «Победа!..» Пойдем, что ли, в цирк?

В цирке пахло пудрой и звериной мочой. На юбочке наездницы сверкал стеклярус. Мартышка кашляла. Ревела огромная шарманка. И Андре вспомнил четырнадцатое июля, карусель, голубого слона. Где теперь Жаннет? Расхваливает пилюли? Плачет? Не повезло! Прежде он думал — ему; теперь знает — всем. Лорье прав — мира они не увидят: если даже подпишут — на год, на два, а потом снова...

Ив думал о своем:

— Замечательная земля! А крестьяне здесь хитрые. Подмешали к хлебу просо, чтобы не сдавать. Скот режут. Говорят: «Зачем бумажки?..» Никому не верят. Земля вот как вздорожала!.. И кто только это придумал?..

Леопарды жмурились от яркого света, прижимали уши. Тщедушный укротитель в малиновом фраке до одурения щелкал бичом.

— Неудобно им в кресле,— сказал Живер.

И снова шарманка... Андре вышел с Лорье; говорил:

— Самое страшное — равнодушие. В цирк ходят. Все кафе полны. Тесса покупает землю. Крестьяне прячут пшеницу. А что будет завтра?.. В ту войну было иначе, может быть глупее, но человечней. Кричали: «В Берлин!», громили немецкие лавки, ругались: «Боши!» Дрались. Страсть была. Клемансо лез на стену, говорил: «Мы будем защищаться под Парижем, в Париже, за Парижем...» Потом прокламации: «Ленин сказал...» И все кипело. А теперь такая тишина, что выть хочется. Я себя чувствую, как эти леопарды. На афише сказано: «Грозные хищники», а они хуже драной кошки. Мне страшно, Лорье!

И Лорье ответил:

— Мне тоже.

11

Солдаты шутливо спрашивали Люсьена: «Ты, может, родственник?» Он отвечал: «Однофамилец». И все же фамилия озадачивала; осторожный майор отправил Люсьена санитаром в госпиталь — подальше от шальной пули.

В бывшем монастыре содержали душевнобольных. Люсьену приходилось вязать буйных, кормить через нос меланхоликов. Сержант лежал, привязанный к койке: хотел колоть штыком. Кричал благим матом солдат Беран; все его пугало — щетка, плевательница, очки врача. Другой рисовал голых солдат с женскими грудями. А изможденный марселец с утра до ночи повторял формулу военных сводок: «Ничего существенного... Ничего существенного...»

Один солдат признался Люсьену: «Я нарочно... Прежде думал, что печень вывезет; в Лиможе пятнадцать яиц глотал, противно вспомнить... Не вышло, отправили на фронт. Придумал — мычу, как корова. Только ты меня не выдай». Люсьен пожал плечами: «А мне что? Мычи».

Санитары играли в карты, усердно посещали дома терпимости. Ниши, где когда-то стояли святые, были забиты бутылками из-под вина. Люсьен сидел возле печурки; это было его единственной радостью — он думал: «Понимаю огнепоклонников». Его вдохновлял огонь, притихший было, который приподымался, креп, пожирал доску. И волосы Люсьена казались продолжением огня.

Дженни написала, что уезжает в Америку; оправдывалась — консул настаивает; уверяла, что они обязательно встретятся — в Париже или в Нью-Йорке. Он кинул письмо в печь. Только теперь он понял, что любит Жаннет. Говорят, что время — враг. Неправда! Время снимает шелуху; так исчезают неискренние горести, надуманные страсти. А подлинные чувства остаются... Для Жаннет он — чужой, как для него Дженни. Это странная игра — картинка разрезана, надо ее составить, но один кусок не подходит к другому...

Радио хрипело: «Не произошло...» И душераздирающе вопил марселец: «Ничего существенного».

После Нового года Люсьен потребовал, чтобы его отправили на фронт. Он думал, что близость смерти все скрасит. Он нашел скудный быт, холод, ругань. Снаряды аккуратно убивали; к этому привыкли; зевали — «лотерея»...

Люсьен нашел собеседника. Это был высокий нормандец с лошадиной челюстью и восторженными глазами, по образованию археолог. Звали его Альфредом. Он рассказывал Люсьену о раскопках в Сахаре — кости погибшего мира... И Люсьен вспоминал льды, пингвинов. Потом говорили о войне. Альфред был доверчив: доказывал, что Даладье — за свободу; после победы начнется расцвет искусства — Афины, Возрождение... Люсьену было совестно его разубеждать. Он только изредка перебивал Альфреда: «Хорошо, что ты их не знаешь...»

Увозили солдат с отмороженными ногами. Теплые носки казались недоступной мечтой. Пошли слухи, что солдат отправят в Финляндию.

В холодный февральский день, когда мир казался мертвым — белое поле, а над ним красное воспаленное солнце,— позиции осматривала парламентская делегация. Сопровождал депутатов генерал Пикар.

Еще недавно уверяли, что Пикара пошлют в Сирию. Вейган называл себя «пожарным», говорил, что призван потушить пожар на Ближнем Востоке. Пикар возражал:

— На войне зажигательная бомба куда полезнее шланга.

Пикар разработал план кампании; сирийскую армию он называл «бакинской». Но события в Финляндии заставили его повернуться к северу. Он заявил Тесса:

— Мы должны послать солидный экспедиционный корпус. С немцами воевать мы не можем. Да и не хотим. А держать людей без дела — опасно. Коммунисты работают. К весне начнутся беспорядки. Только эффектная победа в Финляндии может вывести нас из тупика.

В парламентских кулуарах говорили о лапландской руде, о «колоссе на глиняных ногах», о сочувствии Рима. Депутаты приехали, чтобы убедиться в солидности линии Мажино; прежде чем одобрить северную экспедицию, нужно проверить, хорошо ли заперты все двери... Три радикала, два правых, один социалист. За исключением Бретейля, это были люди, ничего не смыслящие в военном деле. Они казались зрителями, случайно попавшими на сцену; стыдились своих шляп, брюк. Один из них, добродушный толстяк, попросил, чтобы ему дали шлем:

— Боюсь за голову...

Задавали дурацкие вопросы, осматривали доты, как туристы средневековый замок, охая и ахая, а увидев тяжелые орудия, стали пугливо ежиться.

Генерал Пикар шел с Бретейлем; говорили о перспективах северной кампании. Бретейль был настроен радужно:

— Это поворотный пункт. Я боялся, что социалисты затормозят, но Блюм молчит, а Виар рвется в бой. Вопрос об отправке альпийских стрелков решится в ближайшие дни.

Они прошли мимо поста. Люсьен отдал честь. Он вспыхнул: вдруг Бретейль его узнает? Но Бретейль был поглощен разговором; да и не в его привычках было разглядывать солдат.

А Люсьен погрузился в мучительные воспоминания. Даже зрелище депутатов, которые шли согнувшись, как будто над ними летают пули, не смогло его развеселить.

Он понял, что значит «сгорать от стыда». Да, его прошлое постыдно! Как мог он поверить этому бездушному человеку? Нетрудно догадаться, о чем Бретейль беседует с Пикаром: хотят поставить Францию на колени. Мстят за тридцать шестой. Уведут войска в Сирию, в Финляндию, все равно куда... И впустят Гитлера. Люсьен вспомнил, как отец, возмущаясь забастовками, повторял: «Немцы и то лучше...» Все они таковы! Может быть, Грандель еще самый невинный... А людей убивают. Вчера убили Шарля. Это был горец, пастух, играл на дудке... За что его убили?.. Подлецы!

Вечером он сидел на корточках у маленького костра рядом с Альфредом. Мерзли, молчали. Потом Альфред начал:

— После резолюции Лиги наций...

Люсьена прорвало:

— Вздор! Все это слова. А за ними предательство, личные интересы, мелкие обиды. Ты видел Бретейля? Святой, метит в рай. И, конечно, «патриот». Когда говорит о Лотарингии, в голосе слезы. Но, между прочим, он знает, что Грандель — немецкий шпион. Покрыл его. Ты думаешь, Пикар готовился к войне? Он был занят другим: подготовлял фашистский переворот. Откуда пулеметы? Из Дюссельдорфа. А деньги кто ему давал? Немец, Кильман... Грязь! Что ты мне рассказываешь о Лиге наций! Ты лучше скажи, за что убили Шарля?

Люсьен долго говорил о «верных», о сборищах у Монтиньи, о предательстве; промолчал только о том, как достал письмо Кильмана, не мог признаться, что он — сын Тесса; это ему казалось самым позорным. Альфред сидел убитый, глаза его помутнели; он все начинал: «Но... но...» Наконец выговорил:

— Но если так, надо рассказать всем... Свергнуть... Спасти Францию...

Люсьен злобно засмеялся:

— Как Дженни, честное слово! Была такая американочка... Я с ней жил, вернее с ее долларами. Она мне тоже сказала: «Тогда нужно устроить революцию». Поздно, милый! Что вы в тридцать шестом делали? А теперь ничего не поможет. Разобьют нас и посадят гаулейтером Бретейля. А может быть, просто все снесут, к

чорту... И нас с тобой. Как твои раскопки... Через двадцать веков найдут в земле зажигалку «Донхиля», мотор «мессершмитта», череп благородного Виара и пойдут вздыхать: «Удивительная была цивилизация!» Я тебя утешу: мы этого не скажем. Бррр! До чего холодно! И, откровенно говоря, надоело.

12

Новый год Жолио встретил с женой и шурином. (Альфред, военный врач, приехал с фронта на три дня.) Пошли в ресторан, выпили две бутылки шампанского. Какие-то девушки кидали бумажные шарики, розовые и голубые. Альфред застенчиво щурился и говорил: «Бомбы...» Жолио произнес тост:

— За победу! Я вижу наших солдат, встречающих Новый год в Берлине.

И суеверно схватился за край стола. Альфред отвернулся. Развязность Жолио его стесняла. А Мари, нежно глядя на брата, вздохнула:

— Только чтобы тебя не убили!..

Жолио стал объяснять:

— Это логически бесспорно, к концу года у нас будет пять тяжелых орудий против одного немецкого.

— Не знаю,— ответил Альфред.— Я ничего в этом не смыслю. Но с сыворотками плохо. Боюсь, как бы нас не застали врасплох. На той войне столбняк...

Жолио его перебил: не выносил разговоров о болезнях и смерти.

На следующий день Альфред уехал. Жолио о нем не вспоминал: милый, но бесцветный человек. А Мари часто плакала: боялась, что брата убьют. Напрасно Жолио ей говорил: врачи — в тылу, им ничего не грозит. Она повторяла: «Вдруг?..»

Жолио жил, как всегда, лихорадочно. Теперь его голова была начинена трудно выговариваемыми финскими именами. Засыпая, он видел обледеневших людей, как сталактиты, свисающих с неба. И от этого становилось холодно; натягивал на голову одеяло.

Жолио не был жаден, хотел всех подпустить к пирогу.

Он послал десяток приятелей в Финляндию и в Стокгольм. Своему двоюродному брату Мариусу, расторопному марсельцу, он посоветовал:

— Устрой вечер-гала. Расскажи что-нибудь о Маннергейме. В пользу финских «лотт». Золотое дело!

И недели две спустя Мариус перед изысканной публикой, не спуская глаз с Жозефины Монтиньи, щебетал:

— Однажды маршал сидел под деревом. Страшная революция только-только начиналась. Подошел оборванный нахальный солдат, большевик, и попросил прикурить. Я забыл сказать, что маршал курил сигару. В возмущении он поглядел на солдата и, рискуя своей жизнью, ответил: «Да я лучше проглочу эту горящую сигару...»

Дамы аплодировали. Сбор достался, конечно, не «лоттам», но Мариусу.

Жолио давно хотел отблагодарить типографа Пуарье: тот ни разу не напомнил о срочных платежах. Теперь подвернулась оказия: генеральному штабу потребовались карты Финляндии. Жолио порекомендовал Пуарье. Сообщив типографу о заказе, Жолио сказал:

— Мой друг, это все равно, что найти на улице четыреста тысяч. Только не смотрите на карту: варварские имена, можно сойти с ума... Пудасьярви. Мне кажется, что у меня теперь во рту не язык, но глина...

Дела газеты шли прекрасно. И все же толстяк был меланхоличен, боялся, сам не знал чего. Дважды в день приносили сводки: «Ничего существенного...» Париж богател и развлекался. Жолио говорил:

— Вы только поглядите — раскупают дома и автомобили, как плюшки.

В газете, рядом с фотографиями финских стрелков, красовались отчеты о лыжных состязаниях в Межеве и Шамони: парижские модницы не хотели отстать от солдат Маннергейма. Но Жолио не верил ни хорошеньким лыжницам, ни сводкам. С миром приключилось что-то страшное. Подумать, какие стоят холода! В Севилье — снег. А в Аргентине каждый день сотни людей умирают от солнечного удара. В Турции трясется земля. Все это не к добру!.. Жолио стал еще суеверней; не расставался с кусочком дерева. По ночам думал: «Кажется, я прошел под лестницей — не к добру...» Когда Мари вздыхала: «От

Альфреда давно нет писем», он отвечал: «Кутит», но сжимал в кармане щепку, не сглазить бы...

В Париж приехал рурский магнат, барон фон Тиссен. За ним бегали фотографы. Ему улыбались красавицы. В «Ла вуа нувель» появилась фотография его собачонки — Жолио знал, что с немцем нянчится Бретейль...

Фотографиями дело не кончилось. Позвонил Бретейль: газета должна напечатать заметки фон Тиссена.

— Это нам наруку... Намечается взаимное понимание...

Жолио направился в «Отель Грийон», где остановился барон. Он долго ждал в пышной гостиной. Потом к нему вышел немолодой презрительный человек. Жолио кокетливо нагнул голову, улыбнулся, стал говорить о свободе, о братстве народов. Фон Тиссен процедил:

— Простите, я занят.

Дал рукопись и ушел. Жолио, раскрыв папку, прочитал: «В ту весну я вместе с Гитлером разработал план кампании против коммунистов...»

Он пришел домой измученный. Увидав, что Мари плачет, сказал:

— За Альфреда можешь не беспокоиться: войны нет и не будет. Если бы ты видела этого немца! Такому место в концлагере... А он сейчас поехал к Тесса, честное слово! Завтра начинаем печатать его мемуары. Монтиньи мне сказал: «Контакт налаживается». Понимаешь?.. Не плачь, Мари! С Альфредом ничего не будет... войны нет... Разве что в Финляндии...

Жена отняла платочек ото рта и тихо сказала:

— Альфреда убили.

Только тогда Жолио заметил на столе большой желтый конверт без марки.

13

Полк, где находился Мишо, отправили в Гавр. И Мишо всполошился: в Финляндию!..

Москва была для Мишо порукой, что его жизнь не напрасна, что счастье не только слово. Все, что делалось там, было таинственным и в то же время знакомым, близким, своим. Он блаженно улыбался, когда по радио рас-

сказывали о цитрусовых рощах Абхазии. Он следил за тем, как строят московское метро, как будто это строили его дом. Говорил: «В Брюсселе наши пианисты получили на конкурсе первую премию», и слово «наши» у него выходило естественным. Как-то он сказал Дениз: «Там и цветы за нас, да, да, обыкновенные цветы, ромашки или колокольчики...» Когда становилось невтерпеж, он разглядывал карту Советского Союза; огромное зеленое пространство успокаивало. Даже при последнем свидании с Дениз он спросил: «Как выставка в Москве?..» Он видел этот далекий город, будто прожил в нем десятки лет. За него готов был умереть. Не он один... И его приподымала общность веры: вокруг сотни солдат думают так же. Да и в других полках... Это было тайным братством миллионов.

И вот ветер ходит по широким улицам Гавра, рвет занавески, опрокидывает щиты с рекламами, кружит прохожих. Кричат портовые сирены. Скрежещут зубами лебедки. День и ночь идет работа. Говорят об экспедиционном корпусе...

Мишо отводит в сторону то одного, то другого солдата. Он не знает, кто коммунист. Но есть множество примет: вздыхает, что нет «Юма», потешается над благородством Виара, говорит о Торезе: «наш Морис». Мишо шепчет:

— Если пошлют против русских, мы должны отказаться. Скрыть они не смогут, вся страна узнает...

— Не знаю... Что другие скажут? Ведь это не выборы, здесь пахнет расстрелом...

Мишо любили за смелый язык, за веселость; когда он срезывал сержанта, поддерживали. Но другое дело — бунтовать... Мишо и сам не знает, что скажут солдаты. Он уговаривает, объясняет; вдохновенно рассказывает о большом северном городе, за который сражаются русские,— там широкая река, в дворцах — рабочие, там жил Ленин... Он ругает изменников, готовых оголить фронт. Он с каждым говорит по-другому, говорит волнуясь, торопясь — могут завтра отправить...

Узнав, что его полк входит в экспедиционный корпус, полковник Керье потерял сон. По ночам он раскладывал пасьянсы. Это был вспыльчивый, слабохарактерный человек. На войне он показал себя храбрым, получил два креста; был равнодушен к смерти, но жизни боялся, боялся

начальства, хитрой сети политики, доносов, уличных демонстраций.

Всю зиму полк простоял в Пикардии. Керье решил рыть укрепления: нельзя оставлять людей без дела. Но генерал Пикар разнес его: «Кто вас просил вызывать панику? Они не могут притти сюда. Вы наслушались пораженцев...»

Керье перепугался — кто их поймет? Все это — политика... Он приказал прекратить работы и заявил: «Укрепления ни к чему — только пораженцы могут думать, что немцы придут сюда».

Теперь говорят о Финляндии. Неизвестно, что скажут солдаты. А там начнут брататься с русскими. И кто это придумал?.. Всегда говорили: один враг лучше двух. Как можно победить Россию?.. Даже Наполеон там завяз... Неужели Гамелен допустит?.. Впрочем, и Гамелен бессилен: все решают политики...

И полковник в отчаянии отбросил карты: пасьянс снова не вышел, нехватило двух валетов. В шестой раз!.. Значит — конец!

А Мишо говорил товарищам:

— Видали границу? Укреплений нет. Людей снимают. Хотят воевать с русскими. А сюда пустят гитлеровцев. Вот их война!

Тусклая лампочка едва освещала лица. На беленой стене бились длинные тени. Напрасно хотел Мишо понять, что означает молчание. Разные люди — слесарь из Аньер, кажется коммунист; крестьянин — говорит, что у него хороший дом; коммивояжер — продавал швейные машины; носильщик; мясник; почтовый служащий. О чем они думают?

Развязка наступила неожиданно. Должен был приехать Пикар. Выстроили две роты. Керье стоял понурый, не глядел на солдат. Вдруг сзади крикнули:

— Куда везут?..

Полковник покраснел, вытер платком лицо.

— Кто кричит?

— Все!..

Керье растерялся. Он не грозил, не пробовал уговаривать. У солдат отобрали винтовки. Говорили, будто отда-

дут всех под суд. Ночью люди не спали: припоминали детство, мирную жизнь, семью.

Допрашивали — кто зачинщик? У всех было в голове: «Мишо». Но никто не назвал его. А над городом металась мартовская буря.

На следующий день Пикар сказал полковнику:

— Придется трех-четырех расстрелять — для острастки.

Тогда Керье закричал:

— Вы понимаете, что это значит? Они нас убьют!..

Он тотчас опомнился, покорно опустил голову: ждал — «под суд». Ему казалось, что зачинщик он.

А Пикар, отвернувшись, барабанил по грязному стеклу. Он забыл, что рядом стоит подчиненный. Он повторял себе: Марна, Верден... Все в прошлом. Разве это армия? Орда, сброд! Сколько раз он говорил Бретейлю: «Осторожно, это не пройдет даром...» Конечно, северная кампания могла бы поднять дух. Но радикалы, как всегда, колеблются. А среди солдат много коммунистов. Что же делать дальше?.. Против немцев не пойдут офицеры. Честнее сразу сказать: сдаюсь. Еще целы не только фигуры — пешки; но партия проиграна.

Он поглядел в окно. Люди обступили газетчика. Ветер вырвал листы и погнал их по длинной прямой улице.

— «Ла вуа нувель»!.. Последнее издание!... Слухи о переговорах между Хельсинки и Москвой!..

14

Тесса ел яйцо всмятку, когда ему принесли телеграммы. «Мирные переговоры... Стокгольм... Финская делегация...» Слова прыгали. Желток яйца замарал жилет. Тесса морщился, как будто испытывал физическую боль. Собравшись с силами, он позвонил Даладье:

— Какое несчастье!..

Даладье ответил, что выступит по радио: предложит финнам сопротивляться — экспедиционный корпус готов. Тесса замотал головой:

— Поздно, мой друг! Не поверят... Надо подумать о другом...

Даладье стал говорить о «трагедии маленьких наций». Тесса в досаде оборвал:

— Конечно, трагедия! И не только для финнов. Можешь верить моему нюху — кабинет не продержится недели...

Тесса стал подсчитывать голоса. Большинство будет против... В мире царит несправедливость. Тесса придется расплачиваться за ошибки какого-то Маннергейма. И Тесса проклинал финнов: дикари!

Случилось, как он предполагал: за правительство голосовало меньшинство. Выплыл Рейно. Тесса его ненавидел: гном, вундеркинд, макака! Рейно предложил Тесса сохранить министерский портфель. Тесса ответил:

— Я подумаю, посоветуюсь с друзьями...

Прежде всего он поехал к Даладье. Тот пил аперитив; глядя исподлобья, сказал:

— Рейно — это катастрофа. Но я решил остаться на посту. До конца...

Большего Тесса от него не добился. Решил обратиться к Бретейлю; это человек завтрашнего дня! Если Бретейль посоветует перейти в оппозицию, Тесса откажется от портфеля. Нужно уметь пережидать, проявить гражданское мужество!

В кабинете Бретейля Тесса увидел высокого голубоглазого человека:

— Я имел счастье познакомиться с господином министром накануне марсельского конгресса.

Тесса смутно припомнил: делегат Кольмара... Не дал Фуже говорить... И Тесса дружески улыбнулся:

— Как же, помню...

Когда Вайс вышел, Бретейль сказал:

— Не удивляйся, что ко мне приходят радикалы. Мы проводим национальное объединение. Вайс работает с Гранделем. Вообще, я считаю, что дела идут неплохо...

Его добродушный голос озадачил Тесса.

— По-моему, очень плохо. Финны нас подвели. От Рейно можно ждать всего.

— Я тоже не из его поклонников. Английский приказчик, хочет, чтобы мы стали доминионом. Но Рейно — мотылек. Он не доживет до лета. Пока что мы его используем. Он уберет Гамелена, это плюс. Мы должны выдвинуть Пи-

кара. Потом карлик влезет на ходули. Он должен выкинуть что-нибудь эффектное. И на первом прыжке он сорвется...

— Он предложил мне портфель. Но я хочу отказаться.

— Ни в коем случае! Ты должен считаться с национальными интересами. Надо иметь в кабинете своего человека...

Тесса не заставил себя упрашивать. Хорошо, он будет работать с Рейно. Левые за это простят ему многое. Он боялся правых, но вот его благословляет Бретейль... Конечно, он останется! Приятней быть министром. Да и почетней — историки отметят, что Тесса не покинул боевого поста.

Получив список нового правительства, Жолио закричал:

— Как вам нравится?.. Из тридцати министров шестнадцать адвокатов. И они называют это «военным кабинетом»!..

Принесли агентские телеграммы. Жолио побледнел:

«Ужасные ауспиции! Заговорила Этна. Это неспроста... Они плачут, что прозевали Финляндию. А я боюсь, как бы макаронщики не пошли на Марсель...»

Когда типограф Пуарье сдал заказанные ему карты, в штабе удивились: какая Финляндия?.. Но деньги уплатили.

Прошло три недели. Рано утром Жолио узнал о минных полях возле норвежских берегов. Он тотчас позвонил Пуарье:

— Поздравляю вас с новым заказом! Рейно тоже захотелось к белым медведям. Теперь им понадобятся карты Норвегии, увидите! Только не продешевите...

У Монтиньи состоялся пышный прием: впервые правые чествовали Тесса. Были Бретейль, Лаваль, Фланден, Грандель, Меже, генерал Пикар.

Дамы обсуждали, где лучше всего провести каникулы. Супруга Пикара остановилась на Бриансоне:

— Это возле итальянской границы. Муж говорит, что Муссолини ни в коем случае не решится... А я хочу немного отдохнуть от этой ужасной войны. Там так тихо, так спокойно...

Госпожа Меже решила провести несколько недель в Биарице: океан, элегантное общество. Спросили Муш, куда она поедет.

— Муж хочет, чтобы я отдохнула в Швейцарии. Не знаю...

Она вспомнила кокетливую швейцарскую гостиницу, смех туристов, затылок Кильмана, колокольчики коров и потом расплату — искаженное гримасой лицо Люсьена...

Госпожа Монтиньи, сильно декольтированная, с припудренными плечами, потчевала гостей:

— Сегодня вторник, ужасный день! Ни мяса, ни кондитерских изделий, ни ликеров. Но, слава богу, французы не педанты! Дорогой генерал, я вам рекомендую арманьяк — из погребов моего брата. Вы чем-то озабочены?..

— Нет... Арманьяк прекрасный.

— Какие новости?

— Невеселые. Я говорю о военных событиях... (Генерал вздохнул.) Они уверяли, что удержат дорогу Берген — Осло. Но немцы не церемонятся... Остался самый север... Положение...

Тесса расслышал только последнее слово, подхватил:

— Положение безусловно окрепло. Я ждал солидного большинства. Но скажу прямо: единодушный вотум палаты меня изумил. Какая зрелость политической мысли! Мы теперь выражаем действительно волю всей Франции. Не правда ли, генерал?

Пикар стал говорить о Бергене, о фиордах. Тесса отмахнулся:

— Это детали...

Пикар его раздражал: типичная слепота военного!.. Куда забрались немцы?.. Пустынная, нищая страна. К фиордам ездили чудаки, любовались полуночным солнцем. Хорошо, что немцы клюнули, это отвлекает их от наших границ. И Тесса сказал:

— Норвегию затеяли англичане. Мы тут ни при чем. Адмирал Дарлан негодует, он прямо говорит, что лучше Гитлер...

Бретейль усмехнулся:

— Англичане... Я их видел когда-то на Сомме. Они каждое утро в окопах брились. А в пять часов пили чай с тостами. Посмотрим, что они будут делать в тундре...

Гости подхватили:

— Будут есть свою любимую треску.

— Или треска съест их.

— Представляю, как перепугался Рейно!

— Да, гному невесело... Я думаю, что правительство Австралии и то пользуется большей независимостью...

— Ха-ха! Мы на положении кенгуру...

Тесса нашел необходимым вступиться за правительство:

— Конечно, Рейно англоман и сноб. Но графиня де Порт — умная женщина. Это, так сказать, Эгерия. А я действую через приятеля графини — Бодуэна...

Кто-то фыркнул:

— Любовник любовницы.

Тесса продолжал:

— Жаль, что в кабинет не вошли наши друзья — Бретейль и Лаваль. Но будьте уверены, в норвежском вопросе мы не пойдем на авантюру. Я первый настаивал на помощи Финляндии — Франция всегда протягивала руку слабым. А в судьбе Норвегии мы не заинтересованы. Это спор между англичанами и немцами. Пускай Черчилль расхлебывает... Что касается нашей территории, мы гарантированы от сюрпризов. Через Голландию они не смогут пройти — голландцы откроют шлюзы. Испытания прошли блестяще. А бельгийские укрепления мало чем уступают линии Мажино. Конечно, у немцев некоторое преимущество в самолетах и танках. Но этого недостаточно. Генерал Леридо говорит, что для настоящего наступления немцы должны выставить шесть орудий против одного. Значит, их партия проиграна.

— Наше слабое место — тыл,— сказал Меже.— Коммунисты снова подняли голову. Забастовка в Курневе может распространиться. Поглядите, вот их листовки...

— Возмутительно!

— Напрасно не расстреляли депутатов...

— Им создали рекламу. Теперь все цитируют речь Греза на процессе.

— Весь процесс был ошибкой. Я говорил Даладье... Надо было или держать их в тюрьме без суда, или подвести дело под государственную измену.

— Мы связаны законами. (Тесса вздохнул.) Посмотрите приговоры: два-три года тюрьмы. Кого это может

остановить? Рейно — тряпка. А Мандель слепо ненавидит Гитлера. Это — опаснейший демагог, он мечтает стать эмиссаром Коммуны. Я рассчитываю на поддержку Серроля. Он социалист, но порядочный человек. Счастье, что ему дали портфель министра юстиции. Он прямо говорит, что московскую язву следует выжечь железом...

Тесса выпил рюмку арманьяка и загрустил: могут расстрелять Дениз... Но быстро совладал с собой, стал снова непримиримым, мужественным. Гости одобрительно шумели. Тесса стоял возле круглого столика: окаменел, держал в руке щипчики для сахара. Ему казалось, что он стоит у государственного кормила.

Потом вниманием овладел Пикар. Он рассказывал анекдоты о генерале Горте.

К Тесса подошла Жозефина, тихо спросила:

— Где Люсьен?

Тесса растерялся: впервые кто-то заговорил с ним о сыне. Он ответил, не подумав:

— Пропал.

И сразу понял, что это звучит двусмысленно; поправился:

— Может быть, убит. Бедный Люсьен!.. — его голос дрогнул.

Жозефина не выдержала, заплакала. Тесса тоже почувствовал во рту слезы и поспешно вытер пальцем свой птичий нос.

Подошел Монтиньи. Тесса опомнился: нельзя давать волю чувствам! Нужно быть сильным, как Клемансо... Стал рассуждать:

— Гитлер сделал еще одну ошибку: он будет сражаться с моржами. А мы пока что можем жить, работать. Даладье решил демобилизовать полмиллиона крестьян. Нужно пахать, сеять; без булки не проживешь. Пускай Дюкан и Фуже кликушествуют... Мы покажем миру, что такое французская выдержка...

Монтиньи кивал головой: правильно! Потом обнял Тесса и загрохотал на всю гостиную:

— Вы хорошо сделали, что купили участок в Пуату. Это пуп Франции, далеко от всех границ. У меня усадьба в Савойе, и, говоря откровенно, я побаиваюсь. Все-таки

итальянцы — фантазеры... А вот вы можете спать спокойно — в Пуату никто не придет. Я всегда говорил Бретейлю, что у вас государственный ум...

15

Узнав, что Рейно сел на место Даладье, Меже заявил Гранделю:

— Я должен был сдать к первому мая сто восемьдесят бомбардировщиков. Но положение изменилось... Вы можете сказать министру, что необходимы дополнительные испытания...

Грандель улыбнулся:

— Я вас понимаю... Рейно — авантюрист. Чего доброго, он втянет нас в настоящую войну. Зачем он послал альпийских стрелков в Нарвик? Но я надеюсь, что его скоро свалят. Достаточно одного хорошего поражения. Немцы постараются... Говорят, что его поздравил Дессер. Это превосходная примета: дружба с Дессером не к добру.

Дессер, еще недавно всесильный, стал посмешищем. Им кормились карикатуристы. А Бретейль поучал Жолио:

— Напирайте на Дессера — международный делец, поставщик пушек, плутократ. Естественно, что он за войну до победного конца. Можете его шельмовать, как хотите; Тесса мне обещал, что цензура не будет вмешиваться.

Монтиньи приказал Жолио начать кампанию против Дессера. Толстяк жаловался:

— Можно менять политическое направление, это в порядке вещей. Но Дессер поддерживал меня в самые тяжелые минуты. Вы понимаете, что значит — изменить старому другу? И потом Дессер — честный человек. Конечно, он не марселец, но он любит Марсель. Я слышал, как он разговаривал с рыбаками в Кассисе... Это настоящий француз! А я должен писать, что он — австрийский еврей и подкуплен американцами.

Дессер занимал прежде слишком высокое место. Как только он зашатался, все решили — падает; повторяли: «бедняга», хотя у Дессера еще были и заводы и акции. Никто не справлялся, как идут его дела. Инженеры «Сэн»

говорили: «Вряд ли дотянет до годичного собрания...» Даже старик-садовник усомнился в кредитоспособности своего хозяина и попросил жалованье вперед.

Дессер все больше и больше пил, избегал людей, скрывал от Жаннет припадки грудной жабы. Встречаясь с приятелями, шутил: «Позвольте представиться — австрийский плутократ, у которого садовник просит жалованье вперед». Собеседник отворачивался — на Дессера страшно было глядеть: болезнь и неудачи размыли его лицо, оно стало рыхлым, бесформенным.

Жаннет чувствовала к нему острую, почти невыносимую жалость. Это чувство было унизительным для обоих; и не раз она пыталась озлобить себя, говорила ему дерзости, надеялась, что он ответит тем же. Но Дессер вбирал голову в плечи и глядел на нее добрыми, мутными глазами старой собаки. Тогда она его обнимала, повторяла трогательные отвлеченные слова. Он шептал: «Жаннет!» Это было заклинанием, как будто Жаннет могла его спасти. Он знал, что только она привязывает его к жизни, а смерти он боялся еще сильнее прежнего, не боли, но пустоты,— ничего не будет, ни хорошего, ни плохого, и от этого хотелось выть.

Он часто говорил себе, что губит Жаннет; решал порвать с ней, выдерживал несколько недель, потом вдруг будил ее ночью, вбегал растерянный, спрашивал: «Можно?» Она гладила его жесткие седые волосы, а из больших испуганных глаз катились слезы.

Первого мая Дессер столкнулся с Меже. Произошло это в баре «Карлтон».

— Мне говорили, что вы хвораете,— сказал Меже.

— Нет, я себя превосходно чувствую.

— Здоровье — самое важное, особенно в наше время... Вы знаете, какой сегодня день? Первое мая. И никто об этом не думает. А помните, как в прошлом году мы волновались, ждали забастовок, демонстраций? Обыкновенный будничный день. Нет худа без добра. Вы, кажется, со мной не согласны?

Меже так часто называл Дессера «красным», что сам уверовал в созданный им миф. А Дессер равнодушно ответил:

— Спокойно... Пожалуй, чересчур...

На улице его остановила молоденькая цветочница:

— Купите ландыши! Двадцать су. Приносят счастье...

У нее были зубы грызуна, а глаза затравленные. Он взял букетик еще не распустившихся, зеленых ландышей. «Приносят счастье...» Нет, не принесут!.. Улыбка Меже, глаза цветочницы, Жаннет... И выхода нет. Убьют. Кого? Жаннет, его, всех... Он жадно пил коньяк у стойки. Радио хрипело:

Счастье стоять над ручьем,
Счастье ни в чем, ни в чем.

Неделю спустя Дессер встретил Жаннет. Она прошла мимо, не заметив его; шла и улыбалась. Он понял: без него она оживает. Пора кончать!

Много раз Дессер уговаривал Жаннет переехать. Она отказывалась. Она жила все в той же старенькой гостинице возле улицы Бонапарт. Он хорошо знал и пышную хозяйку, обсыпанную голубоватой пудрой, и темную винтовую лестницу. Каждая ступенька — одышка и сомнение. Коридоры пахли уборной, духами, кухней. Комната Жаннет была очень узкой. Над камином Дафнис полвека целовал бронзовую Хлою. Кто жил здесь прежде? Художник, мечтавший о славе? Счетовод, влюбленный в красотку из «Фоли-бержер», урод с фиксатуаром и яркими галстуками? Или немецкий эмигрант, аккуратный и растерянный, без права жительства? По ночам он вынимал открытку с видом Маннгейма и, сняв ботинки, шагал из угла в угол... В этой плохо проветриваемой комнате одиночество накапливалось, сгущалось.

Дессер спокойно сказал:

— Мы не должны больше встречаться.

Он проговорил эту фразу; боялся, что она спросит «почему» или поглядит на него; тогда он не выдержит. Но Жаннет, отвернувшись, сказала «да». Она подумала: «Ничего не осталось, даже обмана. Так лучше!..» А он дивился своему спокойствию: ведь это смерть, и не страшно...

Была теплая майская ночь. Над затемненным городом множились звезды. Цвели каштаны. Куранты на соседней церкви подробно вызванивали четверти.

— Ночь для влюбленных,— усмехнулся Дессер. Он стоял у окна.

— Влюбленных нет. Есть звезды, деревья, стихи. Вот, Дессер, мы и состарились!..

— Вы не начинали жить. Я вам помешал. Больше не буду — ни мешать, ни жить...

Последние слова вырвались против воли: он рассердился на себя — жалуется. Она подумает — вымаливает. Он всегда знал, что любовь нельзя купить на деньги; ее нельзя купить и на слезы. А Жаннет, не замечая его волнения, ответила:

— Мне не хочется жить. Когда-то хотелось... Не вышло... А вам?..

— Я боюсь смерти... то есть не могу понять, как это — умереть...

Он собрался было уходить, когда загрохотали зенитки; будто свора сорвалась, и лают, лают... В мягкое бархатное небо вцепились прожекторы. А сирены сходили с ума, было в их реве что-то живое, звериное. Жаннет спросила:

— Что это?

— Скорее всего начало. Весна... Я вам говорил — ночь для влюбленных. Они думали, что немцы будут сидеть и ждать. Меже сиял: «До чего спокойно!» Жалкие люди!.. Нет, хуже — предатели... А впрочем, все равно... Жаннет, неужели вы совсем не боитесь смерти?

Она ответила твердо, даже сухо:

— Нет.

А зенитки все грохотали.

Наконец тревога кончилась. Дессер сидел у окна в кресле: попросил разрешения остаться до утра. Зачирикали птицы; детские, простые звуки. Косые лучи, длинные тени. Прохлада. Провезли овощи на рынок. Прошла молочница. И Дессеру показалось, что ничего не было — ни ночной тревоги, ни объяснения. Он поглядел на Жаннет; она спала; лицо ее было спокойным, равнодушным. Он подумал: «Когда закрыты глаза, она обыкновенная...» А Жаннет, точно угадав во сне его мысли, проснулась, поглядела. Он отвернулся. Она весело сказала:

— Доброе утро, Дессер!

Может быть, и она забыла про все? В окно донесся смех школьников:

— Если меня Бегемот вызовет — скандал...

— У меня — задача с бассейнами... А мы пошли в кино — «Поцелуй смерти»...

Потом загнусавило радио: «При третьем ударе будет ровно семь часов одна минута... Передаем утренние известия... Сегодня ночью германские войска вступили в Голландию и Бельгию...»

Жаннет вскрикнула, подбежала к окну. На улице стояла женщина с корзинкой, слушала радио: «Отряды парашютистов сброшены на территорию Голландии...» Женщина выронила корзинку, и на мостовую посыпалась крупная бледнорозовая земляника. Дессер повернулся к Жаннет:

— Я вам говорил, что это — начало...

Под окном, возле газетного киоска, толпились люди: рабочие, торговцы, женщины. Все обсуждали события.

— Как в четырнадцатом... Могут сюда притти...

— Они там завязнут. Допустим, что даже возьмут Голландию. А дальше что? Нам это только наруку.

— Писали, будто голландцы затопят все...

— Мало ли что пишут! За писания платят... А немцы могут спуститься на парашютах... Прямо на Марсово поле...

Дессер захлопнул окно.

— Сколько этих людей обманывали! (Он сел в кресло. Тяжело дышал. Болели плечо, рука.) Жаннет, поглядите на меня! Я ведь боюсь ваших глаз... Слушайте! Слушайте внимательно!.. Я тоже обманывал... Может быть, больше других... Хотел сохранить... А что сохранить?.. Тесса?.. Вот и расплата!.. Не знаю, что с нами будет... Придет Гитлер... Тогда — Франции конец... Пьер был прав... Он мне говорил: «Бросьте!..» Я мертвый... Но убили не меня, а Пьера... Жаннет, только чтобы вас не убили!.. Ну, прощайте!.. Видите, с чем совпал наш разрыв? Эффектно, как в театре... А на самом деле просто... И страшно...

Он говорил глухо, несвязно. Потом надел шляпу и, уже стоя в дверях, поцеловал руку Жаннет; резко нагнулся. И в поцелуе, в согнутой спине, в дрожи руки сказалась сила чувства, боль, отчаяние.

— Жаннет, я достану вам паспорт, визу. Уезжайте! Подальше, в Америку...

Она покачала головой: нет. Она слишком устала... Но сейчас ей невыносимо жалко всех: и голландцев, и людей, которые еще галдят под окном, и Дессера. Больше всего ей жалко Дессера. Думают — он все может. А он несчастнее ее — раб, кукла, тень. И впервые она обратилась к нему на «ты»:

— Не убивайся! Все кончится. Не знаю как, но кончится. Милый мой Дессер, прощай!..

16

Майор Леруа позеленел; тряслась челюсть; казалось, он сам с собой разговаривает. А Леридо пожал плечами.

— Не понимаю, при чем тут мосты?..

— Генерал Моке сказал... Я связался по проводу...

— Генерала Моке за такие разговоры следует отдать под суд. Противник в шестидесяти километрах от переправ. Я убежден, что это — диверсия, поскольку наши основные силы проникли в Бельгию со стороны Като — Вервена. Но возьмем самое худшее — удар направлен на нас. Чтобы дойти до Мааса, они должны положить месяц. И я беру хорошие темпы наступления. А наши контратаки?.. Седьмая армия подошла к Антверпену. Это что же, по-вашему, оборона или наступление? А при наступательном характере операции только неучи могут говорить о разрушении мостов. Вы меня понимаете, майор? И перестаньте шептать под нос!..

— Я...

— Вы?.. Сразу видно, что вы ту войну просидели в Париже. Первое правило — спокойствие. Война вступила в острую фазу, это естественно. Но мы должны работать, как прежде, в этом секрет победы. Я попрошу вас изложить мне содержание сегодняшних газет...

Леруа сделал над собой усилие:

— Ромье в «Фигаро» считает, что наступление противника удастся приостановить на линии Намюр — Антверпен... (Его челюсть снова затряслась.) Господин генерал, немцы не в шестидесяти километрах, а в сорока. Они заняли Марш.

— Можно подумать, что вы депутат, а не офицер. Во-первых, это — непроверенные данные... Во-вторых, если даже патрули противника достигли Марша, это ровно ничего не доказывает. Можете итти. И пришлите полковника.

Леридо развернул большую карту. Вошел Моро, как всегда, невозмутимый:

— Чудесный день. Я только что вернулся — был у танкистов. Здесь приятные места — рощи, пригорки.

Погруженный в свои мысли, Леридо ответил:

— Местность сильно пересеченная. Так что глупо поднимать панику. Вот посмотрите — я отметил синим карандашом линию фронта. Это совпадает с вашими данными?

Рядом с крохотным Леридо полковник казался великаном. Он поглядел на генерала благодушно, даже снисходительно:

— Фронта нет. Вы отчеркнули Марш — Либрамон. Но ведь это было утром. А теперь четыре часа пополудни.

— Вы хотите сказать, что они продолжают продвигаться?

— Они попросту едут вперед.

На минуту Леридо смутился, закрыл глаза. У него были мясистые синие веки. Но тотчас он оправился:

— Тем хуже для них. Мешок вытягивается, а по обе стороны — наши части. Нам остается прощупать, где у них слабое место. Я должен повидаться с генералом Пикаром. Хорошо, что вы со мной... Наш майор потерял голову. Да и Моке... А в положении нет ничего угрожающего. Ваше мнение, полковник?

— Вряд ли генерал Пикар захочет поставить на карту резервы. Вы ведь знаете, как он относится к этой войне...

— Да, но положение изменилось — теперь они наступают. Мы вынуждены действовать.

— Боюсь, что ничего не поможет. Они бросили не менее семисот танков. А защита слабая. К сорокасемимиллиметровым нет снарядов.

— Это деталь. Можно, наконец, применить полевые орудия... Я вижу, что и вы поддались общему психозу. Вспомните август четырнадцатого. Тогда было хуже... Я не забуду бегства — от Шарлеруа до Мо. Артиллеристы

бросали орудия, садились на коней. А две недели спустя мы гнали немцев до Эны. Фон Клюк не прикрыл правого фланга, и что же — он поплатился. А теперь они наступают узкой колонной. Это безумие! Их коммуникации под нашим ударом.

Он долго говорил о законах стратегии, о переменчивости военного счастья, о качествах французской пехоты. Полковник стоял у окна и глядел на отлогие холмы с шашечницами полей; рассеянно улыбался. Потом он ушел: нужно проверить расположение зениток. Леридо остался один, вытер платком потные виски, задумался. Моро — человек хладнокровный. Если и он раскис, это плохой признак... Надо признать, что противник продвигается неслыханно быстро. Или они сошли с ума, или они дьявольски сильны. Вместо планомерной военной операции какой-то хаос. Трудно разобраться!.. На линии Мажино было куда спокойней; там не могло приключиться таких сюрпризов. Разве это современная война?.. Это примитивная драка!

Перегруппировку произвели еще в начале апреля. Тогда сектор Седана был спокойным тылом. Солдаты радовались — курили контрабандный бельгийский табак. А Леридо скучал. Он был убежден, что немцы не войдут в Бельгию. «Зачем им повторять ошибки Вильгельма?» Внимательно следил за операциями в Норвегии; ругал англичан: «Негоцианты, а не солдаты, вот что!» По вечерам играл с полковником в шахматы или писал длинные письма Софи.

Все произошло неожиданно, как говорил Леридо,— «безграмотно». Наступление немцев представлялось генералу глупой выходкой. Он успокаивал всех: «Они лезут в капкан». Но сейчас его расстроил Моро. Может быть, положение серьезнее, чем он думает?.. Пренеприятная история с противотанковыми орудиями. А Рейно хочет выдвинуть де Голля... Это честолюбивый неуч. Естественно, что генерал Пикар возмущен... Да, Леридо попал в переделку! Нужно успокоиться... Он положил поверх карты бювар: решил написать Софи.

«Дорогая моя певунья!

Третий день от тебя нет писем. Я ужасно волнуюсь. Санже говорит, что в Париже гастрические заболевания.

Деточка, не ешь сырых фруктов и салата! Я здоров и бодр, хотя последние дни были очень утомительными. Ты, наверное, знаешь из газет, что противник начал операции крупного масштаба. Безусловно, он скоро выдохнется. Погода стоит хорошая, и я каждый день гуляю два часа. Вчера к нам приезжал адъютант генерала Пикара, майор де Грав, молодой человек с большими музыкальными способностями. Он играл нам Грига. Я его поздравил, но про себя подумал — далеко ему до моей Софи! Как я скучаю по тебе, мое сокровище! Мечтаю о дне, когда увижу твои милые ручки, которые, как чайки, носятся по клавишам. Стендаль был прав, говоря, что настоящая любовь...»

Леридо вздрогнул от грохота, посадил кляксу и рассердился. Не стучась, вошел Моро:

— Придется спуститься.

В погребе было прохладно. Таинственно посвечивали пыльные бутылки на полках. Пахло вином. Офицеры зевали, потягивались. Моро сел на бочку, улыбался. Генералу принесли табурет. Леридо дулся: опять не дали кончить письмо...

Майор Леруа лепетал:

— Сюда метят...

Моро кивнул головой:

— У них прекрасная разведка. Стоит нам обосноваться, как сразу поздравляют с новосельем... Придется утром переехать. Я плохо сплю на новом месте.

— Ничего не поделаешь,— ответил генерал.— Это война. Не маневры... Но надо сказать — люди одичали. В ту войну никто не трогал штабов. Должно быть взаимное уважение... А теперь они нас ищут, как батарею... Далеко мы ушли от рыцарского духа! Они ничем не гнушаются. Вы помните, полковник, «Помпея»? Это шедевр. Особенно сцена, когда Корнелия, оплакивая Помпея, узнает о заговоре. Она говорит Цезарю: «Ты — враг. Мою ты омрачаешь землю. И вот рабы замыслили тебя сразить. Но помощи рабов я не приемлю...» Вот это характер! А благородство стиха!..

Не обращая внимания на грохот, Леридо декламировал Корнеля. Потом замолк — устал, едва сдерживая зевоту. Майор хотел прикурить; рука с папиросой под-

прыгивала. А Санже насвистывал: «Все прекрасно, госпожа маркиза».

— Замолчите вы! — крикнул майор.

— Простите. Это от обстановки — бутылки, бочки, стихи... Можно представить себе, что мы в кабаре на Монмартре.

Когда бомбардировка кончилась, Леридо хотел дописать письмо. Но снова помешали — пришел Моро:

— Представление продолжается — немецкие танки в Пализеле.

Леридо поглядел на карту и стал шагать из угла в угол. Он волновался, но не хотел показать Моро, что ошибся.

— Я вам говорил, полковник, это сумасшедшие! Они даже не пытаются расширить мешок. (Он помолчал.) Так или иначе, я считаю необходимым взорвать мосты между Монтерме и Нузоном. У вас есть связь с Моке?

— Утром была... Но я думаю, что они уехали из Нузона.

— Тогда отправьте капитана Санже. Одновременно предупредите ставку: если саперы опоздают, выполнят с воздуха...

Наконец-то он дописал письмо: «Положение несколько усложнилось. Но я не теряю надежды увидеть тебя еще в мае. При таком расходе людей и горючего они должны будут скоро остановить операцию. Береги себя!»

Санже налил в кофейную чашку коньяку, выпил и простился с Леруа:

— Экскурсия из невеселых...

А час спустя майор узнал, что Санже и шофера застрелили на дороге; они едва успели отъехать от дома. Прибежали крестьяне:

— Это немцы!..

— Вздор! Я сейчас поеду, проверим...

Кто напал на Санже, осталось невыясненным. Леридо, увидав два трупа в машине, отдал честь; был спокоен. Полковник Моро спросил:

— Прикажете мне поехать?

— Нет.

Все ждали, кого пошлет Леридо. Но он сел в машину и сказал:

— Никто не поедет. В конечном счете генерал Моке не ребенок, он сам знает, что делать. А мосты уничтожат с воздуха. Садитесь, полковник.

— К нам?

— Нет, в Ретель. Мы не имеем права рисковать собой, это азбука. (Он вспомнил оскал мертвого Санже и облизал губы.) У нас отвратительный тыл, вот что!

Они ехали медленно: дорога была забита — танки, тягачи, лошади. Все это двигалось навстречу. И Леридо несколько успокоился:

— Наконец-то они поняли, что без подкрепления нельзя ликвидировать прорыв!

Возле Шарлевиля машину остановили солдаты; что-то выкрикивали. Увидав генерала, притихли. Леридо спросил:

— Что случилось?

Кто-то позади нерешительно ответил:

— Немцы...

И сразу все завопили:

— Десант... Убили начальника станции...

— Парашютисты!..

— Двух офицеров застрелили!..

Леридо привстал, гаркнул:

— Тише! Куда направляетесь?

Солдаты молчали. Моро усмехнулся:

— Дело ясное — дезертиры.

Тогда с земли раздался крик, похожий на лай:

— Что, генерал, удираешь?

Леридо не потерял самообладания:

— Молчать!

Он поглядел на обидчика и увидел, что солдат ранен — земля кругом была в крови. Леридо распорядился:

— Меже, мы его довезем до перевязочного пункта.

Раненого посадили рядом с шофером; он молчал; глаза были закрыты.

Напрасно Меже гудел; густой толпой шли беженцы. Многие гнали скот. Приходилось пробиваться сквозь стада. Крестьянские телеги плелись в два ряда. Леридо начал нервничать:

— Так мы никогда не выберемся. Это паника, вот что!

Меже остановил машину, прислушался. Генерал вы-

глянул в окошко — бомбардировщики... Беженцы и солдаты рассыпались по полю, спрятались в рощице. Ехать дальше было невозможно: телеги, коровы. Отошли в сторону; полковник лег; его примеру последовал Меже. Леридо счел это унизительным; стоя, он глядел на небо, маленький, но величественный. Девять самолетов...

— Летают они аккуратно...

Одна из бомб упала на рощу. Когда они садились в машину, генерал увидал на носилках девочку лет шестисеми: осколок бомбы оторвал ноги. Леридо высморкался и тихо сказал полковнику:

— Какой ужас!

Потом он обратился к раненому солдату:

— Ну, как поживает наш герой?

Солдат молчал. А вскоре после этого Меже спросил:

— Разрешите выкинуть? Наваливается, мешает...

— Да вы с ума сошли! Выкинуть раненого?

— Он кончился... Холодный.

Труп солдата качался, и сзади казалось, что человек засыпает.

Они остановились перед железнодорожной станцией: Меже хотел набрать воды. На платформе валялись снаряды. Леридо вышел, проверил:

— Для сорокасемимиллиметровых. А вы говорили, что их нет... Вот вам! Но почему они здесь?.. Неслыханный беспорядок!

Обошли всю станцию, но никого не встретили. В комнате телеграфиста на полу сидел босой солдат; что-то жевал. Увидав генерала, он перепугался, стал обуваться. Леридо спросил:

— Какого полка?

— Сто семьдесят третьего. Ногу натер, отстал.

— Где винтовка?

Солдат не ответил.

— Где начальник станции?

— Все разбежались. Говорят, что немцы рядом... На мотоциклах... Страшно!..

Он хныкал, как ребенок. Леридо брезгливо поморщился.

Набрали воды; поехали дальше. Генерал молчал. А когда они подъезжали к Ретелю, он вдруг сказал Моро:

— Война проиграна, вот что! Не знаю, что придумают депутаты. Это авантюристы и неучи, во главе с Рейно. А мы теперь можем умыть руки: мы сделали все, что могли. Как говорили римляне, пускай другие сделают лучше.

17

Деревушка, где стоял батальон, была за тридевять земель от беспокойного мира. Крестьяне жгли можжевельник, коптили окорока. Мудро, как древние боги, глядели на грузовик тучные коровы. Зеленели люцерна и клевер; цвели лиловые крокусы.

Когда приносили газеты, солдаты накидывались на последнюю страницу; их не занимали ни потопленные тонны, ни бои за Тронгейм; они жадно перечитывали хронику происшествий, объявления. Где-то остались театры, кафе с людными террасами, женщины, много веселых, нарядных женщин.

Андре не тосковал о Париже. Сын нормандского крестьянина, он как будто нашел себя в этой медленной, тягучей жизни. Если и вспоминал прошлое, это были смутные, призрачные образы: улыбка Жаннет или ненаписанные холсты — пепел домов, сизая Сена.

Солдаты обжились, подружились с крестьянами. Живер писал стихи зеленоглазой девчонке; сравнивал ее с Горгоной. Лорье раздобыл флейту; играл на свадьбах. Нивелль в деревенском кафе, как человек сведущий, доказывал хозяину, что вермут «крюсификс» куда выгоднее «сензано». Ив говорил: «Земля здесь хорошая...» Открывал рот, удивлялся — земля оказалась хорошей повсюду. Андре был общим любимцем. С той же неловкой улыбкой он отдавал Иву последнюю щепотку табаку и рисовал Живера — «для невесты».

Ротный командир лейтенант Фрессине в мирное время был фотографом: снимал молодоженов, новорожденных, провинциальных львиц. Это был добряк, ворчливый и чересчур чувствительный. Он рассказывал солдатам о Вердене: «Люди были другие — глупее, но порядочнее...» Солдаты вежливо улыбались: они не верили в героизм, не хотели славы, не связывали своей судьбы

с непонятной чужой войной. И Фрессине по ночам думал: «Разве это армия? Разобьют нас в прах. А Даладье ничего не видит...»

Колосилась пшеница. Молодые телята стали рассудительней; в их глазах проступала ранняя меланхолия. Начались жаркие дни. В кафе солдаты теперь заказывали не грог, но пиво; заводили патефон; пластинок было мало, и сиплый тенор неизменно стонал: «Да, да, да, это не кончится никогда...» Все подпевали. Ив думал о своем белом домике в Бретани, а чудак Андре, глядя на звездное небо, вспоминал туманности Гершеля.

И вот пришла война, пришла сразу, застала всех врасплох — и штабы, и сердца. Прошлой осенью солдаты были более подготовлены к бою, к смерти. Их разморило долгое прозябание. И когда прибежал Лорье с криком: «Началось!», никто не поверил. Ив выругался, перетасовал колоду. Нивелль сказал: «Ерунда! А вот сдал ты мне чорт знает что...»

Прошло четыре дня. По радио передавали: французские войска дошли до Голландии; Рузвельт возмущен немецкой агрессией; бельгийский король (его называли «король-рыцарь») поздравил доблестных защитников Льежа. А на пятый день, с раннего утра, заметались автомобили, мотоциклы. Покой зеленого утра разодрала глухая канонада. Фрессине мрачно сказал: «Вот вам и Голландия!..»

В полдень прилетели немецкие бомбардировщики; разрушили церковь, восемь домов. Убили женщину. На узкой проселочной дороге показались беженцы; кричали: «Убивают!» Жители деревни не испугались бомбардировки; но, увидев беженцев, обезумели; женщины плакали; стали грузить пожитки на скрипучие возы; кололи свиней; выгоняли коров. Один крестьянин поджег дом. Солдаты едва справились с пожаром. Напрасно Фрессине уговаривал: «Куда идете?.. Вас на дороге убьют...» Его не слушали; глядели мутными, непонимающими глазами. К вечеру в деревне никого не осталось. Андре зашел в дом — еще теплая печь, котелок с мясом...

Среди беженцев шли солдаты; многие без винтовок. Уверяли, будто немцы в пяти километрах.

— Танки!..

— Отчего наши не стреляют?

— Стреляют... Только их наши снаряды не берут... Танки — вот какие!..

Показывали — танки с холм. Нивелль сказал товарищам:

— Что — снимаемся?..

Ив злобно сплюнул:

— Хочешь итти, иди.

Нивелль вскипел:

— Ты что, меня за труса считаешь? Я думал — все идут. А надо оставаться, и я останусь.

Андре удивленно посмотрел на Ива: кто бы подумал?.. «Земля здесь хорошая...» И Андре почувствовал свою связь с этой землей, с опустевшей деревней. Еще час тому назад война была для него чужим делом, флажками на карте, политикой Тесса. И вот он — в самой войне, не смотрит, не рассуждает — лежит на верхушке голого холма и ждет. Отдать вот эти поля, дорогу, обсаженную тополями, домик под холмом? Нет! Все мысли пропали; осталось чувство, горячее и темное — не уйду! И рядом Живер — щуплый мальчишка с хроническим ларингитом, поэт — ну да, он стихи пишет о Горгоне; Живер, как Ив, повторяет: «Нельзя уйти...» А Лорье, милый весельчак Лорье пробует шутить: «Ив, закрой рот! Танки испугаются, подумают — яма...» Ив стоит, стоит, приоткрыв свой большущий рот.

Лейтенант Фрессине угрюмо говорит:

— В Домоне было хуже. Но люди были другие...

Андре спрашивает:

— Это вы о нас?

Фрессине показывает рукой — нет, но Париж...

Наступила ночь. В других деревнях она была обыкновенной; лаяли собаки, храпели в альковах старики; просыпаясь, кричали грудные дети. А здесь не осталось ни собак, ни детей, ни стариков — деревня вымерла. На сухой земле молча лежали солдаты. Ночь была короткой: к четырем рассвело; и вместе с первыми лучами солнца показались самолеты. Батальон потерял сто девять человек.

Внизу снова солдаты — бегут...

— Снарядов нет...

— С четверга не подвозили... Говорят, нет бензина...

— О чем они раньше думали?..

— Продали нас за четыре су...

Нивелль вздыхает: ему хочется уйти; но один не пойдешь, а другие отмахиваются — «Уходи!..» Чтобы успокоиться, он считает: большие потери — это две трети состава. Значит, из ста — шестьдесят шесть, скажем, шестьдесят семь. На трех раненых один убитый. Значит, на сто — семнадцать убитых. Можно уцелеть...

Немецкие танки прошли мимо кирпичного завода к станции; холм обошли. Теперь стрельба доносилась отовсюду. Почему они уцепились за эту высоту?.. Справа немцы, спереди немцы, сзади немцы. Слева?.. Чорт их знает, кто слева!.. Должны быть наши: третий батальон. Но и слева бегут... Уйти? Нет, этот холм теперь дороже всего, он не чужой, не «позиция», как пишут газеты; он все, что осталось от жизни. Андре кажется, что ничего и не было позади — родился и лег сюда, к пулемету. Да и все это чувствуют. Живер что-то бормочет под нос, не стихи — ругань, все в нем кипит.

Снова бомбардировщики. Убили Нивелля. Нет больше славного официанта! Никто теперь не напомнит о горько-сладких аперитивах. Никто не скажет: «А сколько, по-твоему, звезд? Я читал, что окрещенных восемнадцать тысяч. Помножь на сто...»

Опустилась еще одна ночь, подаренная судьбой, с окрещенными и неокрещенными звездами. Солдаты грызли сухари, томились; как милости, ждали рассвета, боя, смерти.

И в половине пятого Фрессине крикнул:

— Пулеметы к бою!

Лорье заметил, как легкий серебряный туман позади дороги дрогнул, зашевелился.

— Пулемет первый, поле, девятьсот!..

— Огонь!

Немцы не ожидали сопротивления: думали, что солдаты давно разбежались. Андре почувствовал непонятное веселье; оно, как вино, ударило в голову. Рядом Ив ревел:

— Закувыркались?..

Немцы залегли в ложбинке у самой дороги. Двадцать минут спустя по высоте открыли артиллерийский огонь. Сначала были перелеты.

— В деревню... Боши по своим стреляют...

Потом снаряды начали падать на холм. Взлетала земля. В промежутках между разрывами кричали люди; крик был отчаянным, неправдоподобным. Солнце било в глаза. И одна мысль оставалась: не уйти, зацепиться, врасти в эту зыбкую, летучую землю, взлететь с ней, но не уйти.

И вот тишина. Кажется, никого не осталось. Андре, удивленный, видит — Живер щурится... Значит, жив. Смеется Лорье. И Лорье жив. Кричит в траве глупая птица. А Фрессине курит. Где Ив? Наверно, Ива убили. Все это быстро проносится в голове. И ни жалости, ни страха. Сейчас меня убьют... Все равно!.. Не подпустить! И никого Андре так не любил, как свой пулемет...

— Шестьсот пятьдесят!..

Опять самолеты; они падают сверху, как камни.

Андре почувствовал резкую боль выше колена. Хотел поглядеть, что случилось, долго тер глаза — засыпало. А взглянув, увидел лицо Лорье — кровь... Все равно! Не подпустить!..

Его оттащили в сторону.

— На место Корно — Живер!

Андре лежал, уткнув лицо в колючую траву. Немцы снова пошли в атаку.

В полусне Андре слушал пулемет; его подробный, обстоятельный рассказ успокаивал. Вдруг пулемет замолк. Раздался крик маленького Живера:

— Верблюды!.. Диск скошен!..

Андре ползет через силу; хочет сказать, объяснить, но язык не слушается. Он поднимает руку и с размаху ударяет широкой ладонью по диску.

— Вот!..

И голова снова падает на землю.

Очнулся Андре ночью. Солома... Сначала ему показалось, что он заснул в поле. Почему так рано косят?.. Это он спрашивает отца... Потом вспомнил: ранен. Рядом лежит Лорье; лица его не видит; но голос Лорье.

— Ты?

— Я...

Андре морщится от боли; ему хочется говорить — много, безумолку.

— Лорье, ты меня слышишь? Пулемет выручил. А помнишь, как у Тесса из носа текло? Он землю покупал. Боюсь, что Ива убили. «Земля здесь хорошая...» Смешно!.. «Да, да, да, это не кончится»...

Лорье тихо отвечает:

— Никогда.

Паровоз свистит, свистит, не может двинуться с места. Кто-то пришел.

— Ив! Я думал, тебя убили.

— Меня? (Ив возмущен.) Дудки!.. Ты не разговаривай — сестра сказала: «Ему нельзя разговаривать». Не хотела пускать...

— Глупости! Скажи, Ив, удержались?

— Удержались. А деревню наши танки отбили. Четыре танка. В семь часов... Потом приехали из штаба на мотоцикле — приказ: «Очистить».

— Что ты несешь?

— Генерала Пикара приказ. Фрессине, как прочитал, выхватил револьвер и бац — в голову. Честное слово! Хороший был человек, только нервный. Я за него свечку поставлю. И за Нивелля. Жалко мне, что холм отдали...

И Андре жалко — дорога с тополями, домик, колючая трава... «Земля здесь хорошая...» Земля... Жаннет...

— Ив, не уходи! Нельзя уходить! Ты слышишь меня — нельзя!..

18

Газеты писали, что немцы топчутся на месте. Но солдаты разбитой Девятой армии показались в восточных предместьях Парижа. Монтиньи отправил семью в Биариц. Роскошные машины — «кадильяки», «испаносуизы», «бюики» — покидали город. В Булонском лесу начали рыть окопы. Говорили о таинственных парашютистах, о пятой колонне. Бретейль заявил, что пятая колонна — это иностранцы, политические эмигранты. По его настоянию полиция арестовала несколько тысяч немецких евреев, рабочих, убежавших из фашистской Италии, испанских республиканцев. Полицейским роздали винтовки. Они стояли, гордые своим оружием, на перекрестках улиц

и регулировали движение. Жизнь большого города продолжалась: были переполнены кафе. Бойко торговали магазины, на аукционах продавали автографы Марии-Антуанетты и мебель Директории: ателье мод уже готовились к зимнему сезону. Особенно оживлены были окрестности биржи: вопреки всему, ценности поднялись на несколько пунктов. Исчезли автобусы; их реквизировали для переброски войск. Это успокоило парижан: вспомнили канун Марны — тогда генерал Гальени реквизировал такси и разбил немцев...

Утром шестнадцатого мая секретарь доложил Тесса, что немецкие танки подошли к Лану; многозначительно добавил:

— За пять дней они прошли сто сорок километров. А от Лана до Парижа сто тридцать...

Тесса возмутился:

— Как вы смеете распространять панические слухи? Да я не остановлюсь перед крутыми мерами!

А когда секретарь вышел, Тесса позвонил Рейно:

— Послушай, насчет немцев, я надеюсь, это вздор?..

— Они возле Лана.

— Говоря другими словами, ты считаешь, что они идут на Париж?

— Это не вызывает никаких сомнений.

— В таком случае они будут здесь, самое позднее, через четыре дня — они делают тридцать километров в день, я сосчитал.

— Гамелен говорит, что сегодня вечером они могут быть в предместьях Парижа. Я приказал сжечь архивы. Нужно быть готовым к отъезду. Я позвоню тебе через час...

Тесса позвал секретаря:

— Я погорячился... Но вы сами понимаете, такие известия, что легко потерять голову... Впрочем, лично я спокоен. Нужно принять экстренные меры. Во-первых, уничтожьте архивы. Во-вторых, составьте список служащих, подлежащих эвакуации. И скажите шоферу, чтобы он проверил машину. Пускай не отлучается ни на минуту. Я, может быть, уеду после завтрака...

Он вспомнил про Полет. Вывезти ее невозможно. Толпа возбуждена. А Полет знают все... Могут быть

эксцессы... Скандалом воспользуются социалисты... Но как ей объяснить? Она не от мира сего... Будет плакать... По телефону куда проще...

— Детка, ты должна сейчас же уехать... Я не могу тебе сказать... Новости ужасные... Вечером они будут здесь, это безусловно... Но публика еще не знает, и ты не говори — зачем вызывать панику?.. Поезжай на Лионский вокзал и с первым поездом... Я?.. Я не могу. Я останусь на посту до конца. Нас не спрашивают... Мы обязаны быть героями... Прощай, моя крошка!..

Тесса положил трубку и вдруг, уронив голову на стол, заплакал. Какое горе! Подумать, что неделю тому назад все было спокойно!.. Обсуждали операции в Норвегии. Он думал уехать с Полет в Пре-де-Дэн. Сто сорок километров за пять дней! Это чудовищно! Очевидно, солдаты попросту разбегаются. Может быть, они и не виноваты. Кому охота зря умирать?.. Бедная Франция!..

Тесса вздрогнул, поспешно поглядел на часы. Почему Рейно не звонит? Убегут, а про Тесса забудут...

— Скажите Бернару, чтобы он приготовил машину, и пусть возьмет баки с бензином — кто знает, что теперь делается на дорогах.

— Господин Дессер просит принять его по срочному делу.

— Дессер?.. Чудак! Какие теперь могут быть дела?.. Хорошо, проведите его сюда.

Они молча поздоровались; старались не глядеть друг на друга. У Тесса были красные глаза. А Дессер выглядел стариком; под седыми лохматыми бровями едва значились мутные зрачки. Он разгладил перчатки, вынул портсигар, но не закурил; придвинул и отодвинул пресс-папье. Тесса угнетало молчание.

— Что скажешь, Жюль?

Дессер глядел в одну точку. Он и сам не знал, зачем пришел к Тесса. Он метался, как маньяк, по штабам, по министерствам; был у Рейно, у Манделя, у генерала Жоржа; уговаривал, грозил, доказывал. Его вежливо выпроваживали. Наконец он заговорил:

— Завтра они могут занять Париж. Остались считанные минуты. Уйдите! Или скажите, что вы будете сопротивляться, но честно, всерьез. Повсюду шпионы. Нужно

арестовывать, расстреливать. И не рабочих — Лаваля, Гранделя, Бретейля, Пикара.

— Ты понимаешь, что ты говоришь? Конечно, мы старые друзья. Но я занимаю ответственный пост, я — министр, а ты мне предлагаешь государственный переворот!

— Я тебе предлагаю уйти. Или воевать. Париж можно защищать — улицу за улицей...

— Покорно благодарю! Чтобы господа рабочие устроили Коммуну? Нет, я предпочитаю сохранить честь.

— Но Франция...

— Франция оправилась после семьдесят первого, она оправится и теперь.

— Тогда держался Бельфор, сражались на Луаре, Гамбетта поднял ополчение, Париж выдержал осаду, были партизаны. А теперь стоит им показаться, как все разбегаются.

— И ты предлагаешь?..

— Сопротивляться. Если нельзя удержать Париж — на Луаре. Если они прорвутся дальше, уйти в Алжир. Я готов все отдать, не только деньги — жизнь. И таких, как я, много... Пойми, вам никто больше не верит.

Тесса обиделся:

— Мы не нуждаемся в твоем доверии. Нас поддерживает парламент, то есть страна. Завтра ты скажешь, что мы должны уехать на Мадагаскар...

Дессер как будто проснулся — до чего он дошел: пытается усовестить Тесса! Он переменил тон:

— Поль, подумай о себе! Если они победят, парламента не будет. Они посадят гаулейтера — Бретейля или Лаваля. Ты достаточно скомпрометирован. Что ты будешь делать?

— Как-нибудь проживу. Бретейль все-таки лучше Коммуны. Ты плохой советчик. Я не суеверный, тринадцать для меня счастливое число. А вот четырнадцатого умерла Амали... Но у каждого свои приметы. Я заметил, что ты приносишь несчастье. Как англичане... Ты поддерживал Бретейля — родился Народный фронт. Ты начал дружить с Виаром — Виара свалили. Если ты советуешь сопротивляться, значит нужно капитулировать.

Дессер встал, прошел к двери. Тессе стало жаль его.

— Жюль, почему ты не уезжаешь в Америку? Денег

у тебя много. А в Америке рай. Я не могу, я связан. Кстати, это ты меня подбил... Погоди, теперь не время ссориться! Послушай меня — уезжай.

Дессер выпрямился; его глаза оживились; он усмехнулся.

— Уехать?.. Я, конечно, дрянной француз. Я не удивлюсь, если меня оскорбит первый встречный. Но все-таки я — француз, чорт побери!..

Тесса пожал плечами и прикрыл за гостем дверь. Он сразу забыл о разговоре. Составил список — все, что нужно взять с собой: карту генерального штаба, почтовые бланки, последний выпуск «Ревю де дё Монд», лекарство «гематополь», бутылку старого арманьяка, путеводитель... Он собрался было в дорогу, когда позвонил Рейно.

— Положение в районе Лана улучшилось. Основной удар направлен на Первую армию — сектор Сен-Кентен—Перрон. Они, видимо, хотят прорваться к побережью. Сегодня я выступлю в палате...

Тесса просиял. Самодовольно улыбаясь, он сказал секретарю:

— Я вам говорил, что нельзя поддаваться панике. В моем возрасте мне приходится учить вас храбрости, а храбрость — добродетель молодости.

Позвонил Полет, но опоздал — Полет уехала. Тогда Тесса вызвал Жолио. Толстяк прибежал сам не свой; сразу все выложил:

— В городе паника. Монтиньи удрал. У меня в кассе сто франков. Все газеты уезжают. А куда мне ехать? В Марсель? Но я слушал Рим... По-моему, они завтра выступят.

— С деньгами устоим... Не понимаю, почему вы волнуетесь? Положение давно не было таким устойчивым. Вы думаете, что немцы идут на Париж? Ничего подобного! Они идут на Лондон.

И Тесса засмеялся от удовольствия. Жолио попробовал возразить:

— Они-то хорошо знают, что у нас делается. Но кто может знать их планы?..

Однако, когда Тесса подтвердил, что выдаст из секретных фондов триста тысяч, Жолио утешился. В редак-

ции он продиктовал передовую: «Маневр противника обозначился. Немцы хотят захватить Великобританию, которая является слабым местом союзного фронта. Мы уверены, что наши друзья по ту сторону Ламанша не будут захвачены врасплох». Приехав домой, Жолио крикнул:

— Мари, можешь распаковывать чемоданы. Они повернули на Лондон. Тесса дал мне триста тысяч. Представляю, что сейчас делается в Англии!.. А нам подарили месяц, и то хорошо..

Прочитав статью Жолио, парижане облегченно вздохнули. Газеты сообщали о двух мероприятиях правительства: в соборе Нотр-Дам завтра будет торжественный молебен, на котором должен присутствовать Рейно; министрам внутренних дел и юстиции предложено очистить Париж от остатков коммунистических организаций. Восемь рабочих приговорены к пяти годам тюремного заключения — у них нашли «Юманите». Немецкие войска в Бельгии несут тяжелые потери; многие части отказываются итти в бой. Биржевой день прошел оживленно.

Рейно говорил в палате о выдержке, мужестве. Когда он кончил, Тесса его поздравил:

— Ты сегодня в форме... Хорошо, что правительство не уехало утром... Когда ты мне сказал, что немцы пошли на Лондон...

— На Лондон? — Рейно удивленно поморщил лоб.— Я тебе сказал, что они хотят прорваться к побережью. Они идут на Амьен, чтобы окружить армию. Понимаешь?..

Тесса кивнул головой, но не поверил. Пять минут спустя он шептал Бретейлю:

— Рейно волнуется за своих хозяев. Что ты хочешь — это английский грум!.. Но теперь он доживает последние дни. Если немцы дойдут до Амьена, Рейно слетит. И чем раньше это будет, тем лучше для Франции.

19

Слышимость была плохая. Старческий, надтреснутый голос едва доходил до генерала. Де Виссе кричал: «Не слышу!» Гул заглушал слова. Вдруг стало тихо, и голос Пикара прозвучал, как в соседней комнате: «Противник

нажимает на Лан. Это ставит под угрозу столицу». Де Виссе вышел из себя: «Бред! Перед Ланом — демонстрация. Удар направлен в сторону Амьена. Положение здесь можно восстановить, если дадите подкрепления. Пришлите танковую бригаду де Голля... Вы меня слышите?..» Снова раздалось гуденье. Женский голос, усталый и несчастный, без конца повторял: «Париж... Париж...» Наконец де Виссе услышал: «Танковая бригада... послана... не будет...»

В комнате было нестерпимо жарко. Нагретая трубка телефона воняла. Де Виссе расстегнул воротник; выпил стакан теплой воды. По небритым щекам струились ручьи пота. Красные глаза вылезли из орбит — три ночи, как он не ложился.

Вошел начальник штаба:

— Генерал Горт только что передал — они начнут наступление в шесть утра.

— Вы связались с Одиннадцатой дивизией?

— Генерал Виньо потерял голову. Он мне заявил, что дивизия фактически выведена из строя, причем они должны отбиваться на левом фланге.

— Танки?

— Пехота. На автомашинах.

— Да... (Генерал покраснел, выпил еще стакан воды.) Каша!.. Но мы все-таки должны поддержать англичан. Хотя генерал Горт мог бы посоветоваться со мной, прежде чем принять решение. Где теперь штаб Одиннадцатой дивизии?

— В Гранже.

— Сколько отсюда?

— Семнадцать километров. Не знаю, доедете ли; трудно в точности установить, где противник; слоеный пирог: мы, они, мы, они...

Дорога была забита. Танк застрял. Мальчишки гнали коз. Валялись поломанные машины. Беженцы, по большей части бельгийцы, с ужасом глядели на развалины домов.

Постояли полчаса: спустилась покрышка, а запасной не было. К генералу подошла старая крестьянка; ее темнокоричневое, морщинистое лицо походило на землю; она плакала и фартуком вытирала глаза.

— Почему солдаты уходят?.. Бросают нас..

Де Виссе ответил:

— Успокойтесь! Я старый человек и старый солдат, я не умею лгать... Мы отсюда не уйдем... И вы не уходите...

Возле Гранже генерал крикнул шоферу: «Стой!»

— Господин префект, куда направляетесь?

Высокий, элегантно одетый человек с красной розеткой в петлице смутился; он вышел из автомобиля; уронил перчатку. В машине сидела молодая женщина, окруженная баулами и картонками: префект удирал, стремясь опередить беженцев.

— Я...

Де Виссе зарычал:

— Я сейчас скажу вам, кто вы. Вы — трус!

Префект поднял с земли перчатку и, стараясь казаться спокойным, даже равнодушным, ответил:

— Я выполняю приказания министра внутренних дел. Что касается нанесенного оскорбления, принимая во внимание ваше славное прошлое...

Он не закончил — де Виссе ударил его по щеке. Дама завопила:

— Гастон!.. (И повернувшись к генералу:) Мясник!

Де Виссе сразу забыл о неприятной встрече: взвешивал шансы завтрашней операции. Немцам легче — единое командование... Почему генерал Горт не запросил его?.. Говорят, что и бельгийцы действуют самостоятельно. Анархия!.. Но выбирать не приходится... Англичане отвлекут, по меньшей мере, восемь дивизий... Только бы не подвела авиация...

Он объяснил генералу Виньо план атаки; тот молчал. Де Виссе решил его подбодрить:

— Главное, не обращайте внимания на Париж: наделали в штаны. Они думали, что война — это дебаты, три речи Гитлера, шесть — Даладье. Все, что они делали — сплошная глупость. «Поход» в Голландию... Немцы великолепно знали, что наше слабое место — Девятая армия... А Леридо? Ведь это свадебный генерал!.. Но сейчас намечается перелом. Английская авиация превосходно работает. Пленные подтверждают, что потери у них серьезные. В районе Арраса их танки оторвались от пехоты. Я надеюсь, что нам подкинут бригаду де Голля. Многое

зависит от исхода завтрашней операции. Если вам удастся дойти до Камбре...

Виньо его прервал. Это был красивый старик с розовым девическим цветом лица и безупречно белыми усами.

— Я говорил генералу Рамилье, что без пополнения моя дивизия неспособна даже к обороне. Три дня мы не видели наших самолетов. Вы говорите — их танки оторвались... Что из того? Наши орудия не пробивают брони. Вы это знаете, как и я. Вчера мы потеряли три тысячи двести человек. Солдаты деморализованы. Командиры не выполняют приказаний. Когда видишь, с какой быстротой они продвигаются...

Де Виссе ударил кулаком по столу: полетела на пол пепельница.

— Мы с вами не на заседании! Что это за разговоры?.. «Продвигаются»... Конечно, поскольку они не встречают отпора. И вы мне говорите, что офицеры не выполняют приказаний! Ясно! Кто им подает пример? Вы. Я вам говорю о плане атаки, а вы хнычете. Я вас отдам под суд. Стыдно — с такой биографией ведете себя, как мальчишка.

Де Виссе повторил еще раз задания Одиннадцатой дивизии и ушел. Генерал Виньо сказал своему адъютанту:

— Наступать мы не можем. А кого будут судить, это мы еще посмотрим...

Штаб Одиннадцатой дивизии помещался в большой ферме. Хозяева уехали. По двору бродили куры, озабоченно выискивая завалявшиеся зерна. А среди кур стоял молоденький лейтенант в очках; он был напудрен дорожной пылью. Увидав генерала де Виссе, он взял под козырек и очень быстро заговорил:

— Господин генерал, прикажите перейти в наступление. Иначе солдаты разбегутся... Господин генерал!..

Де Виссе кивнул головой и отвернулся: слова лейтенанта его взволновали.

— В Сорок вторую дивизию.

Повернули к Перрону. Генерал включил радио. Париж передавал фокстроты. Де Виссе повертел стрелкой. Французская передача из Штуттгарта: «Остатки голландской

армии, еще оказывавшие сопротивление, вчера капитулировали. Наши части заняли город Сен-Кентен и продвигаются на широком фронте между Лиллем и Перроном. С начала наступления мы захватили сто десять тысяч пленных, не считая голландцев, и большое количество снаряжения. По сообщениям швейцарских журналистов, в Париже царит паника. Многие министры уже покинули столицу. Граф Чиано в большой речи, посвященной годовщине пакта, заявил: «Италия не может дольше оставаться в стороне...»

Де Виссе задумался. Может быть, завтра они будут в Перроне. Дело идет к развязке. Чем Вейган лучше Гамелена? Люди разные, но установка у них та же — цепляются за прошлое, не хотят понять, что времена другие... А заправляют бездарные фигляры. Он вспомнил разговор с Тесса — «Военные должны стушеваться»... Немцы могли уже взять Париж... Они хотят уничтожить живую силу. Даст ли что-нибудь завтрашняя операция? Кругом трусы вроде Виньо. А сколько среди них предателей?..

Он повернул стрелку на «Париж». Диктор приподнятым голосом сообщал: «Сегодня Черчилль заявил: «Руководители Франции дали мне торжественное заверение — что бы ни случилось, французы будут сражаться до конца». Де Виссе усмехнулся — кто это ему обещал?.. Может быть, Тесса? Ну да, сказал с пафосом: «Будем сражаться до конца», а сам убежал со своей дамочкой. Как этот префект... Одно правда: армия должна сражаться до конца. А они не хотят сражаться... О чем мечтают Пикар или Виньо? О капитуляции. Нужно подать пример, умереть на посту... Пусть внуки узнают, что в этот окаянный год были настоящие французы. Де Виссе вспомнил лейтенанта в очках: что-то подступило к горлу. Для себя де Виссе хотел одного — достойной смерти. Машинально повторил слова молитвы, как повторял их ребенком перед трудными экзаменами. Он не заметил, как они въехали в Перрон. Адъютант сказал:

— Странная история — они помещались в школе...

Спросить было некого — городок будто вымер. Наверно, боятся бомбардировок... Вывалившиеся внутрен-

ности дома мешали проехать дальше. Генерал вышел; осмотрелся. Из ворот выглянула старуха.

— Бабушка, вы не знаете, где здесь живут военные?

Женщина показала на мэрию и заплакала. Де Виссе прошел по пустым комнатам. На полу валялись бумаги, шлемы, подсумки. Он послал адъютанта на розыски, а сам решил подождать; сел на большой стол, покрытый черной клеенкой. Рассеянно поглядел: чье-то метрическое свидетельство. Снова задумался; увидал свой домик в Валянсе. Внучка, его любимица, играет с котенком... Больше он их не увидит... Осталось одно — достойно умереть...

Он с трудом открыл глаза — засыпал от усталости. Перед ним стояли немцы: офицер, несколько солдат. У немецкого полковника был шрам на щеке. Поблескивал монокль. На ломаном французском языке он сказал, нагло осклабясь:

— Если не ошибаюсь, генерал де Виссе? Честь имею засвидетельствовать глубокое уважение...

20

— Была измена... Смерть недостаточное наказание за совершенные ошибки... Помните — наши солдаты умирают на поле битвы... Мы уничтожим трусов и предателей!.. Если Францию может спасти только чудо, я верю в чудо!

Когда Рейно кончил, сенаторы вежливо зааплодировали. Это были старые, опытные политики; они понимали, что кабинет скоро полетит. А Фуже в ложе для депутатов плакал. Журналисты посмеивались, глядя на бородатого мечтателя, который вытирал глаза турецким платком.

Тесса садился в машину, когда его схватил за руку Фуже.

— Мне надо с тобой поговорить. Рейно хорошо сказал: «Была измена»... Смело, откровенно. Удар бича... Теперь надо действовать...

Все последние дни Тесса жил, как в лихорадке, переходя от беспечности к глубокому отчаянию. Известия

были противоречивыми; одни говорили об удачных контратаках, другие предсказывали падение Парижа. Петэн уверял, что армии больше нет; остались отряды, не связанные друг с другом. Мандель доказывал, что можно сопротивляться. Министры то решали покинуть Париж, то заявляли, что ничто не угрожает столице. Тесса потерял сон; не ел. Он чувствовал, что заболевает. С ужасом он посмотрел на Фуже — только его нехватало! А Фуже влез в машину и сразу стал вопить:

— Нужно поднять народное ополчение!

— Поздно. (Тесса уныло высморкался.) Я не мистик — в чудеса я не верю. Вчера они заняли Аррас и Амьен, сегодня вышли к побережью. Армия окружена.

— Там сорок дивизий. Можно прорвать кольцо...

— Кто его прорвет? На бельгийцев не рассчитывай. Король Леопольд — германофил, это все знают. Англичане сегодня отвели две дивизии от Бапома к Дюнкерку. Естественно, что Вейган не захотел встретиться с генералом Гортом. Одним словом, это дело конченое.

— Как ты можешь так рассуждать?.. Рейно только что сказал: «Смерть за малодушие». Тебя первого следует расстрелять!..

Фуже кричал; он обдал Тесса брызгами слюны; борода его подпрыгивала. Тесса миролюбиво ответил:

— Криком не поможешь... Рейно говорил для публики. Послушал бы его дома... Ты честный человек, но фантазер. Я знаю, что ты меня ненавидишь. Напрасно! Когда на тебя напали в Марселе, я был искренне возмущен...

— О чем ты теперь думаешь? Я тебя умоляю — забудь про мелкую политику! Франция умирает. Подымись над склокой, над партиями!

— Фантазер! Больше того — человек прошлого. Семидесятитонные танки. А кто против? Гражданин Фуже. Может быть, ты уничтожишь генерала Клейста «Декларацией прав человека и гражданина»?

— Теперь не время шутить!

— Я не шучу. Я редко говорю так серьезно. Мы отжили, понимаешь? Может быть, Бретейль уцелеет. Но и он стар — ходит в церковь, молится. Грандель, Лаваль, Меже — эти выживут. Ты меня считаешь мерзавцем,

хотя мы оба радикалы. Но Дюкана ты уважаешь. И Кашена. Так вот, позволь тебе сказать — это герои прошлого века. В других странах девятнадцатый век умер вовремя — с той войной. А у нас засиделся. У нас вообще старики не спешат умирать. Петэну пошел девятый десяток, а ты его послушай — планы, амбиции... Так вот, прошлый век кончился. Как твой Дессер... Он, кстати, приходил ко мне... Знаешь, что он предлагает? Защищать Париж.

— И он прав. Говорили, что Мадрид не продержится двух дней, а Мадрид держался два года. Вооружите рабочих, и вы увидите чудеса...

Тесса пожал плечами:

— Как с тобой разговаривать? Ты живешь в мире прошлого. Что же, по-твоему, семьдесят дивизий и три тысячи танков остановятся перед баррикадами?.. И потом — нужно сойти с ума, чтобы дать оружие коммунистам! Конечно, ты обрадуешься. Но ты — исключение. Все радикалы завопят. Я уже не говорю о социалистах. А правые?.. Пикар мне как-то сказал, что если рабочие попытаются захватить власть, он откроет фронт.

— Ты должен арестовать его. И Бретейля. Говорил Рейно об измене или не говорил?.. Я хочу, чтобы ты выполнил гражданский долг. Пойми, эти люди тебя ненавидят. Если придет к власти Бретейль, он с тобой не станет церемониться. Для него ты — радикал, масон, ставленник Народного фронта. Погляди, что они пишут...

Фуже протянул Тесса листовку. Тесса сразу увидел свое имя; у него дрожали руки, но он сказал: «Трудно читать, трясет...» Но прочитал: «Повесим на фонарях...» Подписано было — «Штаб верных».

Они подъехали к министерству. Тесса слабым голосом сказал:

— Прости, если я тебя обидел. Но мне очень тяжело. Очень...

У себя он внимательно прочел листовку. Он вдруг понял, что Фуже прав — друзья Бретейля не простят ему ни поднятого кулака, ни дружбы с Виаром, ни заступничества за Дениз.

Он подремал полчаса; мерещились беженцы, танки, виселицы. Проснувшись, он сел на диван, обнял свои

колени и сказал вслух: «Дело не во мне! Нужно подумать о Франции!..» Неделю тому назад он поддался панике; хотел уехать; теперь он спокойно пойдет навстречу смерти. Однако на нем ответственность, он — министр. Он должен попытаться спасти страну. Хорошо Дюкану! Этот сумасшедший думает только о себе, хочет себя разрекламировать — пошел в армию. Печальная картина — депутат в чине лейтенанта! И что такой Дюкан может сделать? Как будто без него мало лейтенантов!

«Нет, здесь нужен трюк, изобретение, необычайный маневр. Мандель считает, что мы должны помириться с Москвой. Немцы давно поняли, что Россия — сила. А этот дурак Даладье нас окончательно поссорил с русскими... (Тесса теперь был убежден, что он выступал против помощи Маннергейму.) Де Виссе говорит, что у нас мало самолетов. А у русских можно получить тысячу бомбардировщиков — купить или обменять».

Тесса увлекся: на нем — высокая миссия. Кругом слабовольные дураки, павлин Рейно, тупой Даладье. Тесса начнет смелую игру — договорится с Москвой. Тогда Италия не посмеет выступить. Да и немцы перепугаются... Во Франции произойдет перелом, народ сразу поверит в победу. Все признают, что Тесса спас родину, как Клемансо в семнадцатом...

Он вызвал Фуже.

— Спасибо, старина, что приехал! Наш разговор мне открыл на многое глаза... Мы ведь варимся в своем соку. А ты видишь вещи шире... Я тебе сейчас изложу мой план. Мы пошлем в Москву тебя или Кота.

— В Москву?.. Зачем?

— Они тебя уважают. Но, если ты не хочешь, можно остановиться на Коте.

— Я тебя спрашиваю: зачем?

— Как «зачем»? Это произведет огромное впечатление, повлияет на Италию. У нас подымется дух. Наконец русские могут нам дать снаряжение. В первую очередь самолеты...

Фуже рассердился:

— Ты что, сошел с ума? Почему русские дадут тебе самолеты? Два месяца тому назад ты кричал, что нужно уничтожить Баку...

— Ничего подобного. Я лично был против. Это — упрямство Даладье. Его неправильно называют «воклюзским быком», просто — осел... Но зачем вспоминать прошлое?.. Сейчас мы хотим установить с Москвой дружеские отношения. Ты можешь мне в этом помочь...

— Русские пошлют тебя к чорту и будут правы. Первый вопрос — кого вы представляете? За вами пустота... Рабочих продолжают арестовывать. Сегодня в газетах — очередной процесс, восемь коммунистов. Твой «воклюзский осел» — министр иностранных дел. Французский народ может договориться с Москвой. Но не ты... Тебе я могу одно посоветовать — напиши президенту, что ты выходишь из правительства. Нам нужен Комитет общественного спасения!..

И, хлопнув дверью, он ушел. Тесса начал обдумывать, что еще предпринять? Хорошо бы обратиться к коммунистам... Какое несчастье, что Дениз с ним поссорилась!

Он решил обратиться к адвокату Ферроне, который неоднократно защищал коммунистов.

— Я знаю, что у тебя много знакомств среди коммунистов... Не откажи передать письмо.

— Кому?

Тесса покраснел; едва выговорил:

— Моей дочери. Это очень важно. Как можно скорей — речь идет о жизни близкого человека...

— Хорошо. (И Ферроне, чуть усмехнувшись, добавил:) Если твои полицейские не будут ходить по пятам, я вручу письмо сегодня вечером...

Тесса написал: «Дениз! Мне необходимо с тобой переговорить. Дело не личное, но общественное, исключительной важности. Прошу тебя притти завтра в девять часов утра. Повторяю, речь идет не обо мне и не о частных интересах. Обещаю, что никто не будет знать о твоем посещении. Твой несчастный отец Поль Тесса».

Вечером пришлось поехать на заседание кабинета. Он рассеянно слушал, как Рейно докладывал: «Вейган вернулся... Конечно, положение критическое, но все же мы подготовляем контрнаступление. Англичане уже начали атаку, Пятая дивизия подходит к Аррасу...» Тесса был занят своими мыслями. Когда заседание кончилось, он отвел в сторону Рейно:

— Что ты думаешь о сближении с Москвой?

— Видишь ли, за эти дни положение настолько обострилось, что я занят исключительно военными делами. Дипломатию я поручаю Бодуэну...

Тесса принял снотворное, проспал до восьми. Он еще завтракал, когда доложили, что его спрашивает какая-то дама «по личному делу». Он завопил: «Ведите ее сюда!..»

Он был настолько увлечен игрой, что забыл про отцовские чувства; не посмотрел даже, как выглядит Дениз: ему казалось, что он принимает посла. Дениз сухо сказала:

— Если это — провокация, она не удастся — я пришла с ведома партии.

— С ведома?.. Очень хорошо! Ты знаешь, Дениз, что положение угрожающее. Мы накануне разгрома. Теперь нужно оставить все вопросы самолюбия. Речь идет о спасении Франции. А нельзя спасти страну без энтузиазма. Я первый протягиваю руку коммунистам. Мы прекратим репрессии. Они должны прекратить пропаганду. Понимаешь?.. Их гражданский долг — повлиять на Москву... Я думаю, что мы пошлем туда Кота. Я намечал Фуже, но он стар и педант. Конечно, это — между нами... Ты должна передать мое предложение Торезу, или Дюкло, или Кашену, одним словом, вашим заправилам. Если нужно, я с ними встречусь, я готов на все...

— Я не думаю, чтобы кто-нибудь отнесся серьезно к вашим словам. В тюрьмах тридцать четыре тысячи коммунистов. Освободите прежде всего арестованных. И уйдите. Передайте власть народу.

— Власть не передают, это не пакет! (Тесса вспылил, но тотчас совладал с собой.) Мы подчиняемся конституции. Пока парламент не откажет нам в доверии, мы не можем уйти. Что касается освобождения арестованных, я лично не возражаю. Боюсь только, что это неосуществимо: социалисты против. Серроль вчера мне сказал, что он отказывается перевести коммунистов на политический режим. А когда я ему намекнул, что теперь необходимо национальное объединение, он ответил:

«Пусть коммунисты разоружатся первые...» Видишь, какая сложная ситуация! А правые только и ждут случая, чтобы накинуться... Если мы освободим коммунистов, правительство полетит при первом голосовании...

Дениз была измучена. Все последние дни она разговаривала с солдатами; слушала страшные рассказы о предательстве и малодушии. Человеческое горе вместе с потоками беженцев затопило Париж. А полиция продолжала хватать коммунистов. Вчера взяли хохотушку Люси. Дениз с ней работала прежде на заводе. Люси арестовали на улице. Дома остался грудной ребенок; она кричала, требовала, чтобы заехали за ребенком. Полицейские отвечали: «Не ваше дело...» Мишо был на севере, в окруженной армии. Последние письма Дениз получила в мае — до боев. И теперь нервы не выдержали — она заплакала.

Тесса расчувствовался, забыл про Фуже, про свои планы. Перед ним дочь, Дениз! Как она похудела! Видно, что ей плохо живется. Наверно, скрывается, каждую ночь ждет ареста... И он ласково сказал:

— Бедная девчурка!

Это привело в себя Дениз. Она изумленно поглядела на него.

— Вы никогда не поймете, отчего я плачу. Ужасно, что вы — мой отец, что мы оба говорим по-французски, что нас может убить одна бомба!.. Не понимаете? Невыносимо чувствовать связь с вами...

— А я никогда не переставал чувствовать, что ты моя дочь... (Он прошелся по комнате; вспомнил — надо ее уговорить.) Дениз, оставим партийные раздоры! Ты должна помочь мне... Я хочу спасти Францию, и вот, ради Франции...

— Замолчите! Прежде вы говорили — «ради матери». А Франция... Франция...

Не договорила, вспомнила беженцев, солдат; слезы сжали горло. И, боясь, что Тесса снова увидит ее слабость, она выбежала.

Тесса в раздражении подумал — святая!.. Конечно, Люсьен — подлец, но он человечней... А эта сама не живет и не хочет, чтобы другие жили!.. Истеричка!

Он отправился к Бодуэну: поговорить насчет миссии

Кота. Бодуэн отвечал уклончиво; перевел разговор на Италию — пора, наконец-то, пойти на уступки, отдать Джибути, может быть кусок Туниса, нажать на англичан — пускай и они чем-нибудь поступятся, например Мальтой. Муссолини готов разговаривать; но необходимо отправить в Рим подходящего человека, Лаваля или Бретейля...

Тесса позвонил Фуже:

— Я боюсь, что ты меня плохо понял. Мы можем отправить тебя или Кота с каким-нибудь туманным поручением... Например, переговоры о компенсации за галицийские промыслы... Или о покупке леса... А ты пощупаешь... Эффект за границей будет тот же, причем мы не берем на себя никаких обязательств. Правым мы скажем: «У нас в Москве даже нет посла»... Бретейль не сможет придраться. Тем паче, что мы начинаем серьезные переговоры с Муссолини. Англичане обещали освободить итальянские суда от контроля. Это уже победа! Ты меня слышишь?..

Ответа не последовало: Фуже в ярости швырнул трубку.

План не удался. Чтобы утешиться, Тесса поехал за город. Был чудесный день. Цвели сирень, жасмин, глицинии. Все благоухало. И Тесса умилился: весна наперекор всему.

Возвращаясь, он увидал в Венсеннском лесу солдат; они рыли противотанковые рвы. Тесса поздоровался с ними и бодро сказал:

— Да, Парижа им не видать! Париж будет защищаться, как лев.

21

Это был крохотный город, похожий на все города Пикардии: площадь, а от нее длинная улица с кирпичными низкими домами. Площадь украшала ратуша шестнадцатого века. На башенке был золотой лев. Рядом с ратушей находились гостиница «Белая лошадь», два кафе и универсальный магазин.

Население состояло, главным образом, из рабочих велосипедного завода, расположенного в двух километ-

рах от города. Среди женщин было много искусных кружевниц; они сидели у раскрытых дверей и стучали коклюшками. Летом иногда наезжали туристы, осматривали ратушу, пили на площади пиво. Зимой в кафе засиживались рабочие, курили длинные глиняные трубки, спорили о политике. До войны мэром был коммунист; четырнадцатого июля над ратушей развевались два флага: трехцветный и красный. На стенках и теперь можно было увидеть: «Долой фашизм!» или «Да здравствует Народный фронт», а рядом с надписью — неуклюже нарисованные серп и молот. Под праздник пили можжевеловую настойку; смотрели на петушиные бои. В кино показывали фильм «Поцелуй, который убивает». Влюбленные гуляли вдоль канала, срывали кувшинки. Город засыпал рано; в одиннадцать на улицах не бывало ни души, только куранты ратуши мелодично вызванивали время да женщина в каком-нибудь из домишек вполголоса баюкала ребенка: «Я скажу кутенку — не кричи спросонку!..»

Первая бомба упала на дома возле станции; убила старого кузнеца, ранила двух женщин. Вторая разрушила ратушу. Площадь была завалена камнями. Среди мусора валялся золотой лев. Жители убежали, из восемнадцати тысяч осталась сотня.

Женщина принесла синий эмалированный кофейник, налила Мишо кофе и тихо спросила:

— Уйдете?

— Мы только пришли...

— Говорят, что уйдете. Все убежали. Я осталась — у меня мать больная. Я ей говорю — не уйдут...

Мишо улыбнулся:

— Конечно, не уйдем. Это безобразие, что делается! Люди несутся куда глаза глядят. И никто их не останавливает. Хороши! Хотели нас в Финляндию отправить... А только немцы сунулись — разбегаются. Позор! Эх, будь у нас другие люди!.. Но вы не отчаивайтесь — мы не уйдем. Погреб у вас есть? Тащите туда все и сидите. А мы как-нибудь справимся...

Батальонный командир Фабр получил приказ: защищать город во что бы то ни стало. Фабра считали безобидным чудаком; он пил с раннего утра аперитивы и

рассуждал о красоте кактусов. Но за последние дни он показал себя храбрым и находчивым. От Камбре батальон отошел с боем; два раза переходил в контратаки; отбили у немцев двенадцать солдат, отставших при переходе. Когда впервые напали пикирующие самолеты, Фабр выхватил у солдат винтовку, стал стрелять. Это всех успокоило; не было паники. Один бомбардировщик подбили. Однако за восемь дней батальон потерял треть состава; и услышав приказ, Фабр смутился: «Хорошо им говорить — «во что бы то ни стало»!.. Как удержаться, если немцы бросят танки?..»

Фабр знал, что солдаты не чают души в Мишо. Когда полковник Керье с перепугу хотел расформировать две роты, Фабр воспротивился. И «бунт» в Гавре замяли. Принимая какое-либо решение, Фабр спрашивал Мишо: «Что об этом думает господин Дон Кихот?» Так поступил он и теперь. Мишо ответил:

— Надо удержаться.

Мишо не знал директив. Он давно потерял связь с Парижем. Нужно было решать самому... И Мишо не колебался. Нет, коммунисты не трусы! Мы покажем, как мы умеем сражаться. Теперь дело не в Рейно, не в Тесса, не в Даладье. Теперь идет бой за Францию.

Враги повсюду. Одни протягивают наручники, другие кидают бомбы. Пришли гитлеровцы: палачи Тельмана, люди, распявшие Испанию, рыцари смерти. А позади — те же фашисты, друзья Гитлера, Бретейль, Грандель, Пикар.

Мирной, беспечной Франции больше нет. Страну отдали на милость врага. Вот и здесь — развалины, слезы, женщины. «Неужели вы нас бросите?..» Мишо глядел на обломки здания; когда-то профессор Мале называл эту ратушу «жемчужиной Возрождения». На уцелевшей стене Мишо разобрал: «Хлеб. Мир. Свобода». Встал тридцать шестой год, забастовка, флаги, песни...

В несчастье Мишо с новой силой полюбил свою страну. И все мешалось в этом чувстве: горы Савойи, где он был мальчиком, с их звонкими потоками и яркими лугами, Париж, его Париж, «Париж — моя деревня», город серых домов и улыбок, город, где умер Жано, где живет Клеманс; Париж и Дениз... Он знал, что защи-

щает маленькую, хрупкую женщину с синими глазами, похожими на альпийские цветы. Машинально повторял: «Франция... Дениз...»

Весь день рыли ямы; таскали мешки с землей, прикрывали противотанковые орудия, пулеметы. Вечером Фабр связался со штабом дивизии. Сказали: «Повсюду тесним противника. Подкрепления пришлем. Если отойдете, подставите под удар второй батальон».

Мишо заглянул на завод; там поставили пулеметы. Завод накануне бомбардировала авиация. В сборочном огромная воронка посвечивала водой — утром прошел сильный дождь. Из воды торчали части машин. В другом цехе он увидел уцелевший фрезерный станок и умилился, будто встретил подругу детства. Он любил материал, инструменты; оживлял их, корил, баловал. Вот его молодость!.. Он задумался: что же случилось с людьми?.. Все хотят работы, ласки, счастья. Но море разыгралось... Нужно доплыть! Не ему, его, наверно, убьют, другим. Останутся Пьер, Легре, старик Дюшен. Останутся дети, Дениз... Построят большие заводы. Как Магнитогорск (он видел фотографии в журнале). Вчера они шли полем. Хлеб пропадет: вытопчут. Да и убирать будет некому... А весной снова посеют. Жизнь победит. Но теперь трудно...

Мишо пошел к заставе. Товарищи, стряхивая с себя сон, уныло рассуждали: «Как удержаться?.. Триста человек... А у них танки...» Мишо подбодрял; рассказывал про бои в Испании:

— Бывало и тридцать. А у них батальон. Танки... Мы их ручными гранатами — ничего другого не было... Мальчик один, Пепе, он восемь танков подбил.

— Танки там были другие. У этих вот броня!..

— Можно и эти... Только люди нужны — как там, железные.

— Там вы знали, за что деретесь. Я сам хотел записаться... А за что мы здесь гибнем? Защищать кого? Тесса?

Мишо ответил не сразу: сам мучился, чувствовал, какая на нем ответственность; но ответил уверенно:

— Нет... С этими мы еще рассчитаемся! А здесь — наша земля. Видел женщин?.. Мужья на фронте, как мы.

Нельзя уйти! Коммунисты должны подавать пример. И потом, скажи откровенно, разве это легко отдать?.. Я сегодня фрезерный станок видел...

Он не договорил: раздался грохот. Первые снаряды опередили рассвет. Еще видны были на бледном небе маленькие расплывчатые звезды. Разрывы показались особенно страшными: все думали, что начнется с солнцем... Мишо почувствовал холод, подумал — роса; но холод шел изнутри. Он ощупал пулемет и сразу успокоился.

Четверть часа спустя наступила пауза. Спокойно поднялось солнце; заверещали полевые птицы; вода стала розовой. Солдаты молчали. Мишо думал о Дениз. Как в Испании, он чувствовал тепло ее плеча, соль на губах; слышал запах хвои. «Милая ты моя!» — так говорил про себя. Вот и конец!.. Конечно, шутить нельзя — это большое, серьезное; но не страшно; только грустно, что не увидит больше Дениз...

Танки подошли к каналу. Все закричало; казалось, даже земля кричит. Оглянувшись, Мишо увидел Фабра; тот разводил руками.

— Ленту давай!..

И снова пауза.

— Сейчас начнут. Они теперь расположение знают...

— Руки коротки. (Мишо смеется.) Я их в Испании видел — любят, когда убегают. А когда так — этого фашисты не любят...

— Мишо, неужели удержимся?

— И еще как!

Около девяти часов немцы вторично начали атаку. Снаряды крошили злосчастные домики. В трехстах метрах от Мишо стоял сгоревший танк.

— Налево от картофельного поля...

Это были немецкие мотоциклисты. Их остановили. Тогда снова двинулись танки. Фабр вскрикнул — танки давили раненых:

— Сволочи! Звери! Своих!..

Снаряд убил ротного командира. Сержант не выдержал, забрался в погреб. К Мишо подполз Фабр:

— Никого не слушай... Бей!..

Сколько прошло с того времени — несколько минут или час? Грохот. Мишо трясет левой рукой: кровь.

— Ползи сюда!..

Но Мишо не уходит. Он не слышит.

— Ленту давай!.. Ну, получайте!

В полдень высокое торжественное солнце стояло над тихим миром: ни выстрела, ни крика. Даже раненые замолкли, как будто их придушила тишина. Потом раненых положили на грузовики. Мишо перевязали руку; он отказался уехать. Хоронили мертвых. Пили теплую воду: она пахла жестью. Всеми овладело изнеможение, как после тяжелой болезни; хотели улыбнуться и не могли, постепенно доходила до сознания простая и диковинная вещь — они отстояли город.

Фабр подошел к Мишо, бормочет:

— Молодец, Дон Кихот! Ты кем был в Испании?

— Лейтенантом.

— Полковник тебя за это хотел посадить. А я... Я сегодня произвел бы тебя в генералы, будь моя воля. Ты, говорят, коммунист? Смешная история!.. Вот вы какие!..

Фабр вытер глаза и приложился к фляжке с ромом.

— Попробую со штабом связаться. Надо их порадовать...

Он услышал тот же равнодушный голос. Вчера ему сказали: «Держитесь во что бы то ни стало». Сегодня выслушали и ответили: «С темнотой оставьте город». Он крикнул: «Почему?..» — «Перегруппировка...» И Фабр, бросив трубку, выругался:

— Генерал?.. Кишка он, а не генерал!..

Мишо говорит товарищам:

— Изменники! Сдают страну...

Все поняли, знают, молчат.

Прощай, фрезерный станок! Прощай, золотой лев ратуши! Прощай, милая женщина — у нее синий кофейник, больная мать и затравленные, сумасшедшие глаза! Мишо угрюмо шагает по пыльной дороге — это длинная дорога. И это — дорога отступления. Сегодня в полдень, среди зноя и тишины, ему померещилась победа... И глаза у нее были, как у женщины с кофейником... Прощай, мечта!..

22

Вечером Париж казался глухим лесом; погасили даже синие лампочки. Прохожих останавливали: проверяли документы. Говорили о шпионах, о парашютистах. На улице Шерш-Миди схватили хромого хозяина молочной: уверяли, будто он подавал сигналы самолетам. Клялись, что в Париже сорок тысяч переодетых немецких солдат. Мандель приказал арестовать трех «верных»; у них нашли итальянские адреса и план Парижа с обозначением зенитных орудий. Бретейль негодовал: «Арестовывают честных французов!» На следующее утро «верных» освободили. Жена Бретейля плакала: «Они придут сюда!..» Бретейль отвечал: «Молись! Кто знает, может быть, маршал Петэн спасет Францию...»

На улицах показались беженцы. Растерянные, они бродили возле вокзалов. Они глядели на парижан пустыми, невидящими глазами. Шум живого города не доходил до них. Напрасно шоферы гудели, ругались — беженцы не слышали, как будто в их ушах засели другие, страшные голоса.

Измученные женщины садились на тротуар; прохожие окружали их, разглядывали, спрашивали — откуда? Война представлялась парижанам бесконечно далекой: газеты писали о битвах за Полярным кругом. Только беженцы вносили беспокойство; они бормотали: «Немцы... Убивают... Еле выбрались...» И полиция отгоняла любопытных — зачем слушать страшные небылицы?

Люди поосторожней уезжали к родственникам в провинцию. Другие продолжали работать, торговать, развлекаться. Печать обсуждала: нужно ли открыть кабаре, закрытые в первые дни тревоги? Старики успокаивали молодых: «Отгонят, как в четырнадцатом...»

Виар не верил ни в гений Петэна, ни в линию Вейгана, ни в чудо. Он был занят упаковкой своей коллекции. В квартире с раннего утра раздавался стук молотков. Приходили и уходили рабочие. Только судьба картин занимала теперь Виара. С нежностью провожал он каждое полотно, уходившее в темноту ящика. Потом равнодушно просматривал газеты. Он понимал, что все проиграно, и ему было скучно досматривать эпилог.

К скуке примешивалась злоба. В глазах Виара, обычно меланхоличных и приветливых, теперь вспыхивали злые огоньки. Ему не дали спокойно закончить трудную жизнь!.. Он не знал, кого винить, и ненавидел всех: немцев и Даладье, Тесса и коммунистов, англичан и бездарных генералов.

Проходя мимо заколоченных ящиков, он думал о будущем. Что станет с его домиком в Авалоне? Видел беседку, обвитую глициниями, игру солнечных пятен на яркорыжем песке. Париж пропал. Но вдруг немцы пойдут дальше?.. Нет, этого не может быть! Сдадут Париж, впустят на три дня немцев — придется удовлетворить их прусское честолюбие, а потом подпишут мир. В конечном счете Эльзас-Лотарингия — мяч, его перебрасывают. На двадцать или на сорок лет Страсбург станет немецким. Зато будет мир. Но тревога не унималась. А что, если Черчилль заставит Рейно воевать и после падения Парижа? Мы теперь английский доминион. Дойдя до этого, Виар кашлял и злобно глядел на своего лакея, на рабочих — что им?.. Работают, воруют, веселятся...

Увидав Тесса, он повеселел: его обрадовало, что Тесса измучен, небрит. Значит, и Тесса плохо!.. Что же, пусть расхлебывает!

Тесса начал с сенсации:

— Когда мы ввели в кабинет маршала Петэна, мы думали, что этим разрешим все спорные вопросы. Но положение с каждым днем все усложняется. Я должен тебе сообщить страшную новость: бельгийский король капитулировал. (Тесса впился глазами в Виара; тот равнодушно протирал стеклышки пенсне.) Он даже не предупредил генерала Бланшара. Положение армии трагично. Ты понимаешь, какая это низость? Его отца, Альберта, называли «королем-рыцарем», а Леопольд войдет в историю как олицетворение коварства.

Виар спокойно ответил:

— Король по-своему прав. Что же ему оставалось делать? При известных обстоятельствах капитуляция — акт героизма.

— А ты подумал, какие условия нам продиктует Гитлер, если и мы проявим этот «героизм»? Он может потребовать Эльзас. Он может даже оккупировать Лилль.

— Надо было думать раньше. Я не хочу быть придирчивым. Но ты ничего не сделал, чтобы предотвратить разгром. Я тебя предупреждал за полгода до войны, что Даладье исключительно непопулярен. Вы сдали без боя все позиции. Поражение было подготовлено еще в Мюнхене. А ты тогда входил в кабинет.

— Который ты, кстати сказать, поддерживал. И потом, если говорить о причинах разгрома, следует вспомнить забастовки в тридцать шестом, сорокачасовую неделю... Кто разрушил промышленность? А Испания?.. Блюм восстановил против нас Муссолини. Вы озлобили Франко, потом помогли Франко победить. Трудно придумать что-нибудь бессмысленней!..

Тесса кричал: сказались волнения последних двух недель. Виар говорил отрывисто; глухой голос походил на лай. Долго они обвиняли друг друга; вспоминали парламентские интриги, необдуманные декларации, голосования. Тесса опомнился первый:

— Напрасно мы ругаемся! Это все нервы... А время страшное, нужно сплотиться. Я пришел предложить тебе войти в кабинет. Рейно готовит сюрприз. Министерский кризис произвел бы плохое впечатление за границей: поэтому мы решили сделать все по-семейному. Прежде всего нужно выкинуть Даладье. Этот осел чуть было не погубил Францию. Намечены и другие перемены. Уйдет Сарро. Приглашают Бодуэна, Прувο. Это — деловые люди. А ты нам дорог, как совесть нации. И потом ты — порука, что с нами рабочий класс.

Виар насмешливо улыбнулся: его считают простачком! Войти в правительство накануне капитуляции! Ведь это значит скомпрометировать себя, зачеркнуть пятьдесят лет борьбы за идеалы. Зачем? Чтобы Тесса сказал: «Виар тоже подписал...» Нет, на это он не пойдет!

— Благодарю тебя и Рейно. Я тронут, очень тронут. Но министерский портфель я не приму. Моя партия уже представлена в правительстве. Никто не посмеет сказать, что социалисты уклоняются от ответственности. А меня правые не выносят. Да и в Англии предпочтут кого-нибудь помоложе. Я буду только баластом.

Тесса спорил, уговаривал:

— Огюст, ты не можешь отказаться! Мы на краю

пропасти. Гибнет все что нам дорого,— Франция, парламентская система, идеи, которые мы впитали с молоком матери...

Тесса растрогался от своих слов; вспомнил смерть Амали, недавнюю встречу с Дениз, беженцев, карканье Петэна, который на все отвечает: «Слишком поздно»... В его голосе послышались слезы. Виар почувствовал облегчение. Он, однако, не удовлетворился этим, хотел добить Тесса:

— О каких идеях ты говоришь? У нас разные мировоззрения. Конечно, твои идеи потерпели банкротство, поскольку ты цеплялся за экономический либерализм. А я иду в ногу с веком. Что несет Гитлер? Социализм. Конечно, несколько искаженный, я сказал бы сшитый на немецкий вкус. Но если мы возьмем национал-социализм и дополним его моралью Сен-Симона, Прудона, наших синдикалистов, мы получим нечто реальное и в то же время глубоко французское...

Тесса перестал слушать: спор о доктринах его не прельщал. Он вдруг заметил беспорядок в кабинете: сундуки, ящики.

— Ты уезжаешь?

Виар смутился:

— Да. То есть лично я остаюсь. Я выпью чашу до дна. Но я отправляю картины. Я не вправе рисковать моей коллекцией! Здесь ведь собраны вершины французского духа. Государственные системы могут гибнуть, но нельзя допустить, чтобы от дурацкой бомбы погибли шедевры искусства.

Виар проводил гостя до передней. Прощаясь, Тесса вдруг обиделся и сказал:

— Я вот действительно остаюсь в Париже. Что бы мне ни грозило!.. У меня нет коллекций. И я должен думать о Франции...

23

Меже не поддался панике; он продолжал работать, как обычно; только на ночь принимал веронал, чтобы не проснуться от грохота зениток. Его холодное лицо (он походил скорее на немца или на шведа, нежели на

уроженца Лиона) сохраняло улыбку. Это был здоровый, красивый мужчина, заботившийся о своей внешности. Чтобы не потолстеть, он играл в теннис. В его пышной квартире царила торжественная тишина. В кабинете не было ни картин, ни безделушек. Напротив письменного стола стоял бронзовый бюст Наполеона. В библиотечном шкафу несколько справочников лежали на пустых полках. Меже не любил читать. Зато он ценил музыку; особенно его трогал Бах; он говорил: «Это заменяет мне религию».

Он вырастил двоих детей. Сын недавно кончил инженерное училище. Желая избежать кривотолков, Меже его отправил в армию, в штаб Леридо. Дочь вышла замуж за крупного финансиста, в короткий срок скупившего все никелевые акции; жила она в Швейцарии.

Меже знал шесть языков; много ездил; повсюду он чувствовал себя дома; говорил, что ему одинаково нравятся и курица с бамбуком в шанхайском ресторане, и фрукты Калифорнии, и алжирский плов «кускус». Он не интересовался техникой, доверял инженерам. Но внимательно следил за мировыми ценами на сырье, за насыщенностью того или иного рынка. Дела он делал повсюду; был заинтересован и в химической промышленности Германии, и в норвежском азоте, и в платине Чако. Дессера он считал невеждой, дилетантом: «Такой мог выдвинуться только в послевоенные годы, среди распада». Внешность Дессера, его простонародные повадки и небрежность костюма заставляли Меже брезгливо улыбаться.

Закат Дессера несколько утешил Меже: в событиях есть логика! А время тяжелое... Конечно, дела идут хорошо; но что будет дальше? Истощение воюющих сторон не предвещает ничего отрадного. В случае поражения предстоит смута, может быть революция; в случае победы выдвинутся люди вроде Дессера, калифы на час. Меже гордился своим происхождением, его дед владел двумя третями железнодорожной сети, а прадед-банкир был описан Бальзаком.

Война казалась Меже пережитком далеких времен. К патриотическим тирадам он относился с иронией.

Конечно, насмешку он умел скрывать, чтобы не обидеть других; так, он никогда не вышучивал своей жены, верившей в лурдские чудеса: он пожимал плечами — средневековье, но давал ей деньги, которые она тратила на поддержание различных часовен. Меже считал, что война была законной, когда нации жили замкнутой жизнью. Но теперь интересы народов переплелись. Американцы не могут жить без английского каучука. Немцам нужна нефть; они зависят от Детердинга или от большевиков. Французы зависят от всех... К чему же воевать? Если бы Европой правили не безумцы, но деловые люди, вроде Меже, можно было бы договориться.

С первых дней войны Меже не верил в победу союзников; сомневался он и в немецкой победе; говорил себе — на этом выиграет третий. Он пытался остановить машину; ездил в Мадрид, разговаривал с немцами. Зимой ему казалось, что рассудок возьмет верх, но события развернулись иначе. Ушел Чемберлен. Затравили Бонне. И вот настал май...

Пока не поздно, нужно одуматься, спасти то, что еще можно спасти. Франция проиграла войну. Когда-то эти слова потрясли бы всех: для французов Франция была вселенной. А теперь... Конечно, Гитлеру приходится считаться с настроением немцев: они мстят за Версаль. Но Гитлер — умница. И потом все это — вопрос чувств, для слезливых особ. Деруледы, слава богу, вывелись! Франция задолго до войны потеряла свое место. Плаксы поревут и успокоятся. А страна залечит свои раны...

И когда генерал Пикар, задыхаясь, сказал: «Но то, что вы предлагаете,— капитуляция», Меже ответил: «Не будем бояться слов. Я предлагаю единственно целесообразное...»

Тогда произошло невероятное: в чопорном кабинете, возле бюста Наполеона, генерал заплакал. Понятно, если плачут мидинетки... Но Пикар не ребенок. Он знал, на что мы идем. Это друг Бретейля... Он сам много раз говорил: «Нас разобьют»... Почему же он испугался слова «капитуляция»?

— Я повторяю — это единственный выход. Судьба северной армии предрешена. Бельгийцы вышли из игры. Англичане еще разыгрывают неприступных девиц. Но

когда немцы налетят на Лондон, добродетель кончится... Нам выгодней опередить англичан, хотя бы в сепаратном мире. Если мы будем продолжать войну, Гитлер займет Париж, итальянцы — Марсель. А в Лионе будет Коммуна. Что важнее сохранить: старые границы или цивилизацию? Еще две недели, и выступят коммунисты...

Все эти месяцы Пикар метался: по десять раз в день менял идеи, то говорил: «Нас побьют и правильно — покончат с позорной системой», то, вспоминая о славе французского оружия, мечтал: «А вдруг победим?..» Гитлера он уважал, не чувствовал к нему никакой неприязни и немецких эмигрантов презрительно называл «перебежчиками». Когда началось наступление, Пикар растерялся. Он отдавал приказы и тотчас отменял их, кричал, что надо сохранять хладнокровие, но сам смертельно боялся парашютистов — что, если нападут на штаб?.. Он запутался в политической игре. Обо всем запрашивал Бретейля, тот говорил: «Постарайтесь задержать противника хотя бы на месяц... Мы сбросим Рейно. И договоримся с немцами...» Пикар отдавал патетические приказы: «Солдаты, защищайте каждую пядь!», «Ни шагу назад!» Немцы за день продвигались на тридцать километров. Пикар кричал Бретейлю: «Мы не можем держаться...» И Бретейль спокойно отвечал: «Я и не думал, что вы удержитесь...»

Однако никто до сегодняшнего дня не говорил Пикару о капитуляции. А Меже ему просто поднес: «Мы должны последовать примеру Бельгии». И Пикар не выдержал — заплакал. Несколько успокоившись, он пробормотал:

— Они не оставят нам армии...

— Я понимаю, что вам тяжело. Но надо сохранять присутствие духа. В тридцать шестом я думал, что все кончено. Мои заводы были захвачены забастовщиками. И все же я продолжал работать. Армию нам оставят, может быть небольшую. Вы будете воспитывать молодых офицеров. Ваши знания не пропадут. У вас боевое прошлое. Вас ценит маршал. Теперь вы можете спасти Париж. Я говорю не о сопротивлении... Конечно, среди министров имеются трезвые люди. Вчера де Монзи пред-

ложил начать переговоры. Но Рейно закусил удила... И потом нельзя забывать о роли Манделя. Это злой гений Франции. Он хочет защищать Париж. А это означает разрушение столицы и невиданную резню: коммунисты расправятся с «внуками версальцев» — так эти господа выражаются. Вы пользуетесь большим авторитетом, вы должны заявить правительству, что с военной точки зрения защита Парижа — утопия. Этим вы окажете великую услугу Франции.

Пикар вспомнил яркое июльское солнце, кулаки возле Триумфальной арки, красные флаги...

— Хорошо. Я выполню мой долг. Мы попытаемся задержать противника. Но если они прорвут линию Вейгана, я выскажусь за отход от Парижа. Город нужно передать противнику в полном порядке, с полицией на постах — сохранить Париж для детей, для внуков.

24

Охрана военных заводов была поручена эльзасцу Вайсу — его пригрел Грандель. Вайс действовал энергично; он предложил префекту послать на заводы агентов: переодетые полицейские должны были бороться с саботажем. Сыщики ничего не понимали в производстве; они раздражали рабочих нелепыми замечаниями, окриками, угрозами.

Особенно вызывающе вели себя полицейские на авиазаводе Меже. Они арестовали работницу, которая, обозлившись, крикнула: «Молодые... Пошли бы лучше воевать!.. Немцы в Бове... Разве вы не видите, что вы мешаете работать?..» В протоколе было сказано, что работница пыталась повредить станок.

Был душный предгрозовой день. Белый свет слепил; все задыхались. На заводе Меже гудели взволнованные рабочие: немцы подходят к Парижу! Солдаты говорят, что нет самолетов. Богачи удирают. А кто будет расхлебывать?..

В обеденный перерыв рабочие собрались на пустыре позади завода. Среди шлака цвели курослепы. Рабочие говорили о Гитлере, о шпиках, о близкой развязке.

Душой подпольной коммунистической организации был молодой слесарь Клод. На заводе он работал с января, но сразу стал своим.

Клода на военную службу не взяли: у него был туберкулез в острой форме. Блеск глаз можно было принять за душевное напряжение — Клод и впрямь горел; но громкое отрывистое дыхание выдавало болезнь.

Это был мечтатель, который по ночам глотал книги — Толстого и Флобера, Шолохова и Барбюса. Лет пять тому назад он часто ходил в Дом культуры. Познакомился там с Люсьеном. Как-то они разговорились. Люсьен твердил о «вечной буре». Клод ему робко ответил: «Я вас уважаю, вы все знаете. Но этого мало... По-моему, поэт должен быть честным человеком. Правда?..» Люсьен подумал: «Мещанин!..» Клода полюбил Вайян; спрашивал: «Ты ведь пишешь стихи? Чувствую, что пишешь...» Клод молчал. Он вправду писал; но стыдился признаться — стихи выходили странными; сам не понимал, почему так пишет. Начинал с описания забастовки, но вдруг показывался горячий папоротник в сыром лесу или корабельные снасти. Говорил себе: «Баловство!..»

Два года тому назад он попытался пробраться в Испанию, его задержали на границе и вернули в Париж. Он тогда работал на заводе «Сэн». Легре говорил: «Ты наш главный агитатор». Клод умел убеждать людей, хотя казался нерешительным, бесконечно скромным. Разговаривая, он никогда не настаивал; казалось, он спрашивает собеседника, как быть. В его манере говорить, в неожиданных паузах, в мучительных поисках слов было нечто детское, глубокое, искреннее. И ему верили.

В начале войны Клода арестовали; он просидел четыре месяца. Выпустили его после врачебного осмотра. Он знал, что не получит работы; но ему повезло — на заводе Меже набирали токарей. В конторе посмотрели бумаги: «Клод Дюваль», и записали — мало ли Дювалей!.. Он быстро сколотил подпольную группу.

Рабочие обступили Клода — что он скажет?..

— Чем Рейно лучше Даладье? — так начал Клод.— Предадут они нас...

Он закашлялся. Один из рабочих сказал:

— В газетах пишут, будто они хотят защищаться.

Пишут, что солдаты не должны больше отступать. А возле Парижа, я сам видел, роют рвы...

— Если хотят защищаться, мы будем работать... Как дьяволы будем работать. Правда? Меже все равно — он и с Рейно заработает, и с Гитлером. А для меня эти самолеты — другое... Можно город спасти от бомб. Можно спасти Францию... Я с солдатами говорил, они спрашивают: «Где же наша авиация?..» Немцы беженцев расстреливают, а у нас нет истребителей. Мы должны помочь солдатам. Только пусть они уберут шпиков. С этими подлецами нельзя работать. Правда?

Решили послать делегацию: рабочие завода заявляют о своей готовности повысить продукцию и настаивают на уводе полицейских из цехов. Вайс поглядел на Клода и вежливо улыбнулся:

— Благодарю. Патриотизм парижских рабочих мне хорошо известен. Каждый лишний самолет приближает час победы. Что касается «переодетых полицейских», как вы изволили выразиться, они посланы в цехи с единственной целью — выловить переодетых коммунистов. Надеюсь, вы меня поняли?

Голубые глаза Вайса столкнулись с глазами Клода. Клод отвернулся.

Когда ушли делегаты завода Меже, пришли другие: все крупные заводы заявляли о своей готовности увеличить рабочий день и требовали положить конец выходкам полиции.

Вайс поехал к Меже: хотел предупредить об изъятии ста четырнадцати рабочих. Взглянув равнодушно на список, Меже сказал:

— Специалисты... Впрочем, теперь это не имеет значения. Скажите, кстати, как вы предполагаете провести эвакуацию?

— Рабочих придется выпроводить. Чем меньше их будет в период междуцарствия, тем лучше.

— Конечно. Но я не хотел бы, чтобы вы эвакуировали оборудование. Это хлопотно и, по существу дела, бесполезно.

Вайс улыбнулся:

— Очень приятно, господин Меже, что вы не поддались панике. Мне приходится все время сталкиваться

с людьми, окончательно потерявшими голову. Будьте спокойны — оборудования мы не тронем.

Клода успели предупредить. Ворота были заперты. Товарищи помогли ему перелезть через высокий забор. Он услыхал свистки, успел добежать до лачуги. Там жили старьевщики. Среди груды тряпья сидела старуха. Она вскрикнула: «Парашютист!..» Клод тихо сказал: «Молчи. Я француз, рабочий...» И женщина его спрятала. Грозы все не было. Клод задыхался в крохотной каморке среди ветоши и пыли. Нужно предупредить товарищей... Он выглянул. Никого... Добрался до кафе «Отец Южен» — там собирались товарищи.

Кафе состояло из двух комнат. В первой была цинковая стойка; туда заходили случайные посетители, пили пиво, беседовали с хозяином, «отцом Юженом». Это был добродушный толстяк, в жилете без пиджака, с черными густыми усами. Он обожал двух людей: свою жену, усатую толстуху, и Мориса Тореза. С гордостью говорил: «В тридцать седьмом на велодроме я после митинга подошел к Морису, и он пожал мне руку...» Отец Южен знал, что в задней комнате собираются коммунисты; никого туда не пускал; говорил: «Биллиард занят...» А вокруг биллиардного стола, в ажиотаже схватывая кии, представители районов обсуждали партийные директивы.

Когда Клод вошел, он застал Жюля с завода «Гном». Потом подошли другие. Все говорили об арестах: полиция схватила семьсот рабочих.

Пришла Дениз, рассказала о процессе четырех:

— Приговорили к расстрелу за саботаж. Младшему восемнадцать лет... Их защищал Ферроне. Только что я его видела. Он говорит — явная провокация. На суде выяснилось, что взрыв подстроили... Ферроне подозревает Вайса.

— Страшный человек,— сказал Клод.— Когда мы у него были, он поглядел на меня. Догадался, кто я. И я догадался, кто он... Что делается, Дениз!.. Гитлеровские шпионы у власти.

Ей хотелось его приободрить; не знала — как. Шепнула:

— Но народ...

Он не понял, что она хотела сказать, но не переспросил.

Дениз ушла, потом прибежала назад.

— Клод, я тебе комнату нашла. Там никто не тронет...

Тишина и жара вползали в полутемное кафе. Все примолкли. Далекие раскаты зениток приняли за гром; обрадовались. Потом завыли сирены. Никто не двинулся с места; сидели, измученные, на узком клеенчатом диване; думали о развязке — неужели придут немцы?..

Полчаса спустя хлынул ливень, шумный, оглушающий. Клод выглянул на улицу — подышать. Как будто в Париж вошли леса Медона и Сен-Клу; яркой казалась зелень платанов; пахло деревней. Подошла Дениз:

— Клод, когда будет Франция...

И снова не договорила. Южен принес пива. Спросил Дениз:

— Что Мишо пишет?

— Давно нет писем. Он на севере...

Южен вздохнул. Потом выругался:

— Чорт побери! Они там воюют, умирают. А что здесь делается? Хороших людей хватают. И кто?.. Немецкие шпионы! Будь Морис министром, не видать бы немцам Парижа!..

Поздно вечером Вайс попал к Гранделю; доложил о событиях дня:

— В общем все кончилось благополучно. Я думаю, что теперь мы очистили заводы от самых беспокойных элементов. Конечно, чем скорее мы начнем эвакуацию, тем лучше. Хорошо, что процесс прошел гладко. Это на них подействует, как холодный душ.

— Если они не добьются отмены приговора... Ферроне сегодня был у Лебрена. Тот выслушал и, конечно, заплакал. Как говорит Бретейль, это самый плаксивый президент Третьей республики. Но в общем он держится прилично...

— То есть?..

— Я говорю, что Лебрен делает то, что надо — он ровно ничего не делает, разве что плачет.

Оба засмеялись.

Оставшись один, Грандель развязал галстук, потянулся — устал. Но дела идут как нельзя лучше... Разве

он мог подумать, что его ожидает? Он попал к Кильману случайно — от проигрыша, от мыслей о самоубийстве. Он думал — это ошибка, падение, темное пятно. А это было началом успеха. Конечно, он не сразу вышел на верную дорогу. Пришлось много пережить, узнать обиды, унижение. Тесса, мелкий взяточник Тесса глядел на него, как порядочная дама на уличную девку. Ничего, он еще с ними рассчитается!.. Когда немцы возьмут Париж, Грандель станет первым... Все перед ним начнут лебезить... В игре самое главное — почувствовать, какой номер выйдет. Он поставил на правильный номер. Теперь остается выдержать последние четверть часа. Потом — власть, почет, признание... Он сможет смотреть всем в глаза. Кильман? Марки? Вздор! Субъективные мотивы никого не касаются. А объективно он спасет Францию, он добьется смягчения условий, сделает возможным мирное существование миллионов. Вот настоящий патриотизм! Это вам не истерика Дюкана!..

Ему захотелось кого-нибудь унизить, показать свое превосходство. Он прошел в спальню. На широкой кровати лежала Муш. Ее скосила давняя болезнь. Грандель удивленно подумал: «Неужели я мог ее обнимать?..» Она показалась ему полумертвой. От запаха лекарств его тошнило.

— Три года тому назад ты мне изволила изменить. Я тогда ничего не сказал. Зачем? Ты могла бы подумать, что я ревную... Но теперь мы можем поговорить откровенно. Надеюсь, что теперь ты перестала думать о любовниках. Тебе пора подумать о добром боженьке... Итак, вы предпочли мне мелкого негодяя. Он, между прочим, еще хуже своего папаши. Сударыня, вас, очевидно, пленили кудри и благородные жесты. А ваш Ромео оказался воришкой, альфонсом. Вы тогда думали, что я — неудачник, темная личность, шпион. Просчитались, принцесса! Я единственный человек, который еще может спасти Францию...

Муш лежала, как прежде, не двигаясь; голова свисала с подушки. Он крикнул:

— Почему принцесса молчит? Говори, дрянь!..

Он увидел на белых губах пузырьки — такие бывают у новорожденных, брезгливо поморщился и ушел.

25

Под вечер проглянуло солнце, и молочный пар над морем стал бледнооранжевым. Дюны походили на карту луны. Как волосы, чуть приподымались струи песка. Сухие ползучие травы, покрывавшие кое-где темя песчаных гор, казались окаменелостями. А рядом пенилось море — отлив только начинался. Видны были водяные взрывы: от снарядов вода кипела. Несмотря на грохот батарей, весь этот мир был призрачным, неживым.

Люсьену хотелось разодрать туман, сдуть дюны, впустить море. Он шел между дюнами. Где-то рядом — английские пулеметчики, но где, он не знает. Патроны он расстрелял. Одна граната — это все, что у него осталось от беспокойной, взбалмошной жизни... Он глядит на гранату с умилением: так можно дорожить последним глотком воды.

Вот уже одиннадцать дней как идут бои. Ни разу он не взглянул на карту. Море — значит конец!.. Товарищи звали его: там, за клубами тумана — английские суда, жизнь. Он не захотел уйти; день провел с англичанами; потом отбился. Теперь он один среди проклятого песка.

С первого дня боев Люсьен искал смерти, искал настойчиво, навязчиво; шел под пулеметный огонь, полз с гранатой на танки; отстреливался на чердаке бельгийской фермы — хотел задержать немецкий патруль. А смерть, будто нарочно, его обходила.

Он не читал газет; как-то развернул газетный лист — в нем были завернуты помидоры,— прочитал: «Нам поможет мотомеханизированная Жанна д'Арк» и бросил, даже не выругался. Вокруг него товарищи кричали: «Измена!», ругали одни немцев, другие англичан, третьи французских генералов. Он молчал или неестественно громко пел:

Вот вам кузов, вот матрац!
В ухе муха. Бомба — бац!..

Сдались бельгийцы? Чорт с ними! В победу Люсьен не верил: помнил, как носил Бретейлю секретные бумаги; знал, на что годен его папаша или генерал Пикар. Вся

банда с Гитлером. Значит — крышка. К смерти он тянулся от своего прошлого: он коснулся дна и хотел выплыть. А для солдата преданной и разбитой армии не было другого выхода, кроме безрассудной отваги. Опасность очищала Люсьена от папок Бретейля, от долларов, от молодости, помеченной жалким паясничаньем.

За все одиннадцать дней его потряс один эпизод. Он встретился с актером Жантейлем. Кто в Париже не знал Жантейля? Это был баловень судьбы, человек с небольшим талантом, всех веселивший, красавец, жуир, проматывавший свои заработки, будто жизнь — зеленый луг ломберного стола, проглатывавший приданое девушек и сбережения вдов грациозно, как птичка клюет зернышки. Жантейль оказался танкистом. Восемь французских танков, дойдя до расположения противника, остановились: нехватило горючего. Танки отстреливались до вечера. Наутро подоспела помощь. Пять танков сгорели. Жантейль вышел живым. Он как будто почернел; его спрашивали, он молчал. И Люсьен, поглядев на него, вспомнил Анри: несколько минут смогли изменить человека!..

Мир для Люсьена хорошел; люди становились милыми. Много раз он выручал товарищей; делал это просто, не задумываясь. Он обрадовался, увидев море — значит, Альфред спасется!.. А что ему Альфред? Археолог, жук-могильщик, дурачок, который верит в справедливость... Нет, говорил он себе, не в этом дело, Альфред хороший человек. Никогда прежде не могли притти Люсьену в голову такие простые слова; он ценил людей за остроумие, за блеск, за талант. А теперь говорил: «Хороший человек...» И вдруг краснел: вспоминал глаза Жаннет возле аптеки, слезы растерзанной Муш или огромную кровать в спальне Дженни, похожую на золоченый катафалк.

Небольшие отряды, оставшиеся на берегу, задерживали противника. Это был последний день эвакуации. Среди дюн шли мелкие стычки: ползли, настигали друг друга, били гранатами, пулей, штыком. И дрожали, пронизанные солнцем, опаловые столбы тумана.

Люсьен поднялся на верхушку песчаного холма; лег. Отсюда он видел мокрый песок. Вдалеке ползли полу-

раздетые люди; кидались в воду. Многих настигали пули. Подымалась вода, будто выплескивалась огромная рыба. А дальше били фонтаны — от снарядов. Только отчаянная храбрость спасала людей. И другие — еще смелее, еще отчаяннее — на последней гряде дюн ружейным огнем встречали противника. Показались немецкие самолеты; закидали бомбами берег, воду. Начало смеркаться; море стало грязным, холодным.

Люсьен увидел шлем среди сухой травы: внизу ползли немцы. Не помня себя, Люсьен вскочил, вскрикнул, бросил гранату. Вскрикнули дюны. Эхо прокатилось; его покрыл грохот батареи. Тогда один из немцев побежал навстречу Люсьену. Бежал и Люсьен, завязая в песке. Они упали друг на друга, будто обнялись.

Потом Люсьен не помнил, как он справился с немцем; помнил только, что трудно было его отодрать — рука немца вцепилась в шею. Рука была тонкой и сильной, с набухшими жилами. Люсьен смутно подумал: заусеницы — не срезал... А на лицо он не поглядел. К чорту!

Вот и нет последней гранаты... Люсьен побежал по холодному песку — море тоже отступило. Кажется, не добежать... Потом кинулся в воду, поплыл. Он не спасался; он спешил к пулям, к снарядам. Рот был мучительно приоткрыт от напряжения. А рыжие волосы просвечивали, как огонь.

Смерть снова увернулась: он доплыл до английского катера. Ему дали штаны, фляжку с виски. Он выпил и выругался — сон кончился. Англичанин с детской улыбкой, коверкая французские слова, сказал:

— А теперь надо победить...

Люсьен кивнул головой; про себя он добавил: «Надо жить, это легче, легче и тяжелей...»

26

Соседки удивленно шептались: не могли понять спокойствия Аньес. Одни восхищались: «Ну и характер!»; другие злословили: «Наплевать ей на мужа...» Она исправляла ошибки в тетрадках, рисовала листья и тычинки, аккуратно убирала квартиру, вязала штанишки

Дуду. Казалось, ничего не изменилось в ее жизни с того дня, когда принесли желтый казенный пакет. Ей выдали шестьсот франков (столько полагалось за убитого кормильца), сказали: «Распишитесь». Не скрипнуло перо; и глаза у Аньес были сухими. Дуду спрашивал, где отец. Она отвечала: «Скоро приедет». Утром она отводила Дуду к старухе Мелани; та присматривала за мальчиком. И Мелани, глядя на Дуду, часто всхлипывала. Он спрашивал: «Почему плачешь?» Она отвечала: «Болят зубы». Аньес никогда не плакала. Прежде только Пьер догадывался о душевной силе, которая жила в ней, говорил: «Под пули пойдет...» Горе и одиночество изменили даже ее внешность: добрые близорукие глаза стали жесткими; прежде она сутулилась, теперь держалась прямо. Кумушки сплетничали: «Цветет! Увидите — скоро найдет нового мужа.. »

Аньес не плакала и по ночам. Она лежала с раскрытыми глазами, тщетно мечтая о сне; хотела понять случившееся и не могла. За что умер Пьер? Эта мысль не давала ей покоя. Она восстанавливала в памяти их редкие, но горячие споры. Пьер увлекался политикой, верил в революцию, переживал, как свое горе, падение каждого испанского городка. Она с ним не соглашалась, но чувствовала, что он горит, и часто ему завидовала. Когда он уезжал в Барселону, волновалась, как помешанная, ждала звонка, говорила себе — могут убить. А теперь он расстался с ней без слов, без надежды; шел, как осужденный. На вокзале сказал: «Это не наша война...» И вот его убили на чужой войне. О чем он думал в последние минуты? Об Аньес, о Дуду? Или о другой войне, «настоящей»? Напрасно Аньес хотела с ним помириться, понять, услышать, где правда. Вставала, шла к кровати Дуду, подолгу слушала дыхание ребенка. Что, если и Дуду убьют?.. Это все, что у нее осталось — от той жизни, от той весны...

А утром она приходила бодрая в класс; и никто не догадывался, чем полны ее ночи.

Выдержка была врожденной; ее завещали Аньес поколения, привыкшие к суровому труду, к борьбе за кусок хлеба, к потере близких, поколения, похожие на дома парижских предместий, которые впитали в себя дым

уличных боев. Отец когда-то рассказывал, что на войне он все время работал: латал штаны, мастерил зажигалки, чинил рамы в крестьянских домах, убирал сено; усмехаясь, он добавлял: «Вот и выжил...» Так теперь жила Аньес.

На улицах показались беженцы. Увидев автомобиль с простреленным кузовом, из которого выглядывали дети, Аньес вздрогнула. Она не подумала ни о конце Пьера, ни о судьбе, которая, может быть, ждет Дуду; но все же всполошилась; эта истерзанная машина была продолжением ее ночей.

Снова оклеивали оконные стекла тонкими полосками бумаги. Аньес придумала сложный узор: окно будто покрылось инеем: розы, звезды, пальмы. Дуду спросил: «Что это?..» Она ответила: «Самолеты» и тотчас поправилась: «Это сад...» Пришли в голову юношеские стихи Пьера — он ей как-то читал:

Перед смертью человеку снятся пяльцы,
Вышивает шалости зима...

Шли дни; беженцев становилось все больше и больше. Показались жители Лилля, ткачи Валансьена, горняки Ланса, крестьяне Пикардии. Школу, где работала Аньес, предоставили беженцам. И Аньес с жаром отдалась новому делу. Она переехала в школу с Дуду; ухаживала за больными, добывала еду и лекарство, стряпала. На ее руках оказалась большая семья. Она должна была утешать, выслушивать долгие, сбивчивые рассказы. Женщина из рабочего поселка Фурми твердила: «В семь часов... А я знала, что они прилетят». Она не хотела расстаться с детской салфеткой, покрытой бурой кровью; говорила: «Он ел овсянку. Звери!» Бельгийка, жена шахтера, рассказала Аньес, что потеряла в пути свою пятилетнюю дочь. Старик из Рубе искал невестку и внуков. Аньес спрашивала: «Почему ушли?» Одни отвечали: «Страшно! Они низко летают. Рядом с нами попало...» Другие говорили: «Под бошами жить? Нет, мы ученые. В ту войну мы четыре года под ними жили. В Париже не знают, а мы знаем. Они тогда в Рубе заложников расстреляли. А у нас привели Франсуа и Мениля: «Ройте себе могилу». И убили. Детей не жалели, проклятые...» Некоторые признавались: «Ви-

дим, что все бегут, вот и пошли...» Одна работница ругалась: «Пришел Берже. У нас все знали, что он фашист. Кричит: «Скорей удирайте. Убьют». А сам остался — немцев встречать. Предатели!»

Беженцы часто менялись: отправляли эшелоны на юг; приезжали новые. Только старик Рике засиделся: хворал, едва добрался до Парижа. Он рассказал Аньес:

— Старуха моя давно умерла. А сына взяли на войну, не знаю, жив ли. Я один жил. Пришли соседи, говорят: «Боши идут. Уезжаем». Кролики у меня были хорошие. Оставил им кроликов. А собака со мной пошла, замечательная собака. Ее Фолет зовут. Двенадцать лет у меня, я к ней привык. В Компьене нас выкинули из поезда. Пошли пешком. Боши кидали бомбы прямо в нас. Я их с той войны знаю... Разбежались все... Гляжу, нет Фолет...

И Аньес много раз видела, как старик, забывшись, чмокал губами, звал Фолет.

Был хороший летний день, когда на Париж налетели бомбардировщики. Все небо гудело. Тряслись стекла. Дуду кричал: «Бум-бум!..» Аньес чистила картошку; на минуту она отложила нож; и снова взялась за работу. Потом прибежали, говорят: «Две тысячи убитых...» Аньес, перепугавшись, схватила за руки Дуду — могли его убить! И застыдилась: «Чего же я теперь боюсь?..»

Вечером она проходила по набережной. У развалин большого дома толпились люди, разглядывали, ругались, шутили. Кто-то угрюмо сказал: «Так... Аккуратная работа...» Жизнь как будто распалась на составные части: камни, железо, диски, полосы. Аньес наступила на книгу — кожаный переплет, чьи-то инициалы... На уцелевшей стене висел портрет: женщина в подвенечном платье. Вдруг Аньес увидела детскую кровать с сеткой — кровать повисла на решетке балкона. И Аньес, сама не своя, побежала домой. А рядом с развалинами люди смеялись на террасах кафе, и голубели, как небо, сотни сифонов.

В ту ночь Аньес снова видела Пьера: поняла — он ни о чем не думал; ему было больно, холодно, пусто. Хотела его согреть и не могла; металась; бредила. До рассвета кричали зенитки. А Дуду что-то лепетал во сне; простые, детские слова.

27

Тесса проснулся бодрый. Он весело сказал Жолио:

— Они разобьют лоб о линию Вейгана. Вы можете написать, что гигантская битва только-только начинается...

— Написать легко... Дело не в этом... Вы будете надо мной смеяться, но я никогда не скрывал, что я — человек суеверный. Немцев накликали, даю вам слово! Сколько раз все повторяли: «Они придут!.. Придут!..» Вот они и пришли.

— Бабьи разговоры! Начнем с того, что они не пришли. Бои происходят на Сомме...

— Может быть. Я там не был... Но одно я твердо знаю — вчера они скинули бомбы на Марсель. Вы понимаете, что это значит?.. Марсель на другом конце Франции. Кто мог подумать, что они посмеют?.. Теперь все кончено! Можете быть уверены, итальянцы выступят не сегодня завтра. А Вейган снял войска с итальянской границы. Зачем нам эта дурацкая Сомма?..

Тесса махнул рукой — успокойтесь! Рассеянно спросил:

— Вы слушали итальянское радио?

— Час тому назад. Молчат. То есть передавали статью о помпейской живописи. Это плохой признак.

Тесса засмеялся:

— О живописи? Для Виара... Кстати, могу вам сообщить, что наш «доблестный борец» сложил чемоданы. Наверно, удерет. До свидания! Зайдите ко мне вечером, попозднее — я смогу вам сообщить нечто утешительное.

Говоря это, Тесса думал о частичной реорганизации кабинета. Он начал насвистывать арию из «Риголетто». Расстроил его Пикар; пришел непрошенный. Поглядев на него, Тесса сразу понял: дела плохи. Пикар сказал, что немцы форсировали Сомму. Их танковые части продвигаются к Руану. Все решится в течение двух-трех дней.

— Только сумасшедшие могут говорить всерьез об обороне Парижа.

Тесса кивнул головой. Его лицо стало печальным и торжественным: с таким лицом он присутствовал на похоронах министров или сенаторов. Молча он пожал руку

Пикару. А когда генерал ушел, сказал себе: «Роковые минуты! Мы говорили, суетились, надеялись, и вот мы присутствуем при развязке!..» Ему захотелось с кем-нибудь поделиться этой мыслью, но он вспомнил, что нельзя подымать панику.

Приехав на заседание совета министров, он сразу забыл о судьбе Франции. Кабинет, наконец-то, реорганизовали. Некоторые назначения Тесса нашел удачными. Хорошо, что иностранную политику доверили Бодуэну. Друга Тесса Прувo назначили министром информации. Зато Тесса огорчил выбор Дельбоса — это подвох, все знают, что Дельбос — приятель Фуже... Еще больше возмутило его назначение де Голля товарищем военного министра. Безумие! Поставить на такой пост авантюриста!..

Занятый своими мыслями, Тесса плохо слушал — говорили о положении на фронте. Потом он вспомнил слова Пикара и спросил Рейно:

— На что ты, собственно говоря, надеешься?..

Рейно ответил, что поступают подкрепления — с линии Мажино, с итальянской границы. Англичане обещают прислать несколько канадских дивизий. Вчера он обратился к Рузвельту с просьбой о помощи.

Тесса в досаде поморщился:

— Меня интересует, что ты собираешься делать, когда немцы подойдут к Парижу?

Рейно сказал, что правительство переедет в Тур, если нужно будет — в Бордо.

— А потом?

— Если обстоятельства принудят — в Алжир. У нас флот, колонии...

Тесса замолк: зачем спорить с сумасшедшим?.. Это не правительство, это клуб самоубийц. Только Бретейль может спасти Тесса... Но Бретейль не спасет... Тесса вспомнил листовку «верных» и закрыл глаза — ему стало страшно.

Он все-таки поехал к Бретейлю: лучше смерть, чем такое томление. Если Бретейль от него отступится, нужно договориться с Фуже. Или уехать в Америку...

Бретейль сидел неподвижно за письменным столом, прямой, надменный; казалось, что он позирует..

Утром он пережил тяжелую сцену; жена плакала, говорила: «Немцы возьмут Париж. Изверг, ты этого хотел!..» Упреки политических врагов не трогали Бретейля: понятно, что Дюкан или Фуже хотят свалить вину на других! Как будто Бретейль не предупреждал, что война против Германии — преступление!.. Но что он мог ответить жене, которая, вспоминая сына, кричала: «Ты его убил! Ты всех убьешь!»

Глядя на карту, Бретейль задумался. Капитуляция, мир... А что дальше?.. Поймут ли вчерашние враги, что Франция не Албания, да и не Чехия? Могут не понять: это люди другой крови, другого склада. Тогда — конец. Лотарингия, его Лотарингия отойдет к Германии! Потомки будут проклинать Бретейля. Для них шут Дюкан станет героем...

Много лет Бретейль жил, не заглядывая вперед; он повиновался одному чувству — ненависти к Народному фронту. Победы Гитлера, Муссолини, Франко казались ему его победами. Он радовался, что в Праге нет больше Бенеша. Еще недавно, узнав о решении датского правительства, он удовлетворенно усмехнулся: социал-демократы снова легли на спину!..

Почему же он вдруг растерялся?.. Это нервы. Нужно совладать с собой... Теперь Бретейль придет к власти. Он разгонит парламент. Он создаст порядок. Этот порядок придется оплатить унижением, горем, слезами... И все же новая Франция, вдова в трауре, нищая монашенка, будет прекраснее насмешницы Марианны!

Когда пришел Тесса, Бретейль уже не помнил ни упреков жены, ни своего малодушия; был холоден, невозмутим. А Тесса вопил:

— Они сошли с ума! Макака предлагает переехать на Мадагаскар — ему захотелось в девственные леса... А немцы подходят к Руану. Мы должны что-то предпринять! Остались буквально минуты.

— Я тебя предупреждал...

— То есть как?.. Кто мне посоветовал остаться в кабинете? Ты. А теперь ты умываешь руки? (Тесса жестикулировал, подпрыгивая.) Я знаю, что твои «верные» настроены против меня... Но это основано на недоразумении. Ты должен им объяснить. Я и в палату прошел,

опираясь на тебя. Нельзя бросать друзей в критические минуты!..

— Ты напрасно волнуешься. Я хотел сказать, что я предупреждал тебя о бессмысленности сопротивления. А национальные круги тебя очень ценят. В этом доме ты свой. Успокойся! Мы должны обсудить положение, наметить состав правительства...

— Кабинет сегодня реорганизован.

— Это заплата на заплате. Я говорю о новом правительстве. Через несколько дней встанет вопрос о мирных переговорах. Нельзя допустить, чтобы страна осталась без твердой власти. Этим могут воспользоваться коммунисты. Маршал обеспечит преемственность власти. Кроме того, это прекрасное имя — «герой Вердена». Можно будет сделать все в полчаса...

— А Рейно?

— Он удерет. Или мы его отправим в Америку — послом. Значит, старик во главе. Разумеется, Лаваль. Я. Возьмем кой-кого из прежних.

— По-моему, нужно оставить Бодуэна.

— Правильно. Его любят итальянцы. Потом Прувo — это представитель промышленников. Меже считает его очень способным... Я включил в список и тебя.

Тесса не мог скрыть удовлетворения; но для приличия стал возражать:

— Я слишком стар. Лучше взять кого-нибудь из молодых...

— Нет, ты будешь очень полезен. Не нужно, чтобы страна приняла смену кабинетов за переворот. Тормозы — великая вещь. А к тебе все привыкли. Если хочешь, для среднего француза ты — гарантия, что ничего не изменится. В такое тяжелое время самое важное успокоить страну.

Тесса сиял. Мошенник Фуже все придумал! А листовки — это глупая провокация. Бретейль понимает, что он — честный француз... И, забыв про недавние волнения, Тесса принялся обсуждать программу нового правительства:

— Если мы заявим в министерской декларации, что готовы начать мирные переговоры, большинство обеспечено. Я только боюсь, что немцы поставят чересчур

тяжелые условия. От этаких успехов может закружиться голова... Хорошо бы их урезонить. Ты знаешь, в твоем списке недостает одного имени. Конечно, то, что я предлагаю,— смелый шаг, многие сочтут его рискованным. Но теперь надо быть терпимым...

— Ты говоришь о Виаре?

— О Виаре? (Тесса удивленно поглядел на Бретейля.) Это рухлядь! Старая кляча! Он, кстати, наверно, удрал. Нет, я думаю о Гранделе. Мы с тобой старые друзья и можем говорить откровенно. Ты, конечно, помнишь историю с документом...

Бретейль в раздражении ударил линейкой по столу.

— Я уже тебе говорил, что это — фальшивка. Неужели ты сейчас можешь думать о таких пошлостях?

— Ты меня не понял. Я это сказал не для того, чтобы его очернить... Напротив... Но у Гранделя, бесспорно, много друзей в Берлине... Теперь такой человек незаменим...

Бретейль ответил сухо, официально:

— Я нахожу твои догадки неуместными. Конечно, Гранделя знают за границей — он новатор, человек с эрудицией. Он будет очень полезен нашему правительству. Но кого-нибудь нужно оставить в Париже... Нельзя, чтобы столица осталась без крупного политического деятеля. Лаваль и я должны последовать за Рейно, чтобы принять власть. Тебя я не прошу остаться. Ты там нужнее — с твоим знанием парламентских кругов... Кроме того, я не хочу подвергать тебя такому испытанию: французу нелегко увидеть чужих солдат в Париже... Наконец, насколько я знаю, немцы тебя не очень-то жалуют. Им трудно разобраться в наших тонкостях. Для них ты — ставленник Народного фронта, человек с поднятым кулаком...

Тесса опешил. Они долго молчали. В соседней комнате плакала жена Бретейля, и, прислушиваясь к плачу, Бретейль мучительно морщился. Наконец Тесса тихо спросил:

— По-твоему, они скоро придут?

— Вопрос дней, может быть часов...

Тесса ушел от Бретейля растерянный. Его больше не радовало место в новом кабинете. Мир казался ему

непонятным и неприязненным. Вдруг Рейно узнает, что он договорился с Бретейлем?.. Мандель может пойти на все: арестовать, расстрелять... Для них он — изменник. А для немцев он чуть ли не «красный». Какая гнусная вещь политика! Счастливые солдаты — они по крайней мере знают, где враг. А у него враги повсюду...

Тесса съежился. Секретарь сказал:

— Я назначил прием на четверг.

Тесса подумал — несчастные люди, они не знают, что в четверг здесь будут немцы. Никто ничего не знает... Он решил выйти погулять; может быть, на свежем воздухе пройдет эта тошнота...

Черный город был невыносим, полный криков, гудков, непонятных звуков. В подворотнях толпились люди. Тесса услышал:

— Говорят, Гамелен застрелился...

— Рейно удрал в Америку...

— Они-то удерут. А нам расхлебывать...

— Я немцев не боюсь. Мне что — я человек маленький. Меня и немцы не тронут. А бомб я боюсь...

— Немцы — сволочь. Мне отец рассказывал — они в пятнадцатом дядю Жака живым закопали...

— А Тесса уже снюхался с Гитлером...

Голоса замолкли. Тесса стоял в темноте, прислонившись к фонарю. Сердце билось. Ему показалось, что по улице идут солдаты. Он закрыл глаза, сдержался, чтобы не крикнуть. Что за шаги?.. Но это были крупные капли дождя, падавшие на навес кафе.

Никогда в жизни Тесса не испытывал такого страха. Он едва добежал до ворот министерства. Как ребенок, он обрадовался яркому свету в кабинете.

Тогда загрохотали зенитки. Тесса подбежал к окну и сейчас же отбежал. Немцы подходят к Парижу. Для немцев он «красный»... А рабочие говорят, что он снюхался с Гитлером... Все против него. Его приставят к стенке. Или растерзают. Что за грохот?... Наверно, бомба упала рядом... Метят прямо в министерство... По пятьсот кило... Потом нельзя узнать, чей труп... Нужно что-то сделать, спасаться!

Тесса метался по комнате, не зная, на что решиться; садился и снова вскакивал. Его знобило. Наконец он позвонил:

— Приготовьте машину. И баки... Я поеду за город — в ставку.

Когда Жолио в половине двенадцатого пришел за утешительными новостями, ему сказали: «Господин министр уехал в ставку». Жолио не стал переспрашивать. Он понесся домой:

— Мари, укладывайся! Мы сейчас же едем... Этот подлец уже удрал. Ах, собака!.. Утром он мне заговаривал зубы... Когда-то говорили,— крысы удирают с корабля. Ничего подобного — удирают капитаны. А крысу бросили... Но крыса не дура... Скорей, деточка, скорей!..

28

Все последние недели Жаннет казалась озабоченной, рассеянной. На самом деле она ни о чем не думала, ничем не интересовалась. Ее дни напоминали полузабытье тяжело больного. Пустота, которую она почувствовала после разрыва с Дессером, была плотной, душной, непроницаемой.

Жаннет продолжала работать в студии. Кругом говорили о военных событиях, вырывали друг у друга последний выпуск газет. Жаннет не прислушивалась к разговорам. Как всегда, обманчиво значительным голосом она продолжала расхваливать пилюли или ликеры, а потом повторяла перед микрофоном высокие, никому не нужные слова: дерево, тишина, ветер. Она давно перестала отличать стихи от рекламы. Да и то, что говорили до нее дикторы, казалось ей рекламой какой-то странной фирмы: «Потоплено регистровых брутто-тонн... Замечены масляные пятна...»

В воскресенье она бродила до вечера, стараясь забыться среди шума и суеты. Был чудесный день; и парижане, забыв о мрачных слухах, заполнили Булонский лес, играли в теннис, гребли, на тенистых террасах кафе тянули зеленую мятную настойку или золотистый оранжад. Малыши лепили из песка замысловатые пирожные.

Жаннет увидала нарядного дрозда; он прихорашивался клювом. Она уныло сказала: «Дрозд», и птица улетела. В одной из темных аллей Жаннет обогнала парочку: солдат и девушка в розовом платье, веснушчатая, доверчивая. У солдата было по-детски важное лицо, черные усики. Он держал в руке каску. Девушка плакала. Он говорил: «Все кончится хорошо, увидишь...» И Жаннет позавидовала: какое это счастье — так расстаться! Ведь она осталась без надежды, без слез, даже без грусти.

В понедельник Жаннет просидела все утро дома с закрытыми ставнями: не хотелось видеть света. А выйдя днем на улицу, она обомлела — Парижа нельзя было узнать. Магазины и кафе были заперты; на дверях белели листочки, дрожащей рукой было выведено: «Закрыто». Возле некоторых домов суетились люди, забивали щитами окна, выносили чемоданы, узлы, нескладно сложенные пакеты. Трудно было перейти улицу: непрерывной цепью двигались автомобили; на кузовах лежали тюфяки; из машин выглядывали перепуганные заплаканные лица.

Еще вчера парижане удивленно спрашивали беженцев: «Почему не подождали?.. А линия Вейгана?..» И вот двинулись парижане; они неслись к вокзалам; взбирались на крыши грузовиков; умоляли шоферов: «Спасите!..» Город пустел с каждым часом — продырявленный мешок, из которого сыплется мука.

Перед министерством пенсий стояли грузовики: вывозили зачем-то мебель — столы, шкафы, конторки. Старая женщина глухо, как граммофонная пластинка, повторяла: «Возьмите и меня! Возьмите и меня!» Жаннет в ужасе спросила:

— Господи, да что ж это?..

Старуха тупо на нее поглядела:

— А вы не знаете? Немцы в Руане.

Она уронила кошелку; оттуда все посыпалось: моток шерсти, полотенце, свечи, апельсины. Старуха заплакала. Заплакала и Жаннет. Надо что-то делать! Сейчас они придут, будут бросать бомбы, стрелять... Жаннет заметалась. И вот с этой минуты ее не стало: еще одна щепка неслась по смутным, отчаявшимся улицам.

Вдруг Жаннет остановилась — куда ей ехать?.. Встал бездушный Лион, старческий оскал отца. Потом она вспомнила Флери, синюю листву виноградников, жаркий день, тишину — только мухи жужжат... И Жаннет захотелось жить, сильно, как никогда. Жизнь, бывшая к ней такой немилостивой, показалась лакомой. Уехать!

Она добралась до Лионского вокзала. Еще издали она увидела широкую улицу, забитую толпой. К площади нельзя было подойти. Цепи полицейских едва сдерживали народ.

— Сволочи! Сами убежали, а нас оставили!..

— Изменники!..

— Мы-то в мышеловке...

Полицейские неуверенно отвечали, что вечером будут поезда. Толпа не редела. К обеду люди проголодались, обессилели; стали искать, где еще открыты лавчонки; примостившись на тротуарах, закусывали. Выглядело это, как огромный табор. Старый рабочий, аккуратно отрезав ломоть хлеба и несколько кружков колбасы, сунул еду Жаннет. Она хотела поблагодарить, но ничего не могла вымолвить, только пошевелила губами; и есть она не могла; ей казалось, что у нее жар.

Ночь наступила раньше обычного: черный туман покрыл город. Говорили, что горит Руан. Кто-то пытался успокоить людей: «Это — дымовая завеса...» Женщины, обезумев, кричали в темноте. Жаннет задыхалась. А утром, чуть рассвело, новые толпы заполнили квартал. Но поездов не было.

Жаннет побрела по улице, дошла до набережной. Теперь ее изумленные, невидящие глаза никого не поражали — такие глаза были у всех. Прохожих останавливали; спрашивали, где достать чемодан или ручную тележку; делились новостями: «Они в Мант...», «В Шантильи...», «На Елисейских полях парашютисты...», «Поезда уходят с вокзала Аустерлиц...», «Нет, не уходят...», «Продали, продали!»

Девушка жадно ела рогалик и плакала. Проехал генерал; старичок поглядел на него и тонким голоском крикнул: «Доигрались!» А в переулке ревела девочка, прижимая к себе огромную безголовую куклу.

На углу улицы Сен-Жак была открыта булочная. Жаннет услышала запах свежего хлеба и будто очнулась — ей снова захотелось жить. Она стала лихорадочно думать: «Что делать?» Побежала в студию. Ворота были заперты: даже сторож уехал. Тогда она вспомнила про Марешаля. Когда она вбежала к нему, он запихивал в чемодан книги, термос и негритянского божка; божок не влезал, высовываясь, хитро улыбался.

Марешаль бормотал:

— Последняя новость — итальянцы объявили войну. Понимаешь, ждали до сегодняшнего дня... Шакалы!.. А правительство убежало... Вот тебе и «до победного конца»!.. Машин сколько хочешь. Мы купим вскладчину. Гранде ищет бензин. Если достанет, возьмем и тебя.

Она обрадовалась:

— В Флери, хорошо?

Бензина не достали. Гранде пришел на рассвете, весь серый:

— Шарль вчера уехал и вернулся пешком. Бензина нет, чорт бы их побрал! Вот если бы достать лошадь! Это самое верное... А на Пер-Лашез поставили орудия, я сам видел. Солдаты куда-то уходят. Ничего нельзя понять... Говорят, будто Америка объявила войну. Не верю...

Марешаль кричал:

— Ни газет, ни радио — все удрали! Ты понимаешь, бросили Париж!

Отдышавшись, он сказал Жаннет:

— Придется пешком...

На минуту Жаннет оживилась — что-то проснулось ребяческое: уйти в Флери пешком!.. Она побежала к себе:

— Другие туфли надену, в этих не дойти.

Оживление быстро прошло. Страшная суета улицы, где гудели автомобили, где люди толкались, кричали, плакали, навела на нее тоску. Куда бежать? Да и зачем? Ей всюду будет плохо...

Хозяйка гостиницы встретила ее, как близкого человека:

— Вот хорошо, что не уехали! Ведь никого не осталось. Паника, стыдно глядеть! Почему они убегают, ска-

жите мне на милость? В четырнадцатом немцы были в Мо. И тогда удирали. А они не вошли. Молочница мне сказала, что сегодня привезут сорок дивизий. Значит, отгонят...

Жаннет молча кивала головой. Она просидела, не двигаясь, час, может быть два. Солнце теперь нагревало маленькую комнату хозяйки, служившую конторой гостиницы. На камине играл котенок, он хотел поймать солнечный зайчик. Жаннет поглядела на него и вскочила — только бы жить!

Она побежала к Марешалю; на двери была записка: «Жаннет, я буду ждать до четырех возле метро Денфер-Рошеро». Жаннет в страхе поглядела на часы. Три. Значит, успеет... Зачем-то она купила в случайно открытом магазине одеколон. Приказчик долго заворачивал бутылочку, а она молила: «Скорее!..»

Как случилось, что она спутала станцию? До пяти прождала она возле метро Алезия. Потом вынула из сумки записку, и все завертелось перед глазами. А у Денфер-Рошеро никого не было. Она побежала на почту — заперто. Да и все заперто... Телефон она нашла только у себя в гостинице. Она позвонила Дессеру. Теперь не до чувств. Он ее вывезет. Никто не ответил. Вытащив записную книжку, она звонила по всем номерам, даже не задумываясь, кому звонит. Раздавались монотонные гудки. И в ужасе Жаннет сказала: «Никого!..»

А хозяйка успела повидаться с шурином: он ей сказал: «Никаких дивизий. В городе остались только полицейские и пожарные. Генерал поехал в Шантильи к немцам...» С севера доносилась канонада. Услышав, как Жаннет сказала: «Никого», хозяйка всплеснула руками и начала суматошно собираться.

Жаннет поднялась к себе. Она долго стояла у окна. По длинной улице все шли и шли люди. Некоторые толкали ручные тележки; там лежал скарб; иногда на тележке сидела старуха или тявкала собачонка. Все ставни были закрыты наглухо. И Жаннет снова сказала: «Никого!..»

Вот человек, обезумев, тащит на спине кресло. Мальчик несет деревянную лошадь — не захотел оставить. Старушка с птичьей клеткой. Человек в пенсне с порт-

фелем и с кошкой; кошка выбивается, орет. Везут в тачке бабушку. Женщина несет на руках двух малюток. Еще мчатся последние велосипедисты. До чего страшно в пустом городе!..

И Жаннет сбежала вниз. Хозяйки уже не было; она ушла, бросив все; не предупредила Жаннет; даже не заперла своей комнаты. Жаннет пошла посредине мостовой. Пахло гарью; трудно было дышать — это горели нефтехранилища. Потом пошел дождь, от гари он был черным. По лицу Жаннет текли черные слезы. И ни о чем не думая, подчиняясь толпе, с широко раскрытыми глазами, она оставляла зачумленный город.

29

Все утро Аньес искала газету. В некоторых еще открытых киосках лежали старые еженедельники; потом закрыли киоски. Говорили, что газет больше не будет. Но под вечер Аньес услышала крик газетчика, вырвала из его рук лист. На первой странице она увидела фотографию — набережная, женщина купает собаку и подпись: «Париж остается Парижем». Аньес рассердилась: ей всунули старую газету! Нет, дата — 10 июня... Побежала в школу — там радио. Передавали молебен; американский посол Буллит поднес статуе Жанны д'Арк красные розы, с резким англо-саксонским акцентом он восклицал: «Спаси их, Жанна!..» Потом раздались звуки танго:

Ойле, ловеласы,
Зачем вам ананасы?

И, наконец, диктор, отчеканивая слоги, сказал: «Наши доблестные альпийские стрелки продвигаются к востоку от Нарвика...»

Рике в тревоге спрашивал:

— Что передают?

— Ничего. Наверно, ждут донесений. Скажут завтра.

Но наутро радио молчало. И Аньес охватило отчаяние. Первой мыслью было — уехать. Добраться до Дакса, к отцу. Туда немцы никогда не дойдут...

Она прошла по пустым комнатам; тряпки, жестянки из-под консервов. Еще вчера здесь жили беженцы. Только Рике остался; стонал: «Не могу с места сдвинуться...» Он не спросил Аньес, что она собирается делать; понимал, что уйдет. Но все-таки жадно следил за каждым ее движением: а вдруг не уйдет? Больше всего он боялся остаться один.

— Все ушли,— сказал он.— А что в городе?

— Уходят.

И, помолчав, Аньес добавила:

— Я не уйду.

Он хотел улыбнуться, но лицо скосила конвульсия. А она, прижав к себе Дуду, думала: почему она решила остаться? Может быть, пожалела Рике? Но у нее Дуду... Нужно спасти мальчика. Конечно, в пути легко потерять. Вот бельгийка потеряла дочь. А здесь будут бомбить. Опять — две тысячи убитых... Еще страшней. Почему же она не уходит?.. Это было вспышкой гордости. Час тому назад она растерялась, услышав у приемника вместо слов ровный, пустой шум. Ей казалось постыдным это общее бегство. Она обрела волю, подобие действенности — остаться в брошенном всеми Париже.

Прибежала Мелани, уговаривала ехать с ней:

— Нас рабочие возьмут. У них четыре грузовика. Все-таки там свои...

Аньес ответила, что решила остаться. Мелани рассердилась: значит, правда, что говорили — Аньес бесчувственная, ей все равно, кто убил ее мужа. Остаться с немцами!.. Она сказала:

— Дело ваше.

Накормив Рике, Аньес вышла на улицу. Люди еще шли. Как ей хотелось уйти с другими! Она угрюмо повторяла: «Нельзя». На стене мэрии висел крохотный листок. Наверху значилось: «Французская республика. Свобода. Равенство. Братство». Аньес прочитала: «Париж объявлен открытым городом. Военный губернатор генерал Денц». Рядом стоял старичок в соломенной шляпе. Аньес спросила:

— Что это значит «открытый город»?

Старичок пожал плечами:

— Не знаю. Может быть, что не крепость. Или по просьбе папы. Во всяком случае, сударыня, невесело...

Подошел рабочий, прочитал и крикнул:

— Сволочи, сторговались!..

Один его глаз плакал, другой, фарфоровый, равнодушно глядел на Аньес.

Толстый усатый полицейский, ухмыляясь, рассказывал:

— Нас оставили — для порядка. Открытый город — это чтобы не убивали. Теперь скоро мир подпишут.

А люди уходили, Аньес глядела на них с завистью — когда идешь, можно не думать.

Вечером она пыталась успокоить Рике:

— Напечатано «открытый город», значит, не будут стрелять и бомбы не будут кидать.

— Я бомб не боюсь. Когда мы шли, они все время кидали. Я боюсь, что они придут.

Она отвернулась; впервые за все время она заплакала; поняла, что, как Рике, боится одного: придут!.. До этой минуты она оставалась вне событий; думала — не все ли равно?.. Такие же люди, только одеты по-другому... И вдруг схватило за сердце: «Неужели придут?.. Немцы в Париже!..» Она повторяла эти слова, и слезы текли, текли.

Она выбежала: не могла сидеть на месте. По крутой улице спускались солдаты, грязные, усталые. Они тоскливо поглядывали на забитые окна домов; едва шли; торопились выбраться из города. Аньес дала одному хлеба и шоколада. Он поглядел на нее и тихо сказал:

— Спасибо. Прощайте.

Не могла она забыть его глаз. И почему он сказал такое непривычное «прощайте»?..

Вернувшись домой, она кинулась к радио. Из Тулузы передавали речь Рейно; он говорил, что обратился к Рузвельту с последним призывом; голос его едва доходил. Потом епископ призывал к покаянию: «Это божья кара»... Смутный рокот. И вдруг близко, как в соседней комнате: «Радиостанция «Национальное пробуждение». Сдавайтесь! Мы организовали тайные отряды. В Арле шестнадцатый отряд расстрелял всех масонов и марксистов. В Гренобле сорок седьмой отряд...»

Рике попросил:

— Прикрой! Не могу я их слышать!..

Аньес не легла; ночь она просидела у черного окна; слушала гул моторов, раскаты орудий; томилась над Парижем, как над покойником. А утром вышла с Дуду — может быть, раздобудет молока для мальчика и Рике. Нет, все лавки заперты. Да и людей не видно. Вот только женщина толкает тележку с детьми. Значит, еще уходят...

Из-за угла выбежал солдат; чем-то он ей напомнил Пьера — смуглый, большие белки глаз.

— Как пройти к Порт д'Орлеан? Скорей!..

Она показала дорогу и спросила:

— Где они?

Солдат махнул рукой и побежал. Аньес пошла дальше. Закрыты все ставни. Ни души. Часы на площади показывали три — остановились. И тихо-тихо...

Потом раздалось гудение. Самолеты летели очень низко; были видны черные кресты на крыльях. Аньес подумала: «Сейчас бросят бомбу». И удивилась своему спокойствию — убьют Дуду, а ей все равно. Значит, она сошла с ума, ничего больше не понимает...

Они дошли до бульвара, и вдруг Аньес остановилась: навстречу шли немцы. В открытом автомобиле сидели солдаты с винтовками. И Аньес, ни о чем не думая, закрыла рукой глаза Дуду — только чтобы он не видел! Она ничего не соображала; не хотела смотреть и жадно вглядывалась в чужие лица. А в голове вертелось одно: вошли! вошли!

Шла кавалерия. Лошади остановились; мостовая заблестела от лошадиной мочи. Аньес разобрала на мешке с мукой надпись «Лилль». Проехал в машине офицер; у него был шрам на щеке; он презрительно улыбался. В глазу посвечивал монокль. Другой держал фотографический аппарат, снимал... Кажется, снял ее... Надо уйти, а ноги не идут... И снова солдаты... Что-то едят... Молоденькие... Почему столько в очках?.. Близорукие, как она... Нет, чужие... И как это страшно!.. Вошли!.. Вошли!..

Аньес стояла у ворот. Оттуда выглянула старая женщина в черной наколке, увидела немцев, заплакала и нырнула назад. Пробежали две проститутки, сильно нарумяненные; они смеялись и махали офицеру платочками.

Вдруг Дуду весело сказал:

— Мама, сколько солдат! А папа придет?

— Молчи! Это немцы!

Она испугалась своего голоса. А Дуду заплакал. Она сжала его руку и кинулась в узкую улицу — скорей бы добежать домой!..

Полуденное солнце было нестерпимым, и на солнце гнили отбросы. Возле каждого дома стоял мусорный ящик; его вынесли три дня тому назад, когда в городе еще были люди. У ворот школы лежала туша. Сладковатый запах гнилого мяса окутывал улицу. Поджав хвосты, бродили брошенные собаки; они грустно обнюхивали мостовую, потом подымали морды к небу и выли.

В коридоре Аньес увидала Рике. Он лежал плашмя; руки сжимали косяк приоткрытой двери; из запавшего рта высовывался язык. Дуду спрашивал:

— Что с дядей?

Аньес молчала. А с улицы доносились бравурные звуки марша.

30

Андре застрял. Когда он сообразил, что немцы подходят к Парижу, не было ни поездов, ни машины. А пешком уйти он не мог: с трудом волочил больную ногу. Дом, где он жил, опустел. Два дня Андре слушал военную музыку и топот солдатских шагов. Еды не было, но он не чувствовал голода. Он не пытался понять, что приключилось; лежал на диване, как срубленное дерево; иногда забывался. Никогда прежде ему не снилось столько снов. В этих снах все путалось: он лежал у пулемета, среди яблонь, отец подавал ленту, потом вдруг — свадьба, Нивелль разносит сидр, а Жаннет говорит: «Меня обвенчали...» Но с кем? И, просыпаясь, Андре недоуменно оглядывал тусклую мастерскую. Он — в Париже. И в Париже — немцы...

Внизу горланили солдаты. Он их не видел; не подходил к окну. Говорил себе: «Как глупо, что меня не убили!..»

На третий день постучали в дверь. Андре встал, постарался выпрямиться. Кто теперь может притти? Да только

они... И он ощерился. Но в дверях стоял Лорье с черной повязкой на глазу.

— Значит, и ты остался? — спросил Андре.

— Все давал — деньги, часы. Один шофер хотел взять, потом раздумал. А у меня мать-старуха, куда я с ней пойду... Андре, ты понимаешь, что случилось?

— Нет. И не хочу понять.

— Мы какой-то холмик защищали. А они? Они Париж бросили..

Андре молчал.

— Ты здесь один живешь?

— Один. Я при них еще не выходил. А нужно выйти — табаку больше нет.

На улице Шерш-Миди не было ни души. Табачная лавка оказалась запертой. Андре вдруг остановился: до чего красиво!.. Город будто очистили. Такими он видел эти старые улицы только на рассвете; но теперь был полдень с ярким светом, с короткими тенями. И тишина... Должно быть, так проходят туристы по улицам Помпеи. Туристы... А они — жители. Он сказал Лорье: «Мы жители Помпеи»,— и уныло засмеялся.

Вот здесь были сыры, а там трубки. Антиквар Боло сдувал пыль с фарфоровых пастушек. Жозефина готовила рагу. Что это?.. Он прежде не замечал на фасаде угольного дома пеликана, который кормит своей кровью птенцов. Пеликану пятьсот лет, пеликан видел и не то... А может быть, и не видел — кормил птенцов, не смотрел...

Лорье рассказывал:

— Мать плачет — что ты будешь делать с твоей гитарой?.. Делать действительно нечего. Разве что играть на немецких свадьбах...

Он хотел развеселить Андре, попробовал улыбнуться. Его лицо с одним погасшим глазом походило на дом после бомбардировки, и Андре отвернулся.

Они стояли возле булочной. Андре вдруг почувствовал голод. Они вошли. Это была нарядная булочная, обслуживавшая посольства и особняки Сен-Жермена. Владелица, женщина лет пятидесяти, розовая от румян, с пышным бюстом, говорила покупательнице:

— Все уверяли, что придут дикари. А они очень вежливые. И за все платят...

— Моя хозяйка говорит, что они наведут порядок, научат наших рабочих работать. И хорошо сделают!..

Андре жевал плюшку; с мякишем во рту он сказал:

— Хорошая у вас хозяйка!

Кассирша ему шепнула:

— Это — экономка госпожи Меже. Вы как будете платить — франками или марками?

Андре усмехнулся:

— Марок еще нет — не заработал. Я ведь не господин Меже...

Кассирша не поняла насмешки, деловито сказала:

— Говорят, будто эти марки — не настоящие. В Германии они не ходят. Но я думаю, что это вздор. Они ведь порядочные люди и не станут расплачиваться фальшивыми деньгами...

Андре хлопнул по плечу Лорье:

— Слыхал? Госпожа Меже... Наш Фрессине уже тогда все понял... И застрелился. Ему теперь хорошо. А что мы с тобой будем делать?..

Он шел по улице, где знал каждый дом, каждый фонарь; но в этом городе он был чужестранцем.

Плюшка придала ему аппетит. Они зашли в ресторан. За всеми столиками сидели немцы. Они ели жадно, быстро поглощали огромные блюда, пили вперемежку пиво и шампанское. Здесь чувствовалось веселье победителей, не в флагах, не в фанфарах, но в этой отрыжке наконец-то наевшихся всласть людей. Яичницу из десяти яиц! По курице на человека! Пять бутылок шампанского! Новенькие марки хрустели в руках хозяина, услужливого и сладкого, с бегающими глазами.

Андре и Лорье старались не глядеть на соседей, ели молча, сосредоточенно, будто выполняли тяжелую работу.

Вдруг Лорье отодвинул тарелку, побледнел.

— Что с тобой?

— Видишь?..

Он показал на большое зеркало, поверх которого было написано: «Здесь евреям не подают». Андре пробурчал:

— Что же, декорируют в честь новых хозяев...

— Да, но я... (Лорье едва говорил от волнения.) Я ведь еврей... Никогда прежде я об этом не думал...

Андре встал, не доев, расплатился. Подбежал хозяин, угодливо спросил:

— Хорошо ли вы пообедали, сударь?

Андре поглядел на него с отвращением:

— Зачем вы написали эту пакость?

Тот зашептал:

— Ничего не поделаешь... Мы должны считаться со вкусами наших клиентов. Не подумайте, что я... Это — для них...

Тогда Лорье, глядя на него чересчур блестящим глазом, крикнул:

— А это для кого? Для них или для вас?

Он показал на другой глаз, прикрытый повязкой.

Они пошли назад; шли молча. О чем тут говорить? На холме, у пулемета, они были свободными, они могли убежать, могли выбрать между жизнью и смертью. А теперь нужно подчиняться. Переставить часы на берлинское время — вот на стене приказ. Переставить мысли, чувства. А потом?.. Играть на немецких свадьбах? Взять кисти и писать рубенсовские пиры берлинских бухгалтеров?.. Молчи, Андре, больше нет ни красок, ни туманностей, ни Жаннет!..

На скамейке сидел подвыпивший бродяга. У него были лукавые глаза. Рядом стояла пустая бутыль. Пьянчужка бормотал:

— Мир?.. Дайте мне гербовой бумаги, я подпишу... А почему мне не подписать?.. У меня горло пересохло, мне пить хочется...

По улице Шерш-Миди теперь маршировали молодые солдаты; глаза у них были очень светлые и пустые. Они громко пели; серые столетние дома слушали непонятную песню. Один солдат остановился, поглядел на улицу, узкую, как щель, и засмеялся:

— Грязный город! А еще Париж... Это город для негров...

Он зашагал дальше. Андре сказал:

— А мы еще гадали, что будем делать. Очень просто — будем чистить Париж: он теперь не для негров... И не для французов...

Молодые прошли; за ними плелись сорокалетние; эти казались усталыми и грустными. Может быть, они вспоминали ту войну — победы, а после разгром, голод, унижение.

Возле дома, где жил Андре, стояла молочница с двумя детишками. Она глядела на немцев и плакала; сквозь слезы поздоровалась с Андре, сказала:

— Вы только подумайте!.. Не могу привыкнуть...

К ней подошел один из солдат, немолодой, изможденный, стал что-то говорить, видимо утешал. Она не понимала слов. Тогда солдат вынул фотографию: он был снят, одетый по-воскресному, в шляпе, украшенной перышком; рядом стояли четверо детей. Боясь, что она не поняла его, он показывал на пальцах: четверо... Он гладил детей; но они испуганно прятались за мать. Молочница поблагодарила, даже заставила себя улыбнуться. А когда солдат отошел, она сказала Андре:

— Самое ужасное, что мне на минуту стало жалко его... Теперь не нужно жалеть... Теперь нужно...

Нельзя было ее понять — слезы прерывали слова.

Медленно, с трудом подымался Андре по винтовой лестнице.

— Вот и наша высота! Давай курить. А что делать, я не знаю. В тридцать шестом я что-то понимал. Или казалось, что понимаю... У меня был приятель Пьер. Его убили возле Страсбурга. Нет, и Пьер не понимал, но он горячился — верил. Тогда был народ. Люди говорили, спорили, смеялись. А теперь мы с тобой одни... Если бы ты знал, как я запутался! Да и все запутались... Не знаю, право, можно ли жить?.. А в Париже немцы...

Лорье не ответил. Они долго сидели друг против друга; молча курили. Только пение доносилось, громкое, переходившее в крик.

31

Жаннет шла, не останавливаясь, до рассвета. В темноте раздавались шаги, плач детей, далекие выстрелы. Утром Жаннет, вместе с другими, упала на вытоптанную траву. Она проспала несколько часов и вскочила от гро-

хота. Вдали она увидела облако пыли. Люди лежали плашмя, будто хотели врасти в землю. Потом мимо Жаннет пронесли девочку; у нее был распорот живот.

Жаннет прошла еще двадцать километров. Больше не было сил; горели ноги; мучил голод. В деревушке, куда они пришли, жителей не было; все убежали. Люди стояли перед закрытой лавкой. Кто-то крикнул:

— Да чего тут!.. У меня дети второй день не ели...

Лавку разгромили. Летели бутылки, жестянки. Старуха вся вымазалась в варенье. Рабочий дал Жаннет коробку консервов и бисквиты. Жаннет боялась отстать от людей, с которыми шла раньше, даже не от людей — от отдельных примет: от косм старухи, от матроски мальчика, от тачки с гремевшим на ней чайником. Она побежала вдогонку и на ходу жевала.

В другой деревне еще было несколько крестьян. У двери одного дома стояла пара — муж и жена. Жаннет попросила стакан воды. Женщина в злобе сказала:

— Это вам не Париж! Мне в колодце брать... Дайте франк...

Муж удивленно на нее посмотрел, точно прежде не видел, и крикнул:

— Стерва!

Потом все загудело. Люди заметались, попадали на землю. Жаннет обдало теплой пылью. Когда она пошла дальше, долго слышался истошный крик женщины — убили ее мужа.

Повстречали солдат; они стояли возле дороги. Беженцы спрашивали: «Где немцы? Будут ли защищать левый берег Луары?» Солдаты ругались:

— Дермо! Кто их знает?.. Полковник уехал. Говорят, немцы на левом берегу. Тогда нам крышка... Очень просто — Даладье за это пять миллионов получил. Разыграно, как по нотам... Ах, подлецы, убить их мало!..

Один, крохотный, с огромным бинтом вокруг головы, подбежал к Жаннет и стал кричать:

— За Испанию — раз! За чехов — два! А кому платить? Я плачу. Они в Бордо уехали. Ты мне скажи, сколько человек может терпеть?

Жаннет посмотрела на него и беззвучно ответила:

— Много.

Ночью беженцы приютились в церкви. Пахло ладаном и сухими цветами. Рядом с Жаннет мать бережно кормила грудью ребенка. Старуха возле алтаря стонала; к утру она притихла. Когда сквозь цветные стекла пробились малиновые лучи, она лежала неподвижно, острый нос глядел в купол: уснула или умерла — никто не знал.

Жаннет, сидя, дремала. В полусне проносились обрывки воспоминаний; чаще всего она видела июльскую ночь, когда шла по узкой улице с Андре, голубого слона карусели, фонарь и поцелуй под широким каштаном.

Все зашевелились и, кряхтя, двинулись дальше. Только старуха осталась в залитой солнцем беленой церквушке.

Около полудня с холма Жаннет увидела Луару — блеснула вода. И Жаннет подумала: «Значит, спаслась!» Как всем, ей казалось, что стоит перейти Луару, и на том берегу — жизнь.

Кругом валялись сожженные или брошенные машины. Деревья были расщеплены. Висели порванные провода. Жаннет наткнулась на труп лошади; торчали большие желтые зубы; лошадь как будто улыбалась. В стороне от дороги лежала раненая женщина; возле нее сидела другая, закрыв лицо рукой. Город Жиен был разрушен. Среди мусора валялись кастрюли, книги, солдатские подсумки. На случайно уцелевшей стене висел яркий плакат: «Замки Луары — жемчужина Франции».

Жаннет с трудом пробиралась между развалин. Солнце было горячим. Трупный запах шел от камней — под ними лежали мертвые. Иногда торчала голова, высовывались ноги в дамских туфлях, старческие руки. Жаннет шла, как лунатик; ничего не видела, но шла к реке.

Вдруг она остановилась, вскрикнула: мост был взорван. Она села на камень и стала ждать смерти, как несколько дней тому назад ждала поезда, тупо и напряженно, ничего не видя, не думая ни о чем. И когда налетели немецкие самолеты, обдав пулеметным огнем дорогу, возле которой лежали измученные беженцы, Жаннет не двинулась с места. Она, наверно, осталась бы до утра на этом камне, если бы к ней не подошли

другие. В общем несчастье родилась участливость: делились едой, помогали нести раненых, даже привели старухе отставшую собачонку. Какие-то люди сказали Жаннет:

— Внизу лодки.

Жаннет пошла за ними.

На том берегу она рассмеялась; ей хотелось сказать деревьям: «Вот и я, живая!..»

Она начала подыматься на холм. Она едва жила. Ее окликнули:

— Жаннет!

Не сразу она узнала в грязном, обросшем щетиной солдате Люсьена. А он тряс ее руку и смеялся. Четыре года они не видались. Только раз Люсьен ее увидел в фойе театра и постарался уйти незамеченным. Теперь он от радости смеялся: ведь какое это счастье — встретить Жаннет в такое время, напасть на нее среди десятков тысяч! Он чувствовал, что никогда не переставал ее любить. Все, что было потом,— игра в заговор, Дженни, дюны — только длинный дурной сон. Вот она говорит, он слышит ее голос!..

Жаннет спрашивала:

— Люсьен!.. Что же это случилось? Это такое горе! Знаешь, на том берегу... Женщин, детей... Сейчас мальчика убили... Я ничего не понимаю...

Люсьен усмехнулся:

— На одной этой дороге тысяч двадцать беженцев погибло. И сколько таких дорог!.. Я на севере видел... Мы идем, а впереди беженцы — нельзя пройти... Перед беженцами немцы... Ты не понимаешь? Они этого хотели — завели армию в западню и удрали. Хотели, чтобы нас расколотили, вот и все. Мой папаша в том числе... Сколько раз он говорил: «Немцы и то лучше!..» Вот тебе и «лучше»!

Он грустно погладил руку Жаннет.

— Тебе надо итти — они будут бомбить. Видишь, сколько солдат... А офицеров? Три. Остальные удрали. Говорят, что мы будем защищать этот холм. Не верится... Все время так — окопаемся, ждем, потом приказ — отступать. А они бомбят... Иди, Жаннет!

— Люсьен, как же ты здесь останешься?

— Я?.. Я был в Дюнкерке... Может, лучше, если убьют...

— А я боюсь. Мне, Люсьен, жить хочется...

Она крепко его поцеловала и пошла дальше. На верхушке холма она остановилась. Солнце, заходя, было очень большим и красным. Отсюда не было видно разрушений, и жизнь представлялась мирной, полной зелени и свежести. Широкая, но мелкая Луара лениво посвечивала вдалеке. Песчаные острова были покрыты кустарником. Возле Жаннет два дерева стояли важные, как часовые на постах; темные листья вырисовывались на небе. Те деревья, что были подальше, казались синими. В некошеную траву ныряли ласточки. Далеко басом лаяла собака. Беленький домик, наверно брошенный хозяевами, манил к себе — приют мира!.. Жаннет подумала: «До чего хорошо!» Вытащила из сумки бисквит. Ее охватила простая радость жизни.

Тогда снова послышалось знакомое гудение. Она послушно упала на траву. Как это делали прежде другие, она старалась стать плоской, незаметной, зарыться в траву. А трава изумительно пахла — детством Жаннет, первыми ее веснами. Сердце билось. Шум нарастал. Она еще успела подумать: «Здесь, наверно, растет мята, ведь это мятой пахнет».

Агония длилась недолго. Платье и трава вокруг были в крови. Лицо у Жаннет было спокойное. Поднялся ветер; он приподымал ее длинные вьющиеся волосы. А большие совиные глаза удивленно глядели на первые, еще бледные звезды.

32

Тесса завтракал в ресторане «Золотой каплун» с испанским послом. Разговор предстоял тяжелый; но тонкость бордоской кухни и прославленный погреб ресторана смягчали горесть положения.

Тесса пережил ужасную неделю. В Тур он приехал за два дня до своих товарищей по кабинету; только благодаря этому он получил приличное помещение. А потом министры метались, как бездомные бродяги... Город бом-

бардировали: Рейно знал одно: писал телеграммы Рузвельту. Тесса острил: «Наш премьер превратился в специального корреспондента Юнайтед пресс...» Беспорядок был такой, что одна из телеграмм Развельту провалялась ночь на телеграфе. А немцы продвигались каждый день на пятьдесят километров. Дороги были забиты беженцами.

Тесса старался почаще встречаться с Бретейлем; но тот был угрюм, малообщителен; говорил, что жена заболела нервным расстройством. Немудрено! Тесса не понимает, как это он не заболел. Только Лаваль сиял; его белый галстук казался убором молодожена. Но Лаваль не обращал на Тесса внимания. Что касается министров, они носились бессмысленно из замка, где жил Рейно, в город, искали пропавшие чемоданы и отмахивались от секретарей, пристававших с глупыми расспросами: «Когда мы уезжаем?..»

На заседании кабинета Тесса предложил начать мирные переговоры. Рейно его прервал: «А наши обязательства?.. Нужно подождать, что ответит Рузвельт...» Мандель пристально взглянул на Тесса, и Тесса отвернулся. Этот человек на все способен! Для него Тесса — предатель. Даже дети знают, что, когда Мандель решил когонибудь погубить, можно писать некролог... Страшное лицо — ни кровинки!.. Инквизитор!..

Помощь пришла неожиданно: генерал Пикар потребовал, чтобы его допустили на совещание — чрезвычайно важное известие. Обычно спокойный, Пикар был страшен. Он шамкал, и Тесса вдруг увидел, что у Пикара нет зубов. Как он мог потерять челюсть?.. Тесса не сразу понял, что говорит генерал. А тот повторял: «Да, да, коммунистический переворот!.. Чернь осаждает Елисейский дворец... Возникли большие пожары...»

Тесса в ужасе закрыл глаза. Он не боялся ни бомб, ни снарядов. Он даже приучил себя к мысли, что может попасть в плен. Это ужасно, но немцы — культурные люди, они не станут обращаться с министром, как с преступником. Только коммунисты пугали Тесса. После разговора с Дениз он понял, что красные его ненавидят. Если они захватят власть, ему не миновать пули. И потом, какое несчастье для Франции!.. Когда немцы войдут в Париж, это будет днем национального траура. Но все-

таки немцы лучше коммунистов. Немцы подымут над Елисейским дворцом свой флаг, но дворца они не тронут. А коммунисты все сожгут, как в семьдесят первом. Уже начали жечь... Это фанатики, звери!

Мандель связался с Парижем и полчаса спустя заявил: «В Париже полный порядок». Пикар попробовал спорить; но потом с самодовольной улыбкой сказал: «Конечно! Генерал Денц — мой друг. Это один из лучших полководцев. Он отдал полиции приказ стрелять по провокаторам, которые вздумают оказывать противнику вооруженное сопротивление».

Тесса повторял: «Пора уезжать из Тура!» Прошли еще сутки. Немцы снова продвинулись на пятьдесят километров. Это был отвратительный день — четырнадцатого июня. Он всегда думал, что четырнадцать для него фатальное число... Четырнадцатого умерла Амали. Тесса сидел в парикмахерской, когда ему сказали, что немцы взяли Париж. Он был подготовлен к событию, но все же не выдержал и воскликнул: «Какое горе!..» А парикмахер закричал: «Уходите! Я не могу работать!..» Наверно, парикмахер был коммунистом...

Вечером Тесса уехал в Бордо.

Это было позавчера, но ему кажется — сто лет назад. Сколько он пережил! Он перестал различать дни. Немцы продолжают наступать; они дошли до Луары. Хорошо тем, кто остался в Париже — для них все кончено!.. А здесь нужно что-то делать, решать. Черчилль шантажирует. Говорят, что в Бордо приехал де Голль. Кто знает, не связан ли он с коммунистами?.. Здесь много портовых рабочих; префект сказал: «Опасный элемент»... Нужно прогнать Рейно, а Лебрен все еще колеблется. Сидит и плачет... Слезы не по сезону. Теперь нужна твердая рука!

Бретейль поручил Тесса переговорить с испанским послом: Берлин должен сообщить условия. Бретейль добавил, что от этого разговора многое зависит. Тесса был горд своей миссией и в то же время подавлен. Он старался расположить к себе испанца. Когда посол начал хвалить бордоское вино, Тесса дипломатично возразил: «Я пробовал вашу «риоху», она не уступает нашим лучшим сортам». Вздохнув, он сказал:

— Мой сын был консулом в Саламанке во время вашей национальной эпопеи. Он дружил со многими фалангистами, активно помогал генералу Франко.

— Где теперь ваш сын?

Тесса ответил не сразу. Он покраснел — до чего жарко в ресторане!..

— Погиб. Его убили коммунисты.

После каплуна на вертеле Тесса, наконец-то, заговорил о деле: каковы условия Берлина? Испанец сначала отвечал туманно: не стоит останавливаться на деталях; должно быть взаимное понимание; победители не хотят унизить Францию. Когда он перешел к тому, что назвал «деталями», Тесса почувствовал в спине холод:

— Но это невозможно!

— Конечно, в некоторых пунктах мыслимы изменения. Как я вам говорил, самое существенное — установить контакт. Многое зависит от судьбы вашего военного флота... Берлин сомневается, сможет ли маршал, придя к власти, заставить всех подчиниться его приказам. В частности, немцев беспокоят некоторые нездоровые настроения в Марокко и в Сирии...

— Это недоразумение. Во Франции нет человека более авторитетного, нежели герой Вердена...

— Тем лучше... Вы правы, арманьяк здесь волшебный...

После завтрака Тесса поспешил к Бретейлю.

— Немцы сошли с ума! Условия неслыханные, скажу прямо — недостойные! Боюсь, что Рейно прав — придется улепетывать на Мадагаскар...

Увидев, что Бретейль не изумлен немецкими требованиями, Тесса успокоился:

— Конечно, нужно смотреть на вещи трезво... В общем это не так страшно, как мне показалось на первый взгляд. Я думаю только, что не стоит сейчас оглашать условия: сначала подпишем, потом напечатаем. Иначе этим могут воспользоваться коммунисты. Или де Голль. Кстати, он в Бордо. Интересно, что он здесь делает?.. Да, нам предстоит пережить несколько тяжелых дней. А потом все войдет в норму...

Вечером Рейно подал в отставку. Тесса сердечно поздравил Петэна.

— Ваш ореол победителя...

Старческим, глухим голосом маршал ответил:

— Благодарствую.

Поздно ночью Тесса продиктовал Жолио состав нового правительства: толстяк уже успел выпустить в Бордо крохотное издание «Ла вуа нувель». Тесса сказал:

— Конечно, министерский кризис прошел не по этикету. Но у маршала был готовый список... Декларацию не удалось огласить в палате. Ничего не поделаешь — мы теперь на положении беженцев.

Жолио спросил:

— Каковы условия немцев?

— Этого я не могу сообщить — государственная тайна. Скажу одно — условия вполне совместимы с нашим достоинством. На другие условия маршал никогда не пошел бы...

Жолио недоверчиво прищурил один глаз:

— Достоинство вещь растяжимая. Меня интересует, пустят сюда немцев или нет? Я, наконец-то, нашел плохонькую типографию. И потом нельзя жить в автомобиле!..

— Вы можете здесь обосноваться — Бордо станет второй столицей.

Часы тянулись, как месяцы. Немцы медлили с ответом; продвигались вперед. Дважды в день Тесса подчеркивал на карте города, захваченные противником: Орлеан, Шербург, Рени, Дижон, Бельфор. На четвертый день он приказал убрать карту. В унынии он сказал Потмаре: «Скажи мне лучше, какие города у нас еще остались?..»

Шотан вдруг заявил Тесса:

— Они хотят нас добить. Условия таковы, что под ними не подпишется ни один француз.— Усмехаясь, он добавил: — Разве, что твой Грандель, но он остался в Париже...

Тесса обиделся:

— С каких пор Грандель «мой»? И я вовсе не настаиваю на капитуляции. Я хотел почетного мира, это естественно. Если нужно, мы уедем. В Алжир. Может быть, для начала в Перпиньян — оттуда легко выбраться — через Порт-Вандр.

И Тесса начал думать о сопротивлении. Долго разглядывал карту; беседовал с генералом Леридо; обратился по радио к стране:

— Солдаты и моряки! Перемирие не подписано. Борьба продолжается. Рука об руку с союзниками защищайте нашу честь на суше, на море и в воздухе!..

Вечером он вышел погулять — у него болела голова, он хотел проветриться. Возле порта его узнали грузчики; стали кричать:

— Хорошо бы изменников выкупать!.. Или на фонарь!..

Тесса увидел такси — это было спасением. Несмотря на духоту, он поднял стекла: ему казалось, что его преследуют. Он поехал к Бретейлю.

— Шотан опять интригует. Хочет, чтобы мы переехали в Перпиньян, а потом в Африку. Это проделки Черчилля. Шотан всегда был падок на деньги. Вспомни только дело Ставицкого... Я считаю, что нужно принять немецкие условия. Мы катимся к революции, к анархии!

Немцы все еще медлили с ответом. Они наступали на Бордо.

Рано утром Тесса проснулся от грохота: бомбардировщики летали низко над городом. Час спустя Тесса доложили: «Семьсот жертв...» Пришлось поехать в госпиталь. Зрелище раненых детей и запах эфира доконали Тесса. Он визжал: «Мы посылаем телеграммы, а они отвечают нам бомбами!»

Прибежал мэр Бордо Марке, требовал, чтобы правительство уехало — нужно спасти город. Началась паника. Весь день Тесса провел у испанского посла. Вечером он гордо сказал Жолио:

— Можете успокоить население. Немцы обещали маршалу не трогать город.

На следующий день он раскаялся — зачем он говорил с Жолио? В Бордо кинулись отовсюду толпы обезумевших беженцев. Нельзя было проехать по улице. В булочных не было хлеба. Люди спали на площадях. А к городу все неслись и неслись люди. Тесса вызвал префекта:

— Никого не впускайте в город, не то мы погибнем. Поставьте полицейских с автоматами. На армию нельзя положиться — солдаты разложились, они пропустят кого угодно: беженцев, немцев, коммунистов.

Когда Тесса сообщили, что город Тур сопротивляется, он вышел из себя: сумасшедшие! Зачем озлоблять Гитлера?.. И правительство по предложению Тесса объявило все города Франции «открытыми».

Тесса снова выступил по радио. Его голос дрожал от волнения:

— Мы надеемся, что наши противники проявят благородство. Французский народ всегда был реалистом. Мы умеем глядеть правде в глаза. Если нам придется вложить меч в ножны, мы скажем — дух непобедим! Но, увы, в настоящий момент танки сильнее духа!..

Он сидел измученный; по лицу струился пот. Вдруг вошел Вайс. Тесса удивился — почему впускают без доклада?.. Забывают, что он — министр, что Бордо теперь — столица!

Вайс протянул бумажку:

— Подпишите.

— Что это?

Вайс объяснил: многие летчики хотят улететь в Англию; необходимо воспрепятствовать; сделать бензин негодным.

— Но это не мое ведомство... Обратитесь к генералу...

Вайс зло усмехнулся:

— Генерал, когда нужно, неуловим. А дело срочное. Я вам советую не быть формалистом. Названия министерств никого больше не интересуют. А за каждый ускользнувший самолет вы будете отвечать перед немцами. Вы меня понимаете?

Тесса хотел крикнуть: «Наглец! Шпион!» Но он не крикнул; растерянно он поглядел на Вайса; потом вынул ручку, прищурил глаза и подписал. Вайс вежливо поблагодарил.

33

Тур держался. Защитники города дважды уничтожали понтоны. С удивлением поглядывали немцы на серый островок домов, перед которым посвечивала Луара. Через Тур шла дорога в Пуатье и дальше на юг. Неожиданная заминка нервировала наступавшую армию. Один из немецких генералов, любивший похвастать своей начитан-

ностью, говорил офицерам: «Что вы хотите — эти лягушатники защищают родину Бальзака...»

Как случилось, что Тур не был объявлен открытым городом? Говорили, будто мэр призвал население к обороне, и тогда солдаты, пристыженные отвагой жителей, решили не отступать. Говорили, будто первые атаки были отбиты ранеными, находившимися в местном лазарете. Легенды рождались в погребах, где среди бочек луарского вина прятались жители; батальоны становились дивизиями. Рассказывали о каких-то таинственных снарядах, уничтожающих немецкие танки. Никто не понимал, почему Тур еще держится. Видимо, даже в дни паники находятся смелые люди. Защищали Тур два батальона; к ним присоединились сотня раненых и некоторое количество добровольцев — пожилых людей, проделавших прошлую войну, или подростков, не призванных в армию.

Среди защитников находился депутат парламента, лейтенант Дюкан. Солдаты назвали его «дедушкой» — он сильно постарел за этот год. Все, чем он жил, оказалось вымышленным. Дюкан не был слеп; он видел свою ошибку; но втайне он надеялся, что кровь самоотверженных людей воскресит старую, знакомую ему по книгам, Францию. Оборона Тура была для него последней милостью судьбы.

Тридцать пять лет тому назад Дюкан пошел на литературный вечер. Он тогда был некрасивым подростком с большими оттопыренными ушами, мечтавшим о карьере летчика. Поэт Шарль Пеги читал стихи:

Блаженны погибшие в правом бою
За четыре угла родимой земли!

Пеги убили в первый день битвы, которая потом была названа Марнской. Он не знал, что эта битва закончится победой; он умер, видя разгром, панику, бегство; умер, защищая Париж. И Франция победила. Теперь Дюкан часто повторял любимые строки. Стихи Пеги поддерживали его в минуты отчаяния. Он старался не думать о том, что происходит в Бордо. Измученный, много ночей не спавший среди грохота снарядов и криков раненых,

Дюкан еще верил в победу: оборона небольшого города была для него битвой за Францию.

Немецкие батареи, расположенные на правом берегу Луары, старательно уничтожали Тур. Им помогали бомбардировщики. Тяжелые бомбы сносили старые дома с лепными фасадами, с колоннами, с башнями. У защитников не было продовольствия, не было перевязочных средств, не было снарядов. Французские орудия замолкли; только пулеметный огонь задерживал противника.

К концу второго дня выпала короткая передышка. В одном из домов, выходивших на набережную, Дюкан и сержант Майо ужинали — солдаты принесли им хлеб и огрызок колбасы. Они громко жевали: в непривычной тишине этот звук был уютным. В комнате было темно — окна завалили мешками с песком. Мебель напоминала о прошлой жизни; буфет, а на нем фаянсовые чашки с розовыми петушками. На полу валялись гильзы, пустые жестянки, обрывки писем. В соседней комнате отдыхали солдаты.

Кто-то включил радио. Из Бордо передавали речь Тесса. Министр нового правительства говорил о танках и о «бессмертной душе». Дюкан крикнул:

— Заткни глотку, подлец!

Солдаты рассмеялись:

— Он дедушке есть не дает.

Радио выключили. А сержант Майо с седой щетиной на лице, с красными воспаленными глазами вдруг сказал Дюкану:

— Почему вы им помогали?.. В тридцать шестом. Вы честный человек. Кажется, мы отсюда не выкарабкаемся. Я хочу понять...

— Понять?..— Дюкан усмехнулся.— Я сам ничего не понимаю. Белое оказалось черным, черное — белым.— Вот мы и ослепли. Или наоборот — что-то начали видеть, не знаю. Есть честные люди. Англичане не сдадутся. А наша судьба...

Он махнул рукой. Майо сказал:

— В ту войну я был на севере, в Аррасе. Город буквально снесли с земли. Теперь в начале войны я снова попал в Аррас. Смешно! Гляжу — за двадцать лет люди отстроили город. Там было спокойно — тыл — Бельгия.

Никто не думал... И вот снова... Когда мы отходили от Арраса, ничего не оставалось — мусор, труха... Будут снова отстраивать. Чепуха! Разве можно так жить? Что-то нужно изменить, и всерьез...

— Вы коммунист?

— Нет. Я был учителем. Голосовал против вас, за Народный фронт. Но политикой не занимался. А теперь я дошел до отчаяния. Вчера капитан Греми мне сказал: «Вы плохой француз...» Неужели все так и останется?..

Дюкан крикнул:

— Если мы выживем, я первый скажу — нет!.. Но теперь не время... Скажите, неужели вы не будете... (заикаясь, он едва выговорил) защищать город?

Ответил грохот снаряда — пауза кончилась.

Третий день решил все; немцы ворвались в Тур. Горела библиотека. Бои шли на узких улицах между набережной и бульварами. Солнце, пробиваясь сквозь дым, было грязно-розовым; пахло гарью.

Дюкан стоял возле чердачного оконца. Перед ним были черепичные крыши, длинная извилистая улица. Стреляет он неплохо... Когда-то в маленьком городке, где вырос Дюкан, на Троицу открывалась ярмарка. Дюкан не умел ухаживать за девушками; заикался, стыдился своего уродства. Он расцветал у тира; все стояли, охали: «Ну и стреляет!..» Это было тщеславием подростка. Теперь это последняя надежда. Он себя дешево не продаст!..

Вдалеке он заметил немцев; они шли гуськом, прижавшись к серой стене. Улицу пересекала баррикада; бочки, выброшенная из домов мебель, тюфяки.

Вдруг Дюкан увидел французского солдата. Это сержант Майо... Что он делает? Сумасшедший!.. Майо бросился навстречу немцам; потом остановился, кинул гранату. Три немца остались на мостовой; остальные убежали. Дюкан, не помня себя, ревел:

— Здорово, сержант! Здорово!..

Майо стоял, не двигаясь, будто окаменел. Раздался залп; он вскинул руки и упал.

Снова показались немцы. Дюкан стрелял без промаху. Немцы не выдержали, побежали назад к набережной.

Дюкан вытер рукавом мокрый лоб, схватил фляжку — его давно мучила жажда. Он не подумал, что немцы могут подойти с соседней улицы — по крышам. Он увидел перед собой рослого рыжего солдата. Они долго боролись. Дюкану удалось повалить немца.

Была минута тишины. Жужжал залетевший в комнату шмель. Дюкан подобрал винтовку, прицелился — по крышам ползли немцы. Он еще два раза выстрелил. Успел подумать: «Это девятый!..» Потом зашатался и упал — шумно, как дерево.

34

Тесса лежал на кушетке в изнеможении. Мухи не давали ему покоя, садились на нос, на темя, щекотали уши. Он не мог двинуться; мечтал уснуть, но сон не шел. Он чувствовал длину каждой минуты. А когда-то незаметно пролетали дни, месяцы... В ужасе Тесса подумал: «Где теперь Дениз?..» Ее схватили немцы. А Полет, наверно, погибла. Не то она разыскала бы его — министра легко разыскать. Все говорят, что на дорогах трупы беженцев... Да и Люсьен вряд ли уцелел, это — сорви-голова, такие гибнут первыми...

Что будет дальше? Лаваль улыбается. Марке горд бордоскими винами. Бретейль коротко отвечает: «Обойдется». И ни единого проблеска... Немцы продолжают наступать; заняли Брест, Лион. Они в Ла Рошели, а это возле Бордо... Парламентеры уехали: среди них Пикар. Но кто знает, что им скажут?.. Может быть, немцы нарочно тянут? В стране неспокойно. Поммаре говорит, что в Марселе коммунисты кричат на всех площадях... Да и здесь препротивное настроение... (Тесса вспомнил свою встречу с рабочими, громко вздохнул.) Конечно, Вайс — нахал, но он прав: за самолеты придется отвечать... Некоторые радикалы собираются удрать в Африку. Это не так глупо... Тесса предлагали место на пароходе «Массилья». Он готов был согласиться. Но Бретейль сказал: «Пассажиров «Массильи» мы приставим к стенке...» И Тесса поспешно воскликнул: «Правильно! В такие минуты не покидают родину!..»

Раздался телефонный звонок: Тесса вызывали на заседание.

Увидав, что Лебрен сморкается, Тесса понял — новости невеселые!.. Бретейль монотонно, как поминальную молитву, прочитал немецкие условия, переданные по проводу генералом Пикаром. Тесса возмущенно крикнул:

— Позорные условия!

Бретейль сухо посмотрел на него:

— Не следует забывать, что мы разбиты.

— Я понимаю...— Тесса кивал головой.— Лично я за то, чтобы подписать...

Полуживой от усталости, он подошел к микрофону; откашлялся; и бодро, как в былые годы, начал речь, обращенную «к нации»:

— Не будем падать духом! Условия перемирия, подписанные нашими делегатами, тяжелы, но не позорны. Это — почетные условия. Вся моя жизнь тому порукой!

А после, выпив стакан минеральной воды, слабым голосом сказал Бретейлю:

— Только смотри, чтобы не напечатали!.. До того, как солдаты сложат оружие... Зачем играть с огнем?.. Среди них достаточно горячих голов...

В Бордо возвратился Пикар. Тесса тотчас поехал к нему — его разбирало любопытство.

— Как все было? Я говорю об атмосфере...

Генерал поглядел на него тусклыми, пустыми глазами:

— Мне стыдно за мой мундир.

— Но все же?.. Меня интересуют детали.

— Детали? Пожалуйста. Нас отвели в палатку. Там стоял стол, на нем графин с водой, чернильница, перья. Офицер сказал: «Мы вас принимаем великодушно, неправда ли?» — и показал на графин. Потом он обратился к своим коллегам и сказал: «Я не маршал Фош...»

— Но он? Как держался он?

— Он похож на какого-то актера кино. Бегал, суетился, речь произнес — у него хриплый голос. Он стоял на поляне и ногой топтал траву — хотел показать: топчу французскую землю. Вот и все. А об остальном я не расскажу даже себе — слишком стыдно...

Прошло еще три дня. Тесса много работал. Повседневные заботы отвлекали его от раздумий. Приходилось заниматься всем: принимать журналистов и проверять полицейские кордоны, следить за подвозом муки и ублажать испанского посла. А тут еще подоспела реорганизация кабинета: ввели двух новых министров.

Парламентеры теперь направились в Рим. Все ждали развязки. Немцы продолжали бомбить города. Жолио каркал:

— Я никому больше не верю... Вы увидите, что они придут в Бордо...

Наконец условия перемирия были преданы гласности. Бретейль предложил устроить «день национального траура». Тесса рассмеялся:

— У него одна мысль — как бы помолиться. Любит ладан.

Решили отслужить торжественную панихиду. На богослужении присутствовали Петэн и все министры. Тесса надел черный галстук — как на похороны. Возле собора несколько человек прокричали: «Да здравствует маршал!» Тесса обиделся: опять выделяют премьера!..

Во время панихиды он скучал; лезли в голову дурацкие мысли. Вдруг Полет не погибла, а сошлась с кем-нибудь?.. Виар, наверно, радуется, что не вошел в кабинет, потом скажет: «У меня руки чистые, я не подписывал...» Через два дня придется снова переезжать... Ох, как глупо вышло!.. А у Гитлера маленькие усики, как у Чаплина. Жарко!..

Когда Тесса выходил из собора, к нему подошел пожилой человек, благообразной наружности, с ленточкой в петлице. Тесса вежливо спросил:

— Что вам угодно, сударь?

Вместо ответа незнакомец ударил его по лицу. Тесса схватился за щеку и, еще ничего не соображая, крикнул:

— Но почему?..

Обидчик, глядя на него темными злыми глазами, ответил:

— У меня два сына погибли...

Он не договорил — его увели полицейские. Собралась толпа. Старая женщина в трауре плакала. Кто-то хихик-

нул: «Съездили по морде...» Тесса поспешно сел в машину.

Он еще не оправился от потрясения, когда прибежал Жолио:

— Вы меня снова подвели. Оказывается, они занимают по договору Бордо. Я не понимаю, как вы не отдали им Марселя?..

Напрасно Тесса пытался его успокоить; говорил, что в Клермон-Ферране прекрасные типографии, что газета там расцветет — он ей устроит субсидию. Толстяк вопил:

— Нужна мне ваша помощь! Грош ей цена... Можно быть лакеем у господ, но не лакеем у лакеев! Лучше в Марселе продавать ракушки...

Жолио еще долго бушевал; потом поплелся в гостиницу, где его ждала Мари; он не сразу пришел в себя; выпил целый сифон; наконец сказал:

— Тесса едет в Клермон-Ферран. Четвертая столица. Потом будет пятая... Но с меня хватит! Точка. Все равно Францией правят немцы. А тогда лучше вернуться в Париж. Там по крайней мере у нас квартира.

— Но что ты будешь делать в Париже?

— То, что делал. «Ла вуа нувель». Как будто немцам не нужны газеты! А кто в меня кинет камнем? Тесса? Ему только что дали по морде, щека припухла. Хоть какое-нибудь удовлетворение...

Несколько дней спустя правительство выехало в Клермон-Ферран. Тесса уложил документы в поместительный портфель, проверил замки чемоданов. Потом он выглянул в окно и отскочил; по улице маршировали немцы. Нарядный лейтенант снисходительно оглядывал редких прохожих. Тесса обиделся: не могли подождать до вечера!.. Все-таки неудобно — суверенное правительство и рядом — оккупанты... Что подумают за границей? Он спустил бархатные шторы, точно хотел отгородить себя от немцев.

Секретарь сказал, что машина будет через час — исправляют мотор. Тесса прилег перед дорогой. Золотые пятна солнца, пробиваясь между шторами, прыгали по стене. Вдруг он увидел глаза своего обидчика, жесткие, металлические глаза. Что с ним сделали? А нужно понять чувства отца... Дениз... Люсьен...

И Тесса позвонил префекту:

— Я обращаюсь к вам с просьбой. На меня было совершено сегодня нападение. Благодарю вас, хорошо... Я прошу вас освободить этого человека. Он сказал мне, что его сыновья погибли на фронте. Вы — отец семейства, вы понимаете, какое это горе!.. Можно потерять голову... У меня тоже двое детей... Да, да, погибли...

Тесса едва договорил: его душили слезы. Пришел секретарь:

— Машина подана.

Тесса привел себя в порядок. Через несколько минут в машине сидел человек, который понимает, что он облечен доверием нации.

35

Правительство обосновалось в Клермон-Ферране, потому что окрестности этого города изобилуют минеральными источниками; кругом расположено много курортов с комфортабельными гостиницами. Лаваль остановился в Клермон-Ферране; другие министры облюбовали кто Виши, кто Мондор, кто Бурбуль. Тесса счел наиболее пристойным Руайя — здесь задержали комнаты для президента республики.

Большая кондитерская «Маркиза де Севиньи» была переполнена. На улице толпились люди, ожидая, когда освободится столик. Прельщал беженцев не столько густой шоколад, которым славился Руайя, сколько общество — после пережитых ужасов приятно было встретить знакомых, очутиться в своем кругу. Казалось, сюда перебрались все кафе Елисейских полей: и «Рондпуань», и «Мариньи», и бар «Карльтон», и былая резиденция Люсьена «Фукет'с».

Госпожа Монтиньи, задыхаясь от жары и горя, рассказывала:

— Мне пришлось за неделю до катастрофы вернуться в Париж — муж заболел ангиной. А потом мы еле выбрались. Это была ужасная поездка! Возле Невера мы оставили наш «кадильяк» — не было бензина. Нас довез до Виши какой-то мошенник. Но я надеюсь, что машина цела...

Модный драматург за другим столиком жаловался:

— Шестнадцатого должна была быть премьера... А десятого все началось... Теперь неизвестно, когда откроется театральный сезон...

Биржевик кричал своему собеседнику — глухому, с аппаратом возле уха:

— Не имея курсов Нью-Йорка, трудно сказать что-нибудь определенное. Но я не продавал бы... Как только все уляжется, эти бумаги пойдут в гору.

Дессер, до которого доходили рассказы, сетования, пророчества, мучительно усмехался. Они еще не поняли, что случилось; думают — через неделю или через месяц возобновится прежняя жизнь.

Почему Дессер пришел сюда? Он не любил фешенебельных заведений, шоколаду предпочитал вино. А теперь щебет растерянных и растерзанных дам, причитания мужей с запыленными саквояжами, лай японских собачек и той-терьеров, вздохи («У меня пропал чемодан в Мулене»), восторги («Я дал швейцару три тысячи и получил комнату»), вся суета встревоженного света и полусвета были ему вдвойне противны. Но он хотел доконать себя. Увидев, как Тесса зашел в кондитерскую, Дессер остановил машину.

Он слушал щебет и задыхался. Вся низость тут, вся грязь! Перед его глазами еще была кровь. Он проехал по дороге, которую звали «Лазурной» — она ведет из Парижа в Ниццу. Прежде по ней неслись спортсмены, дамы в коротких штанишках, снобы, любители юга или рулетки. По этой дороге двинулись беженцы. Над ними низко кружили немцы: усмехались и давали очередь... Дессер видел братские могилы. Он видел тысячи бездомных. Парижские автобусы стали домами; в них ютились счастливцы. Голодные солдаты бродили по полям, искали свеклу или репу. Кричали, как помешанные, женщины: они звали пропавших детей. Вместо городов были развалины. Мычали недоенные, обезумевшие коровы. Пахло гарью, трупами.

Вспомнив «Лазурную дорогу», Дессер закрыл глаза. Он очнулся от смеха Тесса:

— И ты тут? Мир действительно тесен! Пережить все,

что мы пережили, и встретиться у «Маркизы де Севиньи»!..

Дессер молчал. Тесса не унимался:

— Ты плохо выглядишь. Нехорошо, Жюль, нужно взять себя в руки! Я лично боялся худшего. А все обошлось... Ты знаешь, наши дурачки — Мандель и компания — хотели удрать в Африку. Но мы их не пустили. В такие минуты должно быть единство нации... Теперь скоро все кончится — немцы пойдут на Лондон. Дело двух-трех месяцев... Мы вышли из игры, и это наш плюс. Что ты собираешься делать? Ты можешь нам помочь — теперь начнется экономическое восстановление. Почему ты смеешься? Я говорю вполне серьезно...

Дессер больше не смеялся; он сказал задумчиво:

— Это хорошо, что ты ничего не понимаешь... Пей шоколад и не думай! Ведь ты — клоп. Не сердись на меня, но ты — старый почтенный клоп. И ты жил в старом почтенном доме. Теперь дом сгорел. А клоп еще жив. Но сколько ему осталось?.. Мне тебя жаль — вот такого, как ты есть...

— Пожалей лучше себя! Меня нечего жалеть! — Тесса кричал от обиды. — Я не Фуже! Я человек новых концепций... Это ты цеплялся за прошлое: Народный фронт, либерализм, Америка... Мы очистим страну от гнили... Я подготовляю текст новой конституции. Мы возьмем у Гитлера самое ценное — идею сотрудничества классов, иерархию, дисциплину и прибавим наши традиции, культ семьи, французское благоразумие, а тогда...

Дессер не слушал; он задумчиво повторял:

— Бедный старый клоп...

Тесса ушел. Дессер еще сидел. Он больше не прислушивался к разговорам, не разглядывал соседей. Наконец он поднялся, неуверенной походкой прошел к двери. Кто-то громко сказал:

— И Дессер здесь!.. Значит, все в порядке...

Он не обернулся; может быть, не расслышал. Он снова видел Париж, окутанный черным туманом, беженцев с тележками, горы мусора. Это та Франция, которую он хотел отстоять, спасти, Франция его детства, рыболовов, китайских фонариков, «Кафе де коммерс»... Когда-то он

показал Пьеру на светившиеся окна тихой, заброшенной улицы — ели суп, готовили уроки, вязали набрюшники, ревновали, целовались. Больше ничего нет: черные окна, как выколотые глаза, расщепленные бомбами стены, а на площади Конкорд — немцы... Нужно додумать, сделать выводы. Он хотел спасти... И кормил клопа, сотни клопов... Любил скромные кабачки и миллионы. Все было ложью! Поэтому и Жаннет терзалась... Да, за всю свою долгую жизнь он полюбил одну женщину, взбалмошную, никчемную, добрую. Что с Жаннет?.. Может быть, она бродит рядом, ищет ночлега? Или погибла на дороге? По старенькой улице маршируют солдаты, серо-зеленые... Он ей не может помочь. Он всех губил.

Давно исчезли гостиницы, магазины, автомобили. Потянуло свежестью пастбищ. Темнозеленая трава радовала глаза, измученные рябью жизни. Дессер правил, не задумываясь, куда едет. Зачем-то повернул направо; дорога шла в гору. Прохладно... И до чего хорошо! Он остановил машину, вышел. Местность была пустынной; впервые за долгое время Дессер оказался один. Он с нежностью глядел на луга; цветы желтые, розовые, лиловые. Вот эти, кажется, называли «львиным зевом»... Какое детское имя!.. А дальше темносиние горы; на них облака — это овцы.

Воздух был настолько чистым, что Дессер стоял и дышал, изумленный. Все последнее время ему казалось, что он задыхается. А здесь сердце часто билось; стучало в висках; уши наполнял глухой гул.

Он подумал о Бернаре; это был его давний друг. Бернара знали все как опытного хирурга. Вчера Дессеру рассказали, что он застрелился. У него было лицо ибсеновского пастора — сухое и суровое. Но он любил жить, копался в грядках, играл с дочкой... И вот Бернар застрелился — увидел немцев под окном и написал на листке из блокнота: «Не могу. Умираю».

Когда-то смерть пугала Дессера — необычностью, непонятностью. Теперь он подумал о конце Бернара, как о мудром, но житейском деле. Он вдруг понял, что смерть входит в жизнь; и смерть перестала его страшить.

Он прошел по лужайке до дерева; смешно шагал — не хотел примять цветы. Дерево напомнило ему Флери, встречи с Жаннет.

Увидим вместе мы корабль забвенья
И Елисейские поля...

Вот они, поля забвенья, Элизиум!..

Со стороны это было диковинное зрелище — старый человек, тучный и неповоротливый, в длинном пальто, шагал по лужайке, размахивал руками, бормотал: «Зерно... любовь... холод...» Но кругом никого не было. Только на горе пастухи разводили костер; до них еще не добрались ни хрип радио, ни агония беженцев; они жили прошлым покоем.

Солнце зашло за гору. И смерть сразу приблизилась; она была легким туманом. Туман этот жил, дрожал, передвигался, как овцы. Дессер рассеянно улыбнулся, вынул из брючного кармана большой револьвер и жадно губами прильнул к дулу, как в зной, погибая от жажды, к горлышку фляги.

Эхо повторило выстрел. Пастухи насторожились: вот и к ним подбирается злая война...

36

Стоял конец июня, но луга Лимузена были ярко-зелеными, как в мае. Часами Люсьен глядел на зелень: она успокаивала. Потом он вставал с земли и шел дальше. Он не знал, куда он идет; давно бы залег под большим ясенем и забылся; подымал его голод. Он как-то усмехнулся: последнее живое чувство!.. Он ел морковь, свеклу. Иногда встречный солдат, грязный и небритый, как Люсьен, делился с ним хлебом. Иногда в деревне давали миску парного молока; и теплый запах хлева — прежде Люсьена от него мутило — казался чудом, остатком былой молодости, запахом жизни.

Люсьен вырезал себе палку. Еще неделю тому назад он числился солдатом восемьдесят седьмого линейного полка. Но армии больше не было, и Люсьен считал себя бродягой. В одной деревушке он услышал по радио речь

отца, объявившего о перемирии. Старуха, стоявшая рядом с Люсьеном, сказала: «Кончили? Ну и хорошо», и погнала дальше свинью, розовую, как «ню» живописца. Солдаты выругались; а Люсьен, изумленный, вслушивался в тембр голоса: да, это голос отца... Встало далекое детство. Отец говорит над кроватью больного Люсьена: «Амали, кошечка, не отчаивайся! Наука всесильна...» Теперь Тесса говорит: «Душа бессмертна...» А Жаннет хотела жить... У немецких летчиков должны быть чертовски крепкие нервы — в упор расстреливают женщин, детишек... Значит, отец получил индульгенцию от Бретейля. Может получить Железный крест от Гитлера... Люсьен протяжно зевнул. Даст кто-нибудь молока или нет? Но до него мимо этой деревушки уже прошли тысячи солдат. Крестьяне испуганно запирали двери домов, а старуха, которую он догнал, закрыла руками розовую равнодушную свинью, завизжала: «Ничего у меня нет, ничего!..»

В этот вечер Люсьен был особенно голоден. Он пригрозил винтовкой старухе. Та перестала визжать, но еще крепче сжала в руке веревку, к которой была привязана свинья, и зашептала: «Не дам!..» И Люсьен сплюнул: «Возни много»; он думал не о старухе — о свинье.

Он пошел дальше. Неподалеку от дороги стояла ферма. Ставни были закрыты наглухо. Крестьяне боялись ночью выглянуть. Только, не умолкая, лаяли собаки. Люсьен кричал: «Хлеба дайте, негодяи!» Никто не отвечал. А собаки сходили с ума. Люсьен постоял и пошел в сторону к маленькой речке. Он попил теплую воду, которая пахла тиной, и лег под навесом. Он проснулся от женского голоса: «Солдат!.. А, солдат!..» Над ним стояла девушка. Она надела мужское пальто поверх рубашки. Ночь была лунная, и Люсьен внимательно оглядел крестьянку. Он даже подумал: «Хорошенькая...» Живые глаза и вздернутый нос придавали ей веселость, хотя ей было невесело; она испуганно повторяла: «Солдат! Спишь, солдат?..» Она принесла Люсьену большой хлеб и кусок сала:

— Я ждала, пока хозяйка уснет... Сало она оставила, а другое у нее в кладовке... Я тебя видела, когда ты на дворе стоял... Хозяин не злой, только много вас ходит;

он говорит: «Сами с голоду сдохнем...» Я вышла — вижу, ты к речке пошел. Как они легли, я взяла и бегом...

Он ничего не ответил, вытащил нож и стал сосредоточенно есть. Девушка попрежнему стояла над ним. Он долго ел — насытился, но не хотелось кончать. Еще мутный от усталости и сна, он спросил:

— Дочка?

— Служанка...

Наконец-то он кончил есть, вытер нож о землю и молча взглянул на девушку. Он поймал на себе ее восторженный взгляд, удивился — думал, что должен теперь всех пугать. Он оброс жесткой рыжей щетиной. А зеленые глаза светились. Шинель пропахла пылью и потом. Он показал рукой: садись. Девушка села. Она оказалась низкой — на голову ниже Люсьена. Он спокойно и как-то задумчиво обнял левой рукой ее шею, бережно запрокинул голову и поцеловал. Ему казалось, что он пьет воду. А она его горячо и часто целовала и потом, когда они лежали на траве, говорила: «Солдат!.. А, солдат!»

Начало светать. Девушка засуетилась: «Хозяйка проснется». Он спросил:

— Как тебя звать?

— Прелис Жанна.

И Люсьен взволновался, осторожно погладил ее красную, шершавую руку, пошевелил губами — хотел сказать что-то ласковое, но не вышло; наконец он выговорил:

— Жаннет...

— А тебя?

— Люсьен.

— А дальше?

— Люсьен Дюваль.

Он стряхнул с шинели землю и, не оглядываясь, пошел к дороге. Ночь у речки была непонятной милостью судьбы, сном осужденного. Теперь он проснулся. Дюваль, Дюран, Прелис, все, что угодно, только не Тесса! Его могли бы пытать, он не признался бы... Конечно, стоит сказать, что он сын Тесса, его сразу накормят, оденут, отвезут на машине в Виши. Только лучше убить старуху, ту, со свиньей...

Навстречу шел незнакомый солдат, тоже с палочкой. Поглядели друг на друга, подмигнули. Солдат пошутил:

— Маршал-то потерял свою армию...

— Как булавку...

И пошли в разные стороны — начинается новый день, нужно искать пропитание.

А маршалу Петэну было не до армии. Накануне он произнес большую речь, обращенную к французской нации. Он не хотел никого обманывать — ворчливо он повторял: «Не надейтесь на государство. Государство вам ничего не даст. Надейтесь на ваших детей. Воспитайте их в духе религии и семейного начала. Они вас поддержат...» Услыхав речь маршала, Тесса сначала загрустил: его никто не поддержит — ни забулдыга Люсьен, ни гордячка Дениз... Но несколько минут спустя он насмешливо шептал Лавалю:

— В восемьдесят пять лет это логично, тем паче что его кормят не дети, а государство...

О солдатах никто не помнил: министры были заняты размещением кочующих чиновников, посылкой в Париж делегации во главе с Бретейлем, составлением новой конституции, сдачей немцам военного материала, борьбой против сторонников сопротивления. Армия распалась сама собой. Поездов не было. Уроженцы неоккупированной зоны брели по дорогам на юг. Парижане и жители севера превратились в бродяг. Крестьяне умоляли жандармов защитить их от солдат.

Люсьен взобрался на гору. Весь день он пролежал на лужайке, не хотелось двигаться. Был нежаркий день, солнце то и дело пряталось за круглыми, пухлыми облаками. А облака неслись на восток к двум серым башням соседнего города. Движение облаков увлекало Люсьена. Он ничего точно не вспоминал, не старался восстановить картины прошлого, но в самом ходе облаков было ощущение времени. Люсьен как бы заново переживал свою не длинную, но шумную жизнь. Все сливалось в одно: смерть Анри, глаза Жаннет, когда она стояла возле аптеки, море за дюнами и легкий туман над двумя башнями. Поэтому, когда солнце зашло и в быстрых сумерках пропали облака, ему показалось, что жизнь кончена. Он даже поежился — не то

от холода, не то от страха. Никогда прежде смерть его не пугала. Почему он ее испугался в этот сырой вечер на горке, под тусклыми, туманными звездами?.. Он сам удивился и вдруг крикнул: «Жрать!» Ну да, он сегодня ничего не ел!.. Нужно отправиться на поиски хлеба.

Он нырнул в долину. Среди деревьев дрожал огонек маленького квадратного окна. Люсьен постучал, крикнул: «Хлеба солдату!» Никто не ответил. Это был дом старика Серже, самодура, который заморил свою жену за то, что она ходила на исповедь, силача, гнувшего в руке медные су, медведя, засевшего в берлоге. Серже жил один с молодой, вечно испуганной, служанкой, которая, когда хозяин начинал ее бранить, неизменно икала. Старший сын Серже давно уехал в Канаду, а младший жил в соседней деревне у тестя; с месяц тому назад его призвали, хотя раньше он был освобожден от военной службы как левша. Судьба привела Люсьена к домику Серже.

Люсьен колотил в дверь: «Давай хлеба!» Из другого оконца доносился запах капусты и лука: служанка варила суп. Этот запах бесил Люсьена. В нем проснулась ярость. Светящееся окно молчало, и это было невыносимо. Пусть обругают, прогонят, но как они смеют молчать?.. За кого, чорт побери, он воевал?..

Люсьен прилип к стеклу. За тюлем занавески мелькнуло лицо старика, и Люсьену это лицо напомнило Бретейля. Серже не походил на лидера «верных»; сходство только почудилось взбешенному Люсьену; и он, отбежав от домика, завопил:

— Открой, сволочь! Стрелять буду!

Он и впрямь хотел выстрелить в светлое отвратительное пятно окна. Но тогда раздался выстрел, и Люсьен, описав ногой полукруг, будто танцуя, свалился.

Он упал молча. Закричал не он — Серже, страшно закричал. Будь кругом жилье, сбежались бы люди; но домик стоял в пустынной долине; и только эхо ответило: «Ааай!», да на кухне, полуживая от страха, икала служанка.

Серже отбросил охотничье ружье, с которым он когда-то ходил на кабана, и побежал к Люсьену. Он

еще застал короткую агонию. Смерть наступила почти мгновенно. Туманная луна заливала зеленью щеки Люсьена; глаза блестели, как у кошки; а волосы казались яркоогненными, будто они горели. В эту минуту Люсьен походил на красавца-разбойника с лубочной картины; и кровь на шинели — Серже принес фонарь — казалась свежей, жирной краской.

Серже поставил фонарь на землю, сел рядом; так просидел он до полуночи; хотел было закурить, даже вынул кисет, но забыл. Сидел он неподвижно; только чуть тряслась его большая голова с космами седых нерасчесанных волос.

Вышла служанка; она робко подошла к мертвому, вскрикнула: «Красивый», и тотчас ее снова стала душить икота. Серже огрызнулся: «Молчи». Она хотела уйти, он приказал: «Стой». Потом он встал и чужим, бесчувственным голосом сказал:

— Бандиты!.. А кто он? Солдат... Француз...

И здесь-то служанка вся побелела от ужаса: хозяин вдруг упал на мертвеца, завопил:

— Пьеро!.. Сыночек!..

Утром составили протокол. Серже расписался, сказал: «Ведите». Но у жандармов и без того было много хлопот. Бригадир ответил: «Разберут. Если нужно будет, вызовут». Обыскали Люсьена, но бумаг не нашли; и в протоколе проставили: «Неизвестный, одетый в солдатскую форму». Вдруг служанка закричала: «Нашла!..»

Она показала бригадиру бумажку, которую нащупала в маленьком карманчике рубашки. Бригадир развернул лист; на нем старательно прописью были выведены три слова: «Франция. Жаннет. Дермо». И бригадир сплюнул:

— Бандиты!

37

Дениз спряталась у Клеманс, старуха только потому и осталась в Париже. До горбатой улицы не доходили ни барабанный бой, ни песни. Тишина казалась невыносимой. Дениз много раз пыталась выйти. Клеманс ее отговаривала:

— Погоди!.. Пусто. Сразу заметят...

Клеманс каждое утро выходила с кульком; приносила хлеб, овощи, иногда мясо. С наслаждением она готовила обед; ей казалось, что она балует Жано...

Клеманс рассказывала:

— Девилли приехали, и Руссо с женой. Говорят, что многих возвращают. Девилль плакал, спрашивал меня: «Как коммунисты?..» Я ему ответила: «Коммунисты — в подполье. Не так-то легко узнать... Но не такие они, чтобы сдаться...» Что я могу сказать? А им этого мало. Они говорят: «На что нам теперь надеяться?..» Под немцами никто не хочет жить. Ты возьми колбасу, колбаса хорошая. Масла нет. Скоро ничего не будет. Немцы все вывозят. Марок у них сколько угодно: печатают и раздают солдатам. Я видела, как денщики выносили ящики!.. Все хватают — кофе, чулки, ботинки. Ты ешь получше! Кто знает... Скоро голод будет. А тебе нужно много сил. Девилль правильно сказал: «Теперь на них вся надежда...»

Когда началась паника, Дениз сказали: «Ты останешься, будешь работать в Париже. Связь поддерживай через Гастона». Накануне прихода немцев Дениз пошла по указанному адресу. Дверь открыла заплаканная женщина, сказала: «Гастона забрали. А я уйду пешком...» Дениз обошла всех товарищей: заколоченные дома. Уехали? Или прячутся?

Самым страшным казалось ей бездействие. Время шло медленно; ночью она готова была сломать стенные часы — тикают, тикают... А в рукомойнике каплет вода — капля за каплей...

Что с Мишо? Она умрет и не узнает, что он жив, не услышит «и еще как!» Они могли быть вместе, могли быть счастливы. Теперь ничего не будет, ни встречи, ни жизни. В Париже — немцы. Нужно по многу раз повторять эти слова, чтобы поверить. А Мишо нет. Может быть, его убили. Или взяли в плен... Как это страшно — попасть в их руки живьем!.. Они брали в плен целые армии...

Длинной казалась июньская ночь, и в полусне до одурения Дениз повторяла: «Мишо!.. Мишо!..»

Вдруг она вспомнила: Клод ей сказал, что его оставят в Париже. Нужно найти Клода. Дениз помнила

адрес: она нашла ему комнату после майской тревоги. Может быть, он там?..

Клеманс ее обняла, будто снаряжала в далекую дорогу.

— Ты губы поярче накрась — они таких не трогают...

Нужно было пересечь центр города. Увидав первого немца, Дениз попятилась, чуть было не побежала. Какая противная морда! А на рукаве — свастика... Но нельзя быть такой нервной. Теперь придется все скрывать, все прятать... Она пошла дальше; думала об одном: найдет Клода, начнут работать...

Вот и Бульвары!.. Дениз старалась не глядеть, но все же глядела. На террасах больших кафе сидели немецкие офицеры с проститутками. Женщины были одеты, как на пляже — босые, в сандалиях, ногти выкрашены в рубиновый цвет. Смеялись, пили шампанское, чокались. В витринах были выставлены словари, путеводители по Парижу на немецком языке. Торговцы предлагали солдатам сувениры — крохотные изображения Эйфелевой башни, брошки, открытки с видами, непристойные фотографии. Бойко шла торговля. Переводились франки на марки. Газетчики выкрикивали: «Матэн»! «Виктуар»!

Дениз купила газету, развернула: «Наши приветливые гости, бесспорно, оценили тонкость парижской кухни...» И объявление: «Кончил два факультета. Говорю по-немецки. Ищу место официанта». Она отбросила листок.

Подозрительная, смутная жизнь личинок, могильных жуков шла в захваченном, пустом городе. Продавались картины, рубашки, улыбки, остатки чести. С гадливостью Дениз спрашивала себя: «И это — Париж?..»

Она дошла до лéвого берега; долго пробиралась по пустым улицам: улицы без людей казались куда длиннее.

Заколдованный город! В окнах брошенных магазинов привычные вещи: галстуки, игрушки, бокалы с леденцами. Зонтик, как старик, прислонился к заколдованной двери — зонтик забыли. На балконе засохшая герань. Клетка, а в ней мертвая птица. «Спящая красавица», — подумала Дениз, встала картинка из детской книги. Пышные фасады, статуи Возрождения, колонны Людовиков — прежде она их не замечала: толпа затирала камни. А теперь камни справляют победу над людьми.

На бульваре Пор-Ройяль горбун разглядывал крону дерева. Прошел слепой, стуча палкой. Проковылял хромой подросток. Все калеки, все уроды повылезали из щелей; они не смогли уйти и заселяли город.

Цвели липы. Пахло глухой дачей. Метались вспугнутые птицы — они не могли привыкнуть к гулу моторов: с утра до ночи над завоеванным городом кружили немецкие самолеты; они летали низко, казалось, сейчас срежут крыши.

Пусто... И вдруг — люди! По мостовой шли беженцы; несли на руках замученных, сонных детей. Неделю тому назад они покидали город. Тогда на их лицах были ужас и надежда; они спрашивали, какой дорогой пройти, ругали изменников, мечтали прорваться к жизни. А теперь они плелись, как клячи на бойню. Они столько повидали за эти дни! Лежали под пулеметным огнем, громили поезда, плакали перед отравленными колодцами. Многие потеряли близких, и все потеряли надежду. Уходя, они не знали, что Париж окружен. Дойдя до Шартра, до Орлеана, до Жиена, они увидели немцев. Их остановили, погнали назад. Они возвращались в родной город, как пойманный беглец в острог. И мать, озираясь в испуге на немцев, шептала раскричавшемуся ребенку: «Тише!..»

Дениз увидала на стене плакат: немецкий солдат держит ребенка; ему доверчиво улыбается женщина; подписано: «Вот покровитель французского населения!» А рядом обрывки старой театральной афиши: «Одеон... Премьера... «Укрощение строптивой»... Глаза немца были синими и блестящими. Эти глаза теперь отовсюду глядели на Дениз. Она отворачивалась, глаза показывались снова; она перешла на другую сторону — та же ярко-синяя эмаль. И, не выдержав, Дениз вскрикнула — глаза, отделившись от стены, шли навстречу. Она не сразу поняла, что это — живой человек. А лейтенант игриво почмокал губами.

Дениз вышла на авеню де Гобелен. На самом припеке стояла очередь — двадцать или тридцать женщин. Потом заметались платки, космы, кошелки:

— Солдат ищут!..

Женщины кинулись к соседнему дому, и на асфальт пролилось синеватое, жидкое молоко. Полицейские вывели из ворот юношу. На нем были солдатские штаны, синяя рабочая блуза. Кто-то крикнул:

— Мать пропустите!

Старуха (Дениз в первую минуту показалось, что это — Клеманс) подошла к солдату, крепко его обняла. Он шепнул:

— Прощай, мама!

Его втолкнули в фургон. Мать, оглядев смущенных полицейских, сурово сказала:

— Вот, значит, на кого вы работаете!..

И снова синие эмалевые глаза — пьют коньяк, едят колбасы, гогочут...

Дениз повернула за угол. Это был нищий квартал за площадью Итали. Дома, будто раздетые — грязь, уродство; их больше не скрашивают ни шум толпы, ни пестрые витрины. На скамейках старички играют в карты. Женщины стоят в подворотнях, готовые исчезнуть, как только покажутся солдаты. Но немцы сюда не заходят.

Дениз позвонила. Никого... Кто знает? В последние часы люди уходили против воли, подчиняясь ритму шагов, безумному желанию других — вырваться, уйти. И потом Клода могли арестовать — немцы заходят в дома... Дениз прислушалась — ни шороха...

А Клод — рука на задвижке — томительно думал: «Вот и пришли!» Не открывал — еще минута свободы...

— Ты!..

Они долго ничего не могли вымолвить. Наконец Клод сказал:

— Дожили!.. Я все-таки не думал, что придется это увидеть... Ты понимаешь — немцы в Париже!..

Дениз поглядела на него — серые щеки, а глаза блестят. Нехорошо! Печальная комната — на столе ломтик хлеба, тетрадь со стихами и книга «Как закалялась сталь».

— Надо что-то делать, — сказала Дениз. — У тебя есть связь?

— Нет. Из наших остался только Жюльен. Но как его найти? Я думал, что он придет... А по улицам он

не станет ходить — теперь каждый человек заметен. Они ищут... Кьяпп недаром остался — он с ними работает.

— Надо что-то делать, Клод! Беженцы возвращаются, и первое, о чем спрашивают — как коммунисты?.. Нельзя ждать. Преступно!

— Гектограф есть. Чернила, бумага, все осталось. Только ни к чему... Разве мы с тобой знаем, о чем теперь писать?

Он мучительно закашлялся. Дениз молчала. Она поняла бессмысленность затеи: конечно, Клод — хороший товарищ, смелый, готов на все. Но он не знает... Как она. А связаться не с кем...

Она сидела, сгорбившись, у окна. Перед ней была мертвая улица. И как-то внезапно она вспомнила все. По этой улице проходила демонстрация. Дениз увидела красные шали на балконах, услышала пенье. На деревьях, как воробьи, кричали мальчишки. Женщины подымали кулаки. Все пестрело, звучало, вибрировало. Впереди колонны шагал Мишо. Дениз выпрямилась. «Мишо, ты здесь?» Он не отвечал. Он шагал и глядел прямо перед собой. Очень высокий и веселый. Через окопы шагал, через немцев — Мишо знает, не ошибется, не отстанет. Как она могла подумать, что Мишо убили? Мишо не могут убить. Мишо идет.

Смутно улыбаясь, Дениз шевелила губами:

— Клод, дай бумагу.

Ему показалось, что она пишет стихи; он отошел на цыпочках в угол. А Дениз искала слова, чувствовала — они рядом, и не могла их найти. Снова встала фраза, которую она повторяла на Бульварах: «И это — Париж?..» И слова понеслись, обгоняя одно другое: «Колыбель революции... Город Коммуны... Сердце Франции...»

Ей казалось, что она слышит голоса солдат, которые бродят, всеми брошенные. Голоса пленных — они на дорогах бьют камень, над ними издеваются гитлеровцы. Голоса беженцев — длинные, страшные дороги, а люди бродят, бродят... Говорил французский народ. И дальше — другие... И маленькая женщина, одна, в пустом городе слышала плач, тишину, слова гнева и надежды. Она писала, не останавливаясь, будто ей кто-то диктует.

Клод прочитал и тихонько вытер глаза; испачкал лицо — рука была в лиловых чернилах.

— Дениз, как ты такое написала?..

— Тише!

Она услыхала тяжелые шаги патруля. Потом громкоговоритель, установленный на машине, выкрикнул:

— Заходите в дома! Время! Заходите в дома! Время!

38

Национальное собрание, созванное маршалом Петэном, должно было заседать в Виши. Для торжества приготовили зал казино. Здесь Монтиньи еще недавно играл в покер, а Жозефина, стараясь забыть чары Люсьена, танцовала танго с пресс-атташе Венецуэлы.

Катастрофа застала в Виши несколько тысяч курортников, лечивших на водах свою печень. Зимой в некоторых гостиницах устроили военные госпитали. Теперь раненые в халатах и больные уныло глядели на пеструю толпу. Виши нельзя было узнать. Сюда съехались не только сенаторы и депутаты, но весь цвет Парижа: промышленники, спекулянты, крупные чиновники, журналисты, кокотки. На каждом шагу слышалось: «Ах, это вы, граф!..», «Эге, Жюль, и ты прорвался!..», «Но где же наша цыпка?..»

Все волновались: сегодня — большой день, гвоздь этого необычайного сезона, сеанс национального собрания. Лаваль хотел обойтись без церемоний, но Бретейль любил ритуал; решили похоронить Третью республику с помпой.

Тесса долго готовился к этому событию. Как всегда, он оставался оптимистом: оправившись от дорожных волнений, он чувствовал себя здоровым, и ему хотелось жить. Он подолгу доказывал себе, что затея маршала ему наруку: из избранного он станет назначенным, это спокойней. Все же в глубине души Тесса был обеспокоен; невольно вспоминал слова Дессера: «Бедный старый клоп». Конечно, Дессер рехнулся, но есть в его обидных словах доля правды: Тесса использовали; его громким именем покрылись другие; а теперь его хотят оттеснить;

кто поручится, что завтра его не выкинут? Для правых он радикал. В Бордо ему все улыбались, а здесь Лаваль прошел мимо, едва поздоровался. Когда лимонад готов, с выжатым лимоном не церемонятся.

Тесса готов был заплакать: все его обижают. Разве он не помог Лавалю? Кто ухаживал за поганым испанцем, когда нужно было договориться с немцами? Кто доказывал радикалам, что компьенские условия вполне приемлемы? Короткая у них память!.. Да и свои его не поняли. Гордячка Дениз... Как он ее любил, как баловал! Теперь немцы ей отрежут голову. Страшно подумать! Гитлер не шутит. Поэтому и победил... Что будет с Дениз?.. Тесса дважды высморкался: слезы шли в нос. Потом он вспомнил огненную шевелюру Люсьена и пугливо съежился. Люсьен обязательно замарает имя Тесса. Это у него наследственное, он в дядю Виктора. Только Виктор отделался четырьмя годами, у Люсьена страшная хватка — врожденный преступник. Но, может быть, Люсьена убили? Кончится род Тесса. Да и Франция кончится... Тесса махнул рукой. Вдруг его лицо стало злым: подлая Полет, наверно, поет свои песенки перед немцами; ей нет дела до национального траура, лишь бы помоложе и побойчей...

А час спустя Тесса преобразился: достаточно было пустяка — позвонил Бретейль, спросил: «Как самочувствие?» Тесса понял, что он еще нужен. Правда, он отказался выступить на заседании с разоблачением масонов; зато он произнесет короткую, но яркую речь. Ему удалось установить, что в «Юманите» были напечатаны объявления мебельной фабрики, владельцем которой является эльзасский еврей. Тесса сможет воскликнуть: «Золотые незримые цепи связывали еврейский капитал с коммунистами. Так родилась преступная война...»

В последнюю минуту Бретейль отвел Тесса в сторону: «Лучше будет, если ты не выступишь». Тесса обиженно заморгал. Бретейль объяснил: «Вопрос такта. Нервы страны обнажены, приходится считаться с галеркой. Вытащат старое. Ставицкого, Народный фронт...» Тесса согласился, но снова помрачнел: он хочет жить, а под ним трясется земля.

Слегка его утешил Грандель (он приехал накануне из Парижа). Увидав Тесса в фойе казино, Грандель подбежал, был мил, рассказывал о столице:

— В первое время было маловато народу, но теперь город мало-помалу наполняется. Хотят даже открыть оперу... В общем немцы навели порядок. Держатся они хорошо, не скажешь, что завоеватели, скорей опекуны...

Подошли депутаты; молча слушали Гранделя. Один сенатор сказал: «Ого!..», нельзя было понять, восхищен он рассказом Гранделя или негодует.

Бержери крепко пожал руку Тесса:

— Хорошо, что ты здесь, на посту. Я был убежден, что ты не оставишь Францию в трудную минуту.

Тесса в знак благодарности чуть наклонил свою птичью головку. На остром носу сверкали мелкие капельки пота. Слова Бержери его растрогали: все-таки некоторые понимают, что Тесса принял на себя тяжкий крест. Разве легко подписать позорное перемирие и притти сюда, чтобы участвовать в ликвидации своего прошлого?

— Служу Франции, — ответил он. — Кстати, Блюм здесь, даже Фуже. Интересно, что они будут делать при голосовании? Особенно Фуже... Это не шутка — лечь на скамью и высечь себя. Ха! А придется... Не посмеет же он голосовать «против». Жалко, что нет Дюкана. Этот поджигатель войны...

— Где он?

— Кажется, в армии.

Грандель вставил:

— Наверно, первым сдался в плен. Знаю я этих «непримиримых»...

— А где Виар?

— Никто не знает. После нашего отъезда из Тура он пропал.

— Я слышал, что он удрал в Лиссабон через Испанию.

— Неужели испанцы его пропустили?

— Анекдот: Виар просит у генерала Франко визу...

— Говорят, что испанцы поставили на границе пулеметы. А всех, кто переходит границу, загоняют в лагери.

Тесса усмехнулся. Что такое история? Кадриль: вперед — назад, кавалеры меняют дам... Виара испанцы, наверно, посадили в лагерь. Легко себе представить его негодование: пенсне прыгает на носу... А картины? Неужели он оставил в Авалоне свои картины?

— Во всякой трагедии есть нечто смешное. Меня забавляет судьба Виара. Как он должен был перепугаться, чтобы бросить свою коллекцию! Вы видите его физиономию?..

Сзади раздался обиженный голос:

— Если не видите, можете увидеть. Я нахожу, Поль, твою иронию неуместной.

Тесса обомлел:

— Это ты, Огюст? Но откуда?..

— Из Авалона. Почему тебя так удивляет мое присутствие? Я, как всегда, на посту.— И Виар стал доказывать, что он — горячий сторонник нового порядка.— Поражение нас вылечит. Мы должны взять пример с победителей. Почему Гитлер в Париже? Потому, что он дерзал. Маршал Петэн показал себя новатором. Ему пошел девятый десяток, но он дерзает. Я первый его приветствую...

Здесь даже Грандель смутился. А Тесса про себя вздохнул: «Лисица! Этот перехитрил всех...»

Наконец председатель потряс звоночком. Тесса не прислушивался к ораторам. Легко теперь говорить Лавалю... Почему он молчал в сентябре? А Виар срывает аплодисменты... Блюм злится. Блюм, конечно, будет голосовать против: его песенка все равно спета.

Во время перерыва депутаты окружили Гранделя: все перед ним заискивали. Грандель небрежно отвечал: «Хорошо, я поговорю о вашем деле с Абетцем...» Тесса вспомнил бумажку, выкраденную Люсьеном; поморщился. Все же обидно, что мелкий шпион стал спасителем Франции...

После перерыва выступил Бретейль, говорил о безнравственности, о «великом искуплении», поносил англичан и под конец, вытянув вперед руку, торжественно заявил: «Победители показали себя великодушными». Тесса зевнул: старый лицемер! Его Лотарингию, между прочим, отдали немцам... Балаган! и притом скучный...

Вдруг все оживились: на трибуну поднялся Фуже. Он сразу зарычал:

— Когда враги отечества и малодушные заносят свою руку...

Договорить ему не дали. Началось голосование. Полчаса спустя председатель объявил: «За — пятьсот шестьдесят девять. Против — восемьдесят.

Тесса чувствовал непонятную усталость, как будто он произнес очень длинную речь. В саду дамы кричали: «Да здравствует Лаваль!» Тесса даже не позавидовал. У него болела голова. Он уныло побрел к гостинице.

Судьба над ним сжалилась: в салоне он увидал прехорошенькую незнакомку с высокой грудью и ярким, как киноварь, ртом. Она напомнила ему Полет. Он оживился, подошел к незнакомке и только тогда заметил, что у нее на глазах слезы.

Плачущие женщины всегда казались Тесса особенно привлекательными. Он взволнованно заговорил о страданиях Франции. Она кивала головой. Он скромно вставил: «Я — как министр...» Незнакомка улыбнулась. Она рассказала о своих мытарствах; потеряла в Невере чемодан; старушка-мать осталась в Париже; здесь она искала своего дядю, который служит в министерстве коммерции. Но он, видимо, остался в Клермон-Ферране. Она не знает, что ей делать — у нее в сумке только сто франков.

Тесса ее утешил, да и сам утешился. За ужином он был весел, остроумен. Они пили шампанское — сначала «за вечную Францию», потом «за вечную любовь».

Ночью он весело сказал:

— Ты никогда не угадаешь, куколка, сколько мне лет.

— Пятьдесят?

Он засмеялся и погрозил ей пальцем:

— Нет, куколка! В любви мне восемнадцать. А для публики?.. Во всяком случае маршал мог бы быть моим отцом.

Он вдруг вспомнил все события исторического дня: жесткий взгляд Бретейля, хитрость Виара, бороду Фуже, отвратительную цифру 80. Нашлось восемьдесят чистоплюев! Эти обязательно напишут в мемуарах, что они протестовали против «капитуляции». В представлении

потомства скучный день будет выглядеть как государственный переворот. А Тесса во время сеанса мучила изжога: он напрасно ел барашка по-индейски... До сих пор ему нехорошо и голова болит. Может быть, от шампанского?.. Тесса приподнялся, поглядел на сонную «куколку», и слезы подступили к горлу.

— Ты знаешь, что сегодня было в казино?

— Портье мне сказал — какое-то важное заседание...

— Харакири. Ты не понимаешь? Сейчас объясню. Собрались депутаты, сенаторы. Выступил Лаваль... У него, куколка, всегда белый галстук... А потом... Потом мы покончили жизнь самоубийством. Ты не веришь? Честное слово! Объявили себя мертвыми и зааплодировали. Пятьсот шестьдесят девять трупов. Восемьдесят нахалов. Вот и все. Теперь рядом с тобой призрак Тесса, его тень.— Он икнул и виновато добавил: — Не нужно было мне пить столько шампанского. Впрочем, теперь все равно, акт о смерти составлен...

Женщине хотелось спать; она все же пересилила сон и вежливо сказала:

— Зачем огорчаться? Когда немцы уберутся из Парижа, мы заживем попрежнему. Ты сам говорил, что ты молод душой. Ты...

Она зевнула в руку и прошептала: «Ты — настоящий любовник».

Тесса покачал головой:

— Нет. Это все было... А теперь!.. Я люблю ясность, логику. Я тебе скажу откровенно, кто я. Клоп. Старый клоп в щели.

Он встал и нетвердой походкой пошел к умывальнику.

Фуже вышел из казино сильно возбужденный. Он размахивал руками, что-то бормотал: разговаривал с невидимыми слушателями. Презренные трусы похоронили республику. За что умирали герои Вальми? За что дрались «пуалю» Вердена? Позор, граждане, позор! Весь мир брезгливо отвернется от Франции, которая лижет Гитлеру сапоги.

Конечно, Фуже протестовал. Но ему не дали сказать правду. Он идет в гостиницу. Сейчас — обед. Официант принесет суп. Потом Фуже должен спать. Мирный быт после происшедшего казался несносным. Фуже жаждал

мученичества, свиста бомб, гильотины. А эти сидят на террасах кафе и пьют вермут...

Всю ночь он шагал по комнате; не думая ни о Мари-Луиз, ни о сыновьях; задыхался от возмущения. Он попал в Кобленц. Да, Виши — это Кобленц. И кто во главе изменников? Если бы Лаваль... Все знают, что Лаваль — продажная тварь, жадный овернььяк с физиономией конокрада. Да и Тесса его не удивил. Тесса — потаскуха, лишь бы его кормили... Но во главе предателей — солдат республики, старый маршал. Опозорена навек армия. Опозорены и седины. Кому теперь верить? Все заплевано, промотано, пропито — на террасах кафе: и слава, и простая порядочность.

Завтра будут кричать: «Да здравствуют спасители Франции, великодушные боши!» Будут пресмыкаться перед пруссаками. Пожалуй, Геринга объявят Жанной д'Арк. И не смешно — отвратительно.

Кому говорил это Фуже? Бабочкам на обоях? Мутному отображению в длинном зеркале? Рассвету?

В девять часов утра постучали. На полицейских были люстриновые пиджачки. Один сказал:

— Предписание об обыске.

Фуже усмехнулся:

— Покажите. А почему оно не по-немецки? Учитесь немецкому языку, господа! Довольно переводов! Я люблю оригиналы. Впрочем, не смущайтесь. Вы ведь не защищали Вердена... (Фуже расчесал бороду, надел шляпу.) Я готов... И да здравствует республика!

На площадке лестницы он увидел Тесса, который успел побриться и позавтракать. Тесса спешил на заседание совета адвокатов. Увидав арестованного, он отвернулся. Лицо у Тесса было строгое, торжественное, как на похоронах. А Фуже шел вниз и ругался: «Дермо, господа, дермо!..»

39

Генерал Леридо, еще будучи в Париже, говорил: «Когда война проиграна, продолжать войну бессмысленно, скажу больше — безграмотно, вот что».

Бретейль хотел включить Леридо в состав делегации, которая должна была подписать перемирие. Леридо слег: у него сделался припадок печени. Он думал: повезло! Оставить для истории свое имя на таком прискорбном документе!..

При реорганизации правительства генерала Леридо назначили заместителем министра вооружений. Министерство разместилось в небольшом курорте Бурбуль. Узнав, что в Бурбуле лечат астматиков, Леридо огорчился: он надеялся попасть в Виши и заняться там своей печенью. Астмой он не страдал; но все же каждое утро направлялся в ингаляторий; говорил: «Война кончена, начинается восстановительный период. Лечение никогда не повредит».

Он выписал супругу и, увидев ее сиреневый капот, просиял; жили они в гостинице, но она сразу внесла в неуютный номер нечто домашнее: вязанье, электрический утюг, разговоры о дороговизне. Леридо был счастлив. Его только смущала ответственность работы: он должен был сдавать немцам военное имущество, согласно тексту перемирия; вздыхал: «Я раньше думал, что трудно вооружаться. Нет, Софи, куда труднее разоружаться».

Он считал, что в его обязанности входит скрывать от немцев все, что может быть от них скрыто. С ним работал полковник Моро, и Леридо говорил полковнику: «Мы должны уже теперь готовиться к 1960 году. Да! Да! Ведь немцы сразу после поражения начали готовиться к реваншу. Это — закон природы...» Леридо радовался, как ребенок, когда ему удалось скрыть от немцев тридцать зениток. А Моро снисходительно улыбался: «Вы напрасно стараетесь. Луна не воюет против солнца...»

Утром, вернувшись из ингалятория, Леридо пил кофе. Постучали. Генерал думал — адъютант или официант, крикнул: «Войдите». Вошел Вайс.

Бывший радикал из Кольмара стал теперь закадычным другом Лаваля и членом смешанной франко-немецкой комиссии.

Генерал был еще в халате для ингалятория и походил на карнавальную куклу. Вайс, не выдержав, улыбнулся.

Леридо почувствовал неловкость: генерал должен импонировать.

— Мы живем на бивуаке... А мой адъютант неопытен.

— Пожалуйста, генерал... Простите ранний визит. У меня к вам срочное дело...

Четверть часа спустя генерал вышел к Вайсу в полной форме с шестью ленточками на груди. Вайс его спросил в упор:

— Скажите, генерал, ведь в Монпелье было сорок два средних танка? А вы сдали шестнадцать?..

Леридо кивнул головой, с удовольствием ответил:

— Разумеется. Немцы указали шестнадцать.

— А наша подпись?

— Мне кажется, господин Вайс, что мы выполним наш долг перед потомством, если начнем...

Вайс прервал его:

— При чем тут громкие слова? Шестнадцать — это шестнадцать. А сорок два — это сорок два. Какие у вас могли быть резоны, чтобы утаить двадцать шесть танков?

— То есть как?.. (Леридо теперь кричал.) Я выполнил мой долг. Я не позволю, чтобы со мной говорили, как с мальчишкой. Я, сударь, французский солдат, вот что!..

Он приподнялся, и ему показалось, что, несмотря на низкий рост, он смотрит на Вайса свысока. А Вайс пожал плечами:

— Нервничаете, генерал. Это вам не битва, это серьезное дело. Я попрошу вашего начальника разъяснить вам, что такое арифметика...

С этим Вайс вышел из комнаты. Леридо долго не мог опомниться. Он жаловался Софи:

— Я не понимаю, почему мы должны поднести вчерашнему противнику двадцать шесть танков? Приезжает француз, друг Лаваля, человек, пользующийся доверием Бретейля, и говорит со мной, как будто он — немецкий офицер. Это ненормально, вот что!..

На следующий день Леридо отправился к генералу Пикару; заготовил доклад — политики вроде Вайса вмешиваются в военные дела. Это противно указаниям маршала.

Но Пикар, сухо поздоровавшись, сказал:

— Вы, кажется, поверили болтовне де Голля? Напрасно! Не позднее середины августа немцы будут в Лондоне. Вы — немолодой человек. У вас есть опыт. Ваше боевое прошлое вас обязывает. Вы не можете пойти с изменниками.

Леридо растерялся, он едва выговорил:

— Я этого не заслужил...

Пикар понял, что он погорячился. Расстались они друзьями. А вернувшись в Бурбуль, Леридо начал наводить порядок; кричал: «Вы отвечаете, майор, за станковые пулеметы... Это не булавки, вот что!.. Мы должны показать нашему бывшему противнику, что мы выполняем принятые обязательства даже в мелочах. До последней пуговицы, капитан! Вы меня поняли?..»

После ужина он завел политический разговор с Моро:

— Авантюрист де Голль прогадал, я это предвидел. Немцы собрали на побережье основательный кулак. Вы скажете — пролив? Чепуха! В Нарвике они опрокинули все представления о десантных операциях. Через месяц Гитлер будет в Лондоне, это, как дважды два четыре...Я нахожу линию Лаваля правильной. Конечно, мы, военные, не должны вмешиваться в политику. Но теперь мы имеем дело не с парламентскими интригами, а с судьбой Франции. Я вам скажу откровенно — победа Германии нам выгодна. Мы сможем занять видное место в новой Европе, наряду с Италией. Когда Гитлер покончит с Англией, останется Россия. Конечно, Красная Армия — это не сила. Но пространство, мой друг, пространство... Я убежден, что Гитлеру придется прибегнуть к нашей помощи. Мы сможем выторговать некоторые уступки. Генерал Пикар считает, что, получив Киев, Гитлер отдаст Лилль. Теперь представьте на минуту, что побеждает Англия. Это катастрофа. Черчилль никогда не простит нам сепаратного перемирия. А де Голль связан с темными элементами. Меня не удивит, если он вступит в переговоры с коммунистами. Да, да, от этих людей можно ожидать всего! Я лично предпочитаю немцев — это бывшие противники, но это честные люди. Может быть, Пейрутон или вчерашние депутаты колеблются. Для меня выбор сделан. Мы действительно должны

помогать немцам не формально, но от всего сердца, вот что! Ваше мнение, полковник?

Моро лениво ответил:

— Я вам уже говорил, что луна светит отраженным светом. Трудно спорить против фактов. Конечно, если немцев побьют, с нами не станут церемониться. Я тоже думаю, что лучше жить в Бурбуле, чем висеть на дереве.

Несколько дней спустя генерал Леридо устроил маленький пикник: с Софи и с полковником поехал к горному озеру. Они добрались в машине до деревни, оттуда по тропинке прошли до озера. Пейзаж несколько озадачил Леридо: серые камни были нагромождены как бы в преднамеренном беспорядке. Суровость этого зрелища не смягчалась ни деревом, ни цветами. Только кое-где меж камнями рос жесткий, колючий кустарник, серый, как и все вокруг. Серой была вода. Леридо подумал: мир после капитуляции. Вспомнил почему-то зеленый лес в Арденнах, девочку без ног...

Они взяли с собой холодный завтрак. Моро поднес супруге генерала коробку с глазированными каштанами: «Местная специальность». Рассудительная Софи вздохнула: сумасшедший — в такое время потратить восемьдесят франков на конфеты!..

Показалось солнце. Озеро стало розовым. Леридо успокоился, даже разнежился:

— Природа — это абсолютное равновесие чувств...

Софи напевала арию Миньоны. Моро поглядывал на нее нежно и насмешливо: «Будешь, курочка, моей...» А Леридо дремал: воздух был, как крепкий настой, веселил и расслаблял.

Услышав взволнованный голос адъютанта, Леридо не сразу опомнился. А когда пришел в себя, закричал:

— Кто вам позволил?.. Сегодня воскресенье... Как-никак, мы не на фронте!..

— Господин генерал, случилось несчастье...

Виновником происшествия, омрачившего воскресный отдых генерала, был капрал двести восемьдесят седьмого линейного полка, в прошлом рабочий завода «Сэн», Легре.

До мая Легре просидел в концлагере возле Бриансона. Заключенных заставляли таскать камни на гору.

Зачем — этого никто не знал. Легре не возмущался, не спорил с солдатами, сторожившими заключенных. Что-то в нем оборвалось. Он замолк; глаза стали скучными и пустыми; лицо обросло седой жесткой бородой.

В мае солдат неожиданно освободили: полковник произнес перед ними речь, несколько раз повторил: «Франция больна». Освобожденных отправили на итальянскую границу. Легре даже вернули нашивки капрала. Он воспринял перемену в своей судьбе, как малоинтересное событие. Но, прочитав, что немцы вошли в Бельгию, очнулся, стал походить на прежнего Легре, агитатора и бойца. По-другому он теперь сжимал винтовку и только сетовал, что его полк не отсылают на север.

Он хотел попасть на фронт; но в успех боя не верил. Всю эту зиму в лагере он думал об одном: ослепили Францию, заговорили, одурачили, из большой страны сделали Монако. И эта обида так пришибла его, что он не верил в воскресение. Недолго пришлось ему гадать: месяц спустя на Францию напали итальянцы. Полк Легре стоял возле малого Сен-Бернара. Легре защищал дот.

Четыре дня итальянцы вели ураганный огонь, но защитники держались. Настал день передышки. Принесли горячую пищу. Газет не было. Лейтенант, приехавший из Шамбери, рассказал, что немцы заняли Париж. Никто не знает, где французское правительство.

Солдаты загудели:

— Может, и нет его...

— Наверно, фашисты захватили власть — Лаваль, Дорио, вся банда.

— Значит, нам умирать за Лаваля? Не хочу!

Легре вспылил:

— Трусишь? За Лаваля никто не хочет умирать. Только откуда ты знаешь, что теперь правительство Лаваля? «Говорят»? Мало что говорят... Лаваль не станет воевать. Он у Муссолини свой человек... Не знаем мы, кто там... (Легре показал на запад.) Но вот кто перед нами — это мы хорошо знаем. Здесь не может быть ошибки. Как хотите, а я фашистов не пущу.

На минуту зажглись его пустые глаза: горем и злобой.

Товарищи поддержали Легре. На следующее утро итальянцы предложили сдаться. Французы ответили отка-

зом. Они продержались еще пять дней, отрезанные от мира.

Легре, как во сне, услышал: «Перемирие подписано...» И тогда он выругался: «Вот теперь Лаваль!..» Они вышли и увидели рядом с французским полковником двух итальянцев. Кто-то пробормотал: «Макаронщики...» Легре снова потух. Он молчал.

Его батальон случайно не распался. Стояли они в Клермон-Ферране. Возле города был большой арсенал с боеприпасами. Смутно, как свет сквозь воду, доходили слова до сознания Легре. Он слышал, как майор сказал лейтенанту Брезье: «В среду сдаем немцам».

Была горячая ночь после дождя, не освежившего мир. Легре стоял на часах. Он думал о Жозет. Она ему ни разу не написала. Может быть, и писала, не доходили письма. А теперь и почты нет. Поезда не ходят. Все распалось, как жизнь Легре. Где Мишо? Где партия? Может быть, рядом: в сердце соседа. Может быть, далеко... Все случилось, как они предсказывали: пришли гитлеровцы, нашли здесь друзей, подручных, лакеев. Даже страшно — до чего точно об этом писали в «Юма» два года тому назад. А сколько горя!.. Разорили страну. Немцы все вывозят: станки, сахар, башмаки. Пленных они не выпустят. Что, если Мишо попал в их руки?.. Теперь они пойдут на англичан. А потом на русских. Крысы, голодные крысы! Неужели всему погибнуть: труду, героизму, да и простой человеческой жизни?..

Так началась ночь: с длинных унылых мыслей. Не первой ночью томления была она для Легре. Днем он пытался говорить: спрашивал глухим надтреснутым голосом, глядел пустыми глазами. Люди отмалчивались: все были потрясены случившимся, пришиблены; искали родных; искали крыши и хлеба; никто не задумывался над трагедией — ее переживали.

Но когда раздвинул деревья рассвет, в голове Легре созрело решение. Оно пришло помимо него; не было ни взвешено, ни проверено. Его диктовало сердце. Оно было выводом из всех этих сумасшедших недель, из ненужной защиты дота, из жалоб беженцев, из рассказов бродивших вокруг города бездомных и голодных солдат,

из наглых, но трусливых слов майора: «В среду сдадим». Нет, они не сдадут, и те не получат!

Легре отослал трех солдат в город. Лейтенант Брезье спал у себя. Кругом не было ни души. Легре погиб один, погиб просто, скромно, искренно — как жил. Взрыв потряс все окрест. Взлетели птицы с деревьев. На кирпичном заводе — в трех километрах от арсенала, зазвенели стекла.

Когда генералу Леридо доложили о происшедшем, он закрыл рукой лицо. Взрыв показался ему большей катастрофой, чем поражение Франции. Ведь за взрыв взыщут с него... Немцы никогда не поверят, что это — акт злоумышленника. А Пикар свалит все на Леридо...

Леридо вдруг вспомнил озеро, серое и неприютное, камни, камни. Он сказал Софи:

— Все взорвали. Все разбомбили. Даже природу. Даже сердце...

40

Жолио устроился: «Ла вуа нувель» начала выходить в Париже. Из Виши шли франки, от немцев Жолио получал марки. Но толстяк жаловался, что немец Зибург скуп и дурно пахнет: «Посадите его в одну клетку с хорьком, хорек и тот задохнется...»

Генерал фон Шаумберг благоволил к Жолио: ему нравились легкомыслие и пестрое оперение марсельца. А Жолио померк, погрустнел; даже розовая рубашка его не красила. Он редко шутил и стал малообщительным. Возвращаясь из редакции, садился на кровать, не раздевался, молчал. Если жена спрашивала: «Что с тобой?», качал головой: «Ничего».

Вчера пришел в редакцию Бретейль. Жолио не стал читать статью, надписал «в набор», а Бретейлю сказал: «Так плохо, что скоро начну молиться». Жолио не придумывал больше сенсационных заголовков — к чему стараться? Газеты все равно никто не читает — парижане брезгают, а у немцев свои газеты. Часто Жолио получал статьи, неуклюже переведенные с немецкого; он заменял слово «мы» другим — «немцы»: «Ла вуа нувель» должна была выглядеть французским органом. За это Жолио пла-

тят. А Бретейль?.. Наверно, и Бретейлю платят. Да и кому теперь нужен Бретейль?.. Странно вспомнить: шестое февраля, «верные», речи в палате... Все это было прежде. Тогда была Франция... А теперь в редакции сидит обер-лейтенант Франк с глазами розовыми, как у белого кролика, аккуратный и злой...

— Бретейль приехал,— сказал Жолио жене.— Скоро все покажутся — и Лаваль, и Тесса.

Жена вздохнула:

— Легче от этого не станет. Я сегодня обегала весь город — нет мыла. Вообще ничего нет. Все вывезли.

— Ясно. А уехать некуда. В Марселе то же самое. Эти крысы съели Европу — как голову сыра. Бретейль рассказал, что Дессер застрелился. Где-то в Оверни... Вот тебе героический акт — вместо Марны и Вердена. Смешно! Ты знаешь, что мне пришло в голову? Вдруг... (Жолио закрыл окно и перешел на шопот.) Вдруг их все-таки побьют? Ты представляешь себе, какой невероятный скандал! В один вечер разойдутся пять миллионов экстренного выпуска. А Бретейля повесят...

— Что ты болтаешь? Если англичане победят, тебя тоже убьют.

Жолио весело закивал головой:

— Обязательно! Но все-таки это здорово... Как их будут резать, бог ты мой!.. Ради этого стоит повисеть на фонаре.

Жолио направился в редакцию. По дороге решил выпить аперитив («пока они еще не все вылакали»); выбрал маленькое кафе на боковой улице: сюда, наверно, не заходят немцы.

Молодая служанка, с припухшими от слез глазами, подала стакан «пастис». Жолио вынул газету. Он не читал, он и не думал ни о чем; теперь он часто погружался в такое оцепенение: ему казалось, что он куда-то плывет.

Захрипела дверь. Вошел немецкий офицер, с тяжелой челюстью, с мутными глазами. Он вежливо поздоровался. Никто ему не ответил. Служанка принесла кружку пива. Немец предложил ей присесть. Она молча отказалась. Он выпил вторую кружку и снова обратился к девушке:

— Красотка, нельзя быть такой молчаливой. Почему вы ничего не говорите?..

Она закрыла лицо подносом и ответила:

— Сударь, я француженка.

Офицер рассердился; он встал и уже в двери крикнул:

— Поглядите на себя в зеркало! Ваша мамаша спала с негром...

Служанка долго всхлипывала:

— Почему у нас не было танков?..

Жолио сказал:

— Танки были. У Тесса... А плакать нечего. Слезами вы их не уничтожите. Это крысы. Их нужно убивать. Я этим не занимаюсь. Нет, я от них получаю денежки. Как все... А что мне делать? Даже Марселя нет. Вообще ничего не осталось — только боши и тоска. Перестаньте плакать, как теленок! Получите лучше — два «пастис». Все может хорошо кончиться — я буду на фонаре, а вы будете танцовать с каким-нибудь марсельцем. У нас, в Марселе, чертовски танцуют...

41

Бретейль пробовал доказывать, взывал к справедливости, к логике. Генерал фон Шаумберг был непроницаем; глядел на Бретейля голубыми круглыми глазами, пускал облака едкого сигарного дыма и время от времени глухо повторял: «Нет. Нет». Можно было подумать, что из всех слов у него осталось только это.

Генерал фон Шаумберг считал, что с французами нельзя разговаривать всерьез. Ему понравился Жолио. Он угостил ужином актрис мюзик-холла; говорил: «Франция — это прекрасный курорт, а Париж — чудесный кафешантан». Бретейль был для генерала «серьезным французом», то есть дураком.

Бретейль растерялся уже в Бордо, когда услышал немецкие требования. Он думал играть в покер, скрывать карты, хитрить; вместо этого на него прикрикнули. Особенно его удивило немецкое требование прекратить после перемирия все радиопередачи. Он пожал плечами: «Они хотят, чтобы Франция онемела». И все же в Бордо Бретейль еще сохранял надежду: Гитлер любит показную сторону, ему нужен позор Компьена; прежде смывали

кровью кровь, он хочет слезами смыть слезы; но вот пройдет праздничный угар, замолкнут немецкие колокола, догорят костры, зажженные на горах Германии в честь победы, тогда-то можно будет разговаривать. Францию разбили, но Франция была и будет великой державой. У нее колонии, флот. А у Гитлера на руках Англия. Ему придется за нами ухаживать.

Петэн отправил Бретейля в Париж: нужно разрешить ряд срочных дел. В свободной зоне голодают миллионы бездомных. А немцы не хотят впускать в оккупированную зону беженцев. Пленных заставляют выполнять тяжелые работы. Раненых держат под открытым небом.

Обо всем этом Бретейль сказал генералу. Тот внимательно слушал, а когда Бретейль спрашивал: «Вы со мной согласны?», равнодушно отвечал: «Нет».

Бретейль упомянул, что в Лотарингии оккупационные власти снимают вывески на французском языке; генерал слегка оживился, сказал:

— В Лотарингии нет оккупационных властей, это — часть Германии.

Бретейль не выдержал; впервые он позволил себе отойти от тона дипломата:

— Я — лотарингец...

Фон Шаумберг осторожно скинул пепел сигары в чернильницу и промолчал. Бретейль вернулся к вопросу о беженцах. Генерал, скучая, чистил ногти и зевал. Наконец он решил прекратить ненужную беседу:

— Я не могу входить в рассмотрение деталей... .

— Для нас это не детали. Это жизнь или смерть миллионов французов. Отказ германских властей мешает сотрудничеству между двумя народами. Я надеюсь...

— Нет.

Бретейль встал. Сухой, высокий, он походил на немецкого офицера, и фон Шаумберг почувствовал некоторую неловкость, захотел объясниться:

— Жалею, что не мог вас ничем порадовать. Мы стоим на разных точках зрения. Вы рассуждаете, как дипломат. А я, прежде всего, военный. Для меня Франция — побежденная страна. Конечно, мы можем быть великодушными, но в ваших пожеланиях я не нашел

ничего достойного участия. (Генерал поглядел на Бретейля и раздраженно добавил:) Нет, сударь, нет!

Только на улице Бретейль опомнился. Штаб фон Шаумберга помещался в фешенебельной гостинице на площади Конкорд. Бретейль обвел глазами широкую пустую площадь. Повсюду немецкие флаги. Прохожих нет. На набережной маршируют немецкие солдаты: раз-два, раз-два! Серо-зеленые... А кругом все голубое: небо, Сена, дома.

Бретейль вспомнил и поморщился: «Хам!..» Да, эти чувствуют, что они победили. Они опьянели от победы, десять лет не протрезвятся. «Нет! Нет!..» Зачем говорить с таким человеком о сотрудничестве? Его не сумели поставить на колени. Теперь он заставит нас ползать на брюхе.

Бретейль повернул на улицу Ройяль; шел, задумавшись, не слышал, как его окликнул часовой. Немец подбежал и выругался: «На мостовую, старый дурак!» Бретейль послушно сошел с тротуара, потом остановился и начал смеяться. Смеялся он редко, и его самого напугал скрипучий смех.

Все смешно: что согнали с тротуара, что убил когда-то Грине, что Лотарингия — провинция Германии, что генерал невпопад отвечал «нет». Особенно смешно, что нет больше Франции. Есть Париж — улицы, дома, вывески, есть престарелый маршал, есть сорок миллионов горемык. А Франции нет. Вот где бы сказать, как фон Шаумберг: «Нет! Нет!»

А что есть?.. Бретейль испугался своего вопроса. В подворотне, на пустой улице он чмокал губами: повторял слова знакомой с детства молитвы. Молитва не утешала; слова скользили, ничего не оставляя после себя.

Проходя мимо Сент-Огюстен, Бретейль зашел в церковь. Там было прохладно и спокойно: ни беженцев, ни немцев. Возле ризницы Бретейль увидел знакомого священника. Аббат его благословил. Бретейль спросил:

— Как здоровье?

— Трудно... Я оставался все это время в Париже. Мы видели столько горя... Молю господа, чтобы он простил

слепым нашим правителям. Они оставили народ... А эти... У этих нет совести.

Бретейль закрыл глаза. Аббат не мог догадаться, как он его взволновал.

— Я не того хотел, видит бог... Но теперь поздно оправдываться. Мой сын воскреснет. Во плоти... А я нет. То есть я хочу сказать, что меня уже нет. Меня, вероятно, никогда и не было — того, что по образу и подобию...

Аббат подумал: еще один. События мутили разум, и аббату приходилось каждый день выслушивать несвязные, бредовые исповеди.

Бретейль вышел из церкви. Шагал заводной манекен, высокий, костлявый человек, в черной шляпе, вожак «верных», неоднократно посылавший людей на бесславную гибель и живший надеждой на загробную встречу с сыном, лотарингец без Лотарингии. Все в прошлом — уж нет ни «верных», ни веры, ни горсточки французской земли. А по улицам бродят пруссаки, горланят, разворачивают пакеты — колбасы, ботинки, чулки, куклы, подарки невестам, розговенье Германии, запасы про черный день — тело Франции и ее кровь. Бретейль шепчет: «Причастились».

Осипшая женщина кричит: «Ла вуа нувель»! Последний выпуск!» Можно купить газету... Бретейль развернул лист, прочитал: «Принципы сотрудничества торжествуют...» Эту статью он продиктовал вчера — до визита к фон Шаумбергу... Впрочем, завтра он напишет: «Принципы сотрудничества восторжествовали...» Беженцам хорошо на дорогах, пленным чудесно в плену, Франция нежится под немецким сапогом. Жолио — редактор, а Бретейль пишет...

Так он проходил до того часа, когда громкоговорители завопили: «Заходите в дома! Время!»

В своей нежилой квартире, глядя на раскиданные по диванам платья, фрачные жилеты, ленты, Бретейль громко зевал. Потом он решил работать. На листе бумаги поставил крестик, зачем-то написал: «Томление человеческого духа». Отложил перо и снова прошел по комнатам, остановился перед детским стульчиком, постоял — без мыслей, без молитвы — и снова сел к столу.

Он быстро писал:

«Его превосходительству господину генералу фон Шаумбергу.

Ввиду усиления подрывной деятельности сторонников Англии и де Голля, я считаю необходимым, чтобы германское командование сделало жест, способный внести умиротворение, — хотя бы впустило в Париж многодетных матерей.

Со своей стороны, я готов работать совместно с вами для уничтожения английских агентов, коммунистов и приверженцев де Голля. Я предоставлю комендатуре список дурных французов...»

Он долго писал. На стене неподвижно стояла тень — длинная и острая, как от шеста.

42

В те дни парижане сидели по домам: не могли привыкнуть к немецким солдатам на улицах. Аньес утром шла в лавку. Длинная очередь была молчаливой: люди старались ни о чем не думать. Поиски кило картошки или бутылки молока отвлекали. Если и говорили, то о пропавших без вести близких; у одной исчез муж, у другой — сын.

Какой-то старичок в очереди вздохнул:

— А Франция?

Никто не ответил; но все подумали: тоже пропала...

Как вещицы на столике покойника, памятники Парижа доводили до слез. Поэты сжимали немые лиры. Маршалы мчались на мертвых конях. Бронзовые ораторы говорили с голубями. Люди вспоминали: возле статуи Дантона я поджидал Мадлен...

Не хотелось продолжать эту иллюзорную жизнь: и все же люди жили, стояли в очередях, варили бобы, писали письма. Надписывали старые адреса, уже не существующие. А почты не было. Одинокий город слышал только непонятные песни немецких солдат да птичий гомон в тенистых скверах.

Был сквер и неподалеку от школы, где жила Аньес: несколько чинар. Под широким деревом Дуду жадно хватал ручонками золотой теплый песок. Спасение Аньес

было рядом — смуглый мальчик, порывистый и нетерпеливый, как Пьер.

Вначале Аньес хотела выбраться из Парижа: манил ее Дакс, где был отец. Услыхав, что немцы и в Даксе, Аньес насупилась. Что-то в ней дрогнуло, закрылась последняя лазейка; сказала себе: «Значит — жить с ними!..»

Она продавала старьевщику платья, книги, безделки: этим жила. Ее существование, тупое и сонное, походило на зимнюю спячку зверя. Так жила не только Аньес. Так жил Париж; о нем в те дни говорили повсюду, издевались над ним или его жалели. А Париж ничего не чувствовал, как больной на операционном столе, не способный уже сбросить маску с хлороформом.

В душный вечер, уложив Дуду, Аньес села возле окошка. Время шло мимо. Ее вывел из полусна легкий стук. Кто может притти в этот час? Да только они... Никогда она не думала про немцев иначе: «они»... Зачем они пришли?.. И Аньес отчетливо подумала: «Если смерть, я к ней не готова».

Открыв дверь, она увидела трех подростков.

— Они за нами гонятся...

Аньес провела их в пустой, неубранный зал. Старший объяснил:

— Я солдат, артиллерист. А это мой брат, его товарищ... Мы из Бове... Дошли спокойно, только вот здесь, у метро, нас остановили. Мы — бегом... Звонили, стучали, никто не открывал, наверно, все уехали...

Внизу раздался настойчивый стук. Аньес заметалась: что делать? Вдруг вспомнила: в кладовой — ящики. Она быстро втолкнула туда юношей; накидала поверх тряпье, оставшееся после беженцев. Потом зачем-то схватила на руки сонного Дуду и побежала к двери.

Вошли два немца, один француз.

— Кто здесь проживает?

— Я и мой сын. Ему четыре года.

— Больше никого?

— Смотрите...

Француз вошел в первую комнату, заглянул в стенной шкаф, почему-то взял книжку, лежавшую на столе. Один из немцев вежливо сказал:

— Простите, сударыня. Это ошибка.

Когда они ушли, Аньес уложила раскапризничавшегося Дуду; потом пошла в кладовку. Младший (его звали Жак) вылез первый, смеялся:

— Я боялся чихнуть... А там пыли, пыли!..

— Надо вас накормить,— сказала Аньес.

На счастье остался в котелке суп, немного хлеба, салат. Солдат признался: «Со вчерашнего вечера ничего не ели...»

— Теперь спите.

— Нет. Мы часок подождем, чтобы они успокоились, и двинемся. Нам бы только до Шартра... Там у нас человек — вывезет...

— Но куда вы поедете из Шартра? Они повсюду...

Переглянулись: глазами спрашивали друг у друга — нужно ли ответить? Солдат сказал:

— Нельзя говорить. Но вы — француженка, поймете. В Лондон. Сражаться.

Аньес наивно ответила:

— Сражаться? Но ведь перемирие подписано...

Жак, возмущенный, крикнул:

— Кем? Предателями!

— Тише,— цыкнул солдат. Обратился к Аньес: — Война не кончена. Я был в Дюнкерке... Брат и Жак еще не призывались. Но теперь все честные люди должны сражаться... Что они сделали с Францией!.. В Бове... Нет, не хочу рассказывать... А война еще не кончена. Мы слышали радио... Из Шартра нужно пробираться в Бретань. А там легко — рыбаки довезут. Главное — выбраться из Парижа... Я достал пиджак, плащ, но видите...

На нем были солдатские штаны. Аньес засуетилась: «Сейчас...» Среди хлама, брошенного беженцами, нашлись и брюки. Солдат примерил — все рассмеялись: немного коротки, но сойдет...

Аньес вдруг сказала:

— У меня мужа убили на фронте. Зачем победа?.. (Ей показалось, что она спорит с Пьером; на минуту вспыхнула.) Важно другое: что на душе. А люди думают о границах, о карте...

— Мы думаем именно о душе,— закричал Жак (и снова солдат цыкнул: тише!).— Да, да, о душе. Разве

Франция — это на карте? Это — вот здесь... Если ее не будет, я не смогу жить. А мне восемнадцать лет, я хочу жить, очень хочу... Погибнем? Кто-то спасется. У вас — сын... Это и есть Франция. Разве не так?..

Она покачала головой: слова ее не убедили. Но, расставаясь с тремя юношами, она крепко поцеловала каждого, и на глазах у нее были слезы.

Потом она села возле Дуду, все плакала, плакала. Продолжалось это несколько минут; она думала, что прошло много времени. Вдруг вскрикнула, кинулась к окну: два выстрела, и близко. Закричал, проснувшись, Дуду. С грохотом поддалась дверь. В комнату вбежали немецкие солдаты.

Аньес увидела французского полицейского, того, что приходил прежде. Француз кричал: «Вот она!..» Немецкий офицер что-то сказал. Аньес подхватили два солдата. Офицер говорил французу: «Как вы их прозевали?..» Плакал Дуду. Аньес потащили к машине. Ей выворачивали руки — она не чувствовала ни страха, ни боли. Пронеслось в голове: «А Дуду?..» Тогда она слабо вскрикнула. Немец сказал: «Это вам не любовные объятия...»

Ночь была особенно темной. Аньес показалось: лес (за деревья она приняла дома). Потом ее провели по длинному коридору. Пахло кожей, капустой, мочой. Ее втолкнули в пустую комнату. «Это не тюрьма,— подумала Аньес.— Но что здесь было раньше?..» На полу пятно от чернил. Может быть, школа?.. Показалось смуглое лицо Пьера. Он заглядывал через плечо в школьную тетрадку и целовал, целовал... Какая яркая лампочка — у самого потолка! Она села на пол возле стены. Вспомнила: Дуду один... Ее охватило отчаяние, тихое и плотное, как обморок. Вдруг она вздрогнула: прочитала на стенке слова, нацарапанные гвоздем или булавкой: «Прощай, мама! Прощай, Франция! Робер». Почему Аньес захотелось приписать: «Прощай, Дуду»? Почему это казалось ей облегчением? Но гвоздика не было. Она посмотрела на свои коротко остриженные ногти и заплакала. Потом подумала: они говорили, что прозевали. Значит, те спаслись. Проедут к своему генералу... Жак — милый... Из всех событий ее жизни сейчас это было самым важным: спаслись.

Ее повели на допрос. Немецкий офицер отослал переводчика: он хорошо говорил по-французски; зачем-то сказал Аньес: «Я два года провел в Гренобле. Красивый город». Был любезен, старался успокоить Аньес: «За вашим сыном ухаживают», уговаривал: «Скажите, кто эти люди, и мы вас отпустим». Молчание Аньес его раздражало:

— Сударыня, у меня нет времени. Вы молчите? Следовательно, вы — английская шпионка.

Она кивнула головой:

— Да.— Ее глаза стали мягкими, нежными — такими они были в Бельвиле под чердачным оконцем, когда Пьер смущался и бушевал.

Она тихо продолжала:

— Да. Шпионка. Зачем вы пришли к нам? Теперь все против вас. Даже дети. Я вам не скажу, кто эти люди. Слава богу, вы их не поймали. Это — главное. А меня можете убить. Я не нужна — я даже стрелять не умею...

Она почувствовала, что теперь готова к смерти. Это чувство приподымало, веселило. Еще недавно она спорила с тремя юношами. Теперь ей хотелось повторять без конца их речи, здесь, перед этим розовым опрятным офицером. Какой у него пробор!..

Немец нервно отодвинул чернильницу:

— Довольно ломаться! Вы здесь не для деклараций, вы даете показания. Извольте отвечать! Вы знаете этих людей?

— Знаю.

— Кто они?

— Французы.

Офицер вышел из себя. Обычно корректный, год тому назад в Свинемюнде пленявший дам хорошими манерами, он подбежал к Аньес и ударил ее по лицу. Она не крикнула; машинально поднесла руку ко рту и удивилась: кровь... Она была сейчас вне присущих человеку чувств, не испытывала боли, не возмутилась грубостью нарядного, надушенного офицера. Как будто ее напоили. Было это самоотрешением, подъемом. «Люблю,— повторяла она,— и Дуду люблю, и Пьера, и отца, и Жака, и Робера, и тех, что в последний день Парижа спускались по горба-

той улице, усталые, несчастные». Один ей сказал: «Прощайте...» — «Нет, здравствуй, милый!.. Вот мы и вместе... С Пьером... С Парижем...»

Это она говорила на скамье в коридоре. Ее отвели к полковнику. У него был шрам на щеке, а рыбьи глаза стояли. Полковник предложил Аньес сесть, сказал:

— Я хочу вас спасти. Скажите, кто эти люди? Неужели вам не жалко вашего сынишку? Я вам это говорю, как отец — у меня две дочери...

Аньес изумленно на него поглядела; он вывел ее из другого мира. Ответила она глухо, как будто разговаривала сама с собой:

— Жаль сына?.. Нет... Я сегодня все поняла... Если один умирает, он кого-то спасет, обязательно спасет... Народ... Мой народ... (Она вспомнила, что ее допрашивают, встала, обычно сутулая — выпрямилась и заговорила чужим голосом.) Вы — отец? Неправда! Да вы знаете, кто вы? Бош! Бош!

Полковник позвал часового: «Уведите».

— А вам, сударыня, конец...

Глядя мимо него, она ответила:

— Не Франции... И не конец... Конца нет...

43

Дениз не кинулась к нему, не обняла его, ничего не сказала: она только не сводила с него потемневших глаз, и не то страх был в них, не то восторг.

Мишо улыбался; потом ему стало не по себе:

— Что с тобой, Дениз?

Он так мечтал об этой встрече! Девять дней тому назад он ударил часового камнем по голове. Камень был горячим от солнца. Короткая тень немца пропала. Мишо пролежал до ночи в овраге.

Одежду ему дала старая женщина; предложила остаться у нее до утра.

Он глядел на беленую стену. А женщина перешивала пуговицы: пиджак был ее покойного мужа, директора «католического патронажа Сен-Жюст». Мишо спрашивал: что в газетах? Она отвечала: газет теперь не читает,

газеты стали немецкими. Стучали стенные часы. Паузы были длинными. О сне они не думали. Изредка разговаривали, и странным был их разговор.

— ...Его Легре зовут. Тоже коммунист...

— ...Я живу на другой земле. Я верующая. А Гитлер...

— ...Ненавижу!

— ...Потому, я вас пустила. Они расклеили в Сен-Жюсте приказ: за помощь пленным — расстрел.

— ...Меня вели. Отложили на день. Утро было, птицы...

— ...Мне пятьдесят восемь. Это — близко от смерти, но это еще жизнь. Все перепуталось... Муж думал, что мы погибнем от вас. Я тоже так думала... Может быть, это было правдой — вчера... А теперь... Я получала «Ордр». Дюкан писал, что коммунисты — патриоты...

— ...Дюкан понял поздно...

— ...А вы?.. Все опоздали... И пришли они... Я думаю сейчас: где правда — не на один год, постоянная?..

Ее мутные глаза остановились на гипсе распятья. Сквозь щель окна засерел рассвет. Перед Мишо была Дениз, горячая и живая. Он помял кепку; простился.

И вот Дениз — рядом. Но она не смеется. Он ее поцеловал — у нее холодные губы.

— Дениз, что с тобой? Видишь — я ушел, спасся...

Она расплакалась, как ребенок, шумными слезами. Мишо успокаивал:

— Спасся... Не плачь, Дениз!..

Сквозь слезы она говорила:

— Мишо, ты меня поцеловал, и мне стало так страшно... Я не верю, что я живая... Ты не понимаешь?.. Я не умею сказать... Мне кажется, что мы все умерли... А живем для вида: немцы приказали...

Он не сразу ответил; не хотел признаться, что и сам не раз это чувствовал: после Арраса... Говорил себе: нельзя быть малодушным. Его поддерживал образ Дениз; он почему-то думал, что Дениз его встретит улыбкой, теплом руки, жизнью; растерялся от ее отчаяния; молча гладил руку.

Это было в маленькой мастерской лудильщика, возле Порт-де-Версаль. Здесь Дениз и Клод печатали листовки.

До той минуты, когда она увидела Мишо, Дениз была спокойной: говорила Клоду о борьбе, о силе, о победе. Сейчас они были одни.

— Не плачь, Дениз...

Пришел Клод. Он не заметил Мишо; запыхавшись, радостно бормотал:

— Шрифт завтра будет. Понимаешь?..— И вдруг крикнул: — Мишо! Ты?.. Теперь мы спасены! Дениз, мы спасены! Понимаешь?

Для Клода появление Мишо было победой, торжеством их дела. И его радость вернула силы Мишо. Он понял, как его ждали; начал стыдить себя (Дениз думала, что стыдит ее):

— Будем работать. Это замечательно, что Клод с нами. Клод, замечательно, что ты нашел шрифт. Будем печатать листовки...

Дениз вздохнула:

— Самое большее — пятьсот...

— Для начала и это хорошо. Приходится начинать сначала. «Юма» печатали полмиллиона. А нас все-таки побили... Нужно пережить это время. Сейчас все честные люди растерянны. А мерзавцы торжествуют. Я сегодня видел листок Дорио. До чего он горд! Можно подумать, что это он взял Париж. Нужно все пережить. И главное,— фашизм. Да ты понимаешь, что это значит — пережить фашизм? Об этом будут писать, как об эре, тысячи книг напишут. Через сто лет... А мы за нашу жизнь переживем и победим, и еще как, Дениз!

Дениз схватила его за руки:

— Мишо!

Перед ней был прежний Мишо. Значит, и она живая. И жив Париж. И можно это пережить, можно победить...

Клод сказал:

— У них большая сила. Каждую ночь проходят... Теперь они с юга идут — к морю. Хотят Англию взять.

Мишо усмехнулся:

— Хотят. Только неизвестно — возьмут ли. Разве они Париж взяли? Париж им в рот свалился. Я тебе не говорю, что у них мало сил. Сколько я танков видел!.. И порядок, все по-немецки. Но сорвутся они, обязательно

сорвутся. Может быть, в Англии, может быть, в другом месте — не знаю, но сорвутся. Мы сильнее.

Дениз приподняла брови:

— Как сильнее?..

— Считай. Англия. То есть флот, авиация и народ. Америка. Завоеванные страны. Все народы. Норвегия, Голландия, Дания, Бельгия, Франция, Польша, Чехословакия — семь, я на пальцах считал. Армии нет, но народ — тоже сила. А в самой Германии, думаешь, нет наших? Есть. Погоди!.. А главная сила — Россия.

— У них пакт,— вздохнул Клод.

— Ну и что? Гитлер обязательно нападет. Разве он может вынести, что такое государство существует? Это даже ребенок понимает... Здесь-то русские ему покажут! Мы увидим, Дениз, Красную Армию, обязательно увидим!

— Скажи «и еще как!» (Дениз засмеялась.)

— Скажу — и еще как!

Клод ушел за бумагой. Он шел и думал о словах Мишо. Если Мишо говорит, это — правда.

Клод улыбался — на грязной, заброшенной улице полумертвого Парижа; глядел на немецких солдат и улыбался: он их не видел. Он видел другое: крохотную красную звездочку среди белесого тумана. Худой, измученный обострившейся болезнью и лишениями, он сиял, как ребенок. И, вынув из кармана кусочек мела, оглянулся, написал на серой глухой стене: «Гитлер начал. Сталин кончит». И подмигнул дрозду — черному на сизом асфальте.

А в мастерской было тихо. Обнявшись, молчали Мишо и Дениз. Потом, высвободившись, Дениз сказала:

— Ты не знаешь, что стало с Парижем!.. Вчера я видела, как немец ударил рабочего револьвером по голове... Тот свалился, а немец даже не обернулся... Жемье обвинили в том, что он слушает лондонское радио. Его пытали два дня. Немецкий офицер сказал Мари: «У вашего папы пиджак в крови. Принесите новый». Она принесла, офицер взял пиджак, унес, а вернувшись, говорит: «Вы еще здесь? Чего вы ждете? Ваш отец уже в английском раю». Мишо, это — люди?..

— Нет! Фашисты. Я тоже видел... Ребенка... Нет, не буду рассказывать... Но счастье будет, Дениз, большое

счастье! Неужели не веришь? Ты пойми: мы победим. Это совсем просто, как то, что день после ночи или весна после зимы. Иначе и не может быть. Иначе не бывает. Какие у нас чудесные люди! Душу отдать готовы. А кто у них? Грабители. Или выродки. Обязательно победим! И тогда будет счастье. Как о нем стосковались люди! О большом и простом счастье. О самом простом: жить, дышать, не бояться шагов, не слушать сирен, нянчить детей, любить, вот как мы с тобой... Будет счастье...

Она ответила торжественно, как аминь:

— Будет.

44

В то жаркое утро Андре долго отсиживался у себя на вышке: он боялся города. Вчера он узнал, что Лорье избили: кричали «жид», сорвали с мертвого глаза черную повязку.

Андре в ярости бегал по мастерской: зачем был тот холм, та дружба? Его оставили, а Лорье куда-то увезли. Одним глазом он смотрит на этот страшный город. Город-предатель...

Зачем Андре вышел из своего убежища, зачем шагает по ненавистным улицам?

И снова красота любимого города, вопреки всему, овладела им. Париж опозоренный был все еще прекрасен. Сжимались кулаки, а глаза невольно любовались. Дымчатые дома острова Сен-Луи, таинственная, как Лета, вода Сены, бледное, едва намеченное небо — все это соблазняло и успокаивало: мы видели и не то, мы были, мы будем, мы — это Лютеция, корабль, Париж.

Он пошел к Шатле. Дивился — все еще не мог привыкнуть к тишине. Исчезли автомобили; люди не смеялись, разговаривали вполголоса. А под аркадами улицы Риволи раздавался сухой, четкий стук: немецкие солдаты шли в магазины или в рестораны, как на параде отбивая шаг. Женщины были бледнее прежнего, то ли они перестали румяниться, то ли захирели. Все хотели выглядеть серее, ничтожнее, неприметней. Андре подумал: «Как насекомые...» Тело без души, архитектура, кости Парижа, не Париж, другой и чужой город.

И вдруг он вздрогнул от рева труб. Он не заметил, как дошел до площади Опера. На широких ступенях театра сидели немецкие музыканты, серо-зеленые, они дули в трубы. Было в немецком марше нечто оскорбительно убогое, родственное топоту под аркадами: жизнь отбивала такт солдатским сапогом. Вокруг на террасах кафе нежились немецкие офицеры, окруженные пестрыми девушками. А небо было все тем же — высокое небо Парижа.

Андре прислонился к стене. Ему казалось, что он напряженно старается понять происходящее. На самом деле он не мог думать; на него снова нашло оцепенение. Несвязно мелькали отдельные картины: монокль в глазу офицера, фонтан-нимфа с иссякшим кувшином, высокая трава на дорожках Тюильри, и холм, тот холм...

Его вывела из себя девочка: продавала вечернюю газету. Он брезгливо отмахнулся. Она шепнула, как заговорщик:

— Я знаю... У меня сестренка...

Он дал ей монету и случайно увидел на листе дату; не выдержал — улыбнулся: четырнадцатое июля... Может быть, поэтому немцы дули в трубы?.. И никто не помнит, что сегодня — праздник. Стоят в очереди за молоком. Пугливо прячутся в подворотнях.

Париж взял Бастилию...

Он увидел ночь, карусель с голубым слоном, каштан, фонарики. Где теперь Жаннет?.. Неужели и она бродит по этому проклятому городу, не узнает знакомые дома, вместо друзей встречает серо-зеленых?.. Или уехала, спаслась?.. Но куда можно уехать от такого горя, где спастись?.. «Обманутой дано мне умереть»... Тогда это были слова рекламы. Никто не хотел понять, что ночью кричит одинокая женщина, что с ней кричит Франция, мертвая, в дорожной пыли, в крови...

Он говорил это себе, уже взобравшись в свою мастерскую, стоя у окна. Улица Шерш-Миди... По ней идут немецкие солдаты. Жозефина сегодня сказала: «Открою ресторан — нужно жить...» Она поглядела на Андре униженно, как будто он ее оскорбил своим молчанием. Да, она будет варить рагу для немцев. Сапожник будет им набивать подметки. Цветочница умрет. Придет другая и протянет букетик тому, с моноклем. Улица, как Париж;

никому не дано выйти из этого круга; нет, выход есть: можно повеситься на этом крюке.

И Андре больше не мог отвести глаз от черного значка на серой стене.

Он застеснялся, услышав, что стучат в дверь: как будто его накрыли на чем-то недозволенном, и, только подойдя к двери, подумал: «Кто это может быть? Если они...» И не додумал.

В мастерскую вошел немец. Увидев серо-зеленую шинель, Андре улыбнулся:

— В общем, так лучше... Можете меня вести — вещей с собой я не возьму...

— Вы меня не узнали? Я жил у госпожи Коад. Мне очень нравились ваши пейзажи. Мы с вами познакомились в кафе «Курящая собака»...

Немец хотел обязательно поздороваться, но Андре не подал руки.

— Помню. Вы занимались рыбами. Это называется... забыл слово.

— Ихтиолог.

— Да, кажется, так. И вы мне сказали, что Париж будет уничтожен. Наверно, вы занимались у нас не рыбами, а шпионажем. Знали все тайны берлинского двора. Ну что, вы довольны? Париж вы, правда, не уничтожили. Нужно вам где-нибудь стоять, вот и выбрали город. (Андре подошел вплотную к немцу.) Вы думаете, что вы взяли Париж? Глупости, сударь, ваша больная фантазия! Париж ушел. Вы скажете — возвращаются? Не отрицаю. Жозефина ресторан открыла. Возвращаются люди, а не Париж. Париж не вернется. Его сейчас нет. Нигде. И довольно разговоров! Ведите меня...

— Куда?

— Не знаю. Вам видней. В комендатуру, к стенке, в яму, чорт вас побери!..

Немец молчал. Андре продолжал ругаться. Наконец немец сказал:

— Зачем меня обижать?..

— Вас нельзя обидеть. У вас танки — раз, бомбардировщики — два, пулеметы — три, автоматы — четыре и ваша тупая голова — пять. А что у меня? Вот этот крюк... Ведите меня, или я вас задушу.

— Мне некуда вас вести. Я даже не знаю, зачем я к вам пришел... Очевидно, вспомнил и потянуло. Сегодня лейтенант мне сказал, что я плохой немец. Странно. Может быть, завтра меня расстреляют...

— Вот так... — В голосе Андре не было ни удивления, ни сочувствия. Он, раздосадованный, пожал плечами: он ждал смерть, а вместо нее оказался ихтиолог с переживаниями. — Что же вам не нравится? Харчи? Или боитесь, что вас скушают ваши рыбки в Ламанше?

— Не умею объяснить. Что мне не нравится? Мои соотечественники в Париже. Мне не нравится, что я у вас... вот в этой шинели...

— Угу! Вы ведь эстет. Пепельные тона и прочее... А вы понимаете, сударь, что я француз?

— Понимаю. Это и мешает мне говорить. Я думал, что мы люди одной культуры. А между нами ров. Не знаю, чем его можно заполнить...

— И я не знаю. — Голос Андре стал мягче. — Должно быть, кровью... Без крови здесь не обойдется...

— Разве ее мало?..

— Много, но не та... А теперь уходите.

— Я знаю, что должен уйти. Все это очень неуместно. Мой визит глуп. Я вам задам сейчас дурацкий вопрос... Почему-то меня это мучило... Относится к грамматике. Эта улица называется Шерш-Миди, то есть «Ищу-полдень»... Почему?

— Так звали когда-то нахлебников — искали, где бы пообедать задарма. Вроде вашего Гитлера. А имя хорошее. «Ищу-полдень»... Только улица не искала... Здесь здорово спали, ставни закрыты, перины. Улица искала полночь... И вот пришли ваши...

— Вы думаете, мне легко? Нельзя жить, как мы живем. Нас все ненавидят. Я шел вчера по улице Монж. Навстречу шла женщина. Увидела меня и шарахнулась — как от смерти. Я лично никого не убивал, но это не имеет значения. Я мог бы сказать: виноват Гитлер. Это самое легкое... Но это неправда — виноват и я. Нужно сделать выводы... Постараюсь. До свидания.

— Прощайте. Может быть, завтра вы окажетесь хорошим человеком, но тогда я вас не увижу. Теперь честность приходится доказывать кровью, вот какое подлое

время! И ничего нельзя понять... Зачем вы пришли сюда? Вздор! Будь вы коммунист — дело другое. Эти могут что-то сделать. У нас они чуть было не победили. А теперь — Тесса и ваш лейтенант... Но что вы будете делать? Вы — один в поле. Впрочем, и я один. А вместе нас не двое, вместе мы ноль. Между нами жизнь. Если вы хороший человек, вы меня не осудите за то, что я вас плохо принял... Вы были немцем из Любека. Чудак. Пили кальвадос... А теперь вы серо-зеленый... Все дело в Париже...

Немец ушел, и Андре как-то сразу забыл о нем — будто никто не приходил. Прошелся несколько раз по мастерской. Голубые сумерки ввалились в окно. Пейзаж висел против окна, и Андре, остановившись, глядел: карусель, каштан, фонарик, тень вдалеке. Это было тоже четырнадцатого июля... Жаннет тогда еще улыбалась. Париж еще танцовал, ходил с флагами, надеялся... В другой жизни... А написано хорошо. Это его лучшая работа. Это и есть Париж. Париж остался. Сожгут музеи, уничтожат картины — все равно Париж останется.

Андре улыбался. Он подошел к окну. Улица Шерш-Миди. Закрыты наглухо ставни, а на фасаде, как всегда, черные переплеты. В чердачном окне мертвый цветок. Бродят голодные коты, и плачет цветочница, кричит новорожденный. Улица «Ищу-полдень»... А полдень я найду, обязательно найду: свет и праздник в небе — мед, маки, лазурь — Париж днем...

Он не слышал, как, надрываясь, кричал громкоговоритель: «Заходите в дома! Время! Время!»

Август 1940 — июль 1941

СОДЕРЖАНИЕ

Оформление художника
А. Коджака.

*

Редактор А. И. Воинов
Художественный редактор Н. Мухин
Технический редактор Г. Каунина
Корректор А. Типольт.

*

Подписано к печати 12/VIII 1952 г.
А-05429. Бумага-$82 \times 108^1/_{32}$=8,06 бум. л.—
26,45 печ. л. Уч.-изд. л. 26,60+1 вкл.=
=26,65. Тираж 75 000. Цена 12 руб.
(номинал по прейскуранту 1952 г.).
Заказ 301.

Отпечатано во 2-й типографии
«Печатный Двор» им. А. М. Горького
Главполиграфиздата
при Совете Министров СССР,
г. Ленинград, Гатчинская, 26,
с матриц, изготовленных 1-й Образцовой
типографией им. А. А. Жданова
Главполиграфиздата
при Совете Министров СССР,
г. Москва, Валовая, 28.

